



Исроэл-Иешуа Зингер СЕМЬЯ КАРНОВСКИХ

Исроэл-Иешуа
Зингер
СЕМЬЯ
КАРНОВСКИХ



проза еврейской жизни

הבית
החדש
אולי
כאן



проза еврейской жизни

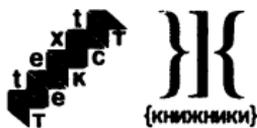
ישראל יהושע
זינגער

די משפחה
קארנאָוסקי

Исроэл-Иешуа
Зингер
Семья
Карновских

Роман

*Перевод с идиша
Исроэла Некрасова*



*при поддержке
Фонда Ави Хай
Москва 2010*

УДК 821.111(73)

ББК 84 (4Сое)

363

Серия основана в 2005 году

Оформление серии А. БОЦДАРЕНКО

Первое издание на русском языке

ISBN 978-5-7516-0901-6 («Текст»)

ISBN 978-5-9953-0079-3 («Книжники»)

Israel Joshua Singer
The Family Carnovsky

© И. Некрасов, перевод, 2010

© «Текст», издание на русском языке, 2010

© Фонд Ави Хай, 2010

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

О Карновских из Великой Польши каждый знал, что люди они тяжелые, упрямые, но ученые. Из тех, кого называют «железные головы».

Высокие лбы, умные глаза, черные как уголь, глубоко посаженные, быстрые. Носы, как у всех насмешников, слишком велики для худых, узких лиц. Таких попробуй тронь. Из-за этого упрямства никто из семьи Карновских так и не стал раввином, хотя многие могли бы. Но они отдавали предпочтение торговле, шли в бракеры на лесозаготовки или сплавливали по Висле плоты до самого Данцига. В домишках, которые мужики-плотогоны ставили для них на сколоченных бревнах, Карновские возили с собой множество книг и рукописей. Из-за этого же самого упрямства они не искали себе наставников из больших раввинов. Изучали они не только Тору, но и светские науки, разбирались в математике и философии, даже почитывали немецкие книги, набранные остро-

конечными готическими буквами. Зарабатывали Карновские неплохо, но богачами не были, однако своих сыновей отдавали в зятя богатейшим людям Великой Польши. Невесты из самых состоятельных домов рады были выйти за статных, загорелых, пахнущих лесом и речной свежестью парней из необъятной семьи Карновских. Довида Карновского выбрал дочери в мужья Лейб Мильнер, первый лесоторговец в Мелеце.

И в первую же субботу после свадьбы зять богача Мильнера поссорился в синагоге с раввином и прочими уважаемыми людьми.

Хоть и сам из Великой Польши, Довид Карновский, знавший древнееврейский язык до тонкостей, прочитал отрывок из Исаяи с литовским произношением, что местным хасидам не очень-то понравилось. После молитвы раввин решил по-доброму объяснить чужаку, что здесь, в Мелеце, литовских обычаев не придерживаются.

— Видишь ли, молодой человек, — начал он, улыбаясь, — мы не думаем, что пророк Исаяя был литвак и миснагед*.

— Напротив, раввин, — ответил Довид Карновский, — я вам докажу, что он как раз был литвак и миснагед.

* Миснагед — сторонник ортодоксального иудаизма, в противоположность хасидизму. Как правило, литваки (литовские евреи) были и остаются миснагедами (Здесь и далее примечания переводчика).

— И как же, молодой человек? — спросил раввин.

Прихожане собирались в кружок, с любопытством прислушиваясь к схватке между своим ребе и ученым чужаком.

— А вот как, — ответил Карновский. — Если бы пророк Исаяя был польским хасидом, он не знал бы грамматики и писал на святом языке с ошибками, как все хасидские раввины.

Такого раввин не ожидал. Какой-то молоко-сос, да еще у всех на глазах... С досады, что чужак выставил его дураком перед всей общиной, раввин растерялся, попытался что-то возразить, но речь не клеилась, и он смутился еще больше. А Карновский смотрел на него с издевательской улыбкой на губах под слишком большим для молодого, смуглого, скуластого лица носом.

С тех пор раввин стал опасаться чужака. Да и другие уважаемые люди, те, что молятся у восточной стены*, в разговоре с Карновским были осторожны, взвешивали каждое слово. Но однажды в синагоге случилось такое, после чего раввин и все остальные перестали его бояться и повели против него открытую войну.

Это было в субботу, когда читали Тору. Все вернулись к биме** и тихо повторяли за чтцом по

* Места у восточной стены считаются почетными.

** Бима — возвышение посредине синагоги, с которого читают свиток Торы.

своим Пятикнижиям. Довид Карновский, в новом талесе*, наброшенном не на голову, а на плечи, как принято у миснагедов, тоже следил глазами по Пятикнижию, но вдруг книга выпала у него из рук. Он спокойно наклонился, чтобы ее поднять, но один из его соседей, длиннобородый, с головы до ног закутанный в талес, поспешил сделать благое дело. Он быстро поднял Пятикнижие, поцеловал и хотел уже передать зятю богача, но в ту же секунду заметил, что его губы коснулись букв, которых он в Пятикнижии никогда не видел. Это был не еврейский язык. Довид Карновский протянул руку, чтобы взять книгу, но еврей, с головы до ног закутанный в талес, не спешил отдавать ее владельцу. Вместо этого он поднес ее раввину. Тот взглянул, перевернул страницу, и его лицо покраснело от испуга и гнева.

— Мендельсон!** — крикнул он, плюнув. — Библия Мойше Мендельсона! Святотатство!

В синагоге поднялся шум.

Чтец, которого прервали на полуслове, стучал кулаком по столу. Раввин тоже начал стучать по конторке, народ заволновался, от летевших со всех сторон «тихо!», «ша!», «замолчите!» шум

* Талес — молитвенное покрывало.

** Моисей Мендельсон (1729, Дессау — 1786, Берлин) — философ и переводчик Торы на немецкий язык, основоположник движения Гаскала («просвещение»), стремившегося интегрировать евреев в немецкое общество, фактически же толкавшего их к ассимиляции.

только усиливался. Чтец, поняв, что никто все равно не будет слушать, быстро закончил главу. Кое-как, наскоро, довели молитву до конца. Синагога гудела, как улей.

— Мендельсон, будь он проклят! — кричал раввин, тыча пальцем в Пятикнижие Довида. — У нас, в Мелеце... Нет уж, я этого берлинского выкреста к нам в город не пущу!

— Выкрест Мойше, да сотрется память о нем! — плевались хасиды.

Простолюдины наострили уши, пытаясь понять, что случилось. Длиннобородый еврей, с головы до ног закутанный в талес, вихрем носился по синагоге.

— Только в руки взял, вижу, что-то не то, — объяснял он бог знает который раз. — Я сразу заметил.

— Хорошего зятя вы нашли, реб Лейб! — стыдили богача евреи. — Нечего сказать.

Лейб Мильнер растерялся. Талес с серебряной вышивкой, густая, седая борода, очки в золотой оправе — всегда важный и спокойный, он не мог понять, почему это раввин набросился на его зятя и чего хотят от него самого. Сын арендатора, разбогатевший своим трудом, из всей Торы он знал лишь слова молитв. Сейчас он понимал только, что какой-то Мендель видел сон, но при чем тут он и его зять?

— Раввин, что стряслось?

Раввин снова со злостью ткнул пальцем в Пятикнижие:

— Видите, реб Лейб? Это Мойше Мендельсон, отступник из Дессау, позор еврейского народа! — крикнул он. — Он своим безбожием толкал евреев к крещению!

Хоть Лейб Мильнер так толком и не понял, кто этот Мойше из Дессау и что он натворил, ему все же стало ясно, что какой-то безбожник сбил его зятя с пути. Что ж, с такими людьми это бывает. Он попытался успокоить народ.

— Евреи, мой зять, чтоб он был здоров, знать не знал, кто такой этот Мойше, — заговорил он примирительно. — Не пристало устраивать ссору в синагоге. Пойдемте лучше домой делать кидуш*.

Но его зять не хотел идти домой делать кидуш. Растолкав толпу, он подошел к раввину.

— Отдайте Пятикнижие, — сказал он с гневом. — Я хочу свое Пятикнижие.

Раввину не хотелось выпускать книгу из рук, хоть он и не знал, что с ней делать. Не была бы сегодня суббота, он тут же велел бы службе растопить печь и сжечь трэфную книгу** у всех на глазах, как требует закон. Но была суббота. Мало того, комментарии Мендельсона были напечатаны вместе со словами Торы, скверна и святость вместе. Книга жгла руку, но отдать оскверненную святость хозяину раввин все же не хотел.

* Кидуш — молитва, которую произносят над бокалом вина в субботу или праздник.

** Трефной — запрещенный законами Торы.

— Нет уж, молодой человек! Такого еще никто на белом свете не видал! — крикнул он.

Лейб Мильнер снова попытался установить мир.

— Довид, дорогой, — заговорил он, — ну сколько там стоит Пятикнижие? Я тебе другое куплю, еще лучше. Брось ты, пошли домой.

Довид Карновский и слушать не желал.

— Нет, — кипятился он, — я своего Пятикнижия не отдам! Ни за что на свете!

Лейб Мильнер попробовал пойти другим путем:

— Довид, пора кидуш делать. Лееле тебя уже небось заждалась.

Но Довид Карновский так разошелся, что забыл даже о своей Лееле. Казалось, он все сейчас испепелит взглядом, хоть и была суббота. Нос — как острый клюв сокола, терзающего добычу. Он готов воевать со всеми. Сперва он потребовал, чтобы раввин показал, где в комментариях Мендельсона безбожие. Потом принялся сыпать цитатами, чтобы показать, что ни раввин, ни все остальные ни слова не знают из книг Мендельсона и вообще не в состоянии их понять. И наконец, просто заявил, что у рабби Мойше Мендельсона, благословенна его память, в одной пятке больше ума и знаний, чем у раввина со всей компанией в головах.

Это было уж слишком. И то, что он так оскорбил раввина и других приличных людей, и то, что он в святом месте назвал безбожника «рабби», да еще сказал «благословенна его память», рассер-

дило хасидов не на шутку. Они просто-напросто взяли Довида под руки и вывели на улицу.

— Убирайся к чертям со своим рабби, да сотрется память о нем, — напутствовали его. — Иди к своему берлинскому выкресту.

И Довид Карновский последовал этому совету.

Хоть он мог бы еще долго получать пропитание в богатом доме тестя, ему не хотелось оставаться в городе, где с ним так несправедливо обошлись. Тесть упрашивал его, говорил, что больше в эту синагогу в жизни не пойдет, а будет вместе с Довидом молиться в другой, где собираются умные, просвещенные люди. Или будет приглашать их на молитву к себе, если Довид захочет. Лея, жена Довида, умоляла его не уезжать из родительского дома. Но Довид Карновский оставался тверд.

— Ни дня больше не останусь среди дикарей, — твердил он. — Ни за какие коврижки.

В гневе он называл обывателей Мелеца невеждами, мракобесами, идолопоклонниками, ослами. Он хотел уехать не только из ненавистного города, но и вообще из темной, невежественной Польши. Его давно тянуло в Берлин, в город, где его рабби Мойше Мендельсон когда-то жил и писал, откуда распространял по миру свет знаний. Еще мальчишкой, изучая по Библии Мендельсона немецкий, он мечтал о стране, откуда исходит добро, свет и разум. Потом, когда он уже помогал отцу торговать лесом, ему часто приходилось читать

письма из Данцига, Бремена, Гамбурга, Берлина. И каждый раз у него щемило сердце. На каждом конверте было написано: «Высокородному». Так красиво, так изысканно! Даже красочные марки с портретом кайзера будили в нем тоску по чужой и желанной стране, язык которой он выучил по Пятикнижию. Берлин для него — просвещение, знание, благородство и красота, о которых можно только мечтать, но которых никогда не увидишь. Однако теперь у него появилась такая возможность. И он налег на тестя, чтобы тот выплатил ему приданое и отпустил его туда, за границу.

Сначала Лейб Мильнер не соглашался ни в какую. Пусть зять живет в его доме, и все тут. Жена Мильнера, Нехума, затыкала уши, чтобы вообще не слышать таких речей. Чтобы она отпустила свою Лееле в чужую страну? Нет, она не согласится даже за сокровища всего мира. Нехума так мотала головой, что длинные серьги били ее по щекам. Но Довид Карновский стоял на своем. И в конце концов уговорами, просьбами, всевозможными доводами и врожденным упрямством он добился того, что тесть и теща позволили ему сделать то, к чему так стремилась его душа. День за днем он твердил одно и то же, пока тесть не сломался. Лейб Мильнер больше не мог противиться уговорам зятя, но Нехума не сдавалась. Ни за что, повторяла она, даже если, не дай Бог, до развода дойдет. Но тут вмешалась Лея.

— Мама, — сказала она, — я буду делать то, что велит Довид.

Нехума опустила голову и разрыдалась. Лея бросилась ей на шею и помогла выплакаться.

Довид Карновский, как всегда, добился своего. Лейб Мильнер полностью выплатил ему приданое, двадцать тысяч рублей новенькими сотенными бумажками. Также Довид добился от тестя, чтобы тот вступил в его дело и посылал ему в Германию лес по рекам и по железной дороге. Теща напекла пирогов и коржей, приготовила столько бутылей сока и банок варенья, будто ее дочь собиралась в пустыню и нужно было снабдить ее продовольствием на годы. Довид Карновский постриг черную бородку, надел твердую шляпу и кафтан до колен, приобрел цилиндр для праздников и заказал суконный сюртук с шелковыми лацканами.

Всего за несколько лет в чужой столице, где он поселился, Довид Карновский достиг многого. Во-первых, он в совершенстве выучил немецкий язык. Это был уже не тот язык, на котором писал Мендельсон, а язык банкиров и служащих. Во-вторых, он преуспел в торговле лесом. В-третьих, он сам, в свободное время, по учебникам прошел полный гимназический курс, что когда-то казалось ему несбыточной мечтой. И наконец, благодаря способностям и знаниям он стал видным че-

ловеком в новой синагоге, куда ходил на молитву. Там молились не те, кто недавно переселился из Польши, но люди, предки которых укоренились в Германии много поколений назад.

В роскошной квартире окнами на Ораниенбургер-штрассе, недалеко от Гамбургер-штрассе, где стоял памятник Мендельсону, Карновские нередко принимали гостей. В просторном кабинете Довида стояли высокие, до самого лепного потолка, шкафы, полные еврейских и немецких книг. Было немало старинных, редких изданий, которые он покупал у букиниста Эфраима Вальдера в еврейском квартале, на Драгонер-штрассе. По вечерам в глубоких кожаных креслах часто сидели гости: раввин доктор Шпайер и другие ученые, библиотекари, преподаватели, даже старый профессор Бреслауэр, руководитель раввинской семинарии, — и беседовали о Торе и Талмуде.

Через три года Лея родила сына, и Довид Карновский дал ребенку два имени: Мойше — в честь Мойше Мендельсона, еврейское имя, по которому его будут вызывать к Торе, когда он вырастет, и Георг — переименованное на немецкий лад имя отца Довида Гершона. Под этим именем удобнее будет вести торговлю.

— Будь евреем дома и человеком на улице, — сказал на обрезании Довид Карновский на древнееврейском и немецком, будто бы благодаря переводу малыш мог лучше понять смысл слов.

Приглашенные, среди них раввин доктор Шпайер, все в черных сюртуках и цилиндрах, одобрительно закивали головами.

— Ja, ja, verehrter Herr Karnowski*, — говорил доктор Шпайер, поглаживая бородку клинышком, острую, как карандаш, — нужно держаться золотой середины: еврей среди евреев, немец среди немцев.

— Именно золотая середина! — дружно согласились гости и заложили белоснежные салфетки за высокие крахмальные воротнички, приготовившись к обильному угощению.

2

Для Леи Карновской самая большая радость — когда хвалят ее ребенка, особенно если при этом говорят, что он похож на отца.

Сколько раз за пять лет, с тех пор как родился ее сын, она слышала, что он такой красивый, умный и так похож на папу! Но она готова слушать это снова и снова.

— Смотри, Эмма, — отрывает она служанку от работы и указывает на малыша, будто девушка никогда его не видела, — ну какой сладкий!

— Конечно, госпожа.

— Весь в папу, правда же?

* Да, да, уважаемый господин Карновский (нем.).

— Да, госпожа.

Эмма прекрасно знает: любая мать в восторге, когда говорят, что ее дети удались в отца, даже если это не так. Но сейчас ей не приходится лукавить. Маленький Георг — копия Довида Карновского, у него такие же блестящие, черные глаза, такие же черные брови, слишком густые для маленького ребенка. У него смуглые щечки, пухлые ладошки и упрямый дерзкий нос, как у настоящего Карновского. Черные кудри, которые мать ни в какую не хочет постричь, даже отливают синевой. Эмма пытается найти хоть что-то от мамы, но это нелегко. У Леи каштановые волосы, бледная кожа, зеленовато-серые глаза, доброе лицо, чуть полноватая фигура.

— Ротик как у вас, госпожа, — наконец говорит Эмма неуверенно.

Но Лея не хочет соглашаться.

— Нет, папин ротик, — говорит она. — Ну, посмотри же, Эмма!

Женщины смотрят на разыгравшегося малыша, а он скачет по комнате на деревянной лошадке. Он чувствует их внимание и собственную важность и показывает язык. Эмма сердится:

— Ах ты, чертенок эдакий!

Черными волосами и смуглой кожей малыш кажется ей похожим на чертика. Лея приходит в восторг от проделки сына, хватает его на руки и покрывает поцелуями.

— Счастье мое, радость моя, сокровище мое! Мойшеле, сладкий мой! — шепчет она, прижимая ребенка к груди.

Маленький Георг вырывается из материнских объятий, сучит ножками.

— Мам, пусти! Мне надо к лошадке! — кричит он сердито.

Он не любит, когда мама целует его и щиплет за щечку. И еще больше не любит, когда она говорит ему непонятные, чужие слова и называет его чужим именем. Никто, кроме мамы, ни отец, ни служанка Эмма, ни дети в саду не говорят с ним на этом странном языке, и все называют его Георгом или уменьшительно — Ори.

— Я не Мойшеле, я Георг, — объясняет он сердито.

А Лея за это целует его черные глазки, сперва один, потом другой.

— Ах ты, негодник, упрямец, Мойшеле, Мойшеле, Мойшеле, — шепчет она с нежностью.

И чтобы он не сердился, дает ему шоколадку, хотя Довид и запрещает его баловать. Малыш откусывает шоколад белыми зубками и за лакомством уже не обращает внимания на чужое имя. Он даже позволяет маме целовать его, сколько душе угодно.

Часы в столовой звонко бьют восемь, и Лея укладывает сына в кроватку. Эмма уложила бы его, но Лея не позволяет, она сама хочет это сде-

лать. Она вытирает ему лицо и руки от шоколада, надевает на него синюю пижаму с золотыми пуговками и вышитыми якорями, а поверх пижамы — рубашку до пят. Потом сажает его на плечи и носит по комнатам, чтобы он перед сном поцеловал все мезузы*. Маленький Георг целует их, как велит мама. Он не знает, что это такое, но знает, что надо их поцеловать и тогда к его кровати прилетят ангелы и будут охранять его всю ночь. И еще ему очень нравится, что каждая мезуза спрятана в маленький резной футлярчик, блестящий, как золотой. Но когда мама начинает читать с ним «Шма Исроэл»**, ребенку становится смешно. Он хохочет, когда мама поднимает глаза к лепному потолку и нараспев произносит непонятные, странные слова. Сейчас она кажется ему похожей на курицу, которая пьет воду, и малыш передразнивает ее: «Ко-ко-ко...»

Лея Карновская бледнеет от ужаса: как бы ангелы, которые должны охранять ребенка, Михаил справа, Гавриил слева, Уриил спереди и Рафаил сзади, не наказали его за то, что он смеется над молитвой.

* Мезуза — буквально «дверной косяк», листок пергамента с текстом из Торы, который прикрепляют, обычно в футляре, к дверному косяку в доме. Прикрепление мезузы является заповедью.

** «Слушай, Израиль», одна из важнейших молитв.

— Солнышко, перестань, — упрашивает она, — скажи, мой хороший: «Бехол левовхо увехол нафшехо»*.

— Белебехе, хелелешехе, — говорит малыш, и его звонкий смех разносится по комнатам огромной квартиры.

Несмотря на испуг, Лея тоже начинает смеяться. Она, конечно, понимает, что совершает грех, но, когда кто-то смеется, она никак не может удержаться. Она хохочет до слез, но вдруг вспоминает, что Довид в кабинете может услышать. Он не любит смеха, к тому же у него сейчас гости, серьезные люди. Лея зажимает рот, уткнувшись лицом в подушку.

— Всё, спать! — притворяется она сердитой и тут же снова целует ребенка, сперва все пальчики на ручках, потом на ножках, а потом переворачивает его и целует в попку.

— Сладкий мой! — шепчет она.

Укрыв его и попросив у Бога прощения за детские шалости, Лея идет в столовую, усталая от смеха и материнских забот.

— Эмма, сделай господам чаю! — кричит она в кухню.

Поправив платье, пригладив растрепанные волосы, Лея идет в кабинет, чтобы подать угощение мужу и его гостям. Сегодня пришли только мужчи-

* «Всем сердцем своим и всей душой своей» (древнееврейск.). Слова молитвы.

ны, и все они старше ее мужа, гораздо старше. Они носят темные сюртуки до колен и белоснежные манишки. Многие в очках. Один из гостей — старик с густыми серебряными волосами до плеч, такой же серебряной бородой, усами и бровями. У него веселое, румяное лицо, на коротком, мясистом носу — очки в золотой оправе. Он носит ермолку и курит длинную фарфоровую трубку. Старик был бы очень похож на раввина, если бы говорил по-еврейски, а не по-немецки. Он профессор.

— Guten Abend, Herr Professor*, — здоровается Лея смущенно.

— Добрый вечер, доченька, добрый вечер! — отвечает профессор Бреслауэр, улыбаясь доброй детской улыбкой.

Затем Лея здоровается с остальными. У них родные, домашние лица, хоть они одеваются, как гои, бреют бороды и говорят по-немецки. К госпоже Карновской они обращаются с преувеличенным почтением.

— Guten Abend, gnädige Frau!** — говорят они, неловко кланяясь. — Как поживаете?

Потом вынимают из кармана маленькие ермолки, надевают, чтобы произнести благословение перед едой, и тут же снимают. Благословляют они очень тихо, едва шевеля губами, только профессор Бреслауэр говорит громко, во весь голос. Так же гром-

* Добрый вечер, господин профессор (нем.).

** Добрый вечер, милостивая госпожа! (нем.)

ко он делает госпоже Карновской комплименты за домашний штрудель, который она подает к чаю.

— Гм... Да у нее талант, — хвалит он ее. — Настоящий еврейский штрудель, лет шестьдесят не пробовал ничего вкуснее. У вас не жена, а сокровище, герр Карновский.

Смущенные гости согласно кивают. Единственный, кто не уступает профессору Бреслауэру, это раввин доктор Шпайер. Поглаживая острую, как карандаш, бородку, он превозносит не только Леин штрудель, но и ее красоту.

— Почтенная Frau Karnowski, — говорит доктор Шпайер, — превосходит праведницу из Притч Соломона. О той сказано, что ее обаяние — ложь, а красота — пустое, только благочестие достойно хвалы. Однако Frau Karnowski обладает всеми достоинствами.

— Бесспорно, бесспорно, ее обаяние и красота — не ложь и не грех, они только подчеркивают ее моральные качества. Вот так-то, господа, — расцветает в улыбке профессор Бреслауэр. — Поосторожней, мой дорогой раввин, — грозит он пальцем. — Смотрите, расскажу вашей жене...

Гости улыбаются. После серьезного разговора о Торе они отдыхают за непринужденной беседой. Недоволен только хозяин, Довид Карновский. Хоть он тут моложе всех и его лицо светится энергией и жизнью, он не любит пустых разговоров. Другое

дело — просвещение, наука. Он как раз рассказывал о редкой книге, которую нашел у букиниста Эфраима Вальдера на Драгонер-штрассе, и ему не нравится, что гости заболтались с женщиной.

— Так вот, господа, — перебивает он, — этот мидраш — уникальное издание...

Лея выходит. О мидраше ей нечего сказать. Кроме того, она знает: Довид не любит, когда она при посторонних сидит у него в кабинете. Она до сих пор не научилась хорошо говорить по-немецки, делает ошибки, вставляет еврейские словечки, вгоняя мужа в краску. Смущенная, она выходит из комнаты. От комплиментов она вдруг почувствовала себя, как служанка, которая сделала всю работу и теперь может отдыхать. В столовой горит свет, но по углам лежат густые тени, и в просторной комнате Лее становится грустно и одиноко, когда она садится на диван и начинает штопать чулки мужа.

Хоть она уже несколько лет живет в этом большом городе, она все так же одинока, как в первый год по приезде. Она до сих пор тоскует по дому, по родителям, подругам, по улочкам родного местечка по ту сторону границы, в котором она родилась и выросла. Муж хорошо обращается с ней. Он верен ей, он обеспечивает ее всем, чем надо. Но они редко бывают вместе. Днем он занят торговлей, вечером книгами или принимает гостей, с которыми ведет ученые беседы о Торе. А Лея ничего не понимает ни в Торе, ни в торговле. Соседи —

чужие люди. Встретятся на лестнице, поздороваются, и все. Лея не знает, как спастись от одиночества. Только по праздникам они с мужем вместе ходят в синагогу. Он в цилиндре, она в праздничном платье и украшениях, они идут пешком, она опирается на его руку. По пути встречаются знакомых, тоже наряженных, идущих важно, не спеша. Мужчины снимают цилиндры, женщины приветствуют друг друга кивком головы. Бывает, спросят, как дела, как здоровье, и разойдутся.

Хоть и веселая, дружелюбная, Лея никак не может сблизиться с этими дамами. Она не уверена ни в своем немецком, ни в своих манерах, чувствует себя чужой, робеет. Она не может привыкнуть к тому, как в синагоге читают молитвы: слова на святом языке звучат странно, будто их выговаривает не кантор, а христианский священник. Хор поет, доктор Шпайер произносит проповедь. Он говорит с деланным воодушевлением, жестикулирует, и это так не вяжется с его подтянутой фигурой и холодным взглядом. Раввин Шпайер уснащает свою речь цитатами из немецких философов и поэтов, украшает ее изречениями из священных еврейских книг. Женщины в восторге от проповедей доктора Шпайера.

— Божественно! — восклицают они. — Как вы считаете, Frau Karnowski?

— Да, конечно, конечно, — соглашается Лея, хоть она не поняла из всей проповеди ни слова. И

в молитвеннике, переведенном на немецкий, она тоже понимает немного. Ничего еврейского в этой синагоге, молитвах, свитках Торы. Даже сам Бог кажется Лее чужим в этом разукрашенном гойском храме. Как ее мать там, дома, Лея хочет излить Всевышнему свое женское сердце, назвать Его отцом, но она не решается сделать это в роскошном дворце, больше похожем на банк, чем на дом Бога.

Довид Карновский очень доволен своей синагогой и ее прихожанами. Они хорошо его приняли. Время от времени ему выпадает честь вынуть свиток Торы из ковчега. Когда читают свиток, он водит по строчкам серебряной указкой. Вызванные к чтению пожимают ему руку, как положено по обычаю, после молитвы все желают ему доброй субботы. Довид очень горд. Когда-то его изгнали из Мелеца, а теперь просвещенные и богатые берлинские евреи оказывают ему такие почести. Он хочет, чтобы Лея тоже гордилась, но она не может этого оценить. С друзьями мужа она чувствует себя чужой и лишней. И еще более чужой и лишней она чувствует себя, когда они наносят визит доктору Шпайеру. Хотя он и реформистский* раввин, его супруга очень благочестива. Она не только молится три раза в день, но оmyвает руки и произносит благословение перед каждой чашкой кофе со сладкой булочкой. При этом она, как и ее муж, очень начитанна, помнит

* Реформизм — течение в иудаизме, стремящееся приспособить законы Торы к условиям современности.

наизусть множество стихов. Она происходит из семьи потомственных франкфуртских раввинов и прекрасно знает Тору. Она бездетная, поэтому она никогда не говорит о детях, но, словно мужчина, любит уснащать свою речь цитатами из Писания. Еще она помнит родословные старейших еврейских семей не только Франкfurта и Берлина, но и всей Германии. Знает, кто от кого происходит, кто с кем породнился, кто чего стоит. Все ее гости — такие же уважаемые и знатные люди, как она сама. В основном это пожилые женщины, наряды и дети их уже не интересуют, но они охотно говорят о браках, приданом, подарках, родословных. Жена раввина Шпайера — царица в своем доме. Она не просто говорит, а вещает, то и дело цитируя отца или деда.

— Мой дед, великий франкфуртский раввин, как-то сказал в субботней проповеди... — сообщает она с гордостью.

А Лее Карновской нечего сказать о своих дедах, арендаторах из польских деревень. Однажды она попыталась вставить слово о сыне, но госпоже Шпайер не интересны разговоры о детях, лучше она расскажет про своих предков. Только на улице Лея Карновская переводит дух.

— Довид, милый, — просит она идущего рядом мужа, — пожалуйста, не бери меня больше на эти визиты.

— Ради Бога, говори по-немецки, — отвечает Довид.

Немецкий язык для него — это образование, свет, Моисей Мендельсон, мудрость еврейского народа. Язык, на котором говорит Лея, — это Мелец, тамошний раввин, хасиды, глупость и невежество. Довид боится, как бы этот язык не услышали на улице: еще, чего доброго, подумают, что он из тех, кто селится на Драгонер-штрассе.

Дома Карновский читает жене лекцию. Сколько раз он ей говорил, чтобы не забывала, кто она. Она больше не провинциалка из Мелеца, она — мадам Карновская, жена Довида Карновского, настоящего берлинца. Довид Карновский не может ходить в гости один, словно он холост или постоянно в ссоре с женой. Они будут ходить вместе, как принято у приличных людей. Она должна научиться вести себя в обществе, ей надо работать над собой, больше читать, как он, чтобы его не позорить. Главное, она должна выучить язык, усвоить грамматику. Чтобы как следует овладеть немецким, ей надо забыть жаргон, на котором говорят в Мелеце: он портит ей произношение. Пусть привыкает к новой жизни, как он, Довид. Никто не распознает в нем чужака. Лея слушает наставления мужа, и ей нечего ответить. Что она может сказать? Что ей одиноко?

Когда ей совсем плохо, она садится писать письма домой родителям, сестрам, подругам, брату, который живет в Америке. Всю душу, всю свою

печаль изливает она в этих письмах на родном еврейском языке.

Довид не понимает, о чем можно столько писать. Правда, он тоже много пишет, но он пишет о делах, торговле, счетах за древесину или же, на древнееврейском языке, о просвещении и образовании. А о чем может писать жена, да еще в этот Мелец? Но он ничего не говорит. Лишь иногда из любопытства бросит взгляд на исписанный листок, усмехнется про себя над ошибками в древнееврейских словах да смуглой ладонью погладит Лею по гладким, будто шелковым волосам. А она прижмется к нему всем своим мягким, теплым телом.

— Довид, ты меня любишь? — спрашивает она. — Никого у меня нет, только ты и ребенок.

Ее любовь заставляет Карновского забыть обо всем: и о манерах, и о просвещении. Только об одном он не может забыть: о немецком языке, он говорит на нем даже самые нежные слова. Лея чувствует себя обиженной. Ласковые слова на чужом языке ей не по душе. Нет в них настоящей любви.

3

В магазине Соломона Бурака, недалеко от галицийско-польского квартала, шумно и многолюдно: толстые пожилые немки в огромных шляпах с цветами и лентами, прикрывающих высокие прически; худые, бледные жены рабочих с детьми

на руках; светловолосые девушки в длинных цветастых платьях, с зонтиками. Женщины ходят по огромному залу, до потолка набитому всевозможными товарами: постельным бельем, ситцем, сукном и шелком, чулками и фартуками, атласными подвенечными платьями и фатами, ползунками для детей и саванами для покойников. Продавцы и продавщицы, нарядные, проворные, черноволосые и черноглазые, ловко и быстро обслуживают многочисленных покупателей, отмеряют, прикидывают, улыбаются, разглаживают материю, подсчитывают цену, пакуют товар.

— Следующая, дамы, следующая, пожалуйста, — подгоняют они женщин, стоящих в очереди.

За кассой сидит мадам Бурак, принимает деньги, умело отсчитывает сдачу пухлыми пальчиками в перстнях.

— Danke schön*, danke schön, — повторяет она, беспрестанно улыбаясь людям и деньгам.

Самый ловкий, быстрый и нарядный в магазине — хозяин Соломон Бурак. Худощавый, светловолосый, в щегольском клетчатом костюме английского сукна, на шее красный галстук, в кармане пиджака шелковый платочек, на указательном пальце правой руки перстень с печаткой. Бурак больше похож на немецкого комедианта или циркового артиста, чем на владельца магазина, расположенного по соседству с еврейским

* Большое спасибо (нем.).

кварталом. И по-немецки он говорит, как коренной берлинец: у него сочный, свободный уличный язык. Но по быстрым, нервным движениям в нем сразу можно распознать еврея, и не немецкого, а выходца из Восточной Европы. Как вихрь носится он по огромному залу, рассекает толпу покупательниц, всюду успеваает.

— Червонец туда, червонец сюда, — говорит он продавцам, — лишь бы дальше. Люблю, когда дело движется.

Это его принцип с тех пор, как он, совсем еще молодой, перебрался сюда из Мелеца и начал возить товары по немецким деревням. Этого же принципа он придерживался тогда, когда открыл мануфактурную лавку в самом центре еврейского квартала, и остался верен этому принципу до сего дня, став владельцем крупного магазина. Ему нравится покупать, продавать и покупать снова. Он приобретает товар партиями, чем больше, тем лучше. Он скупает ткани, вышедшие из моды, скупает брак, скупает то, что осталось после банкротств и пожаров, всё, что дешево. А что недорого купил, то недорого продает. Он продает товар за наличные, расплачивается им по вексялям, отпускает в кредит. Хоть он и выбрался из еврейского квартала и имеет в основном немецкую клиентуру, он, в отличие от большинства торговцев в этом районе, не скрывает, что он еврей. Его еврейское имя написано на вывеске большими бук-

вами: Соломон Бурак. Он не пытается набирать в продавцы светловолосых немецких парней и девушек, чтобы покупатели не догадывались о его еврейском происхождении. Пусть лучше рядом будут его родственники и родственники жены, которых он приглашает из Мелеца. Им хорошо, и ему хорошо: он дает им заработок и при этом знает, что на них можно положиться, все-таки свои люди. Те, что помоложе, быстро перенимают язык и местные манеры, они работают в магазине. Те, что постарше, ездят собирать долги по кредитам.

Онемечившиеся еврей-торговцы не любят Соломона Бурака. Он сбивает цены, продавая по дешевке, но хуже другое: он перенес из России еврейские обычаи и привычки сюда, в самое сердце Германии. Им не нравится имя Соломон, написанное на вывеске гигантскими буквами. Они считают, что такая еврейская наглость раздражает гоев.

— Зачем этот Соломон? — спрашивают они Бурака. — Достаточно одной фамилии. Ну, если уж так хочется, чтоб было имя, хватило бы буквы С.

Бурак хохочет над соседями. Он не видит в «Соломоне» ничего плохого. Он не понимает, что они имеют против его продавцов. На уличном немецком, которому он научился, разъезжая по деревням, с пословицами, поговорками и крепкими выражениями, то и дело вставляя родное еврейское словцо, он доказывает недовольным соседям, что у него с его вывеской дела идут лучше,

чем у них с их немецкими продавцами. Хоть его имя Соломон, гои, черт бы их взял, идут к нему, потому что у него на пару пфеннигов дешевле.

— Как говорится, еврей — треф, зато его пфенниг — кошер.

Он не щадит своих единоверцев, ни соседей-торговцев, ни фабрикантов, у которых закупает товар огромными партиями, ни банкиров, у которых берет кредиты. Он доказывает им: пусть они местные, немчики бог знает в каком поколении, гои ненавидят их точно так же, как его, чужака, и всех остальных евреев, так что нечем им гордиться перед ним, Соломоном Бураком.

— Как говорится, еврей не хорош, но хорош еврейский грош, — заканчивает он рифмой и потирает руки — знак, что все тут ясно.

Почтенные черноглазые берлинцы, с завистью глядя на светлые волосы чужака, беспокойно качают головами. Они знают, что он прав, факты есть факты, но уж очень неприятно слышать такое от бывшего коробейника, который так бесцеремонно ворвался к ним на улицу. Эти люди с такими именами, замашками, языком и деловыми методами дискредитируют старожиллов. Приехали и притащили с собой те самые обычаи и привычки, которые они, местные, много лет так тщательно и успешно скрывали.

— Хватит об этом, — пытаются они сменить тему.

Но Соломон Бурак не хочет менять тему. Именно потому, что им это не нравится, он заводит такой разговор при каждом удобном случае. По той же причине он любит вставлять еврейские слова, когда говорит с фабрикантами и банкирами. Им от этого становится не по себе. Но он говорит так не только с евреями. Когда в магазине слишком разборчивая покупательница начинает крутить носом, Соломон Бурак уверяет с самым серьезным видом:

— Так то ж последний писк коломыйской моды. Модель тринадцатый номер, чтоб я так жил... Правда, Макс?

Как и в магазине, в просторном доме Бурака всегда шумно. Там постоянно полно родственников, друзей, знакомых, в основном его земляков из Мелеца. Если женщина приезжает к известному немецкому профессору или молодая семья собирается в Америку, они непременно заезжают к Шлоймеле Бураку, к Соломону, как он здесь себя называет. Останавливаются у него на несколько дней, а то и недель, едят за большим столом, спят на мягких кроватях. Соломон Бурак сам смеется над своим домом, называет его «Отель де Клоп», но просто в шутку, а не потому, что не любит гостей. Когда жена от них устает, он говорит:

— Надо жить и людям помогать.

Нередко в «Отель» заглядывает Лся Карновская, землячка Соломона и Иты Бурак.

Когда ее муж дома, Лея не приходит к Буракам. Довид Карновский не любит навещать земляков из Мелеца. Он сам приезжий, поэтому с другими приезжими старается встречаться как можно реже. Ему вообще хотелось бы вычеркнуть из памяти годы, прожитые по ту сторону границы. Кроме того, Бураки и там были ему чужими, он их в глаза не видел. Но слышал, что они бедняки и невежды, а он, Карновский, образованный человек, из известной семьи, ему не пристало общаться с простолюдинами. Когда Бураки однажды неожиданно явились в гости к Лее Карновской и Соломон, с сигарой в зубах, панибратски хлопнул Довида по плечу, тот посмотрел на него с такой злостью, что Бураки сразу поняли: им тут не рады.

— Я не желаю их видеть, — сказал потом Довид Лее. — Забудь про них, это неподходящее общество для жены Довида Карновского.

Поэтому Лея избегает встреч с земляками. Однако, когда Довид на несколько дней уезжает по делам в Бремен или Гамбург, на нее в пустом доме нападает такая тоска, что она просто не знает, куда себя деть, и украдкой отправляется к Буракам. Ита Бурак и ее муж Соломон встречают ее с распростертыми объятиями.

— Это ж Лея, дочь реб Лейба Мильнера! — всплескивает руками Ита. — Соломон, Шлой-меле, посмотри, кто пришел!

Соломон тоже ей рад.

— Не иначе как медведь в лесу сдох, раз мадам Карновская пожаловала в дом Соломона Бурака! — смеется он.

Когда-то, по молодости, он научился в дешевых танцевальных залах обращаться с дамами, и теперь он элегантно помогает Лее снять пальто, принимает у нее зонтик.

— Муж в отъезде? — спрашивает Ита, целуясь с Леей, которая уже успела снять шляпу с перьями и вуаль.

— В отъезде, — отвечает Лея и неловко оправдывается, что вынуждена встречаться с ними украдкой.

Соломон смеется, подбегает к печке и внимательно смотрит, не пошли ли по ней трещины. Есть в Мелеце такая примета: если неожиданно является почетный гость, печь может развалиться. Ите шутки мужа кажутся грубоватыми, и она привыкла его сдерживать.

— Шлоймеле, — говорит она строго, — Соломон, оставь печку в покое!

Лея смеется над старой шуткой, ей хорошо, ей легко и уютно в этом доме. Хочется улыбаться и радоваться.

Ита тоже хохочет, она вообще любит посмеяться. А Соломон, довольный успехом, продолжает.

— Как поживает пасхальный индюк? — спрашивает он.

— Какой индюк? — не понимает Лея.

— Ну как же, герр Карновский, — поясняет Соломон. — Все такой же надутый?

Это уж слишком, Ита толкает мужа в бок.

— Шлоймеле, ты забываешься, — говорит она. — Пойди лучше скажи девушке, пусть подаст на стол.

Лея ест булочки с маком, рогалики, бублики. Точно такие же пекли дома к субботе. Она с удовольствием пробует варенье и медовую запеканку.

— Как у нас, в Мелеце, — говорит она. — Мамочки мои, до чего же вкусно.

А гости все прибывают. Дом Бураков открыт для всех. Служанки даже не спрашивают, кто пришел, сразу впускают. Приходят не только родственники или те, кто служит в магазине, заявляются также всевозможные маклеры и агенты. Приходят с надеждой на помощь мелкие лавочники из еврейского квартала. Наносят визиты раввины из Галиции и писатели. Больные, приехавшие к заграничному профессору, просят денег на лечение, отцы собирают приданое для засидевшихся дочерей, приходят погорельцы и нищие. От Соломона Бурака никто не уйдет с пустыми руками.

— Надо жить и людям помогать, — говорит он, быстро отсчитывая деньги.

Комнаты, уставленные новой мебелью, украшенные статуэтками и цветными гравюрами, полны народу. На кухне не прекращается готовка. Немки-служанки, которых Ита научила го-

товить еврейские блюда, делают запеканку и цимес*, фаршируют рыбу, нарезают лапшу, пекут медовые коржики и без конца подают угощение. Облака сигаретного дыма, смех, разговоры. Франты-продавцы говорят о торговле, девушках, стычках с антисемитами, девушки — о моде, свадьбах, приданом. Сборщики долгов по кредитам рассказывают о плательщиках, о приличных и непорядочных гоях. Но больше всего говорят о Мелеце. Здесь знают обо всем, что там происходит: кто разбогател, кто разорился, кто умер, у кого родился ребенок, кто на ком женился, кто с кем поссорился, у кого сгорел дом, кто уже уехал в Америку, кто только собирается. Лея Карновская ловит каждое слово, ее щеки пылают от любопытства и счастья. Она снова дома. Весь город, все его жители встают у нее перед глазами. Вдруг она вспоминает, что загостилась, и пытается подняться с места, но ее не отпускают.

— Что же ты пойдешь, Лея? — говорит Ита, держа ее за руки.

Лея не заставляет себя упрашивать. Она хочет отдохнуть от изнурительных визитов к госпоже Шпайер, от скучной, унылой жизни. Здесь не надо следить за собой, можно говорить свободно, вести себя, как дома, болтать о нарядах и готовке, рассказывать о сыне и слушать рассказы Иты о ее детях, а главное, тут можно смеяться по любому поводу, как

* Сладкое блюдо, обычно из тушеной моркови с медом.

в родительском доме, когда Лея еще не вышла замуж. Подают ужин, Лея на седьмом небе.

— Надо же, клецки, рыбный суп! — радуется она. — Как у нас!

За ужином хозяин сочно и увлекательно рассказывает о своих приключениях, о том, какие несчастья причиняли ему крестьяне и их собаки, когда он разъезжал по деревням с чемоданом, полным товара, пока Бог не помог ему разбогатеть. Гости смеются над глупыми немцами и над немецкими евреями, которые, точь-в-точь как гои, на дух не переносят евреев из Польши, просто давить их готовы.

— А чего вы хотите? Даже в Познани ведь тоже когда-то польскими были, а теперь нос задирают, — говорит один с досадой.

— А наши что, лучше? — возражает Соломон. — Лишь только чуть выбьются в люди, на своих и смотреть не хотят.

Ита слышит, что муж говорит не то в присутствии Леи, и снова его одергивает:

— Шлоймеле, ты слишком много болтаешь. Не подавись косточкой, Соломончик.

Она всегда называет его обоими именами, и Шлоймеле, и Соломон.

Шлоймеле-Соломон делает глоток домашней пасхальной сливовицы, которую пьет круглый год, и машет рукой: да ну их, и немцев, и немецких евреев, и познаньских, и всех остальных.

— В гробу я их видал, — заявляет он. — Они все должны шляпу снимать перед Соломоном Бураком, не будь мое имя Шлойме.

И на радостях, что все будут снимать перед ним шляпу, он заводит зеленый граммофон и ставит любимую пластинку с канторским напевом, которую купил в лавке Эфраима Вальдера на Драгонерштрассе. Голос с пластинки дрожит, вздыхает, сладко растягивает слова, взывает к Всевышнему, как дитя к отцу. Будто вернулось время, когда Лея, еще девочкой, приходила с матерью в синагогу на молитву перед Йом-Кипуром. Она не знает древнееврейского языка, но вслушивается в знакомые слова молитвы. Жестяной говорящий ящик возносит ее к Богу, словно кантор с целым хором.

— Господи! — вздыхает она. — Отец наш небесный...

4

Довид Карновский, верный заветам своих учителей, строго следил, чтобы его сын рос евреем дома и человеком на улице. Но немецкие соседи по улице видели в маленьком Георге не человека, а еврея.

Двор на Ораниенбургер-штрассе не слишком велик, но народу в нем всегда много. Квартира, в которой живут Карновские, расположена по фасаду. Эти квартиры — большие, просторные, парадные лестницы — чистые и широкие, над вы-

сокими двойными дверями газовые лампы. Окна выходят на улицу. Детей в этих квартирах мало. Зато жилища, окна которых выходят во двор, — маленькие, тесные, и детей в них полно. Вокруг мусорных баков во дворе шныряют кошки и собаки, роются в отбросах. Из распахнутых окон доносятся женские крики, пение. Где-то стрекочет швейная машинка, где-то лает собака. Бывает, во двор заходит шарманщик и начинает петь под шарманку солдатские или любовные песни, женщины высовываются из окон и слушают. Дети бегают по всему двору, особенно возле помойки.

Среди светловолосых, бледных и голубоглазых ребятишек Георг единственный черноволосый, черноглазый и смуглый. Хоть он из квартиры окнами на улицу, он все время во дворе. Георг выделяется не только внешностью, но и характером, он заводит во всех играх, играют ли в войну, в разбойников, в зайцев и охотников. Он командует другими ребятами, и они слушаются. Но Георг не только верховодит, он еще и наказывает тех, кто не хочет ему подчиняться. Черные глаза горят огнем, смуглые щеки покраснелись. Сверкая крупными, не слишком ровными, но очень белыми зубами, он распоряжается коротко постриженными, светловолосыми мальчишками и веснушчатými девчонками с тугими косичками, не церемонясь выталкивает из круга тех, кто своей неловкостью портит игру.

— Вечно эти бабы все портят! — злится он.

— Черный! — кричат в ответ «бабы». — Обезьяна!

Его внешность — первое, что бросается в глаза, — отличает его от всех остальных.

Георг не остается в долгу и тут же как следует поддает обидчицам. Девочки с плачем бегут к родителям, во дворе появляется разгневанная мамаша и начинает лупить Георга вязальной спицей.

— Ах ты, жиденок! — орет она. — Я тебе покажу, как руки распускать!

Маленький Георг был очень удивлен, когда его впервые так называли. Мама каждый вечер подносит его к мезузам, чтобы он поцеловал их перед сном, и папа уже научил его еврейским буквам, но он не знал, что из-за этого он еврей. Он был уверен, что дети, с которыми он играет во дворе, говорят по вечерам те же самые смешные слова и учат те же самые странные буковки. Взволнованный, он прибежал к маме:

— Мама, они говорят, что я еврей.

Лея Карновская погладила его по мягким черным волосам.

— Сынок, не бери в голову, — сказала она. — Это плохие дети, не дружи с ними. Мы будем ходить в сад, там ты будешь играть с хорошими детьми.

Но Георг недоволен.

— Мам, а что такое Jude?

— Еврей — это тот, кто верит в единого Бога, — говорит Лея.

— А я тоже еврей?

— Конечно.

— А ребята во дворе? — не понимает Георг.

— Нет, они христиане.

— Кто такие христиане?

Лея задумалась.

— Это те, кто молится не в синагоге, а в церкви, — пытается она объяснить. — Вот наша служанка Эмма — христианка. Понятно, сынок?

Это Георг понял, но не понял, почему из-за этого его называют во дворе евреем или даже жиденком.

Когда он начал ходить в школу, одноклассники стали говорить ему, что он из тех, кто распял Христа. На уроке Закона Божьего ему и еще нескольким мальчикам, таким же черноволосым и смуглым, велели выйти из класса. Георг был одновременно и рад, что его отпустили с занятий, и напуган, что его считают не таким, как все. Одноклассники растолковали ему, в чем дело:

— Еврею не положено знать об Иисусе Христе, потому что вы распяли нашего Господа.

Георг снова пошел к маме.

— Мама, а почему говорят, что мы распяли Христа?

Лея Карновская пытается с материнской заботой объяснить сыну, что гои служат идолу, который сделан из дерева и висит на кресте, прибитый за руки и за ноги гвоздями. Христиане говорят, что его прибили евреи.

— Мам, это правда?

— Глупый ты мой, — отвечает Лея. — Бог один, Он живет на небе, никто не может Его увидеть. Так как же люди могли Его распять?

Георг смеется над детьми, которые верят в такие глупости. Но почему же взрослые, которые все знают, даже учитель Закона Божьего герр Шульце, тоже в это верят? Мама не хочет об этом говорить, и Георг идет на кухню, чтобы спросить служанку:

— Эмма, ты ведь христианка, да?

Девушка старательно разглаживает утюгом манжеты хозяйской рубашки.

— Да, — говорит она, — я католичка.

— Что значит католичка?

— Ну, есть протестанты, а есть католики.

Чтобы Георг лучше понял, Эмма может ему показать. У нее над кроватью, рядом с фотографией солдата, висят на гвоздике четки. Тот, у кого есть такие, католик, у кого нет, протестант, объясняет она. На нитке бус висит маленькое медное распятие.

— Кто это? — спрашивает Георг.

— Наш Господь Иисус Христос, — говорит Эмма, благочестиво подняв глаза.

— Эмма, это твой Бог?

— Да, — отвечает Эмма, — это Он, распятый на кресте.

Георг заявляет, что Бог сильнее человека и не дал бы себя распять. Эмма не знает, что на это ответить.

— Так нельзя говорить про нашего Господа Иисуса Христа, чертенок, — только и может она возразить.

Георг уже понял, что многого от девушки не добьешься, но он хотел бы знать только одно: она тоже думает, что он, Георг, распял Христа?

— Конечно, все евреи такие, — твердо говорит Эмма. — Так священник в церкви сказал.

Она даже сама видела, как евреи это делали. На Пасху в церкви показывали, как все было. Господь Иисус, в белых одеждах, с терновым венцом на голове, шел впереди, неся на плечах крест. Евреи, с длинными бородами, черные такие, стегали его до крови. Другие плевали на него. Если Георг не верит, она может в воскресенье взять его в церковь, пусть сам посмотрит.

И вот в воскресенье, втайне от хозяйки, она привела его в церковь. Георг увидел окна с цветными стеклами, свечи, хор мальчиков в белых рубахах и, главное, огромную фигуру Христа, вырезанную из камня и раскрашенную яркими красками. Из раны на сердце сочилась кровь. Еще Георг увидел коленапреклоненных женщин у ног Христа, бородастых мужчин с добрыми лицами и обручами вокруг длинноволосых или лысых голов и злых, с разбойничьими глазами и горбатыми носами.

— Эмма, — шепнул Георг, дернув ее за подол платья, — кто это?

— Это евреи распинают Иисуса Христа.

Вдруг Георг почувствовал ненависть к этим людям, особенно к одному, в длинной красной рубахе и с серьгой в ухе, как у палача на картинках в детских книжках. Но он не мог понять, почему мальчики в школе говорят, что он, Георг, тоже распял Христа. Увидев, что он ничего не добьется ни от мамы, ни от служанки Эммы, Георг пошел к тому, кто знает все на свете, — к отцу. Вернувшись из церкви, он сразу бросился к нему в кабинет:

— Папа, почему евреи распяли Господа Иисуса Христа?

Довид Карновский застыл в кресле. Сперва он захотел узнать, кто ему такое сказал. Потом предупредил, что детям о таких вещах рассуждать не положено. Но Георг умел добиться ответа. Еще совсем маленьким он любил разбирать игрушки, чтобы узнать, откуда ноги растут. Он ломал свистульки, чтобы понять, откуда берется звук, разбирали часы, чтобы выяснить, почему они ходят, паровозики, чтобы узнать, почему они бегают, когда их заведут ключом. Он обо всем спрашивал «почему» и мог повторить вопрос сотню раз, пока не получал ответ.

— Warum? — спрашивал он снова и снова. — Почему так?

И теперь ответ отца его не устроил. Он хотел знать точно, почему все-таки евреи распяли Господа Иисуса. За что? И почему ребята в школе говорят, что это сделал он, Георг, хотя он тут ни

при чем? Даже взрослые, женщины во дворе, так говорят и называют его Jude.

Довид Карновский увидел, что так просто от ребенка не отделаешься, и заговорил с ним, как со взрослым. Он подробно рассказал ему, что есть евреи и христиане, что люди бывают разные, есть образованные и умные, которым дороги мир и взаимоуважение, а есть глупые и злые, которые сеют ненависть и вражду. И закончил тем, что он, Георг, должен искать друзей среди добрых и умных и быть достойным человеком и настоящим немцем.

— Папа, но ведь все говорят, что я еврей, — поправил Георг.

— Это дома, сынок, — ответил Карновский. — А на улице ты немец. Понял?

Но Георг не понял. Как любой ребенок, он знал, что добро — это добро, зло — это зло, белое — это белое, а черное — это черное. Карновскому ничего не осталось, как сказать сыну, что тот еще слишком мал, вот подрастет — поймет. Георг вышел из кабинета недовольный. Впервые он усомнился, что большие так умны. Не только мама и служанка многого не знают, но даже отец. Георг долго думал над прозвищами, которыми награждают его во дворе, но размышлениями от недругов не отделаешься, и он каждый раз пускал в ход кулаки, когда кто-нибудь кричал ему: «Jude!»

Ему не хотелось ходить с мамой в сад, где играют хорошо воспитанные дети, его тянуло во двор.

Иногда его называли там евреем, но зато там можно было играть во что хочешь, носиться, стоять на голове, прятаться за мусорными баками, слушать шарманку. А когда он близко подружился с Куртом, сыном консьержки, его авторитет во дворе так вырос, что никто уже не осмеливался называть его даже обезьяной, не то что евреем.

Курт был во дворе старше всех. Кроме того, его мать, вдова, была консьержкой, она могла разрешить ребятам играть где угодно, а могла и разогнать их веником. К тому же у них в подвале жил швейцар из гостиницы, который приходил домой в мундире с блестящими пуговицами и брюках с золотыми лампасами. Сперва Георг и Курт сдружились благодаря шоколаду. У Георга в кармане матроски всегда лежала плитка шоколада, которую мама давала ему втайне от отца, и Георг позволял Курту откусывать от плитки, сколько тот хотел. Потом их дружба окрепла настолько, что они поклялись в ней и скрепили клятву кровью, проколов себе булавкой мизинцы.

С той поры для Георга началась счастливая жизнь. У Курта жили кролики и морские свинки, и он приводил Георга посмотреть на зверьков, а еще он разрешал Георгу покормить пестрого попугая с взъерошенными перьями и крючкова-тым клювом. Никто во дворе больше не отваживался обозвать Георга, только мама той вредной девчонки, из-за которой когда-то все началось,

по-прежнему иногда называла его жиденком, но Георг привык к этому, как привыкают ко всем неприятностям, перестал обращать внимание и жаловаться родителям, он больше не рассказывал им о своих приключениях. Но однажды произошло страшное и непонятное событие.

Наблюдая за кроликами и морскими свинками, Георг увидел, что зверьки спариваются, но не понял, что они делают. Он решил, что лучше спросить Курта, чем родителей, и тот все объяснил в самых простых выражениях.

Георг был потрясен. Особенно его поразило, что у людей, оказывается, все точно так же и именно от этого появляются дети.

— Врешь ты все, — рассердился он на друга.

Значит, и папа с мамой так делали? Он не мог в это поверить, это же так мерзко. Но Курт смеялся над ним и клялся, что так и было. Он сам видит каждую ночь, как это делают его мать и швейцар из гостиницы. Они думают, что Курт спит, но он только претворяется спящим и все видит. Георг размышлял несколько дней, крепко размышлял и в конце концов поверил Курту. Много из того, что он раньше видел, но не понимал и пытался узнать у матери, теперь стало ясно. Мама заговаривала ему зубы, она лгала ему. Только Курт сказал правду. Георг совсем перестал доверять родителям, уж очень сильно они упали в его глазах. Теперь он будет все узнавать сам.

Как любой упрямец, Довид Карновский не терпел упрямства в других, а Георгу упрямства тоже было не занимать.

На целый день Довид отправлял сына на уроки в гимназию имени принцессы Софии, а вечером приходил молодой раввин герр Тобиас и учил Георга древнееврейскому языку, Пятикнижию и еврейской истории. Георг одинаково ненавидел как светские, так и еврейские дисциплины. Отметки у него были хуже некуда.

Каждый раз, увидев отметки сына, Довид Карновский впадал в ярость. Способный самоучка, вынужденный осваивать немецкий язык по переводу Мендельсона, он думал, что сын будет благодарен ему за возможность получить образование, будет стараться и радовать отца хорошими отметками. Не тут-то было. Георг не только не был благодарен, но пытался любым способом отлынить от занятий. У Довида не укладывалось в голове, что его сын не хочет учиться. Карновскому было ясно как день, что эту черту Георг унаследовал от матери.

— Посмотри, какие чудесные отметки принес твой сын, — говорил он жене, каждый раз нажимая на слово «твой».

Лея краснела, как юная девушка.

— Что значит «твой сын»? — спрашивала она обиженно. — Он такой же мой, как и твой.

— В нашей семье все стремились к знаниям, — отвечал Довид.

Особенно Довида огорчало, что у Георга, несомненно, была хорошая голова, как у всех Карновских, но он не хотел приложить ее к учебе. Сначала Довид пытался поговорить с сыном по-доброму, помня слова мудрецов, что злой человек не может быть воспитателем и наставником. Он доказывал, что мальчик должен хорошо учиться, убеждал, что плод учения сладок, что именно знания отличают человека от животного. Да вот, например, у них во дворе. Кто живет в хороших квартирах окнами на улицу? Кто хорошо одевается? Кто пользуется уважением? Образованные. А кто такие рабочие и прислуга из тесных каморок? Они тяжело трудятся с утра до вечера, но их ни во что не ставят. Это простые, неученые люди. Верно как дважды два четыре, что он, Георг, должен принадлежать к миру уважаемых и состоятельных. А для этого всего-то и надо приложить голову к учебе, а не водиться с такими, как сын консьержки, который вырастет невеждой и несчастным голодранцем.

— Георг, ты понял, что я тебе сказал? — спросил Карновский.

— Да, папа, — ответил Георг.

Но на самом деле он не понял.

Ему гораздо больше нравилась жизнь бедных обитателей двора. Вот, например, герр Каспер, который живет в угловом доме и развозит боч-

ки с пивом на огромной платформе. Сильный, веселый, каждый раз, проезжая мимо на телеге, запряженной парой тяжеловозов, он разрешает ребятам немного прокатиться. Над ним живет полицейский герр Райнке, бывает, он ходит в мундире, а бывает, в штатском. Когда он одет в штатское, у него на голове зеленая шапочка с пером. Его соломенные усы лихо закручены вверх, а руки украшены татуировками якорей и женских головок, и еще он умеет играть на кларнете. Сын герра Райнке говорит, что иногда отец дает ему подержать револьвер. Герр Егер из мансарды снимает шкуры с разных зверей и птиц: сов, оленей, лис, диких уток и павлинов, а потом раздает красивые перья. И даже у консьержки, которая живет в подвале, есть кролики, морские свинки и попугай. К ней по воскресеньям приходят гости, танцуют и поют.

Георг завидовал этим людям, он хотел бы быть одним из них. Особенно он завидовал их детям. Пусть отцы иногда протягивают их ремнем, зато они могут гулять, сколько угодно, летом купаться, зимой кататься на коньках. За ними не присматривают, как за Георгом, матери не трясутся над ними. Они могут держать дома собаку, у всех есть, только у Георга нет.

Слова отца звучат для Георга смешно и нелепо. Он отдал бы все роскошные комнаты с мебелью за каморку в подвале и кроликов, как у Курта.

Довид Карновский требовал, чтобы сын приходил поздороваться с гостями. Он хотел приобщить его к миру знаний и Торы. Как сказано в книгах, стань пылью под ногами мудрецов. Довид хотел показать ему, как выглядят люди науки, профессора и раввины. Гости хорошо относились к маленькому Георгу, особенно профессор Бреслауэр. По-стариковски ущипнув его за смуглую щечку, он спрашивал, кем Георг собирается стать в жизни.

— Ну, и кем же ты будешь, когда вырастешь? Банкиром, торговцем? А может, профессором? Учись прилежно и всего добьешься. Как сказал Элиша бен-Абуя*, тот, кто начал учиться смолоду, пишет на новой бумаге, кто в старости — на ветхой, которая скоро рассыплется. Понимаешь, Junge?

Георг чувствовал отвращение к учебе, когда видел этих людей. Бородатые, в очках, с маленькими ермолками на макушках, говорившие на слишком правильном, искусственном языке, таком пресном по сравнению с сочным языком улицы, они казались Георгу глупыми и смешными. Если такими становятся от прилежной учебы, то извините. Как на иголках сидел он в отцовском кабинете, прислушиваясь, не донесется ли с улицы свист Курта, сигнал, что надо встретиться в подвале.

Там, в темной каморке, среди кроликов и морских свинок, они говорили о более важных делах.

* Элиша бен-Абуя (I — II вв. н. э.) — один из мудрецов Талмуда, впоследствии ставший отступником.

Сперва они решили, что станут полицейскими, будут охранять Берлин, расхаживая по улицам в касках, мундирах и с саблями на боку. Затем они решили, что лучше быть матросом, носить тельняшку и брюки клеш и путешествовать на корабле по всему свету. Но потом им стало совершенно ясно, что лучше всего быть офицером в армии, носить серебряные эполеты, начищенные до блеска сапоги, пелерину и монокль в глазу. Они маршировали по комнате, высоко поднимая ноги и нагоняя страх на кроликов и морских свинок.

Поняв, что добром он ничего не добьется, Довид Карновский решил действовать по-другому. Он стал наказывать сына, прогонял его из-за стола, чтобы тот ел на кухне.

Но Георга это не сильно волновало. Обедать на кухне было гораздо приятней, чем сидеть в столовой и выслушивать наставления. Да еще Эмма рассказывала о деревенской жизни или о солдатах и матросах, с которыми она встречалась. Хуже было, когда отец порол за плохие отметки.

Лея бледнела от ужаса.

— Довид, что ты делаешь? — кричала она. — Это же наш мальчик, наш единственный...

— Кто жалеет розог, тот ненавидит своего сына, а кто его любит, тот наказывает, — отвечал Карновский цитатой из Притч в немецком переводе, чтобы убедить жену, что делает это во благо. Силой он пытался заставить ребенка полюбить

учебу и учителей, но Георг все равно не любил учебу, а учителей — тем более. Особенно он ненавидел историю Германии, которую преподавал в гимназии профессор Кнейтель, и древнееврейскую грамматику, которой обучал его герр Тобиас дома.

С первого же дня между Георгом и профессором Кнейтелем возникла неприязнь. Профессору нравилось вызывать ученика Карновского не только по немецкому имени, которое ему дали для улицы, но и по еврейскому, которое ему дали только для синагоги.

— Георг Мозес Карновский! — выкрикивал профессор Кнейтель на весь класс.

Мальчишки каждый раз начинали хихикать.

— Эй ты, Мозес, — поворачивались они к нему, хоть Георг и сам прекрасно слышал зычный голос учителя.

Больше всех, услышав еврейское имя, веселился Печке, школьный поэт, исписавший стишками все стены и двери туалетов.

— Мозес из Египта, из древнего манускрипта, — рифмовал он тут же.

Из-за герра Кнейтеля Георг возненавидел его предмет. Вместо того чтобы слушать учителя, он втихаря рисовал на него карикатуры. Профессора Кнейтеля с его внешностью так и хотелось нарисовать. Худой, лысый, три волосины приклеены к голому черепу блестящей помадой, острый кадык ходит на тонкой шее, торчащей из накрахмаленного

воротничка, длинные, тощие руки, белые манжеты. Профессор носил старомодный черный сюртук, сильно зауженный в талии, заношенный до жирного блеска. На рисунке Георг делал лысину и кадык учителя побольше, глаза, и без того небольшие, поменьше, старательно вырисовывал огромные манжеты, белые, как чашки из дешевого фарфора.

Манжеты плохо держались на узких запястьях профессора. Бывало, воодушевившись, он взмахивал рукой, и манжет летел через весь класс, так что кому-нибудь из учеников приходилось поднимать его и подавать учителю.

Все предметы, кроме своего, профессор Кнейтель глубоко презирал. Он знал все войны, которые германцы вели со времен Рима до сего дня. Он помнил имена всех полководцев, даты рождения и смерти всех королей, принцев, принцесс, курфюрстов и генералов. К его геморроидальному, бледному, как пергамент, лицу прилиwała краска, когда он заводил речь о нибелунгах. Он пламенно декламировал стихи о сражениях гигантов, в которых отцы и сыновья убивали друг друга, о битвах принцев со сказочными драконами. Когда он доходил до борьбы Зигфрида с Брунгильдой, профессор Кнейтель даже начинал петь высоким, хриплым голосом, пока не срывался на визг.

Георг Карновский никогда не мог правильно ответить, где и когда произошла битва Фридриха Барбароссы, князя Швабии, с Генрихом Львом,

князем Баварии. Еще меньше он знал о всяких там Зигфридах, Гантерах, Брунгильдах и Кримгильдах, кто кого убил, у кого с кем была любовь. Профессор Кнейтель приходил в ярость. Другие еврейские ученики из класса прекрасно знали историю Германии, зачастую гораздо лучше своих немецких товарищей. Из своей богатой практики профессор Кнейтель знал, что еврейские ученики всегда лучшие, как он думал, благодаря их природной нахрапистости. Поэтому он был уверен, что незнание Георга Мозеса Карновского происходит не от тупости, а от нежелания изучать предмет профессора Кнейтеля, важнейший из всех предметов. Профессор воспринимал это как личную обиду. Он ставил Георгу плохие отметки, выгонял его из класса, оставлял после уроков, заставлял писать сочинения о великих полководцах и героях. Однажды он вызвал в гимназию Довида Карновского, чтобы тот узнал, какой у него невоспитанный сын.

В тот раз у Георга получилась особенно удачная карикатура. Он пустил ее по классу, и мальчишка с первой парты не выдержал и прыснул в ту самую минуточку, когда профессор Кнейтель вдохновенно повествовал о битвах Германа Херуска, своего любимого героя. Профессор тут же завладел бумажкой, рассмотрел ее через очки, и не только его пергаментные щеки, но даже лысина вспыхнула от гнева. Герр Кнейтель увидел на листке человечка с тремя волосинами на огромном

лысом черепе, точь-в-точь как у него самого. Из шеи человечка выпирал острый кадык, манжеты развевались, как крылья. Профессор узнал себя, но не мог поверить в такую дерзость. Однако под рисунком был написан издевательский стишок, в котором упоминались и фамилия Кнейтель, и развевающиеся манжеты. Это было чересчур. Они вздумали смеяться над его славным родом, в котором были судьи, пасторы и даже один генерал!

Профессора бросило в дрожь от гнева и обиды.

— Кто это сделал?! — взвизгнул он.

— Я, герр профессор, — сознался Георг.

— Георг Мозес Карновский, — протянул профессор Кнейтель. — Не удивляюсь.

Сперва он дважды ударил Карновского линейкой по пальцам, затем запер его в школьный карцер до вечера, а напоследок послал за отцом, чтобы тот явился назавтра в гимназию.

Довид Карновский надел праздничный пиджак, как поступал всегда, если собирался на важную встречу, и причесал острую бородку. Когда профессор Кнейтель показал ему творение Георга, Довид рассердился не на шутку. Серьезный человек, он всегда считал рисование глупостью, пустой тратой времени, а карикатур вообще терпеть не мог. Шаржи на известных людей в газетах раздражали его, он усматривал в них преувеличение и ложь, то, что он ненавидел.

— Вы правы, герр профессор, стыд и позор.

Он назвал учителя профессором, хотя тот был профессором всего лишь в гимназии.

— Совершенно верно, стыд и позор, герр Карновский, — обрадовался герр Кнейтель.

Еще больше Довид Карновский рассердился, когда герр Кнейтель прочитал ему стишок под рисунком.

— Я не могу этого слышать, герр профессор, — сказал он учителю. — Это слишком отвратительно, слишком мерзко.

— Совершенно верно, отвратительно и мерзко, — повторил за рассерженным отцом герр Кнейтель.

На прекрасном немецком с безукоризненной грамматикой Довид Карновский излил душу профессору Кнейтелю, высказал все, что думает о молодом поколении, которое не знает ни благодарности, ни уважения. Он цитировал, переводя для профессора на образцовый немецкий, множество стихов из Притч, множество изречений о мудрости и добродетелях. Профессор, в свою очередь, отвечал цитатами из немецких философов и поэтов.

— Весьма приятно было познакомиться с таким благородным, умным человеком, — закончил беседу профессор Кнейтель, потными пальцами пожимая сухую, горячую ладонь Довида Карновского. — Огорчает только, что сын не хочет идти по стопам отца. Честь имею.

— Всего доброго, герр профессор, — ответил с поклоном Карновский. — Уверяю вас, мой сын будет наказан, не сомневайтесь.

Он сдержал слово. Довид Карновский всыпал единственному сыну по первое число.

— Будешь еще рисовать на уроках? — приговаривал он. — Будешь про учителя стишки сочинять? Вот тебе за рисунки! Вот тебе за стишки!

Георгу досталось на орехи, но зато он сильно вырос в глазах одноклассников и из-за рисунков, и, еще больше, из-за того, что ему хватило мужества признаться Кнейтелю.

Какое-то время школьный поэт Печке еще цеплялся к Георгу. Он не мог смириться с тем, что вместо него героем класса стал Карновский. Когда мальчишки на перемене доставали бутерброды и менялись сыром и ветчиной, Печке каждый раз предупреждал:

— Только с Мозесом из Египта не меняйтесь, ему свинину нельзя.

Георг не захотел оставаться в долгу и сочинил про Печке стихотворение, над которым покатывалась со смеху вся школа. Печке понял, что словами ему Георга не победить, и решил воспользоваться кулаками, чтобы преподать этому Мозесу хороший урок. Георг принял вызов, и весь класс собрался, чтобы посмотреть на драку. Хоть Печке был выше и руки у него были подлиннее, Георг, крепкий, коренастый, и не думал сдаваться. Они

долго не могли одолеть друг друга. Только когда в руке у Печке оказался изрядный клок черных волос Георга, а в смуглой руке Георга — пучок светлых волос из солдатского ежика Печке, ярость противников утихла и они заключили мир.

А война с профессором Кнейтелем все продолжалась, не хотел Георг слушать его лекции о немецкой истории. Назло учителю он даже налег на другие предметы, особенно на математику, и стал по ней одним из лучших в классе. Особенно раздражали профессора издевательские вопросы Георга. Герр Кнейтель доказывал ученикам, как важно помнить все даты, имена королей и курфюрстов, знать биографии полководцев и великих поэтов.

— Кто хочет понимать поэта, должен знать его биографию, — закончил он.

— Почему, герр профессор? — спросил Георг с невинным видом, чем рассмешил весь класс.

Герр Кнейтель был уверен, что нахальство Георга — национальная черта. Такие это люди: или слишком тихие, как другие еврейские мальчики из класса, или, наоборот, слишком наглые. При очередной стычке с Георгом профессор решил на это намекнуть. Он рассказал в классе анекдот про одного торговца с Александер-плац, у которого была привычка отвечать вопросом на вопрос. Когда его спросили, почему на все вопросы он отвечает словом «почему», он ответил: «Почему бы нет?»

И герр Кнейтель, который раньше никогда не шутил на уроках, громко расхохотался над собственным анекдотом. Ученики покраснели, поняв, на что намекает учитель, кого он подразумевает под торговцем с Александер-плац. Только Георг не смутился.

— Герр профессор, этот анекдот был напечатан в календаре за прошлый год, — показал он свою осведомленность.

Мальчишки со смеху легли на парты.

Хуже уроков профессора Кнейтеля были только уроки раввина Тобиаса, который приходил по вечерам, чтобы учить с Георгом Тору, древнееврейский язык и особенно Пиркей-Овес*.

Против раввина Тобиаса Георг ничего не имел. Мягкий, тихий человек с грустными испуганными глазами, успевший привыкнуть к тому, что дети ненавидят его уроки, герр Тобиас вызывал скорее сочувствие, чем неприязнь. Но все, что он преподавал, казалось мальчику совершенно ненужным. Георг никак не мог понять, почему он должен зубрить грамматику чужого, бесполезного языка. Ему не нравилось звучание слов, не нравились квадратные еврейские буквы, не нравились грамматические правила, по сравнению с которыми даже латинский плюсквамперфект казался простым и ясным. Поэтому он даже начал ненавидеть самого учителя, хотя иногда испытывал к нему жалость.

* Пиркей-Овес («Наставления отцов») — трактат Талмуда.

— Следуй заветам отца своего, дитя мое, и не забывай наставлений матери своей, — тянул герр Тобиас плачущим голосом, — ибо они — прекрасный веноч для головы твоей и украшение для шеи твоей...

Георг зевал ему в лицо. Старомодный немецкий учителя и бесконечные наставления мудрецов нагоняли на него тоску. Он терпеть не мог этих древних раввинов с такими именами, как рабби Халафта из Кфар-Ханании, рабби Ниттай из Арбеля и тому подобное. Георга раздражало, что они требуют без конца учиться и трудиться, он не понимал смысла их изречений, но любил рисовать мудрецов, бородатых, со злыми лицами, как он их себе представлял. Даже их имена вызывали у него смех.

— Смешные они, — заявил он как-то на уроке.

— Кто, Георг?

— Ну, эти, рабби Халафта и рабби Ниттай.

Черные глаза раввина Тобиаса стали еще испуганней, чем обычно.

— Ради Бога, — попросил он ученика, — не говори так о великих людях.

— Почему, герр Тобиас? — не понял Георг.

Герр Тобиас не нашелся что ответить, только глубоко вздохнул.

— Давай-ка еще раз повторим, — пробормотал он со страданием во взгляде, — что мы запомнили из Притч Соломона...

Георг, увидев, что время занятий вышло, стрелой помчался во двор. Он учился в гимназии, но остался в дружбе с Куртом, сыном консьержки. В тесной, пропахшей плесенью каморке, куда сквозь зарешеченное окошко едва проникал свет, друзья проводили самые счастливые часы. Они стреляли из игрушечных пистолетов, которые сумели где-то выменять, и читали детективные романы. Дома Георг не мог их читать, отец не разрешал. На стенах Георг рисовал мелом профессора Кнейтеля и толстых голых женщин с огромными грудями, а Курт очень интересно рассказывал о том, чем занимаются по ночам его мать и швейцар из гостиницы.

— Взрослые — придурки, — смеялся Курт, — думают, мы ничего не видим и не понимаем.

Когда Георгу исполнилось тринадцать, отец послал его к раввину Шпайеру, чтобы тот подготовил мальчика к бар мицве*. С деланным воодушевлением, которое так не соответствовало его холодному взгляду, доктор Шпайер рассказывал Георгу Карновскому об ответственности, которая ляжет на него, когда он станет взрослым человеком. Как только его отец произнесет в синагоге: «Благословен Ты, освободивший меня от ответственности за него», он, Георг, станет совершеннолетним и сам должен будет отвечать за свои поступки. Перед ним лежат два пути, как Бог пере-

* Бар мицва — совершеннолетие, наступает в тринадцать лет и отмечается как праздник.

дал еврейскому народу через Моисея: «Смотри, Я дал тебе жизнь и смерть, добро и зло, чтобы ты сам выбрал путь добра».

Доктор Шпайер уже не одну сотню раз читал мальчикам эту лекцию, он мог бы произнести ее слово в слово, если бы его разбудили среди ночи, и ему хотелось поскорее закончить. Но с Георгом вышло не так гладко. Когда доктор Шпайер начал называть его Мозесом, как в синагоге, мальчик поправил:

— Меня зовут Георг, герр доктор.

Раввин назидательно поднял палец.

— Георг ты на улице, сынок, — объяснил он, — а в синагоге ты Мозес, Моисей.

— Я везде Георг.

Доктор Шпайер был вынужден уделить Георгу на несколько минут больше, чем обычно уделял другим. Он поведал о муках, которые еврейский народ претерпел за Тору, и закончил тем, что Георг должен гордиться своим именем и принадлежностью к Моисеевой вере.

Как всегда, Георг спросил:

— Почему я должен гордиться, герр доктор?

Холодные глаза доктора Шпайера засверкали.

— «Страх пред Господом — начало познания. Глупцы презирают мудрость и наставление», — многозначительно процитировал он Притчи. — Знаешь, откуда это?

Георг с вызовом ответил, что не помнит. В его ответе звучали упрямство и насмешка. Доктор

Шпайер задумался. Его предки уже много поколений жили в Германии, и он решил, что причина такого поведения — происхождение из Восточной Европы, именно оттуда приходят все несчастья. Вслух, однако, он этого не высказал. Доктор Шпайер сумел скрыть свой гнев, помня, что ученому мужу не подобает проявлять чувства.

— Всего доброго, — холодно сказал он, давая понять, что Георгу лучше уйти.

Когда Довид Карновский все узнал, он так разозлился, что даже забыл на время немецкий и обласкал сына на родном еврейском языке, теми самыми словами, которые когда-то, мальчишкой, слышал от своего отца. Он напоролил жене, что из парня вырастет голодранец, выкрест, ворюга, короче, ничего хорошего.

— Сапожнику в подмастерья отдам! — кричал он. — Господи прости!

6

После Георга у Карновских не было детей, но через пятнадцать лет Лея снова забеременела.

Она была счастлива, как бездетница, о которой наконец-то вспомнил Бог. Хоть у нее уже был сын, она все эти годы чувствовала себя виноватой перед мужем, что больше не может родить, а ведь и ее мать, и сестры, и другие родственницы рожали детей одного за другим. И еще она страдала от того,

что не знала, куда себя деть. Она никак не могла привыкнуть к чужому городу. Чем дальше Лея здесь жила, тем более одиноко она себя чувствовала. Муж все больше погружался в торговлю и науку. Всю материнскую нежность Лея изливала на единственного сына, кормила его и умывала, укладывала спать, даже купала, старалась все время быть с ним вместе. Но Георг уставал от ее опеки. Он стал стыдиться ее, после того как Курт рассказал, откуда берутся дети. Чем старше Георг становился, тем больше отдалялся от матери. Лея страдала.

— Негодник, дай хоть разок тебя поцеловать, — просила она, — хоть перед сном.

— Я не девочка, — отвечал Георг.

Когда он засыпал, Лея подкрадывалась к кровати и покрывала его поцелуями. Ей хотелось не столько получать, сколько дарить ласку, она не могла равнодушно пройти мимо ребенка на улице, радовалась, увидев малыша в коляске, и сдерживалась, чтобы его не поцеловать, только потому, что боялась рассердить родителей. Втайне от мужа она ходила на прием к берлинским профессорам. Каждое лето, приезжая в Мелец, она плакала, рассказывая матери о своей беде. Мать давала ей всевозможные советы и украдкой, чтобы Довид не узнал, даже съездила с ней в соседнее местечко к ребе просить помолиться за Лею.

И вот через пятнадцать лет, когда она уже потеряла всякую надежду, хоть ей было только не-

много за тридцать, Лея забеременела. Она была счастлива и взволнованна. Пустота и тоска ушли, лишь только она почувствовала первое шевеление в своем теле. Она стала готовиться, шить рубашечки и ползунки. Она целовала эти рубашечки, прижимала их к сердцу, как живые существа. Когда ребенок начал толкаться у нее в животе, она вместе с болью почувствовала такую радость, что у нее дыхание перехватило.

— Довид, я так счастлива, боюсь только, как бы, не дай Бог, чего не случилось, — говорила она с беспокойством. — Не сглазил бы кто.

Довид Карновский не понимал ни ее счастья, ни ее страхов.

— Женщина есть женщина, — посмеивался он над Леей.

Черствость мужа обижала Лею, она молила Бога, чтобы родилась девочка, которая поймет материнское сердце, примет ее нежность и отплатит любовью за любовь. Она мечтала, как будет наряжать дочку, расчесывать, завязывать ей бантики. Лея была настолько занята крошечным существом в своем теле, что даже ее чувства к первенцу немного остыли. Она, как прежде, оберегала его, беспокоилась о нем, огорчалась, что он плохо ест, хотя за обедом он уплетал за обе щеки, но такой же нежности, как к будущему ребенку, уже не испытывала. Она даже стала стесняться его, как постороннего мужчины. Ей было неловко

перед ним за растущий живот, будто она, в ее-то годы, вдруг сделала какую-то глупость.

— Что ты так смотришь, Мойшеле? — спрашивала она, краснея, и прикрывала живот руками.

— Да что тебе все кажется? — отвечал Георг, злясь, что мать угадала его мысли.

Он был очень обеспокоен и растерян, пятнадцатилетний Георг, мать которого готовилась принести в мир новую жизнь. В последнее время он вытянулся, рос не по дням, а по часам. При этом он очень похудел, полные руки стали по-мужски жилистыми, на шее проступил кадык, на щеках и верхней губе появились черные волоски. Он говорил то басом, то высоким мальчишеским голоском. Говоря, он мог вдруг вскрикнуть, как молодой петушок, и очень этого стыдился. Прежняя нагловатая уверенность сменилась застенчивостью. Но самое ужасное — прыщи, усеявшие все лицо. Георг сдирал их, но чем больше он это делал, тем больше их высыпало. По ночам он видел необычные сны.

Учился он плохо, с каждым днем все хуже, отец наказывал и ругал его. Друзей, с которыми можно было бы поделиться, у него не осталось. Курта отдали в ученики шорнику, теперь он появлялся дома только по воскресеньям. Георг радовался ему, но Курт держался холодно. Они здоровались, и рука Курта была незнакомой, твердой и шершавой от работы, остро пахла кожей, краской и клеем. И такими же незнакомым, чужим был его

разговор, серьезный, сдержанный разговор человека, который начал взрослую жизнь и давно выкинул из головы детские глупости. Какая-то приземленность и в то же время важность, солидность звучали в каждом его слове. Граница пролегла между учеником ремесленника и гимназистом из состоятельной семьи, а потом их дружба и вовсе сошла на нет. Немецкие ребята из гимназии были приятелями, но не друзьями. Они смеялись, когда он подшучивал над учителями, вместе они ходили туда, где уличные девушки ищут клиентов, но убегали, когда те приглашали их самих.

Изредка Георг бывал у одноклассников дома. С одним из них он даже сблизился настолько, что парень предложил ему дружбу. Звали его Гельмут Кольбах. Однако никакой радости эта дружба Георгу не доставляла.

Они были одного возраста, учились в одном классе, но Гельмут Кольбах очень сильно отличался от Георга Карновского. Крутлый сирота, живший с бабкой, которая получала государственную пенсию, Гельмут был тихим и очень сентиментальным. Его мягкие, золотистые волосы вились, как у девочки, нежные белые руки легко пахли душистым мылом. Мальчишки в гимназии называли его женским именем: фройляйн Трудель. Георгу с самого начала было не по себе, когда одноклассник начал приставать со своей дружбой. Ему совсем не интересно было смотреть альбо-

мы в плюшевых переплетах, наполненные фотографиями покойных родителей Гельмута, стихами, засушенными цветами и бабочками. Ему не нравилось, когда в своей чистенькой комнатке Гельмут садился за пианино и тонкими пальцами играл печальные, нежные мелодии. Говорил Кольбах очень грамотно и культурно. Каждый раз, когда Георг употреблял крепкое уличное выражение, Гельмут краснел, его смущало даже слово «идиот». Разговаривать с ним была скука смертная. Но самое ужасное — это его странная преданность и ревность. Он дико ревновал, стоило Георгу лишь проявить симпатию к кому-нибудь из одноклассников, злился, устраивал сцены, потом писал записочки на розовой надушенной бумаге. Георгу эти обиды, упреки, записки были смешны и, главное, совершенно не понятны. Он начинал избегать Гельмута, но тот всегда находил путь к примирению, уговаривал, делал подарки и бывал счастлив, когда их дружба восстанавливалась. Мальчишескому самолюбию Георга льстило, что он властвует над чьей-то радостью и горем.

После ссор с отцом и огорчений из-за ломающегося голоса и прыщей Георгу было особенно приятно, что кто-то его боготворит, но через какое-то время Гельмут начинал ему надоедать. Раздражала его навязчивость, манеры, тонкие девчоночьи ручки и хилое тело, которому совершенно не шла мужская одежда. Георг предпочи-

тал оставаться один на один со своими переживаниями. Он чувствовал себя потерянным, никому не нужным. Мать часто посещала клинику профессора Галеви, отец всегда ходил с ней. То, что мать занята подготовкой к родам, освобождало от родительской опеки, но в то же время обижало и беспокоило. К тому же в доме постоянно крутились всякие женщины. Чаще других приходила Ита Бурак, хоть это и не нравилось Довиду. Она по-женски хлопотала, подшучивала над Георгом, что скоро он перестанет быть единственным ребенком в семье. Однажды она привела дочку, Рут. Девушка была ровесницей Георга, но выглядела гораздо старше: рано созревшая, с телом взрослой женщины, округлыми бедрами и полной грудью, проступавшей под жакетом, украшенным золотыми пуговицами от горла до туго затянутого пояса. Когда Ита Бурак представила дочь Георгу, он ни с того ни с сего покраснел и тут же разозлился и на самого себя, и на девушку, которая, конечно, заметила его смущение.

— Георг Карновский, — пробурчал он под нос, стараясь говорить низким мужским голосом, быстро протянул и еще быстрее отдернул руку и попытался скрыться в своей комнате, но это ему не удалось.

— Георг, разве так можно? — засмеялась Лея. — Пригласи фройляйн Рут к себе, развлеки ее. Нам с госпожой Бурак надо поговорить.

Георг с деланной учтивостью пригласил девушку в комнату. Когда они выходили, Ита Бурак шепнула Лее:

— Красивая пара...

Она сказала очень тихо, но Георг услышал, еще больше смутился и из-за этого еще больше разозлился.

Но насколько он был взволнован, настолько девушка была спокойна. Она шутила, смеялась, предложила помериться ростом, чтобы посмотреть, насколько он выше. Потом захотела станцевать с ним вальс. Чувствуя тепло ее тела, ее горячее дыхание, Георг танцевал плохо, его рука потела в ее руке. Он смущался все больше, и чем больше он нервничал, тем спокойнее становилась Рут.

Когда гости ушли, Георг перевел дух, но беспокойство не проходило. Он отправился к Гельмуту. Гельмут обрадовался ему, начал рассуждать о ребенке, которого собиралась родить мать Георга.

— Кого ты больше хочешь, братишку или сестренку? — спросил он.

Георгу не хотелось говорить об этом. Вообще-то ему было все равно. Ну да, малыши забавные. Гельмут его не понимал. Вот он бы все на свете отдал, чтобы у него была сестренка, такая пухленькая, со светлыми волосками, такой ангелочек, которого можно целовать. У него никогда не было ни брата, ни сестры.

Вдруг у него на глазах показались слезы, он схватил ладонь Георга и крепко сжал тонкими, белыми пальцами. Георг отдернул руку, ему стало неприятно. Гельмут вздрогнул.

— Георг, поклянись, что всегда будешь моим другом, — попросил он.

— Я ж и так твой друг, — сказал Георг.

— Да, но я все время думаю, что ты можешь меня бросить, найти новых друзей, — жалобно заговорил Гельмут, — а я так тебя люблю.

— Идиот, — выругался Георг.

Вместо того чтобы тоже сказать какую-нибудь грубость, Гельмут неожиданно наклонился к Георгу и поцеловал его в щеку. Георг с отвращением оттолкнул его. Гельмут упал, из носа потекла кровь. Георгу стало страшно. Минуту он ждал. Он думал, что друг обругает его или даже полезет в драку, но вдруг Гельмут разрыдался. Испуганный Георг выбежал на улицу, думая, что больше никогда сюда не придет.

Растерянность и стыд полностью овладели им, он ходил по улицам, забрел в квартал притонов и дешевых ресторанчиков со светящимися вывесками. На тротуарах толпились уличные девушки.

— Эй, красавчик, пошли со мной, — зазывали они его.

Георг шел все дальше и дальше. Когда он вернулся домой, было уже совсем поздно. Родителей не было. Он пошел на кухню, к Эмме, их единственной служанке. Она сидела и обметывала

широкие дамские панталоны. Кофточка на груди была утыкана иголками с ниткой. Эмма почувствовала на себе его взгляд.

— Что с тобой? — спросила она и рассмеялась, показав зубы и даже десны.

— Ничего. — Георг был не в силах отвести взгляд от ее колышущейся груди.

— Есть хочешь?

— Нет.

— А чего хочешь?

Георг молчал. Эмма щелкнула его по носу.

— Мама пошла к аисту за ребеночком, — сообщила она ему, словно маленькому.

Георг почувствовал себя обиженным.

— Что я, по-твоему, совсем дурак? — спросил он с досадой.

Эмма снова засмеялась:

— Я думала, ты еще веришь в аиста.

Георг все сильнее ощущал волнение в крови. Смех Эммы, ее полная грудь, мягкая шея, округлые бедра под сукном юбки возбуждали его, его глаза загорелись. Эмма заметила, что с ним происходит.

— Ты красивый парень, Георг, — вдруг сказала она. — Высокий брюнет, как твой отец. Вот только прыщи...

Георг не знал, что ответить, а Эмма все смеялась.

— Бесстыжий, — ругала она его. — Я давно заметила, когда убирала твою постель...

— Еще что-нибудь такое ляпнешь, в зубы заеду, — ответил Георг на языке, который частенько слышал в доме Курта.

Эмма не больно-то испугалась.

— Сопливый еще. Ну, попробуй! — сказала она с вызовом и отложила в сторону рукоделие.

Георг приблизился и схватил ее. Он почувствовал в руках тепло ее полного, мягкого тела, и служанка не успела оглянуться, как он повалил ее на пол. Эмма боролась, не переставая смеяться:

— Бесстыжий, бесстыжий...

Юбка на ней задралась, Георг увидел ее белое, круглое колено. Впервые в жизни он увидел часть женского тела, всегда скрытую одеждой. У него помутилось в голове.

— Ну, кто сильнее? — прохрипел он.

Эмма не торопилась прикрыться.

— Ах ты, наглец, — ругала она его, — бессовестный какой...

Вдруг она обхватила его руками и прижала к себе так сильно, что он не мог вдохнуть. Как когда-то, в детстве, когда она раздевала его перед сном, она стала стаскивать с него одежду.

— Осторожней, — бормотала она, — на иголку не наткнись.

По-простому, называя вещи своими именами, она учила его, что надо делать.

— Наглец, бесстыжий, — повторяла она, целуя его и покусывая...

Эмма собрала иголки и снова принялась за шитье, а Георг стоял, растерянный и тихий. В нем смешались стыд, счастье, сожаление, радость. Его охватила внезапная любовь к этой женщине и в то же время чувство вины перед ней. Из книжек Георг знал, что женщины всегда плачут, согрешив, и готов был ее утешать. Он казался себе насильником.

— Эмма, — промямли он, — мне так неловко, правда...

Эмма пожала полными плечами, будто услышала какую-то глупость.

— И какой подарок ты мне купишь за рождение братика или сестрички? — спросила она деловито.

Георг не знал, что ответить. Он никогда не дарил подарков женщинам. Эмма подсказала, что он может просто дать ей денег, которые он готов потратить, а она сама себе что-нибудь купит. Георг вытряхнул все содержимое кошелька, несколько марок и мелочь, и высыпал Эмме на ладонь. Эмма спрятала деньги за пазуху.

— Danke*, — сказала она равнодушно.

И спокойно, будто ничего не случилось, снова принялась за шитье. Ее лицо было тупым, как морда коровы, которая, только что исполнив свой ежегодный долг, опять поедает траву. Георг стоял, не зная, что делать. Женская душа была для него загадкой. Эмма отправила его с глаз долой.

* Спасибо (нем.).

— Георг, иди спать, у меня еще работы много.

Эмма объяснила несколько важных вещей, пока стелила ему постель. Во-первых, он ни в коем случае не должен об этом никому рассказывать, даже лучшим друзьям. Во-вторых, чтобы он не ходил к уличным девкам, как делают глупые мальчишки. Зачем деньги тратить? Да еще какую-нибудь заразу можно подцепить. В-третьих, пусть он лучше отдает свои карманные деньги ей, и все у них будет хорошо.

— Понял?

— Да, — пробормотал Георг в ответ.

Лея родила девочку, как и мечтала. Когда она вернулась из клиники профессора Галеви, она не узнала своего первенца. Кожа у него на лице стала гладкой и чистой, взгляд — спокойным и мягким, нервный блеск в глазах исчез. И говорил он теперь тоже спокойно и мягко, даже поцеловал мать. И маленькую сестренку поцеловал. Материнское чутье подсказало Лее, что с ее сыном что-то случилось. Она беспокоилась, но молчала. Кроме того, она была слишком занята новорожденной.

Довид Карновский тоже заметил изменения, которые произошли с сыном. Георг стал гораздо усидчивее, начал лучше учиться. Теперь он приносил хорошие отметки. Отец не понимал, откуда взялось такое усердие, как раньше не понимал, откуда у сына отвращение к учебе.

— Ein rätselhafter Junge*, — сказал он жене. — Странный он какой-то...

— Скорей бы увидеть его взрослым, — мечтательно ответила Лея, подняв глаза к лепному потолку.

7

В старых облупившихся зданиях на Драгонерштрассе, в еврейском квартале, который гои в насмешку называют Еврейской Швейцарией, находятся всевозможные лавчонки, мелкие гостиницы и синагоги.

В мясных лавках на окровавленных столах мясники разделявают туши с печатями, которые удостоверяют, что животное кошерно, заколото по всем правилам под наблюдением раввинов. Женщины в черных и светлых густых париках, которые совсем не идут их рано состарившимся, усталым лицам, внимательно наблюдают за мясником, чтобы не обвесил. Хоть народ тут и беден, за кусок мяса приходится платить больше, чем в шикарных дорогих магазинах. Здесь не доверяют берлинским резникам, которые стригут бороды, говорят по-немецки и бьют скот под надзором бритомордых реформистских раввинов. Здесь согласны отдать пару лишних пфеннигов за фунт, лишь бы скотина была заколота

* Непонятный мальчик (нем.).

своим резником с Драгонер-штрассе, из польских или галицийских евреев, которые в чужой стране не сменили ни одежды, ни обычаев и за которыми наблюдают свои раввины из квартала.

В гостиницах и ресторанчиках с нарисованными на оконных стеклах шестиконечными звездами и с вывесками, на которых написано, что здесь все кошерно и вкусно и что дорогие гости будут обслужены по высшему разряду, шныряют между столиками бритые официанты в шелковых ермолках, разносят еврейские блюда: печень, фаршированные кишки, селезенку, морковный цимес, куриный бульон с лапшой. Посетители, в широкополых шляпах или кепках, как у велосипедистов, — или неженатые парни, старьевщики, которые крутятся на богатых улицах и покупают ношеную одежду, или отцы семейств, коробейники, у которых жены и дети остались за границей, на востоке, вот им и приходится обедать в забегаловках. Скупленное тряпье грудами лежит у их ног на полу. Есть тут и пекари из еврейских пекарен, и портные-поденщики, эмигранты, которые застряли в Берлине, потому что не хватает денег на билет в Америку, и женщины, которые приехали к знаменитым профессорам лечить застарелые болезни, и нищие праведники. Те, что постарше, произносят перед едой благословения и торгуются с официантами. Молодые смеются, говорят о торговле, поют, играют в кости и карты.

В продовольственных лавках и пекарнях выставлены калачи, яичные коржики, домашний черный хлеб, лепешки с луком, маком и тмином. Еврейская вывеска на выкрашенном в красный цвет облезлом отеле «Кайзер Франц-Иосиф» сообщает, что хозяин, реб Герцеле Вишняк из города Броды, встретит гостей наилучшим образом и дешево возьмет как за комнату, так и за постель. В отеле также можно справить свадьбу, хозяин предоставит раввина и музыкантов. Здесь лучшая еда и вина, все кошерно.

Из синагог и молелен, зажатых между лавками, лавочками и лавчонками, выходят старые евреи с талесами под мышкой, евреи в бархатных шляпах, какие носят в Галиции, и с длинными бородами, евреи с подстриженными, причесанными бородами и в котелках, сдвинутых на затылок, евреи с длинными пейсами, с короткими пейсами и без пейсов. Из открытого окна доносятся голоса мела-меда и учеников. Под фонарями, возле лошадей и телег, стоят извозчики, нищие, бездельники, курят, сплевывают. Высокий, жирный полицейский в каске, с закрученными кверху усами, как у кайзера Вильгельма, важно прохаживается по тротуару, заваленному объедками, обрывками бумаги и конским навозом. Блатные величают его по званию:

— Guten Tag, Herr Kapitan*.

— Tag! — небрежно бросает в ответ полицейский, не спуская глаз с домов и людей.

* Здравствуйте, господин капитан (нем.).

В книжном магазинчике реб Эфраима Вальдера, приткнувшемся между лавкой старьевщика и портняжной мастерской, толпятся покупатели. Из гигантской трубы зеленого граммофона посреди недели несется субботний напев. Покупатели выбирают пластинки. Праведные евреи приобретают талесы, молитвенники, мезузы и филактерии*. Женщин интересуют истории про разбойников, принцесс и волшебников или книжки со стихами и песнями. Мальчишки в коротких курточках покупают зачитанные до дыр книжки про Шерлока Холмса. Вперемешку с ермолками, субботними подсвечниками, латунными пасхальными тарелками и старинными фолиантами лежат праздничные белые халаты для мужчин и черные накидки для вдов.

Среди бедных покупателей из квартала стоит мужчина в модном, с иголки, костюме. Это владелец магазина одежды Соломон Бурак, он зашел на Драгонер-штрассе пополнить свою коллекцию еврейских пластинок. Он ставит их одну за другой, с наслаждением слушает. После грустного си-нагогального напева он ставит веселую песенку о старом муже и молодой жене, потом торжествен-

* Кожанные коробочки кубической формы с вложенными в них кусками пергамента, на которых написаны четыре отрывка из Торы. Во время молитвы одна коробочка с помощью кожаного ремня крепится на голове, другая на руке.

ную песню о разрушении Храма. Соломон благочестиво воздевает руки, слушая молитву, пощелкивает пальцами в такт, когда звучат веселые песни, и замирает от печали, когда звучат грустные. Вот он дошел до песни о Срулике, который поедет домой, в прекрасную родную страну. Сам Соломон никуда ехать не собирается, не бросать же магазин, но ему нравятся слова, он с чувством подпевает:

Срулик, поезжай домой,
В край любимый и родной.

Потом — пластинка с веселым свадебным танцем, и Соломон не может устоять на месте, начинает слегка приплясывать под смех мальчишек, которые пришли за книжками о Шерлоке Холмсе.

— Фройляйн Жанетта, а позвольте вас спросить, не могу ли я сегодня вас на танец пригласить? — зовет он продавщицу потанцевать.

Фройляйн Жанетта — старая дева, она постоянно читает французские романы, отрываясь только для того, чтобы отпустить покупателю молитвенник или талес. Продавщица поднимает голову в мелких завитушках и испуганно смотрит близорукими черными глазами:

— А? Что, простите, герр Бурак?

Соломон Бурак переходит с дурашливого немецкого на доверительный еврейский:

— Приглашаю вас на танец, Жанетта. Думаю, вы хорошо танцуете, у вас было время научиться. Nicht so, liebes Fraulein?*

Фройляйн Жанетта кривится, как от зубной боли. Она не любит шуток, особенно когда прохаживаются насчет ее затянувшегося девичества. Еще она не любит, если покупатели ставят пластинки, это мешает ей читать романы о временах, когда прекрасные белокурые дамы в кринолинах играли на арфах, а рыцари в атласных плащах преклоняли перед ними колена, прижимали руку к сердцу и так изысканно, так благородно просили их любви. Но на Соломона Бурака нельзя сердиться за его насмешки. Во-первых, Жанетта хорошо воспитана, а воспитанной девушке не пристало показывать, что она сердится. Во-вторых, Соломон Бурак — выгодный клиент. Как только приходят новые пластинки, он тут же их скупает. И не торгуется, как другие. Вот фройляйн Жанетта и терпит его слова, хоть они так грубы, непристойны и совсем не похожи на прекрасные слова благородных рыцарей из книжек. Как только он уходит, она снова погружается в роман. Сейчас она не на вонючей берлинской улочке, а в мире замков, рыцарей и чистой любви. Поэтому она и называет себя Жанеттой, хотя ее имя Ентл.

Узкая лесенка поднимается из магазина в верхнюю комнату. Там сидит отец Жанетты, реб

* Разве не так, милая девушка? (нем.)

Эфраим. Магазин записан на его имя, но он не занимается делами. Торговлю книгами, талесами и пластинками ведет дочь, чтобы заработать на жизнь. Реб Эфраима интересуют только редкие издания и старинные рукописи. Они лежат на деревянных некрашенных полках, занимающих всю комнату от провалившегося пола до сводчатого потолка.

Высокий, тощий, с седой бородой и волосами до плеч, в засаленной ватной ермолке, с длинной трубкой в зубах, он сидит среди пыльных книг и листов пергамента, роется в них, рассматривает через круглое увеличительное стекло. На огромном деревянном столе, заваленном бумагами, стоит глиняный горшок с гусиными перьями и миска клея. В миску опущены засохшие кисточки. Реб Эфраим старательно склеивает разорванные листы. Гусиным пером он делает заметки на полях или старательно выводит еврейскими буквами стершиеся заголовки. Он не признает стальных перьев, пользуется только гусиными, которыми его снабжает сосед, торговец птицей. Реб Эфраим очиняет их остро отточенным ножиком. Почерк Эфраима Вальдера больше напоминает арабское письмо, чем еврейское, каждую букву он украшает коронками и завитушками, как каллиграф, который пишет свитки Торы.

Частый гость Эфраима Вальдера — профессор Бреслауэр. Он не любит посещать еврейское гетто, но вынужден это делать, потому что среди раввинов и ученых всего города нет больше такого

знатока, как реб Эфраим Вальдер. Кроме профессора Бреслауэра, сюда приходят многие раввины, историки, исследователи иудаизма. Каждый раз Драгонер-штрассе с удивлением наблюдает, как эти важные люди из богатых районов пробираются по грязной улице. Особенно всю Драгонерштрассе поражает, что приходят не только евреи, но также гойские профессора и христианские священники, которым нужно выяснить что-то в еврейской теологии. Из-за этого даже усатый полицейский в каске с почтением относится к старику и отдает ему честь, когда тот выходит из дома.

Но ему нечасто приходится это делать, потому что реб Эфраим Вальдер почти не появляется на улице. Все время с утра до позднего вечера он проводит с рукописями и книгами. В комнате днем и ночью горит маленькая керосиновая лампа: пыльные зарешеченные окна выходят в темный двор и слишком слабо освещают комнату. Возле стола стоит чугунная печка, Жанетта без конца подбрасывает в нее угли, чтобы старику было тепло. На этой же печке она готовит еду, пустой суп в кастрюльке, такой, которой обычно варят бездетные женщины, и постоянно кипятит чайник: старик — большой любитель попить чайку. За день он выпивает множество стаканов с твердым кусочком сахара.

Профессор Бреслауэр и другие посетители хотели бы вытащить реб Эфраима Вальдера из гетто. Они считают, что его дочь могла бы держать книж-

ную лавку на Драгонер-штрассе, но жить им было бы лучше в городе, среди людей, в просторной, светлой квартире. Тогда реб Эфраиму не пришлось бы целый день жечь керосиновую лампу и портить старые глаза. Кроме того, ценные книги и рукописи портятся от пыли, их грызут мыши и черви. Неплохо было бы навести порядок, составить каталог. Но реб Эфраим Вальдер и слушать не хочет.

— Нет, ребе Бреслауэр, — говорит он, — уж лучше я доживу свои годы здесь и так, как мне нравится.

В книгах вся его жизнь. Ни за какие деньги он не продаст свои драгоценности библиотеке или музею, хотя они с радостью бы их приобрели. Более того, он сам тратит на книги все, что выручает за товар его дочь. Букинисты Лемберга, Варшавы, Вильно, Бердичева и всех остальных городов знают, что реб Эфраим Вальдер — большой охотник до редкостей, и обязательно сообщают ему письмом, как только им в руки попадает что-нибудь интересное. Он никому не позволяет даже притронуться к своим книгам, а их у него видимо-невидимо. Он не спускает с них глаз, он не хочет, чтобы кто-нибудь составил каталог. Зачем? Все, что надо, у него в голове. Он помнит все издания не только Талмуда, но и научных трудов, и философских трактатов.

К реб Эфраиму Вальдеру часто заглядывает лесоторговец Довид Карновский с Ораниенбургерштрассе.

Во-первых, он покупает книги из тех, которые имеются у реб Эфраима в нескольких экземплярах. Довид Карновский любит старые книги, особенно разные философские сочинения. Во-вторых, он любит поговорить с реб Эфраимом. Вернее, он не столько говорит, сколько слушает. Реб Эфраиму бессмысленно рассказывать что-нибудь о философии: о чем бы ни зашла речь, ему это давно известно.

— Я знаю, ребу Карновский. — Всех ученых людей он называет «ребу». — Могу показать вам, где это написано.

С юношеской ловкостью он взбирается по лесенке к верхней полке и тут же находит среди тысяч книг нужную, веничком из индюшачьих перьев сметает с нее пыль и огорченно качает головой, увидев, что страницы изгрызены червями.

— Злодеи, ребу Карновский, — говорит он о крошечных существах, посягнувших на его сокровища. — Это о них царь Соломон сказал: «Маленькие лисицы, что портят виноградники».

Но тотчас забывает о них и, глядя на свои книги, радуется, как ребенок. О каждой книге и рукописи он может рассказать целую историю, при этом он показывает столько знаний, что Довид Карновский слушает с открытым ртом. Затаив дыхание, он ловит каждое слово. Когда у реб Эфраима начинает першить в горле от речей и пыли, он зовет дочь и велит налить ему стаканчик чаю. Карновский пользуется паузой, чтобы спросить:

— Реб Эфраим, а что с вашими собственными книгами, которые вы пишете?

Реб Эфраим Вальдер быстро допивает чай с кусочком сахара. Он любит, когда его об этом спрашивают и особенно когда просят прочитать что-нибудь из его сочинений. Он с усилием выдвигает ящик стола и извлекает две рукописи, толстых, исписанных мелкими буквами, сшитых со стороны корешка длинными стежками.

Это главный труд его жизни, он начал его много десятков лет назад, когда еще почти ребенком приехал из Тарнополя в Берлин, чтобы выучиться на раввина, да так и застрял тут, на Драгонерштрассе, до глубокой старости. Уже давно начал он писать свои произведения, но до сих пор не может их закончить. Чем больше пишет, тем больше у него появляется мыслей. Он пишет свои труды на двух языках. Один — на древнееврейском, аккуратными закругленными буквами. На титульном листе красиво выведено: «Строй Учения». Это произведение должно привести в систему мысли почти всей Торы, от Пятикнижия до Вавилонского и Иерусалимского Талмуда. С умом и величайшими знаниями реб Эфраим Вальдер разъясняет темные места, исправляет ошибки, допущенные переписчиками за тысячелетия. Сотни мудрецов делали это до него, но реб Эфраим Вальдер полагает, что и ему осталось немало работы. Годы трудится он над своим произведением, а конца все не видать.

— Древним мудрецам можно позавидовать, ребе Карновский, — говорит реб Эфраим Вальдер, указывая на пожелтевший портрет Рамбама*, прибитый ржавым гвоздиком над столом. — Рабби Мойше бен Маймон, Маймонид, как его называют гои, находил время на все: на медицину, Тору, философию, общинные дела, даже на дискуссии с арабскими учеными и вельможами. Мы, нынешнее поколение, по сравнению с ним ничто...

Второе произведение реб Эфраим пишет по-немецки готическими буквами, украшая первое слово каждой главы. Оно адресовано не евреям. Реб Эфраим Вальдер убежден, что народы мира ненавидят евреев только потому, что не понимают Торы и еврейских мудрецов. Значит, народы мира надо просветить, показать им сокровища еврейской мысли, открыть им глаза, чтобы они увидели истинный свет, который прояснит их умы и сердца. Вот реб Эфраим и делает это в своем произведении, чтобы установить мир между Симом и Иафетом. На тысячах страниц, исписанных убористым готическим шрифтом, он рассматривает всевозможные философские течения, от древнегреческих до современных, и доказывает, что все сказанное мудрецами Иафета прежде было сказано мудрецами Сима. Профессор Бреслауэр не слишком высокого мнения об этом

* Рамбам (Маймонид, 1135 или 1138, Кордова — 1204, Каир) — еврейский религиозный философ, врач.

сочинении. Он ценит познания реб Эфраима в том, что касается Торы и древнееврейского языка, но философия и немецкий — это совсем другое.

— Это всего лишь апологетика, такое уже сотни раз писали раньше, ребе Вальдер, — говорит профессор. — В сочинении видна ваша эрудиция, но мир вы не перевернете.

Реб Эфраим не хочет слышать такого о любимом детище.

— А если и апологетика, что с того? — отвечает он с досадой. — То, что писал рабби Йедидья, которого гои называют Филон Александрийский*, тоже апологетика, однако же он внес немалый вклад в сокровищницу философской мысли.

Профессор Бреслауэр не сдаётся:

— Ребе Вальдер, сейчас неподходящее время для подобных сочинений. Они, так сказать, уже не в моде.

— Не в моде? — насмешливо переспрашивает реб Эфраим. — Вот этого я от вас не ожидал, ребе Бреслауэр. Дух вечен, у Божественного нет ни начала, ни конца.

Профессор Бреслауэр понимает, что так этого упряма не переубедишь, и переходит к практической стороне.

* Филон Александрийский (ок. 25 до н. э. — ок. 50 н. э.) — еврейский религиозный мыслитель, математик и астроном.

— Вы никогда не найдете издателя, ребе Вальдер.

— Откуда вам знать, ребе Бреслауэр? Вы что, пророк?

— Есть вещи, которые нетрудно предсказать, ребе Вальдер.

— Рабби Лейви бен-Гершом, которого гои называют магистр Лео Гебреус*, сказал: «Чтобы пророчествовать, надо быть мудрецом», — отвечает реб Эфраим с издевкой.

Чего он не переносит, так это когда отвергают главный труд его жизни. Беда только, что чем больше он пишет, тем больше мыслей приходит в голову, вот и приходится опять возвращаться к началу, править, переделывать. А время не стоит на месте, дни уходят.

— Эх, ребе Карновский, только бы довести до конца, — говорит он печально. — Да боюсь, не дай Бог, не успею...

— Вы удостоитесь пожать плоды своих трудов, — отвечает Карновский, как обычно, цитатой.

Реб Эфраим вынимает понюшку табака из роговой табакерки, чтобы прояснилось в голове, и читает дальше отрывки из своих произведений,

* Леви бен-Гершом (1288, Баньоль, Франция — 1344, Перпиньян) — ученый-универсал, оставил после себя сочинения по математике, астрономии, философии, богословию, медицине и физике, изобретатель навигационного квадранта.

на древнееврейском для евреев, на немецком для народов мира. Довид Карновский внимательно слушает, выхватывает короткие фразы из моря цитат, кивает, соглашаясь с мыслями реб Эфраима. Реб Эфраим побольше выкручивает фитиль лампы. На его губах играет спокойная, радостная улыбка. Красноватый отсвет огня на пергаментном лице и седой бороде вызывает в памяти бледную святость стариков, склонившихся над свечами на молитве в Йом-Кипур.

Этот же свет падает на молодое, скуластое лицо Довида Карновского. Он устал от древесины, сделок, неуступчивых и хитрых торговцев, устал от глупого смеха и грубых шуток грузчиков, и теперь он наслаждается произведением старого мудреца. Этот святой свет падает на шерсть кота Мафусаила. Он лежит в углу, свернувшись калачиком, и тоже ловит каждое слово хозяина.

Кот слеп от старости, потому-то реб Эфраим и назвал его Мафусаилом. Хоть он и не видит, но прекрасно чует запах мышей и истребляет их без жалости. За это реб Эфраим благодарен коту, он держит его возле себя и угощает жесткими кусочками мяса, которые сам не может разжевать беззубыми деснами. Дочь давно избавилась бы от Мафусаила, но реб Эфраим не позволяет. Жанетта терпеть не может старого облезлого кота.

— Пошел к черту! — гоняет она его.

Реб Эфраим заступается.

— Нехорошо, Ентл, прогонять старика, — смеется он. — «Освети лик старца», — сказано в Торе.

Ентл, которая называет себя Жанеттой, не понимает таких шуток.

— Это про людей сказано, — говорит она серьезно, — а не про кошек.

— Что нам известно о кошках, доченька? — отвечает реб Эфраим. — Екклесиаст говорит, что человек стоит не выше животного.

Жанетта откладывает веник. Она не согласна с Екклесиастом. В ее французских романах люди, рыцари и дамы, такие прекрасные и благородные. Ей даже обидно, что отец сравнивает человека с облезлым котом. Никого у нее нет, ни матери, ни сестер, ни братьев. Все умерли, только она осталась с отцом. Когда-то, в ранней молодости, у нее была любовь. Он приехал в Берлин учиться на раввина и частенько заглядывал к ее отцу, приходил побеседовать, поучиться. Красивый парень, голубые глаза, русая постриженная борода. Она угощала его, чинила ему одежду. Надеялась, он попросит ее руки. Но однажды, когда они остались наедине, он повел себя совсем не так, как благородный рыцарь из романа. Вдруг набросился, повалил ее на пол, прямо на книги. Она еле вырвалась. Потом со слезами рассказала отцу. Парень от позора бежал из города и, кажется, выкрестился. С тех пор она не знала ни одного мужчины. Единственный человек в ее жизни — отец.

Он почти не выходит на улицу, и она тоже. Целый день сидит в лавке, да еще готовит, убирает, стирает и латает белье. И читает французские романы, чтобы забыться.

Плохо по субботам и праздникам, когда лавка закрыта. Реб Эфраим редко бывает в синагоге, разве только в Дни трепета*. Поэтому религиозные евреи из квартала его не уважают, раввины говорят, что он скрытый безбожник и саббатианец, иначе к нему не ходили бы всякие вероотступники из богатых районов. Реб Эфраим знает, что судачат про него на улице, но не обращает на это внимания. Преданный ученик Рамбама, он убежден, что путь к Всевышнему лежит не через молитву в компании грузчиков и лавочников, а через понимание Божественного. Напротив, чернь, которая орет на молитве и называет Господа дорогим отцом, словно идола, отдаляет мыслителя от Бога. Даже раввины не лучше. Они в своем роде тоже чернь, с которой разумному человеку не пристало иметь дела. Жанетта благочестива и богобоязненна, по субботам и праздникам она не делает никакой работы. И особенно остро чувствует одиночество. Уже двадцать лет прошло, а она все еще любит голубоглазого парня, который так ее обидел. Она пытается предста-

* Первые десять дней года по еврейскому календарю, время покаяния. В Дни трепета определяется судьба человека на весь наступивший год.

вить его в самом неблагоприятном виде, диким, разгоряченным, грубым, каким он был тогда, когда совершил свой ужасный поступок. Она думает о том, что он стал выкрестом. Но чем более отвратительным она его себе представляет, тем прекраснее он становится в ее глазах. Она злится на себя. И вдруг начинает рыдать, рыдать по матери, братьям, сестрам и больше всего по себе, по своей проклятой одинокой жизни. Она часто плачет ночами, лежа в материнской кровати, которая стоит напротив кровати отца.

— Господи, Господи! — взывает она.

Реб Эфраиму больно слышать плач дочери. Хоть он и знает, что все — суета, что все удовольствия и наслаждения — не более чем бессмыслица и глупость, только Божественная мудрость вечна, ему все равно жаль дочь, которая рыдает в подушку. Он не может ее утешить, потому что знает: она его не поймет. Она всего лишь глупая женщина, мудрость недоступна ей, она, бедная, живет инстинктами, как животное. Минуту он размышляет, почему Бог наделил многих разумом животного и человеческим горем. Потом в темноте садится на кровати и говорит:

— Не плачь, Ентл. Что толку от слез?

Жанетта рыдает еще сильнее.

Реб Эфраим чувствует слабость во всем теле. Он надевает ватный халат, сует ноги в домашние туфли и выходит во двор. От ворот идет гойка, под

ручку ведет солдата к себе в подвал. Солдат смотрит на бородатого старика в ермолке и хохочет.

— Еврей, ме-е-е! — блеет он, как коза, и представляет растопыренную ладонь к подбородку. Это он изображает козлиную бороду.

8

Довид Карновский не отдал сына сапожнику, как некогда грозился.

К двадцати годам Георг окончил гимназию, и хорошо окончил. К выпускному празднику Карновский заказал для сына фрак, лаковые туфли, крахмальный воротничок и манжеты и купил ему цилиндр. Из-за смуглого лица Георга воротничок казался особенно белым. Довид Карновский облачился в субботний сюртук, который надевал в синагогу. Лея не пошла, она до сих пор была не уверена в своем немецком и манерах. Все учителя были празднично одеты. Среди почетных гостей была даже старая полупарализованная принцесса, внучка принцессы Софии, имя которой носила гимназия. Профессор Кнейтель, как всегда, натянул узкий старомодный фрак, надел слишком высокий воротничок. Фалды взлетали каждый раз, когда профессор сгибался в поклоне перед кем-нибудь из гостей. Директор Гофрат Бриге, гроза учителей и учеников, суетился, как лакей. Из его рта, целый год извергавшего проклятия и ругань,

лилась настолько сладкая речь, что казалось, его толстые губы текут медом. Георг был счастлив. Мысль, что он скоро избавится от Кнейтеля, Бриге и остальных учителей и инспекторов, что он будет свободен и сможет высмеять Кнейтеля в глаза, если когда-нибудь встретит его на улице, наполняла его радостью и нетерпением.

— А Гофрат фон Шайссендорф все никак закончить не может, — шепнул он однокласснику.

— Мы вечером в кабак идем, к цыганам, — ответил тот. — Пошли с нами, девочки будут.

Когда Георг вернулся домой, во фраке, цилиндре и с аттестатом в руке, Лея трижды сплюнула от дурного глаза.

— Ну, Довид, — спросила она, сияя, — разве я не говорила, что все будет хорошо? Видишь, как наш сын нас порадовал?

Но Довид Карновский большой радости не испытывал.

Он хотел, чтобы сын поступил в коммерческое училище. Торговля лесом шла прекрасно, недавно он купил большой дом в Новом Кельне, северном районе, густо заселенном фабричными рабочими и ремесленниками. Он хотел передать сыну и знания Торы, и торговлю, вырастить наследника, которому он сможет оставить и материальное, и духовное достояние. Но сын не собирался идти по стопам отца. Он подумывал, не стать ли инженером, архитектором, может, даже заняться

живописью, но ни в коем случае не коммерцией. Довид Карновский был вне себя, что сына тянет к чужим, нееврейским занятиям.

— Это он мне назло, — кипятился он. — Именно потому, что мне это не нравится. Но я на всякую ерунду деньги тратить не собираюсь.

Через несколько недель ссор и препирательств все-таки пришли к согласию. Георг не будет заниматься ни архитектурой и живописью, как ему хотелось, ни коммерцией, как хотелось отцу, но будет изучать философию. Карновский был не слишком доволен.

— Рабби Цадок сказал: «Не делай из Торы лопату», — твердил он. — Учение Учением, а заработок заработком.

Но он смирился. Как бы то ни было, философия была ему не чужда. К тому же он дал сыну поручение. Новому дому нужен был управляющий. У самого Карновского не было времени, и он поручил Георгу присматривать за домом и взимать плату за жильё.

С отцовским великодушием Карновский вынул из кармана несколько новеньких сотенных бумажек, гладких и хрустящих, и вручил сыну, чтобы тот за год оплатил учебу в университете и прилично оделся, как подобает студенту.

— Мне в твои годы отец, царство ему небесное, денег не давал, — заметил он, как всегда, когда вспоминал, что ему в жизни было не так

легко, как сыну. — Так что учись прилежно и трудись, помни о Торе и зарплатке.

Георг не был прилежен ни в том, ни в другом.

Как арестант, через много лет неожиданно получивший свободу, Георг хотел наверстать упущенное за годы домашнего и школьного рабства.

Вдруг у него появилось желание хорошо, элегантно одеваться. Он заказал себе несколько модных костюмов, накупил галстуков и перчаток, приобрел серебряный портсигар, ведь теперь он мог курить в открытую, и даже трость с набалдашником. Он так стремительно растратил деньги, что уже нечем было заплатить за университет.

Лея тайком от мужа дала ему еще несколько сотен марок. Он оплатил учебу, но на занятиях появлялся редко, пропускал больше лекций, чем посещал.

Кроме страсти к одежде, в нем проснулся вкус к веселой жизни. Георг прибил к компании старшекурсников, они стали брать его с собой в пивную, где у них был отдельный кабинет с фантастическим латинским названием. Хотя все они были евреи, из-за чего их не взяли в немецкую корпорацию, на вечеринках они вели себя, как самые настоящие студенты. Дуэлей они, правда, не устраивали, но пели веселые студенческие песенки, довольно неприличные, в основном о вине и женщинах, пили пиво огромными кружками, хотя многим из них оно совершенно не нравилось, и свято со-

блюдали обычаи посвящения. Как любой «лис», то есть первокурсник, Карновский тоже этого не избежал. Для начала ему густо обсыпали лицо мукой и заставили съесть миску гороха, не используя рук. Потом он должен был прочитать философскую лекцию об Аристотеле, пиве и сосисках. Когда он справился с этой задачей, ему пришлось выпить пиво из медной посуды в форме сапога. Студенты дали ему прозвище Гиппопотамус — намек на его кривоватые зубы, и он стал носить новое имя с гордостью. Он старался внести в студенческие вечеринки гораздо больше, чем мог. Еще он, как истинный студент, пытался завести как можно больше знакомств с официантками и продавщицами. Он быстро стал завсегдатаем всех ресторанчиков, кофеен и кондитерских на Унтер-ден-Линден, где парочки назначают свидания. По вечерам, когда молоденькие продавщицы стайками гуляют по бульварам, Георг выходил на охоту, чтобы поиграть в любовь с первой желающей весело провести время.

— Ты сегодня свободна, красавица? — спрашивал он и брал девушку под руку, прежде чем она успевала ответить.

Обычно девушки ему не отказывали. Георг был видным парнем, рослым, всегда хорошо одетым, черными волосами и глазами выделялся среди голубоглазых блондинов. Когда он улыбался, между ярко-красными, полными губами сверкали неровные, но ослепительно белые зубы. Девушки по-

катывались со смеху над его шутками, но больше всего их впечатляла его щедрость. Он брал пиво и даже вино, а если девушка спрашивала, нельзя ли ей еще кусочек яблочного пирога, тут же заказывал. Привыкшие к скупости немецких парней, которые редко баловали своих дам, они таяли перед щедрым и галантным кавалером. По внешности и поведению они сразу распознавали в нем чужака и, стесняясь спросить, не еврей ли он, делали вид, что принимают его то за венгра, то за итальянца, то за испанца. Георг посмеивался:

— Я персидский принц Карно из Марракеша на Индийском океане, между Северным и Южным полюсом, с берегов Тигра и Евфрата. Знаешь, красавица, где это?

Конечно, они не знали, но стыдились в этом признаться. Да какая разница, он все равно им нравился. С ним можно было вдоволь посмеяться, а от прикосновения его смуглой теплой руки будто ударяло током и кровь прилиwała к бледным щекам продавщиц. Его победы над прекрасным полом возвысили его в глазах старшекурсников, они стали охотно приглашать его на вечеринки в пивную. Но насколько быстро Георг увлекся студенческой жизнью, настолько быстро он к ней охладел. Хоть и много веселых песен пели на собраниях, хоть и пива выпивали немало, иногда даже больше, чем хотелось, никакой радости в этом не было. Какой-то скрытый страх и подозрительность

царили в стенах студенческой пивной, непонятно откуда взявшийся страх. Боялись упомянуть о своем происхождении, скрывали его от официантов, как изъян, стыдились его даже друг перед другом. Будто заключили между собой договор не произносить неприятного слова. Отворачивались от бедно одетых, плохо постриженных единоверцев, приехавших учиться из России. Черноволосые, смуглые студенты с Запада избегали черноволосых, смуглых студентов с Востока гораздо больше, чем однокурсники-блондины избегали их самих. Они не хотели иметь дела с этими «нищими нигилистами», которые их, немцев непонятно какого вероисповедания, тащили назад, к тому, от чего они так стремились избавиться.

И Георга, как всегда, потянуло к запретному. Ему захотелось сблизиться с этими непонятными «русскими». И чем больше товарищи ругали его за то, что он, рожденный на немецкой земле, якшается с чужаками, тем больше они его привлекали.

— Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит, — говорили о нем однокурсники, намекая, что и он сам не совсем свой, а тоже сын «польского попрошайки».

Они не были такими напряженными и пугливыми, студенты, которые селились на берлинских задворках, эти бедно одетые и плохо постриженные ребята. Они не прятали глаз, не тряслись над своей честью и не стеснялись своей внешности.

Среди них было много веселых и жизнерадостных людей. Они прекрасно проводили время за чаем и селедкой с хлебом. Георгу было хорошо с ними, особенно ему нравился студент по имени Йуда Лазаревич Кугель, которого друзья прозвали Йидл Бардаш.

Он раздражал студентов-берлинцев и нелепой фамилией, и именем, которое так явно напоминало о том, кто предал Иисуса Христа. Йуда был самым бедным из «русских», одевался хуже всех, но насколько он был беден, настолько он был весел, смешлив и остроумен.

Широкие плечи, на голове копна кучерявых каштановых волос, недельная щетина, нос картошкой, лохматые брови, хитрые карие глаза и немецкий с чудовищными ошибками — таков был Йуда, всегда довольный жизнью, собой, поношенной одеждой и даже своим прозвищем.

— Бардаш, ребята, — часто говорил он, картавя, что означало: это ерунда, пустяки, не надо принимать близко к сердцу, живите и радуйтесь.

Вечный студент, уже не слишком молодой, он странствовал по университетским городам, как вольнослушатель изучал все подряд, но ничего не доводил до конца. Он слушал лекции по естествознанию в Берне, по юриспруденции в Базеле, по классической литературе в парижской Сорбонне и по социологии в Льеже, а теперь — по философии в Берлине.

— Бардаш! — говорил он друзьям, когда они смеялись над его странствиями и поисками. — Зато весело, ребята!

Он произносил любимое слово каждый раз, когда приходил за ежемесячным пособием в Фонд поддержки студентов и коммерции советник Кон отчитывал его за манеры, внешний вид и поведение.

Филантропу Кону становилось не по себе, когда он видел студентов с Востока, которые обращались к нему за пособием. Сам очень опрятный, с серебряными бакенбардами и гладко выбритым подбородком, постоянно с медалью на лацкане, которую он получил за благотворительную деятельность, гордый своим богатством и положением, он чувствовал себя очень неловко, когда с ними встречался. Они говорили на плохом немецком с еврейскими словами, они были небриты и бедно одеты. Ходить в синагогу они не желали, не соблюдали субботу, о кошерной пище даже не думали. Зато коммерции советник Кон слышал, что они лезут в политику, или ведут глупые разговоры о возвращении в Палестину и создании еврейского государства, или выступают против русского правительства, призывают к революции, восстаниям и даже террору. Газеты не раз писали об этих людях.

— Очень плохо, господа, — наставлял их Кон. — Что позволено гоям, не позволено евреям. Мы должны быть примером для народов.

Как говорили мудрецы Талмуда, все евреи ответственны друг за друга, господа.

Больше других Кон воспитывал Йуду Кугеля.

— Бенедикт Спиноза тоже был философ, — твердил коммерции советник, — но он следил за собой, одевался бедно, но чисто. Своим видом бродяги вы оскорбляете Всевышнего. Что будут думать о евреях окружающие?

— Бардаш! — отвечал Йуда Кугель.

Чисто выбритый подбородок советника краснел от возмущения.

— Оставьте вы ваш варварский жаргон, — говорил Кон сердито, — я его не понимаю.

То, что Йуда обращался к нему просто по фамилии, без титула, выводило советника из себя.

— Я коммерции советник, усвойте наконец, — кипятился он. — Речь не о моем титуле, а о вашем воспитании...

Йуда Кугель грязной рукой принимал от взбешенного Кона несколько марок и даже не говорил спасибо.

Вот этот растрепанный, веселый парень так полюбился Георгу Карновскому. Может, так случилось потому, что благородные люди презирали Кугеля, и Георга потянуло к нему им назло. А может, его просто привлекло безудержное веселье Йуды, струившееся из каждой прорехи на его заношенной одежде. Георг этого не знал, он знал только, что ему нравятся его манеры, смех,

хитрые карие глаза и даже непонятное слово «бардаш».

Он ходил с Йидлом в кафе, где «русские» вели бесконечные дискуссии, выпивая море чая.

Доводы Йидла никто не принимал всерьез.

— Дурак ты, где тут логика? — горячились молодые очкастые мыслители. — Нелогично!

— Бардаш! — отвечал Йидл Кутель. — Нелогично, зато правильно.

Георг, не вдаваясь в смысл спора, аплодировал Кутелю. А после дискуссии Йидл пел песни, украинские, русские и еврейские. Глубоким, красивым басом он выводил мелодии, то щемяще грустные, то безудержно веселые.

Иногда Георг заходил к Йидлу в гости. В самом бедном районе Берлина, возле Штеттинского вокзала, Кутель снимал крошечную комнатку у сапожника Мартина Штульпе.

Для высокого, широкоплечего Йидла комнатка в полуподвале была совсем тесной. Она не имела отдельного входа, попасть в нее можно было только через другое помещение, где у хозяина располагалась мастерская. У двери, в углу двора, висела вывеска с нарисованным желтым сапогом. Воздух был пропитан тяжелым запахом пригоревшего свиного сала, кожи и клея. Фрау Штульпе кипятила на плите белье, и густой пар скрывал вырезанные из журналов фотографии бородатых, длинноволосых русских писателей и революцио-

неров, которые Кугель расклеил по стенам своей комнатки. Над железной кроватью висела его отсыревшая гитара. На керосинке постоянно кипел чайник — единственное имущество Йидла, которое он возил с собой из одной страны в другую.

Георгу нравится в убогой, сырой комнатке. Йидл знакомит его с семьей Мартина Штульпе. Дорогая одежда и благородный облик Георга производят впечатление.

— Ein Russe?* — спрашивает герр Штульпе.

— Нет, герр Штульпе, коренной берлинец, — смеется Йидл. — Не казак.

Из-за внешности и характера соседи по двору считают Йидла Кугеля казаком. Они расспрашивают его о казацкой жизни, о лошадях и пиках, и Йидл рассказывает им небылицы, которые они принимают за чистую монету. Соседские белошвейки от него без ума, по ночам они украдкой встречаются с ним во дворе, чтобы испытать казацкой любви. Йидл играет им на гитаре и поет русские песни. Когда Георг пришел, Йидл поставил для гостя чайник, но мутного чая Георгу не хочется. В конце улицы есть пивная, лучше им пойти туда.

— Я опять на мели, — говорит Йидл, — так что, немчик, придется тебе платить.

— Заткни свою русскую пасть, Бардаш, — отвечает Георг, гордый тем, что может позволить себе фамильярность со старым студентом.

* Русский? (нем.)

За столиками сидят жители квартала, пьют пиво, курят дешевые сигары и трубки. Их уличный немецкий мало похож на тот язык, который Георг слышит дома и в университете. Некоторые пришли с женами. Женщины заняты рукоделием, они не пьют, мужья им не предлагают. Им лишь остается с завистью смотреть мужу в глаза, как кошка на сметану. Только если жена, не выдержав, слишком громко чмокнет губами, муж повернется к ней и важно спросит:

— Хочешь глоточек, старая?

— Да, дорогой, — отвечает женщина и быстро допивает из кружки остатки. — Отличное пиво. Danke!

Хозяин пивной Пуп, высокий и толстопузый, слишком высокий и толстопузый для своего маленького заведения в бедном квартале, сам обслуживает посетителей:

— Прошу, господа, лучшее пиво.

Мужчины за столиком угощают хозяина. Он выпивает кружку одним глотком, а потом ставит посетителям пиво за свой счет. Они снова заказывают для себя и для него, и так без конца. Йидл хохочет.

— Забавные они, твои немцы, — говорит он, — все время считают, даже когда совсем пьяны. С точностью до капли.

Георг уязвлен. Эти люди за столиками не слишком ему близки, но ему не по душе то, что сказал Йидл, и он пытается за них оправдаться:

— Им приходится считать, это бедные люди.

— Бардаш! — не соглашается Йидл. — В России люди куда беднее, но столько не считают. Там, брат, уж если пьют, так пока последнюю рубаху не пропьют.

Его глаза горят, когда он рассказывает о своих приключениях. Отец, нищий сапожник, хотел, чтобы сын тоже стал сапожником, таскал его по деревням, и они латали мужикам сапоги. Но Йидл решил, что не будет сапожником, и без гроша в кармане, в старом отцовском сюртуке пустился пешком в Одессу, чтобы получить образование и стать человеком.

Он перепробовал все на свете: чистил ботинки на улице, учил детей богатого деревенского еврея, жег уголь в лесу, помогал коробейнику-татарину носить по деревням товар, натаскивал туповатых гимназистов. Было время, он даже перегонял скот на бойню, работал грузчиком в черноморских портах, бродяжничал, потом сблизился с революционерами, попал в тюрьму, но смог вырваться за границу и теперь странствует по университетам Европы.

Георг с открытым ртом слушает рассказы небритого, растрепанного парня, он завидует его приключениям и даже его нищете. Йидл смотрит на посетителей пивной и смеется.

— А давай со мной, брат, — говорит он вдруг. — Осточертело здесь все.

— А как же университет? — интересуется Георг.

— В гробу я его видал, — отвечает Йидл. — Пошли его куда подальше. Поехали со мной, вдвоем веселее.

Георг не послушал друга, это было бы слишком. Но учебу совсем запустил. Каждый день он дает себе слово, что возьмется за ум, начнет учиться и работать. Но всегда находятся дела поважнее. Он не может отказаться от свободы после стольких лет дисциплины и запретов. Георг мечется, берется за какое-нибудь дело и тут же бросает, меняет приятелей и девушек, ищет что-то новое. Безделье приедается, он начинает ходить на лекции, с головой погружается в учебу. Он клянется себе, что будет трудиться, что станет серьезнее, ведь он все-таки изучает философию. Но его хватает ненадолго, и снова девушки, безделье, гулянки.

Георг избегает родителей. Довиду Карновскому не известно, как он учится, следить некогда, из университета не сообщают, но Довид догадывается, что сын получает не столько знаний, за сколько отец платит. Ведь он и сам философ, ему хотелось бы поговорить с сыном-студентом о том, что сейчас изучают в университете, узнать, что нового в мире философской и научной мысли. Ему интересно взглянуть в конспекты сына, но Георгу нечего ни рассказать, ни показать. Довид Карновский наставляет его цитатами из Торы в переводе на немецкий:

— Тебе слишком хорошо живется. Как сказано в Торе, когда евреи разжирели, они начали грешить. Мне не так легко все доставалось, сынок.

Довид Карновский хочет получить отчет. Он хочет знать, какая польза в том, что молодой человек гуляет, пьет пиво, болтается со всякими оборванцами и вообще бог знает с кем. Он требует отчета о поведении Георга и о доме, которым он управляет. Георгу в тягость эти разговоры. Ему не хватает установленного отцом жалованья, он берет деньги из собранной платы за жилье. Приходится выкручиваться, выдумывать оправдания, когда в субботу вечером отец требует отчета за неделю. Черными пронизательными глазами Довид Карновский насмешливо смотрит на сына.

— Я ненавижу ложь, — говорит он, — нет ничего отвратительнее лжи. Отчитывайся, как есть.

Георг не может отчитаться ни о поведении, ни о собранной плате. Он старается как можно реже появляться дома.

Все чаще он остается ночевать в доходном доме на севере города. В конторе, где он ведет дела, стоит жесткий кожаный диван с просевшими пружинами. Георг спит на нем, хотя дома у него роскошная мягкая кровать. Зато здесь он сам себе хозяин, никто не следит, когда он ложится, когда встает. Он может и днем сюда прийти, привести кого-нибудь. Консьержка, фрау Крупа, каж-

дый раз грозит ему пальцем, когда, убирая в конторе, находит женский гребешок. Она еще далеко не стара, мужчины во дворе пристают к ней, когда она подметает. Но ей неприятно, что молодой студент водит распутных девок одну за другой.

— Опять развлекались, — трясет она пальцем перед носом Георга. — Смотрите, расскажу старшему хозяину.

После очередной попойки Георг страдает тяжелым похмельем. Он сидит на диване, упершись локтями в колени. На душе мерзко: он болтается без дела, он заврался, постоянно обманывает родителей, возлюбленных, но больше всего — себя. Проснувшись среди ночи от головной боли, он понял: отец прав, ничего путного из него не выйдет.

9

В доме Соломона Бурака веселые еврейские песенки звучат из граммофонной трубы не так часто, как раньше.

Нет, дела у Бурака идут очень неплохо, лучше, чем когда бы то ни было. Он расширил магазин и даже заказал новую вывеску с буквами покрупнее, к досаде онемеченных соседей-евреев, которых раздражает имя Соломон. На Драгонер-штрассе поговаривают, что Бурак уже сам не знает, сколько у него. Но он, Соломон Бурак, не может быть счастлив. Ни он, ни его жена Ита.

Как они могут радоваться своим богатствам, если Рут, их старшая дочь, чахнет от любви к Георгу Карновскому, а он знать ее не хочет?

Она полюбила его с тех пор, как с матерью впервые пришла к Карновским, когда Лея ждала ребенка. После этого она не упустила ни одного случая, чтобы навестить Карновских. Она приходит посмотреть на Леину дочурку, Ребекку, которую так любит. Но Лея видит, что она приходит ради Георга. Это заметно по глазам, они вспыхивают, стоит Георгу появиться. Это заметно по ее горячей любви к малышке. Она нежно обнимает и целует маленькую Ребекку, перенося на нее чувства, которые она испытывает к ее брату. Ита Бурак даже ничего не скрывает от Леи.

— Красивая пара, — говорит она каждый раз, когда Рут встречается взглядом с Георгом. И бросается к Лее целоваться, словно они уже давно породнились.

Лея не понимает, почему ее сын сторонится Рут, когда она приходит.

— Почему ты так плохо ведешь себя с девушкой? — спрашивает она недовольно. — Хорошая девушка, красивая, образованная, чего тебе еще надо?

Георг сам не знает, чего ему надо. Все так и есть, как говорит мать, у Рут черные, бархатные глаза, добрый и ласковый взгляд, особенно ласковый к нему, Георгу. Она начитанна, хорошо играет на пи-

анино, все оперы знает наизусть. Но Георга не тянет к ней, как тянет к другим девушкам. Ее полное тело с округлыми формами и слишком большой для ее лет грудью создано для материнства, а не для страсти, это сразу видно по тяжеловатой походке, доброму лицу, нежности к детям. Она симпатична ему, как и всем остальным, но не более того. Его не волнует эта полненькая, добрая, ласковая девушка, которая так смотрит на него, которая надеется, что он ее полюбит, женится на ней и они нарожают кучу детей. Своей мягкостью и теплом она напоминает ему мягкие, сладкие штрудели, которые мать готовит к субботе. Безответной любовью она тешит его мужское самолюбие, но и убивает в нем стремление ее завоевать. За глаза он в насмешку называет ее мадам раввинша. Рут изо всех сил старается с ним сблизиться. Она читает все книжные новинки, чтобы не выглядеть отсталой в разговоре с Георгом, и бесплатно дает его сестренке уроки музыки. Сидя с девочкой за фортепьяно, она изливает в музыке свою тоску и надеется, что Георг услышит у себя комнате «Ноктюрн» Шопена. У Леи Карновской слезы на глазах, ей понятно девичье горе, кричащее с костяных клавиш. Ей вспоминаются молодые годы, годы, которые ушли и больше никогда не вернуться.

Она целует Рут в голову, и девушка прижимается к ее груди. Даже Довид Карновский, сидя в кабинете за книгами, прислушивается к прекрасной

музыке и удивляется, как у невежды Бурака могла вырасти такая замечательная дочь. Единственный, кто не слышит девичьей печали, это он, Георг, для которого играет Рут. Едва он узнаёт, что пришла Рут Бурак, как тотчас в спешке покидает дом.

— Куда это ты, сынок? — спрашивает мать. — Разве не видишь, у нас гостя, фройляйн Рут.

— Ну как же, как же, — второпях отвечает Георг, — но мне, к сожалению, надо бежать, уже опаздываю. Надеюсь, фройляйн Рут меня простит. Ведь так?

И он дарит фройляйн Рут самую обворожительную улыбку, на какую только способен.

— Конечно, герр Георг, — говорит Рут, а слезы уже готовы брызнуть у нее из глаз.

Рут понимает, как она смешна. Униженная бегством Георга и сочувствием во взгляде Леи Карновской, она спешит уйти, опасаясь, что не сможет сдержать предательских слез.

— До свидания, — говорит она вдруг и бросается вниз по лестнице, давая себе слово, что больше никогда, никогда сюда не придет. Она даже никогда не будет ходить по улице, где живет тот, кто так ее презирает. Но через несколько дней ее снова тянет к Карновским. Ей дорог каждый уголок в их доме. Она завидует их соседям. Проклиная себя за бесхарактерность и отсутствие женской гордости, стыдясь, что не может справиться со своей любовью, она идет в дом на

Ораниенбургер-штрассе, чтобы увидеть того, по кому она сохнет. Пусть он не захочет поговорить с ней, пусть опять сбежит, выдумав какой-нибудь предлог, лишь бы хоть чуть-чуть побыть с ним рядом, услышать его голос, увидеть улыбку на смуглом лице и огонь в черных глазах.

Прежде чем туда пойти, она часами наряжается, всматривается в зеркало, чтобы понять, что в ней отталкивает Георга. Ищет недостатки лица, фигуры и начинает казаться себе отвратительной, мерзкой, нелепой. Правильно, что Георг ее знать не хочет. Но тут же снова рассматривает себя с головы до ног. Нет, все же она очень недурна собой. Рут сравнивает себя с подругами. Она гораздо красивее и интереснее любой из них. Рут находит себя очень привлекательной. Она гладит собственные волосы, рассматривает руки, плечи, любит себя ножками. Она ласкает свою высокую, белую грудь, называет себя нежными словами. Нет, она не понимает, как можно ее не любить. Она уверена: если бы он только присмотрелся к ней, он оценил бы ее красоту и оказался бы у ее ног. Но в том-то и дело, что он даже не смотрит на нее, сразу убегает. А если ей все же удастся побыть с ним немного, она смущается и молчит, как дура.

Каждый раз она заранее продумывает, что и как сказать. Ведь она достаточно образованна, чтобы поддержать любой разговор. Но как только доходит до дела, она все забывает, начинает пу-

таться. А Георг наслаждается ее смущением и сразу принимает насмешливо-покровительственный тон, как взрослый, опытный, все знающий человек в беседе с ребенком. Рут видит его пренебрежение и смущается еще больше. Откуда берется это идиотское волнение? Чтобы спастись, она пытается перевести разговор на музыку, тут она понимает больше и чувствует себя гораздо увереннее, чем Георг. Но он избегает серьезных разговоров и продолжает шутить.

Ночью, лежа в кровати, Рут не может себе простить, что вела себя так глупо. Она вспоминает каждое слово, вспоминает шутливые вопросы Георга и свои неудачные ответы. Ей в голову приходит множество блестящих ответов и колкостей. Найди она их тогда, сразу, она бы сбила с него спесь. Но от смущения она несла какую-то чушь, а он смотрел на нее, как на тупую овцу. Рут с ненавистью щиплет себя в наказание за собственную глупость. Ну как же ему понравиться? Она штудирует книги по мужской и женской психологии, одевается, как героини романов, по рекомендации дамских журналов использует духи, которые привлекают мужчин, голодает, чтобы хоть чуть-чуть похудеть, меняет прически. По ночам она просит Бога, чтобы Он дал ей ума понять, как понравиться любимому человеку.

— Ну что еще мне сделать? — спрашивает она Бога, когда читает вечернюю молитву.

Не меньше, чем Рут, об этом размышляют ее родители, не спят ночами.

— Ума не приложу, что делать, Шлоймеле, — говорит Ита, лежа в кровати. — Девочка совсем извелась, Соломон.

— Из-за такого скота, такой дряни, — отзывается Шлойме-Соломон.

Он оскорблен еще сильнее, чем сама Рут: невесть кто осмелился пренебречь его дочь. Почему хорошие, умные, красивые дети остаются несчастными? А самая хорошая — его Рут. Сколько книжек она читает, страшно сказать. Но это ерунда по сравнению с тем, как она играет на пианино. Он нанимал для нее лучших учителей, великих пианистов в пелеринах, с длинными волосами, как на картинах рисуют. Лучший инструмент купил. Уму непостижимо, как его Рут, такая умная, добрая, красивая, может кому-то не понравиться.

Чего только он не перепробовал.

Когда Ита впервые рассказала, что Рут влюбилась в Георга, Соломон был и огорчен, и обрадован. С одной стороны, ему было неприятно, что дочь потеряла голову из-за такого спесивого ничтожества, как сын Довида Карновского. С другой стороны, это хорошо, что жизнь опять свела его с Карновским. Как матерый торговец, который знает, что нет ничего сильнее денег, он уверен, что приданым уломает молодого Карновского, понравится это его отцу или нет. Он готов дать очень хорошее прида-

ное, подыскать молодым жилью, обставить его лучшей мебелью, как может только он, Соломон Бурак. Заранее уверенный в своей победе, он уже был горд тем, что сделает зазнайку Карновского своим сватом. Осуществлять свои планы Соломон начал с того, что устроил пышный праздник, когда Рут окончила лицей. Он пригласил всех, с кем вел дела, позвал всех друзей и подруг дочери, нанял повара и официантов из лучшего ресторана, где знают толк в еврейской кухне. Дом утопал в цветах. Украшением вечера был учитель музыки: волосы до плеч, борода — настоящий артист. Новый «Бехштейн», подарок к окончанию лицея, сверкал черным лаком в ярко освещенном зале. Одними из первых были приглашены Лея Карновская и ее сын Георг, Рут сама их пригласила. Соломон Бурак думал, что на вечере, когда Рут с учителем будут играть для гостей на новом рояле, он по-дружески обнимет Георга за талию и поговорит с ним по душам.

— Червонец туда, червонец сюда, — скажет он, — было бы счастье.

Но Георг не пришел. Все приличные люди пришли, и Лея Карновская пришла, а тот, ради кого все затеяли, — нет. Только прислал длинную телеграмму с поздравлениями и лучшими пожеланиями. Когда гости ушли, Рут разрыдалась.

— Да плюнь ты на него, доченька, тыщу раз плюнь, — утешал ее Соломон. — Найдем кого получше, уж поверь.

Назло Карновским он готов был расшибиться, но найти такого жениха, что весь Берлин помрет от зависти. Хочет торговца, будет ей торговец, хочет образованного, адвоката, доктора, да хоть профессора, будет ей такой образованный, что образованнее не бывает.

— Не плачь, глупенькая моя, — говорил он, целуя Рут в мокрые глаза. — Дочь Соломона Бурака не должна плакать.

А как ей не плакать? Не надо ей ни приданого, ни подарков, ни профессоров. Ей нужен только он, Георг Карновский, который так ее унизил.

— Что сделать, чтобы он меня полюбил? — спрашивает она у матери. — Ну что, мама?

У Иты Бурак нет ответа.

Соломон Бурак не сдается. Он знает: время — лучший доктор, все вылечит. Чтобы развлечь Рут, он устраивает вечеринки и приглашает на них самых приличных молодых людей, каких только может отыскать.

Танцуя с Итой, он не спускает глаз с дочери, следит за ее лицом, за каждым движением.

— Ну что, Ита, — тихо спрашивает он жену, — как там дела?

— Никак, Шлойме, — озабоченно отвечает Ита, продолжая танцевать.

Когда Рут начала терять аппетит и перестала выходить на улицу, Соломон Бурак решился пожертвовать честью порядочного торговца. Ничего

не сказав дочери, не посоветовавшись с женой, он вознамерился пойти к Довиду Карновскому и откровенно с ним поговорить. Он не сомневался в достоинствах дочери, был уверен, что ни один молодой человек не может остаться к ней равнодушным, а значит, во всем виноват не Карновский-сын, а Карновский-отец. Этот надутый индюк думает, что они ему не ровня. По опыту Соломон знал, что лучший способ одолеть врага — это купить его и сделать другом. И вот однажды вечером, не сказав никому ни слова, он надел темный костюм и черные туфли, придававшие ему солидный вид, и отправился к Довиду Карновскому на Ораниенбургер-штрассе.

На дрожащих ногах, вытирая пот со лба, всегда уверенный в себе Соломон Бурак поднялся по лестнице в квартиру Карновских. Он даже на несколько секунд задержался перед дверью, раздумывая, позвонить или нет, словно нищий, пришедший за подаянием. Все-таки позвонил. Ради дочери он готов пойти на любые унижения. Ожидая Карновского в кабинете, он закурил сигарету, сделал несколько затяжек, бросил ее, закурил другую. Со всех стен на него смотрели корешки книг. Невозможно было поверить, что человек за всю жизнь успеет прочитать хотя бы десятую часть этого количества, и Соломон решил, что Карновский накупил книг просто из тщеславия, чтобы показать свою ученость. И все же перед книгами он оробел еще больше.

Когда Довид Карновский, с бородкой клинышком, в сюртуке, стремительно вошел в кабинет, Соломон поклонился, тут же подумал, что поклонился слишком низко, и от смущения поклонился еще раз. Карновский был вежлив, но холоден. Презрение к невежде лежало на его скуластом лице. Он прекрасно помнил Соломона Бурака, но сделал вид, что позабыл, как его зовут.

— Мы, кажется, знакомы. Простите, как ваше имя?

— Соломон Бурак, Шлойме Бурак, если угодно, — проямлил владелец магазина. — Ваш земляк, то есть вашей Лееле...

— Конечно, конечно, герр Бурак. Чем могу служить? Садитесь, пожалуйста.

Соломон Бурак был слишком взволнован.

— Я лучше постою, герр Карновский. Знаете, как говорят у нас, коммерсантов, лучше хорошо стоять, чем плохо сидеть. Хе-хе-хе...

Карновский не улыбнулся шутке. Поглаживая бородку, он ждал, когда гость перейдет к делу. Соломон совсем растерялся. Ему всегда было проще говорить с шутками, пословицами и поговорками, чем в серьезном тоне. В горле пересохло. Он откашлялся, сглотнул слюну и наконец заговорил о том, ради чего пришел.

Путаясь и повторяясь, с лишними подробностями, без конца передавая, что он сказал жене, а что жена сказала ему, прыгая с пятого на десятое,

он выложил Довиду Карновскому, что привело его сюда.

Довид Карновский слушал, не перебивая, хоть и терял терпение. Когда Соломон повторял: «А я говорю Ите», «А Ита мне и говорит», он испытывал большое желание спросить: «А мне-то какое дело, что вы там друг другу говорили? Давайте наконец по сути». Однако он сдерживался, потому что молчание приличествует мудрым и потому что перебивать некрасиво.

Когда же Соломон начал расписывать достоинства дочери, дескать, такой в целом мире не найдешь, да еще размахивать при этом руками, будто тонул в болоте, Довид Карновский погладил бородку и осмотрел его с головы до ног, словно увидел только сейчас. Он с самого начала догадался, к чему ведет Соломон, но делал вид, что не понимает, потому как понимать такое ему не к лицу.

— Так чего вы, собственно, хотите, герр Бурак? — спросил он спокойно.

— Хочу, чтобы вы не мешали счастьем моей дочери, герр Карновский, — ответил Соломон Бурак. — Червонец туда, червонец сюда, деньги — не главное. Ради своего ребенка я на все готов.

Минуту Довид Карновский молчал. Он никогда не говорил, как следует не подумав. Но он думал не о том, что будет, если он станет сватом Соломона Бурака. Такое ему и в кошмарном сне не могло присниться. Еще не хватало, породнить-

ся с этим невеждой, бывшим коробейником! Он думал, как бы лучше дать понять, что это невозможно. Сперва он хотел ответить, что Берлин — не Мелец, а берлинские студенты — не ешиботники и отец в таком деле сыну не советчик. Лучшая ложь — это правда, подумал он. Но тут же сообразил, что так Соломон Бурак поймет: он не имеет на сына никакого влияния.

— Нет, господин Бурак, — сказал он твердо, — это невозможно.

— Почему же, герр Карновский? — быстро спросил Соломон. — Почему нет?

— Во-первых, мой сын учится. Сначала человек должен получить образование, а потом заводить семью, — ответил Карновский.

Соломон Бурак махнул рукой.

— Об этом не беспокойтесь, герр Карновский, — перебил он, — я готов его содержать. Пускай себе учится, у него будет все, что надо.

— Я, слава Богу, могу и сам содержать своего сына, пока он учится, — гордо ответил Карновский.

Соломон понял, что сказал не то, и попытался исправить положение:

— Герр Карновский, я знаю, что вы ни от кого не зависите, но я буду относиться к вашему сыну, как к своему.

— Во-вторых, — спокойно продолжил Карновский, — мой сын еще молод, торопиться ни к

чему. Молодой человек в его годы должен учиться, только учиться и не забивать себе голову посторонними вещами.

Соломон Бурак попытался обратиться к испытанному способу — к деньгам:

— Герр Карновский, ваш сын ни в чем не будет нуждаться, я сделаю его счастливым.

— Нет, — ответил Карновский.

— Я помогу вашему сыну. У меня тысячи друзей в городе, я смогу его пристроить. Положитесь на меня. Соломон Бурак всегда добивается своего.

— Нет, — холодно повторил Карновский.

Соломон Бурак заложил большие пальцы в проймы жилета.

— Значит, я недостойн быть вашим сватом, герр Карновский? — спросил он, скривив губы в презрительной улыбке. — Вот оно что.

— Вы сами это сказали.

Соломон Бурак несколько раз глубоко затянулся и швырнул сигарету в пепельницу. Подойдя к Карновскому вплотную, так, что тот даже отстранился, он заговорил с жаром:

— Вот что, герр Карновский. Если бы дело было во мне, я бы не пришел. Для себя я достаточно хорош, все, что у меня есть, я заработал своими руками, и стыдиться мне, слава Богу, нечего. Но речь идет о моей дочери, о ее счастье. Тут моя честь для меня ничто, гроша ломаного не стоит.

— Не понимаю, что вы хотите этим сказать. — Карновский несколько растерялся.

— Ладно, я невежда, — продолжал Соломон, — я простой человек, не буду спорить. Но дочь я выучил. Она прекрасно образованна, умна, благородна. Вы можете стыдиться меня, но стыдиться ее у вас нет причины. Ради нее я готов на все на свете, даже унижаться перед вами, герр Карновский. Потому что это моя дочь и она несчастна.

Карновский по-прежнему был вежлив, но холоден.

— Я сочувствую вашей дочери, герр Бурак, — сказал он спокойно, — но ничего не могу поделать. У каждого свои принципы.

Соломон Бурак вышел из кабинета, не простившись. Лея позвала его в столовую. Она не слышала разговора, но догадалась, зачем ее друг пришел к мужу и с чем от него вышел. Ей стыдно перед человеком, у которого она бывает в гостях. Она ничего не имеет против того, чтобы Георг и Рут поженились. Наоборот, она переживает за девушку. А происхождение для нее не важно, ее отец тоже был простым человеком.

— Шлоймеле, хоть стакан чаю выпей, — просит она.

Соломон Бурак не хочет задержаться в этом доме даже на секунду.

— Боюсь осквернить стаканы господина Карновского, — бросает он. — Извини.

Когда Рут от кого-то узнала, что отец нанес визит Карновскому, она упала на кровать и уткнулась лицом в подушку. Отец целовал ее и просил:

— Доченька, ну посмотри на меня. Ведь я же для тебя старался. Ну прости.

— Уйди, пожалуйста, — отвечала Рут, всхлипывая в подушку. — Я не хочу, чтобы меня видели, не хочу.

Как перенести такой позор?

Ю

Квартиры в доходном доме на севере города тесные и шумные. Сквозь окошки, расположенные вплотную друг к другу, постоянно доносится шум: стрекочет швейная машина, плачет ребенок, ругаются муж с женой, лает собака. По воскресеньям часто раздается звук трубы: отставной солдат из военного оркестра играет сигнал к атаке.

Большая квартира в доме только одна. В ней всегда тихо, окна занавешены даже днем. Здесь живет доктор Фриц Ландау. Вход расположен под аркой ворот, квартира находится на первом этаже, чтобы пациентам не надо было подниматься по лестнице. Дворовые дети вечно торчат под окнами кабинета, пытаются заглянуть внутрь. Во-первых, доктор Ландау — единственный еврей в доме, любопытно же посмотреть, как они

живут. Во-вторых, в кабинете больные раздеваются догола, и не только дети, но и взрослые. Мальчишкам интересно увидеть строгих дядек и злых теток совершенно голыми. Теток особенно. Консьержка, фрау Крупа, гоняет мальчишек метлой.

Она недовольна, что служит в доме, который населен беднотой, и то, что в доме есть доктор, наполняет ее гордостью. Она не позволяет этим чертовым детям болтаться у него под окнами.

— Иисус Мария! — призывает она в гневе. — Пошли вон отсюда! Не мешайте господину доктору. Свиньи паршивые, черт бы вас побрал!

Только одно мешает консьержке относиться к доктору с полным уважением: в том, что касается платы за жилье, он ведет себя не как приличный человек, а как простонародье из других квартир. Это выше ее понимания. А еще доктор!

Однажды, когда доктор Ландау задержался с оплатой до конца месяца, фрау Крупа передала молодому хозяину, чтобы он сам разобрался с квартирантом, как всегда в таких случаях.

Вечером Георг Карновский отправился к доктору. До этого он ни разу у него не был. На двери висела записка, что надо входить без звонка. Из узкого коридора была видна кухня, у почерневшей железной печки стояла старуха, помешивая в горшке половником. Из горшка валил пар. В коридоре стояла длинная некрашенная

скамья, как в деревенской корчме. На стене висели таблички: не курить, не шуметь, соблюдать очередь. Рядом с надписью, что слюна распространяет инфекцию, висело предупреждение, что алкоголь и табак — яды для человеческого организма.

Старуха подняла голову от горшка:

— Кабинет доктора направо по коридору. Стучитесь.

Георг постучал. В углу возле умывальника стоял мужчина средних лет, с медно-рыжей бородой, в белом халате и тщательно намывливал руки. Не поворачиваясь, он пробасил:

— Раздевайтесь!

Георг улыбнулся:

— Я Карновский, сын хозяина дома, по поводу квартирной платы. Я здоров.

Доктор Ландау быстро вытер руки, пригладил рыжую бороду и внимательно осмотрел Георга через толстые стекла очков.

— Это только я могу определить, молодой человек, здоровы вы или нет, — сказал он. — Вы этого знать не можете.

Георг рассмеялся. Он собирался жестко поговорить с доктором, но кураж куда-то испарился. Доктор Ландау улыбнулся в бороду:

— Гм. Значит, денег хотите, молодой человек? Что ж, ничего странного, все хотят. Вопрос только, где их взять.

Георгу начинал нравиться юмор доктора.

— Думаю, у вас хорошая практика, герр доктор, — сказал он. — Видел, пациенты все время ждут у ворот.

— В Новом Кельне у пациентов много болезней, но мало денег, — тотчас ответил доктор Ландау. — Некоторым сам приплачиваю.

Георг вытаращил глаза. Доктор взял его под руку, как старого знакомого, и подвел к столику. На столике стояла тарелка, в ней лежали бумажные марки вперемешку с серебряными монетами и даже пфеннигами.

— Видите, молодой человек, — указал доктор на тарелку, — вот сюда мои пациенты кладут гонорар. Каждый кладет, сколько может, это мой принцип. А если кому-то надо, он берет отсюда. Хе-хе-хе...

Сняв очки, доктор Ландау принялся неловко пересчитывать монеты, как человек, который не привык обращаться с деньгами.

— Сколько тут есть, молодой человек, столько вы с меня и получите.

Георг почувствовал себя еще нелепее в роли домовладельца.

— Не стоит, доктор, — ответил он, — я подожду.

Доктор Ландау, неумело считая монеты, стал спрашивать Георга, кто он, сколько ему лет, где он учится.

— Я не только управляющий этого дома, — сказал Георг с гордостью. — Я изучаю философию, герр доктор.

Доктор Ландау улыбнулся в бороду.

— Худшая профессия, какую только можно выбрать, — заметил он.

Георг был удивлен:

— Почему вы так думаете?

Доктор снова взял его под руку и подвел к книжным шкафам, стоявшим у стены.

— Видите, молодой человек, — показал он на книги, — тут вся философия от Платона и Аристотеля до Канта и Шопенгауэра. За тысячи лет — все то же самое, топчутся на месте, блуждают в потемках. А вот, видите, книги по медицине. Каждая новая книга — шаг вперед.

Георг, хоть и не был образцовым студентом, все же считал философию своим призванием и попытался ее защитить.

— Герр доктор, вы говорите как медик, а не как философ, — возразил он.

— Я потратил годы на бесполезные книги, — ответил доктор Ландау. — Жаль времени, молодой человек.

Георг снова хотел возразить, но доктор Ландау ему не дал. Сняв с полки старинную книгу с рисунками, он ткнул в страницу пальцем, бурым от йода:

— Видите, всего лишь несколько столетий назад придворные врачи лечили королей и принцев

чудодейственными настоями и заклинаниями. Сейчас у нас есть рентгеновский аппарат и микроскоп. А что создала ваша философия от Афин до Кенигсберга?

Прежде чем Георг успел вставить слово, доктор взял его за руку и повел в соседнюю комнату.

— Эльза, Эльза! — крикнул он. — Покажи молодому человеку микроскоп. Пусть узнает, как выглядят микробы.

В маленькой комнатке, полной банок и бутылочек всевозможных расцветок, стояла девушка в белом халате и переливала жидкость из одной пробирки в другую. Она внимательно посмотрела на Георга умными карими глазами.

— Папа, ты даже не постучался! — с улыбкой упрекнула она отца.

— Тысяча извинений, — сказал Георг с поклоном. — Меня зовут Георг Карновский.

— Эльза Ландау, — представилась девушка, поставила пробирку и пригладила волосы, такие же ярко-рыжие, как отцовская борода.

Настроив микроскоп, она дала Георгу посмотреть:

— Видите синие черточки? Это они. Бациллы туберкулеза. Подкрутите, будет лучше видно.

Доктор Ландау не умолкал:

— Ну что, господин философ? Их можно увидеть, а кто видел категорический императив?

Эльза попыталась охладить пыл отца:

— Папа, дай же человеку спокойно посмотреть. Но доктор Ландау разошелся не на шутку.

— Молодой человек мог бы приносить людям пользу, а он занимается ерундой, — кипятился он. — Новому Кельну не нужен категорический императив, ему нужны гигиена и медицина. Что, Эльза, разве не так?

Георг с любопытством смотрел в микроскоп. Но с еще большим любопытством он посматривал на дочь доктора Ландау. Рядом с белизной халата ее волосы казались еще ярче. Карие глаза — спокойные, умные и проницательные. Медь рыжих волос бросала на щеки девушки теплый янтарный отсвет. В ее улыбке, обращенной к отцу, чувствовались легкая насмешка и в то же время любовь и уважение.

Теперь Георг просто не мог взять деньги, которые доктор снова и снова начинал считать, потому что все время сбивался.

— Ради Бога, герр доктор, не торопитесь, — сказал он. — Зайду в другой раз, когда у вас будет получше с деньгами.

Он хотел найти предлог еще раз прийти к доктору, чтобы увидеть его дочь. Огонь ее медных волос пылал в полутьме наступающего вечера.

— Рад был познакомиться, побеседовать и все такое, молодой человек, — попрощался доктор Ландау, подавая теплую ладонь. — Короче говоря, бросьте вашу дурацкую философию и займитесь делом.

Эльза смутилась, это было уже чересчур.

— Папа, разве так можно о чужом призвании?

— Яйца курицу не учат, глупая гусыня, — рассердился доктор Ландау и ласково похлопал дочь по щекам. Это он якобы надавал ей пощечин, чтоб знала, как себя вести. — Очень глупая, но я все равно ее люблю, — объяснил он Карновскому, как своему.

— Я на вашем месте делал бы то же самое, герр доктор, — поддержал шутку Георг.

Эльза снова поправила волосы, как всегда, когда испытывала смущение, и ее рука, теплая, нежная, но крепкая, протянулась к Карновскому:

— Приятно было познакомиться. До свидания, герр Карновский. — И, простившись, она повернулась к склянкам и пробиркам.

Самые простые, обычные слова казались Георгу обещанием, когда он вспоминал тепло и силу ее ладони. У него было назначено свидание с одной из знакомых продавщиц, но он не пошел. Впервые с тех пор, как он стал студентом, он не вышел вечером на улицу, но остался в конторе один.

Ранним утром он поднялся с жесткого кожаного дивана, тщательно умылся, причесался и с набитым книгами портфелем отправился в университет.

Фрау Крупа застыла с метлой в руках.

— Что случилось, герр кандидат? — спросила она с любопытством. — Куда это вы в такую рань?

Георг завернул в небольшое кафе на углу и заказал завтрак. Жуя свежую булочку, он внимательно смотрел в окно.

Когда он увидел, что Эльза с чемоданчиком в руках выходит из ворот, он быстро расплатился, оставив официантке хорошие чаевые, и бросился на улицу.

— Доброе утро, фройляйн Эльза, — поздоровался он, стараясь сохранять спокойствие, будто встретил ее случайно. — Нам, кажется, по пути. Вы ведь в университет?

— Я сейчас в анатомичку, герр Карновский, — с улыбкой ответила девушка. — Но до Унтер-ден-Линден нам по дороге.

С того дня Георг Карновский начал новую жизнь. Он прекратил болтаться с приятелями по кафе и ресторанам, но стал посещать лекции. Теперь он не выходил вечером на улицу, чтобы познакомиться с очередной продавщицей, но ехал в контору, чтобы иметь возможность зайти к доктору Ландау. Потом он стал поджидать Эльзу возле прозекторской, чтобы поехать домой с ней вместе.

Однажды Георг до нитки промок под дождем, ожидая, когда Эльза появится из анатомички, и успел подумать, не поменять ли философию на медицину, чтобы всегда быть рядом с рыжеволосой девушкой.

— Знаете, фройляйн Эльза, — сказал он, когда наконец ее дождался, — думаю, ваш отец был

прав, философия действительно несерьезное занятие. Как вы считаете?

— Не знаю, я ведь ничего не понимаю в философии, — ответила Эльза, — но я бы медицину ни на что не променяла.

Георг взял ее под руку.

— Не хотите выпить со мной стаканчик вина? — предложил он. — Сегодня ужасно сыро. Выпьем за новую профессию, которую я решил выбрать.

— Только не крепкого, герр Карновский, — согласилась Эльза. — Я не привыкла к вину. Отец вообще противник алкоголя.

В уютном кафе, под красным абажуром, карие глаза Эльзы сияли особенно ярко. После первого же стаканчика ее лицо разурмянилось.

— А ведь я впервые в жизни пью вино, — призналась она с улыбкой, наслаждаясь собственной смелостью.

— Можно я сниму с вас шляпку, фройляйн Эльза? — робко спросил Георг.

— Зачем? — удивилась девушка.

— Хочу видеть ваши прекрасные волосы.

— Странная идея, не очень-то подходит философу, — засмеялась Эльза и сняла шляпку.

— Давайте выпьем за мою медицину, — сказал Георг и осушил новый стакан вина.

На улице Георг попытался забрать у Эльзы чемоданчик. Она не хотела его отдавать, но Георг настоял на своем.

Когда они вошли в лабораторию, она открыла чемоданчик, и Георг побледнел: человеческий череп взглянул на него пустыми глазницами. Поваяло гнилью и смертью, хотя череп был выварен. Фройляйн Эльза взяла его и положила в таз.

— Вам нехорошо, герр Карновский? — спросила она.

— Ничего, фройляйн Эльза, — пробормотал Георг, — просто так неожиданно...

— Нет, у вас кровь отлила от лица. — Девушка подала ему пузырек. — Сядьте и нюхайте. Сейчас все пройдет.

Чем лучше он себя чувствовал, тем сильнее становилось отвращение, он задышался от запаха гнили, и ему было стыдно перед девушкой за свою слабость.

— Не слишком хорошее начало, — сказал он растерянно.

— Ничего страшного, так у многих бывает, — успокоила его Эльза. — Выпейте стакан воды.

Тонкими, белыми пальцами она развязала ему воротничок и вытерла платком вспотевший лоб. Когда она наклонилась, медно-рыжий локон коснулся его лица, но Георг ничего не заметил и не почувствовал. Он видел только свежевываренный череп, смотревший на него пустыми глазницами.

Несколько дней он не решался зайти к Эльзе. Он так перед ней опозорился, и не было ни мужества, ни желания видеть девушку, которая спо-

койно носит в черном чемоданчике отрезанную человеческую голову.

Но потом отвращение и стыд прошли. Он соскучился по Эльзе. Она пошла с ним, когда он отправился переводиться на другой факультет.

Довид Карновский впал в ярость, когда узнал от жены, что его первенец изменил философии и решил заняться медициной.

— Устал я от его выходов! — кричал он, молотя кулаком по столу.

Вообще-то Довид Карновский ничего не имел против врачебной науки. Более того, как все торговцы, он считал ее достойным делом и относился к докторам с почтением. К тому же он знал, что многие великие люди, например Рамбам и некоторые другие, занимались медициной, благодаря чему были вхожи в королевские дворцы и принесли евреям немалую пользу. Но он уже не верил в сына, который только и делает, что транжирит время и деньги.

— Надолго его не хватит, — сказал он жене. — Все, больше он у меня ни гроша не получит.

Лея, как всегда, бросилась защищать «ребенка» и добилась, чтобы Довид дал ему еще один шанс. Злясь и ругаясь, Карновский вынул из кошелька несколько гладких хрустящих бумажек — он всегда хранил деньги в новых купюрах — и сунул их жене, чтобы она передала их сыну. Сам он даже видеть его не хотел.

— Я раньше рожу, чем он станет врачом, — заявил он Лее. — Вот посмотришь.

Теперь Георг с жаром набросился на учебу. Довид Карновский чувствовал себя неловко. Он, конечно, был рад, что сын наконец-то взялся за ум, но при этом досадовал, что его пророчеству не суждено сбыться.

— Ну, что скажешь, Довид? — ликовала Лея. — Видишь, как он учится? Не сглазить бы...

— Что-то мне уже не верится, — охлаждал Довид ее пыл, — что он больше не будет прыгать, как блоха.

— Типун тебе на язык, — пугалась Лея. Как бы слова мужа и правда не оказались пророческими.

II

Засветло, вместе с рабочим кварталом, доктор Ландау поднимается с постели и будит дочь.

— Эльза, вставай, лентяйка! — стучит он кулаком в дверь ее комнаты.

Прежде всего он обливается с головы до ног холодной водой. Ванны в старом доме нет, и доктор Ландау моется из кухонного крана, к досаде служанки Иоганны.

— Господину доктору должно быть стыдно, — наставляет она его каждое утро.

Красное после растирания тело доктора трясется от смеха.

— Сколько еще повторять, — говорит он, — в наготе нет ничего постыдного. Это глупцы придумали.

Старая Иоганна машет рукой.

— Ах, да что вы болтаете, — бурчит она и закрывает глаза, чтобы не видеть голого мокрого мужчины.

Покончив с водными процедурами, доктор ставляет дочь сделать то же самое.

— Эльза, не отлынивай! — кричит он, расчесывая мокрую бороду. — А то за волосы под кран притащу!

Эльза подчиняется, как бы ни было холодно на улице. Она знает, что отец не бросает слов на ветер, он и правда это сделает. В детстве, после того как умерла ее мать, он мыл ее каждый день и может помыть сейчас, не постесняется. Так что лучше самой. Она спешит на кухню. Старая Иоганна отворачивается. Ей омерзительна любая нагота, даже женская.

— Сам полоумный и дочку такой же делает, — бормочет она. — Глаза бы мои не видели...

Доктор Ландау натягивает рубаху грубого сукна и бархатные брюки, надевает ботинки на толстой подошве и широкую бархатную куртку и с непокрытой головой, взяв толстую трость, выходит прогуляться перед завтраком. До прогулки он только выпивает стакан воды. Эльза в простор-

ном платье и тоже с непокрытой головой должна идти с ним.

— Быстрей! — подгоняет он дочь, которая вечно не поспевает за его стремительным шагом. — Двигай руками! Вот так!

Весь район знает эту странную пару. Их приветствуют хозяйки с корзинами в руках, встречающие рабочие снимают шляпы.

— Здравствуйте, герр доктор! Доброе утро, герр доктор!

— Здравствуйте, герр Ерге, здравствуйте, фрау Байцгольц, здравствуйте, герр Кнауле, — отвечает доктор Ландау. Он всех помнит по фамилиям и именам.

Некоторые обращаются к нему иначе:

— Доброе утро, товарищ доктор. Хорошо спалось, товарищ доктор? Как отдохнули, товарищ доктор?

— Доброе утро, товарищ Айльбрехт. Как поживаете, товарищ Вицке? Здравствуйте, товарищ Мюллер. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, — отвечает доктор Ландау.

Мужчины улыбаются. Им приятно, что доктор тоже говорит им «товарищ». Они гордятся, что он состоит в рабочей партии и посещает собрания.

— Хороший человек, — говорят они о докторе между собой. А некоторые добавляют:

— И товарищ Эльза — славная девушка.

Доктор быстро идет по улице.

— Не отставай, Эльза! — приободряет он дочь. — Не дыши ртом, Donnerwetter!* Носом дыши, носом! Вот так...

У него есть привычка повторять несколько раз, когда он хочет, чтобы его хорошо поняли.

С прогулки надо возвращаться вовремя, они с Эльзой спешат домой. Школьники идут на занятия, несут под мышкой сумки с книгами.

— Доброе утро, герр доктор, доброе утро, фройляйн Эльза!

— Здравствуйте, сорванцы, здравствуйте, — отвечает доктор Ландау и тростью щекает мальчишкам животы. — Ты чей?

— Я Карл Вендемайер, у меня отец сапожник.

— Ах да, это я тебе вскрывал трахею, когда ты болел дифтерией, — припоминает доктор.

— А мне герр доктор в горло ложку вставлял, — говорит маленькая толстушка, — когда я болела.

— Ну-ка, покажи язык, — приказывает доктор Ландау. — Да не бойся, глупая, нечего стесняться.

Дети смеются над девчушкой, которой пришлось показать язык посреди улицы. Доктор смеется вместе с ними.

— Не вздумайте возле помойки играть! — предупреждает он, грозя тростью. — И не дышите ртом! Носом надо дышать... Вот так...

На некрашенный, выскобленный до блеска деревянный стол старая Иоганна уже поставила

* Черт возьми (нем.).

завтрак: черный хлеб, мед, молоко и овощи, морковь, капусту, все в сыром виде. Доктор Ландау не допускает ни ветчины, ни кофе, ни пива — это яд.

Он с хрустом жует сырой капустный лист, подавая Эльзе пример, как надо питаться, и сердится на Иоганну, потому что она не закрыла дверь и с кухни доносится запах жареного свиного сала. В доме только Иоганна не признает растительной пищи, она не может без сала, котлет и кофе. Доктор Ландау не выдерживает:

— Сколько раз вам говорить, дверь должна быть закрыта, когда вы жарите свинину. Я не могу этим дышать. Это отрава!

— Я уже шестьдесят лет это ем, — отвечает Иоганна, — и ничего, здорова.

— А вот это мне лучше знать, — говорит доктор и сбрасывает бархатную куртку, чтобы надеть белый медицинский халат.

Эльза помогает отцу, заодно вынимая из его бороды хлебные крошки. Доктор Ландау идет на кухню, моет руки и начинает кипятить инструменты. Старуха сердится, что он ей мешает, стерилизовать инструменты, по ее мнению, — еще одно из его чудачеств. Ровно в восемь утра, когда мало кто из врачей начинает прием, доктор Ландау приступает к работе.

В приемной ожидают пациенты со всего района: матери с детьми, беременные женщины, старики, каждый со своим недугом. На кухне, прямо

напротив приемной, Иоганна занимается стиркой и готовкой. Доктор Ландау так и не добился, чтобы она закрывала дверь, Иоганна любит поболтать с женщинами о болезнях и причудах хозяина. Доктор приглашает пациентов одного за другим.

— Раздевайтесь, — говорит он женщинам, — быстрее, нечего стесняться... Нечего стесняться... Нечего стесняться...

Он сердится, если в доме кто-нибудь закуривает. Ему не понятно, почему мужчины курят, вливают в себя такое количество пива, поглощают столько колбасы и ветчины. Он видит в этом источник всех заболеваний. Когда старик приходит с жалобами на желудок, доктор машет обеими руками.

— Слушайте, человек! — говорит он пациенту, как обращаются друг к другу на севере Берлина. — А почему бы желудку вас не порадовать, если вы радуете его? Вы запихиваете в него мясо, накачиваете его водкой и пивом, коптите табачным дымом, вот он и бурчит, и рыгает, да еще и воняет, как мусорный бак.

Так же доктор разговаривает и с женщинами. Сами виноваты в своих болезнях, нечего жрать в таком количестве мясо, шкварки, сало, сладости, принимать алкоголь и кофеин. Женщины внимательно выслушивают доктора и просят лекарство. Доктор Ландау трясет бородой: вот что, значит, нужно этим гусыням. Сперва они отравляют организм, а потом хотят очистить его зеленой или

красной микстуркой. Нет уж, обойдутся, он не выпишет им подкрашенной водички. Так наживаются нечистые на руку врачи и шарлатаны-аптекари. Больше никаких микстур. Только гигиена, правильное питание, регулярные прогулки, свежий воздух и чистая вода.

— Вода, чистая вода из крана, а не всякая муть из аптеки! — кричит доктор Ландау. — Понятно?

Только в исключительных случаях он дает больному микстуру, таблетки или порошок. Но не выписывает рецепта, а достает готовое лекарство из стеклянного шкафчика в кабинете или велит Эльзе сделать лекарство в лаборатории.

— Не суйте мне ваших денег, положите в тарелку на столе, — сердится доктор на пациентов, — и идите, идите, другие ждут в приемной!

Все врачи в районе злы на доктора Ландау за то, что он позволяет пациентам платить, сколько те сами считают нужным. Аптекарь магистр Курциус — его заклятый враг. Он рассказывает соседям, что Ландау — не настоящий врач, а жулик и проходимец, что он смеется над христианской верой, что он, как социалист, выступает против кайзера, отечества и религии. От таких надо держаться подальше. Но чем больше плохого говорят о докторе Ландау, тем охотнее люди к нему идут.

Эльза помогает отцу. Хоть она пока только студентка, она ставит компрессы, измеряет температуру и давление, делает уколы и много чего еще.

Доктор Ландау велит ей прослушивать пациентов, простукивать пальцами мужские и женские тела.

— Да оставь ты этот Богом проклятый стетоскоп! — сердится он на дочь. — Ухом слушай! Ухо — лучший инструмент. Вот так!

После ужина он ходит в пивную Петерсилле, где собираются его товарищи по партии со всего района. Герр Петерсилле ставит перед доктором стакан холодного молока, напиток, который редко заказывают в пивной, и приносит газеты и журналы. Доктор Ландау отхлебывает молоко, вытирая рыжие усы, и просматривает прессу.

— Вот мерзавцы, кайзеровские прихвостники! — не может он сдержаться.

Посетители за соседними столиками согласно кивают головами. Они горды тем, что такой человек живет в их квартале, говорит так же, как они, верит в рабочее дело и даже заходит в пивную.

— Ваше здоровье, товарищ доктор! — поднимают они полные кружки.

— Ваше здоровье, пьяницы и курильщики! — отзывается доктор Ландау и окунает усы в стакан молока.

Народ посмеивается над его ненавистью к табаку и пиву. К нему подходят, спрашивают, что он думает о разных политических событиях. Доктор дает себе волю. Он трясет бородой, размахивает руками, кипятится, угрожает и проповеду-

ет во весь голос. Он в пух и прах разносит противников, богатеев, всяких там господ советников, юнкеров и прочих кайзеровских жополизов. Мужчины покатываются со смеху над его шутками и сочной речью.

Руководители партии не доверяют ему ответственной работы из-за его горячности, пристрастия к крепким словечкам и особенно из-за его непрактичных идей, но тоже с удовольствием слушают его и смеются над его остротами.

Гораздо больше доверяют его дочери. Она читает женам рабочих лекции о гигиене. Хотя она сама не замужем, Эльза объясняет матерям, как ухаживать за детьми. Женщины внимательно слушают, бывает, даже просят совета или делятся своими радостями и горестями. Еще Эльза ведет молодежный кружок, где рассказывает о политике и экономике. Девушки гордятся, что дочь врача поддерживает рабочее движение, парни влюбляются в нее.

Больше всех влюблен в Эльзу Георг Карновский, он просто сохнет по ней, но никак не может ее покорить.

Как заднее колесо телеги, сколь бы оно быстро ни крутилось, никогда не догонит переднего, так и Георг не может догнать Эльзу Ландау. Она все время впереди. Георг чувствует себя униженным и ничтожным.

Он ведь так упал в ее глазах, когда ему стало дурно при виде человеческого черепа. До сих пор

Георг ничего не может с собой поделаться. Каждый раз он вспоминает о своем позоре, стоит ему оказаться рядом с Эльзой: в лаборатории, когда он туда приходит, или в анатомичке, где они работают вместе, бок о бок.

Как все молодые студенты-медики, Георг пытается цинично относиться к смерти. Но как избавиться от запаха разложения и формалина? Этот запах проникает в голову, пронизывает до самых костей. Георг курит сигарету за сигаретой, глубоко затягивается, чтобы дымом перебить тошноту.

Вечером к хозяйке
Приходил майор, —

подпевает он другим студентам, трудясь над мертвыми органами.

Эльза Ландау не курит, не поет и даже не разговаривает за работой. Хладнокровно, будто раскраивая ткань для шитья, стоит она за цинковым столом, на котором разложены человеческие руки и ноги, и режет их скальпелем. Она рассекает кожу, отделяет от мышц сосуды и нервы. Эльза так ловко справляется с этой работой, что профессора просят ее показывать первокурсникам, как надо препарировать. Студентам кажется унижительным, что их обучает девушка, они подшучивают над ней, говорят комплименты ее красоте и даже пытаются делать двусмысленные намеки, особенно когда препарировуют нижнюю часть муж-

ского или женского тела. Эльза не сердится и не обижается, только смотрит на них умными карими глазами, как взрослый человек на непутевых мальчишек.

— Что смешного, коллеги? — говорит она спокойно, но повелительно. — Не вижу причин для веселья.

В ее спокойствии слышится такое превосходство, что у парней пропадает охота насмешничать, собственные шутки над человеческими органами начинают казаться им глупыми. У Эльзы стройная, соблазнительная фигурка, ее движения мягки и женственны, она излучает жизнь даже здесь, в окружении смерти, но никто не осмеливается обратиться к ней в пошловатом студенческом тоне, как ребята разговаривают с другими девушками у стола.

— Не так, коллеги, вот как надо, — показывает Эльза Ландау первокурсникам. — И пожалуйста, не дымите мне в лицо.

Студенты стараются выпускать сигаретный дым в сторону, и вместе с дымом перед этой спокойной, проворной девушкой улетучивается вся их бравада. Особенно неуютно чувствует себя Георг Карновский.

Именно из-за того, что он стремится показать Эльзе ловкость и умение, все валится у него из рук, он совершает ошибку за ошибкой. Он не может отказаться от сигареты, как требу-

ет Эльза, без табака ему не преодолеть отвращения и тошноты. Только на улице он может вздохнуть свободно. На свежем воздухе, среди прохожих, он снова начинает чувствовать себя мужчиной, высоким и сильным. Эльза едва достает ему до плеча. В приталенном платье она выглядит особенно хрупкой. Когда они разговаривают, ей приходится смотреть на Георга снизу вверх. Он несет ее чемоданчик, берет ее под руку, когда нужно быстрее перейти улицу, защищает и оберегает ее. Эльза принимает его мужскую опеку, улыбается ему, как все девушки улыбаются своим защитникам, всю дорогу смеется над его шутками.

Но неуверенность возвращается к Георгу, когда он приходит к Эльзе домой и сидит у нее в маленькой, темной лаборатории. Эльза может не выходить отсюда часами. Для Георга у нее нет времени, даже по вечерам. Он говорит, как тоскует по ней, а она разливает мочу по пробиркам, делает анализ крови или слизи. Хоть Георг сам всерьез увлечен медицинской карьерой, ему неприятно, что Эльза, вместо того чтобы его слушать, возится со всякой дрянью.

— Да оставьте вы эту гадость, ради Бога, — сердится он. — Я же говорю с вами.

— А что, вам мешает? — не понимает Эльза. Для нее не существует грязи, любое вещество представляет собой научный интерес. — Как ме-

дик, вы должны смотреть по-другому, — объясняет она, — с точки зрения медицины.

— Медик, медик! — злится Георг. — Сейчас я не медик, а мужчина, Эльза, понимаете, мужчина! Так почему бы вам хоть на минуту не стать женщиной?

Эльза смеется над его мальчишеским гневом и смотрит на Георга умными карими глазами, как взрослый человек на глупого, капризного ребенка.

— Вы, мужчины, такие смешные, — говорит она. — Все время пытаетесь показать свою смелость, как петухи перед курами, а сами далеко не такие герои, какими хотите выглядеть. А вот мы, женщины, не стыдимся человеческой слабости.

— Вы не знаете, Эльза, что такое жизнь, что такое любовь, — отвечает Георг. — Если вы кого и любите, так только бацилл...

В сотый раз он принимает решение бежать от нее. Лучше другие, простые, обычные девушки. Он даже согласен встречаться с Рут Бурак, с кем угодно, лишь бы не с этой докторской дочкой, которая мучает его и обращается с ним, как с глупым мальчишкой. Он пытается быть сильным, проявить характер, как подобает мужчине. Бесплезно. Наоборот, чем больше она его унижает, тем больше его тянет к ней. Каждый вечер он приходит в темную, тесную лабораторию, чтобы вдыхать резкий, отвратительный запах.

Наградой ему служат воскресенья и праздники, когда с Эльзой и ее отцом Георг уезжает за город.

Когда все обитатели дома еще спят, отдыхая после недели тяжелого труда, еще раньше, чем на буднях, доктор Ландау поднимает Эльзу с постели, чтобы она приготовилась к путешествию. Воскресенье — единственный день, когда доктор может отдохнуть, и он стремится как можно раньше покинуть дом, пока не вызвали к больному или роженице.

С тяжелыми посохами в руках, с рюкзаками, в которые уложена еда на целый день, свернутые дождевики на случай плохой погоды, оловянные бидончики, чтобы черпать воду из родников, отец и дочь отправляются в путь, бродят по полям, лугам и лесам. Их всегда сопровождает Георг Карновский. В широких штанах до колен, высоких шерстяных чулках и тяжелых ботинках, подставляя горячему солнцу непокрытую черноволосую голову, он шагает рядом с Эльзой и полной грудью вдыхает аромат травы, воды и полевых цветов. А доктор Ландау учит, как надо дышать.

— Не ртом, — напоминает он, не переставая, — а носом, носом.

Эльза, развеселившись, хохочет:

— Если ты не позволишь нам дышать, как мы хотим, возьмем и убежим от тебя. Правда, Георг?

— Ну и бегите, — отвечает доктор. — Я пока еще достаточно крепок, без вас дойду. Вот так!

И сильным ударом посоха о мягкую землю он показывает, насколько он крепок.

— Родной мой, смешной папка! — И Эльза целует его в губы, спрятанные в рыжих зарослях усов и бороды.

— Надо же, какие нежности! — ворчит доктор, пытаясь скрыть собственную нежность к дочери.

Он то и дело наклоняется, чтобы погладить рукой желтые и белые цветы, или вдруг погонится за бабочкой, кузнечиком, лягушкой или еще какой-нибудь тварью, копошащейся в траве, поймает жабу или мышь-полевку.

— Милейшее существо, — говорит он, осторожно поглаживая ее пальцем. — Смотрите, какие глазки...

Он знает всех животных, помнит их названия и повадки, может рассказать о целебных свойствах любого растения. Доктор Ландау не презирает народные средства, как большинство врачей. Он собирает сочные, красноватые дубовые листья, которые крестьяне прикладывают к ранам. Он запасает ромашку, которую в деревнях заваривают, чтобы лечить простуду. Он ложится на землю возле муравейника и наблюдает, как суетятся проворные, трудолюбивые букашки, глубоко вдыхает острый запах муравьиного спирта и хвалит крестьян, за то что они догадались делать из этих насекомых настоек от ревматизма.

Доктор внимательно прислушивается, по голосу он может узнать любое существо, зверька или птицу. Он осторожно поднимает земляную лягушку и рассматривает ее через толстые стекла очков. Лягушка — крупная, мягкая, песочного цвета. Георг неохотно принимает ее из рук доктора.

— Зеленые болотные лягушки — красивые, — говорит Георг, — а эта — какая-то мягкая, противная.

Доктор Ландау обижается, когда слышит о лягушках плохое.

— Животное не может быть противным, — возражает он. — Правда, Эльза?

Эльза берет чесночницу, переворачивает пятнистым брюшком кверху, рассматривает круглые лягушачьи глаза, широкий рот, неуклюжие лапки и соглашается с отцом:

— Да, очень любопытно. Особенно эти пятнышки на брюшке.

Вдруг ей в голову приходит мысль, что лягушку было бы интересно препарировать.

— Это необычная лягушка, Карновский, — говорит Эльза. — Садитесь сюда, сейчас мы сделаем вивисекцию.

Георг выхватывает у девушки лягушку и кидает в траву.

— Не сегодня, Эльза, — говорит он. — Хватит уже, и так целую неделю кромсаем.

На воздухе, на природе он сильнее, чем всегда, ощущает тепло молодого, гибкого тела Эльзы, блеск ее умных карих глаз, огонь рыжих волос, сверкающих на солнце.

Сейчас девушку не узнать, такая она озорная и веселая. Она глубоко вдыхает свежий воздух не только носом, как учит отец, но и ртом, дышит полной грудью. Она ласкает деревенских псов, которые сначала кидаются к ним с громким лаем, но тут же, почуяв их доброту, дружелюбно виляют хвостом. Она гладит влажные носы тоскливо мычащих телят и не перестает говорить о том, как прекрасен мир.

— Вы не согласны, Георг? — спрашивает она, называя его просто по имени.

Георг, шагая, распевает мощным, звонким голосом, и эхо отзывается в полях. Деревенские девушки смотрят из распахнутых окон на трех странных путников. Таких нечасто увидишь в этих краях. Огненно-рыжая борода доктора, почти мужская одежда Эльзы, черные как смоль волосы поющего парня — все это ново, необычно и интересно. Доктор Ландау в такт песне уверенно печатает шаг, размахивая руками.

— Здравствуйте, здравствуйте! — приветствует он крестьян, стоящих у домов и ворот.

Когда солнце начинает припекать, доктор отправляется искать речку, где можно искупаться. Они с Георгом бросаются в воду, а Эльза остает-

ся на берегу. Отец зовет ее поплавать вместе с ними.

— Глупая ты гусыня! — кричит он. — Сколько тебе говорить, в наготе нет ничего постыдного. Раздевайся и полезай в воду!

— Попозже, когда вы выйдете, — отвечает Эльза издали.

Георг ныряет с горки на берегу, плавает саженками, потом на спине, показывая свою ловкость.

Когда мужчины одеваются, Эльза идет купаться. Георг ловит каждый всплеск.

— Эльза! — зовет он, просто чтобы лишний раз произнести ее имя. — Эльза!

И эхо вторит ему. От мокрых волос Эльзы под жаркими лучами солнца валит пар. Освеженная, пахнувшая речной водой, она вынимает из рюкзаков провизию: овощи, фрукты, сыр, бутыль молока. Сейчас Эльза напоминает почтенную мать семейства, которая собирается кормить детей и мужа. Георг ест с волчьим аппетитом. Эльза вынимает из отцовской бороды крошки и бросает их птицам, которые с пискom бегают прямо под ногами. Покончив с едой, доктор Ландау растягивается на траве, и не проходит минуты, как он уже громко храпит, рыжие усы вздрагивают при каждом выдохе.

Солнечный свет льется с бескрайнего ярко-голубого неба. Вдоль горизонта протянулась темно-синяя полоска леса. Жужжат мухи, стрекочут в тра-

ве кузнечики. Вдалеке виднеется шпиль полуразрушенного замка. Крыша деревенской кирхи горит на солнце. Аист на старом, голом дереве щелкает длинным клювом. Георг чувствует, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди от счастья. Он прислушивается к тысячам звуков, летящих со всех сторон.

— Эльза, — говорит он тихо, тронув девушку за руку, — разве не прекрасно?

— Да, Георг, — отвечает Эльза. Она кладет его голову к себе на колени, проводит пальцем по его волосам. Сейчас она так добра к нему. Даже когда отец на секунду просыпается, она не отодвигается от Георга. А он, обеспокоенный, вздрагивает и быстро поднимает голову, будто его застали за чем-то непристойным. Доктор Ландау поворачивается на другой бок.

— Dummkopf*, — бормочет он и снова начинает храпеть.

Эльза тихонько напевает, так нежно, будто баюкает ребенка. Умными карими глазами она задумчиво смотрит на Георга.

— Спи, малыш, — говорит она чуть слышно.

На минуту Георг закрыл глаза, доверившись нежным рукам девушки. Но тут же почувствовал себя глупо в роли малого ребенка и резко, стремительно поднялся.

— Что случилось, малыш? — спрашивает Эльза удивленно.

* Дурак (нем.).

Георгу не нравится этот материнский тон. Он не дитя, чтобы она пела ему колыбельные, гладила его по головке и всячески водила за нос. Он мужчина, и он не позволит ей забавляться с ним, как с комнатной собачонкой. Он хочет услышать ясный ответ. Да, прямо здесь и сейчас. У нее с ним серьезно или она просто дурачит его? Любит она его, черт возьми, или нет? Если да, так пусть у них все будет как у людей. Он готов поговорить с ее отцом. Одно ее слово, только одно слово, и они поженятся и будут вместе. А если не любит, пусть скажет прямо, и он больше не будет обременять ее своим присутствием. Она может в этом не сомневаться. Ничего, она не единственная. Полно других девушек, красивых, умных и образованных, которые будут ценить его общество и относиться к нему, как женщина должна относиться к мужчине.

Эльза слушает, не перебивая, и задумчивость исчезает из ее умных карих глаз.

— Малыш, это что, ультиматум? — наконец спрашивает она с легкой насмешкой.

— Да, ультиматум, — сердито отвечает Георг.

Эльза укладывает вещи в рюкзак и по-матерински наставляет Георга. Она всегда готова работать с ним в лаборатории и выезжать за город, потому что он ей симпатичен, в каком-то смысле она его любит. Но если он хочет, пусть встречается с другими девушками, которые будут его боготворить, преклоняться перед ним и счи-

тать его своим повелителем. Она знает, все мужчины хотят быть сильными. Из-за этой слабости они и разыгрывают из себя героев. Но если он ждет этого от нее, от Эльзы, он совершает ошибку, она никогда не будет подчиняться никому на свете, ни одному мужчине. Поэтому она никогда не выйдет замуж. У нее есть медицина, рабочий клуб и лаборатория. Выходить замуж у нее нет ни желания, ни времени.

— Понял, малыш? — спрашивает она и целует Георга прямо в губы.

Кровь ударяет Георгу в голову, закипает в жилах. Он решительно делает шаг к Эльзе, он так разгорячен, что даже перестает слышать храп доктора. Эльза смотрит на него пронизательным взглядом и вдруг начинает смеяться, как взрослый человек над разозленным мальчишкой.

— Забавный ты, — говорит она.

Ее смех отрезвляет Георга, кровь остывает, он стоит перед ней, такой властной и мудрой.

Чтобы приободриться, он начинает громко насвистывать, и эхо отвечает ему из бескрайних полей.

Несмотря на ясную, солнечную погоду, просторный зал прозекторской при институте патологической анатомии ярко освещен электрическими

лампами. Вдоль стен стоят на подставках взрослые и детские скелеты. В стеклянных банках мокнут сердца, желудки и кишки. Санитары развозят на тележках мужские и женские тела и раскладывают их на оцинкованных столах. Студенты, сбившись в небольшие группки, курят и тихо разговаривают.

— Дорогу, господа кандидаты, дорогу! — покрикивают на них санитары.

Они смотрят на студентов свысока: за годы работы санитары стали хорошо разбираться в анатомии, гораздо лучше, чем старшекурсники. Студенты расступаются.

Сегодня важный день, экзамен по хирургии. И главное, принимает сам директор клиники, тайный советник профессор Ленцбах. Нервные, взволнованные студенты и студентки в белых халатах мечутся по залу. Обеспокоены даже сторожа.

— Не курить, господа! — кричат они. — Погасите сигареты!

Они знают: профессор Ленцбах сам курит на экзамене, но студентам не позволяет. Это все-таки операция, хоть и ненастоящая, а во время операции курить не положено. Ничего, пусть студенты подышат воздухом анатомички, им полезно. Он тоже, когда был студентом в Гейдельберге, своего надышался. Студенты бросают сигареты в ведро с песком. Когда входит профессор, сторожа вытягиваются по струнке.

— Доброе утро, господин тайный советник! — рявкают они хором.

— Доброе, — бросает профессор Ленцбах, не поворачивая высоко поднятой головы, и проходит мимо них, по-военному чеканя шаг.

Ему уже за семьдесят, но он держится прямо, как молодой, спортивный офицер. В отличие от других профессоров, Ленцбах не носит бороды, его белые как снег волосы коротко подстрижены, седые усы по-гусарски закручены вверх, лицо докрасна обветрено и обожжено солнцем. На щеке темнеет шрам, полученный в Гейдельберге, в студенческие годы. Холодные голубые глаза внимательно смотрят по сторонам. Он идет по залу, как генерал перед солдатами. Ассистенты спешат за ним, как адъютанты.

— Доброе утро, господин тайный советник, — здороваются напуганные студенты в сероватых халатах.

— Доброе утро, — небрежно отвечает профессор Ленцбах и внимательно осматривает их, как командир осматривает солдат в строю.

Студенты заметно волнуются, и больше всех — Карновский. Экзамен пришло сдавать человек десять, и только у него необычная, иностранная фамилия на «-ский», да еще и имя Мозес, вдобавок к Георгу. Среди сероглазых блондинов он один смуглый, с черными глазами. Правда, неприятностей из-за этого у него

пока не было, профессора относились к нему не хуже, чем к другим студентам, и все же ему неспокойно, уж очень сильно он выделяется своей внешностью. Ему становится холодно под пристальным взглядом профессора Ленцбаха. Георг ничего не может с собой поделаться и от растерянности совершает ошибку, как только профессор называет его фамилию:

— Я, господин профессор, — но тут же, опомнившись, поправляется: — Я, господин тайный советник.

Профессор смотрит на Георга так, что у того кровь леденеет в жилах. Ленцбах очень строг в том, что касается титулов. Не только студенты, но даже преподаватели всегда называют его «господин тайный советник». Хоть Карновский сразу исправил ошибку, это ему так не сойдет. Профессор Ленцбах ненавидит ошибки и невнимательность, он любит дисциплину и точность. Значит, этот невнимательный черноволосый студент первым получит свое.

— Аппендектомия, Карновский, — указывает на тело Ленцбах.

До сих пор Карновский обычно имел дело с препарированными телами, но это — свежее, только что из клиники. Это тело молодой женщины, лет двадцати, не больше, худенькой, хрупкой. У нее маленькая грудь, видно, она не рожала и, может, вообще не знала мужчины. Красивые, пра-

вильные черты застывшего воскового лица. Глаза закрыты, будто она просто уснула. Когда Георг прикасается к телу, оно даже кажется ему теплым. Рука слегка вздрагивает, когда он делает первый разрез на животе.

— Спокойно, не дергайте рукой, — призывает тайный советник Ленцбах, наблюдая за Георгом.

От запаха формалина и смерти подступает знакомая тошнота. Георг сопротивляется ей изо всех сил. Его мутит, голова кружится, руки холодеют. Пот выступает на лбу. Профессор Ленцбах следит за движениями Георга.

— Спокойней, быстрее, — командует он. — Забудьте, что перед вами труп. Это пациентка, которой надо удалить аппендикс. Тут не до шуток. Работать надо быстро и уверенно.

От слов профессора Георг начинает нервничать еще больше.

— Да, господин тайный советник, — бормочет он, пытаясь справиться со слабостью и тошнотой.

Кажется, время остановилось, минуты тянутся, как часы. Из последних сил Георг делает еще один разрез, извлекает аппендикс и показывает профессору. При этом он смотрит в лицо Ленцбаху, ожидая, что тот скажет слово одобрения или хотя бы кивнет головой. Профессор молчит. Холодные, голубые глаза даже не мигают.

Карновский ждет, что сейчас профессор отпустит его и вызовет другого, ему надо скорее выйти на воздух и закурить. Но тайный советник Ленцбах не спешит. Он не таков, как другие преподаватели. Не любит тайный советник Ленцбах, когда что-то слишком легко дается. Он хочет, чтобы новоиспеченные докторишки еще долго его помнили. Так просто от него не отделаться. Ему самому доставалось, когда он был студентом, и теперь он не дает спуска другим. Он не говорит парню со смешным именем Георг Карновский, хорошо или плохо тот провел операцию, и дает новое, редкое задание:

— Энуклеация* глаза!

Теперь Карновский должен извлечь глазное яблоко у мертвой девушки с разрезанным животом. На ватных ногах он подходит со стороны головы и дрожащими пальцами пытается приподнять веко. Это нелегко, приходится потрудиться. И вот голубой, мягкий глаз взглянул на него с укором и грустью. Георгу не по себе: во взгляде мертвой девушки — тоска по рано оборвавшейся жизни и стыд, что она лежит перед чужими мужчинами, совершенно голая, порезанная, изуродованная. Руки снова начинают дрожать.

— Осторожней! — сердится тайный советник Ленцбах. — Это же глаз, аккуратней надо. Осторожней, черт возьми!

* Полное удаление какого-либо органа или опухоли.

Георг чувствует: еще минута — и он потеряет сознание. Но надо держаться. И вот глазное яблоко извлечено. Кто-то из студентов поддерживает Георга, пока он скальпелем отсекает мышцы.

— Достаточно, — наконец говорит профессор Ленцбах и кивает головой: студент справился с заданием, экзамен сдан.

Шатаясь, Георг выходит из анатомички. Он знает, что все в порядке, он в конце концов достиг цели после стольких лет труда и сомнений, но радости он не чувствует. Сейчас ему все равно, лишь бы оказаться подальше от вскрытого тела, подальше от запаха смерти и формалина, лишь бы больше не видеть мертвого укоризненного и печального взгляда.

Свежий воздух, сверкающее солнце, голоса прохожих, смех детей успокаивают Георга. Тошнота отступает. Но как отделаться от укора в мертвом взгляде? Георг читает его в глазах каждой встречной женщины, не может забыть о нем даже в кафе, куда он зашел, чтобы подкрепить силы рюмкой-другой коньяку. Знакомая официантка улыбается Георгу. У нее голубые глаза. Вместо того чтобы, как всегда, улыбнуться в ответ, отпустить какую-нибудь шутку, Георг смотрит на нее с испугом. Она так похожа на ту, на цинковом столе.

— Что с вами, господин доктор? — спрашивает удивленная официантка. Она уже называет его доктором.

— Еще коньяка, — отвечает Георг.

Даже ночью, когда он пришел с коллегами в ресторан, чтобы напиться и обо всем забыть, мертвый взгляд не отпускал его. Георг целовался с девушками, заказывал стакан за стаканом, громко распевал залихватские песни, чтобы заглушить в себе страх. Но вдруг в ресторанном шуме ему снова начинала мерещиться та, с голубыми глазами. Каждая девушка напоминала о ней.

Под утро он вернулся домой, в каморку на севере Берлина, и сразу бросился в постель. Спать, спать! Но вместо сна вдруг явился учитель древнееврейской грамматики герр Тобиас и принялся повторять с Георгом Книгу пророка Иезекииля.

— Герр Тобиас, отстаньте, я спать хочу, — просил Георг.

Но герр Тобиас и слушать не желал. Своим грустным голосом он повторял и повторял, как Бог привел пророка Иезекииля в долину, полную иссохших костей. «И Бог сказал: «Сделай пророчество об этих костях». Тогда Иезекииль сказал: «Вы, иссохшие кости, слушайте слово Бога». И поднялась буря, и кость приблизилась к кости, и я увидел, как на них выросли жилы, и мясо, и кожа покрыла их сверху».

— Герр Тобиас, я устал, у меня голова болит, — умоляет Георг.

— Нет, Георг, еще раз, — не унимается герр Тобиас и переводит на немецкий древнееврейские слова: — «И вошло в них дыхание, и ожили они... И встали на ноги, полчище весьма великое...»

Георг ничего не понимает. Он вскакивает и бежит в Университет Фридриха-Вильгельма, заходит в анатомичку, а там скелеты слезают с подставок и разбредаются во все стороны. А за ними ползут препарированные органы, срastaются друг с другом, кость с костью, и превращаются в людей. Впереди идет девушка с разрезанным животом и смотрит на Георга единственным голубым глазом. Скелеты следуют за ней. Георг бежит, но они не отстают, шагают по каменному полу, по лестнице, выходят на улицу, размахивают руками, костяные ступни грохочут по мостовой. Их уже тысячи, миллионы, они маршируют, громахая мертвыми костями. Георг кричит студентам, чтобы спасались. Студенты, санитары, профессора, тайный советник Ленцбах бегут по ступеням, быстрее всех бежит сам Георг, крепко держа за руку Эльзу. Полчища скелетов гонятся за ними. Георг снова вскрикивает что есть силы и открывает глаза. Над ним стоит фрау Крупа и трясет его за плечо.

— Вставайте, лодырь, — говорит она укоризненно. — Нагулялись вчера? Уже полдень, а вы все спите. И говорите во сне...

Расстроенный, с больной головой, Георг отправился к доктору Ландау излить душу.

— Боюсь, доктор, глупо с моей стороны было бросать философию и браться за медицину, — сказал он. — Видно, не мое это. Во всяком случае, хирургия.

— Ерунда! — ответил доктор Ландау. — Врач без сердца — это мясник с медицинским дипломом. Только человек с великим сердцем может стать великим врачом. Запомните мои слова, коллега.

К выпускному вечеру в Университете Довид Карновский снова облачился в праздничный сюртук и цилиндр. Лея, как обычно, не пошла на торжество из-за неуверенности в своем немецком. Георг надел фрак и лаковые туфли. Кроме профессоров, явились почетные гости с медалями на груди и даже высшие армейские чины. Тайный советник Ленцбах, словно генерал, произнес пламенную речь о долге врачей перед отечеством. Получив диплом, Георг радовался, как мальчишка. Он был так же счастлив несколько лет назад, когда окончил гимназию. На несколько недель он поехал отдохнуть на Балтийское море. В рыбацкой деревушке вода, солнце и ветер избавили Георга от усталости, накопившейся за годы тяжелого труда, помогли забыть тошнотворные запахи гнили и смерти.

В августе Георг вернулся в Берлин, чтобы успеть осмотреться и подыскать место в хорошей

больнице. Едва въехав в город, он наткнулся на военный парад.

— Долой Францию! Долой Россию! — звучало со всех сторон.

— Да здравствует кайзер! Да здравствует отечество!

— Вперед, к победе! Разобьем французов! — пели марширующие солдаты, гремя по мостовой подкованными сапогами.

Реяли знамена, звучала музыка. Прохожие обнажали головы и начинали подпевать солдатам. Георг тоже стал подпевать мощным, низким голосом.

Среди тех, кого мобилизовали в первых рядах, был и молодой доктор Карновский. Он был приписан к медсанчасти, которая отправлялась на Восточный фронт.

13

В еврейском квартале, который гои в насмешку называют Еврейской Швейцарией, начался переполох.

Галицийские евреи увешивали лавки, ресторанчики и синагоги немецкими и австрийскими флагами. На домах попеременно пестрели портреты кайзера Вильгельма с лихо закрученными вверх усами и австрийского императора с седыми бакенбардами и отеческим взглядом. Самые

большие знамена и портреты украшали балкон облезлой гостиницы «Кайзер Франц-Иосиф», принадлежащей Герцеле Вишняку из города Броды. Старики в альпаковых сюртуках нарадоваться не могли на своего правителя.

— Какой красавец, чтоб не сглазить, — говорили они с нежностью. — Вот это монарх, это да.

— Дай Бог ему здоровья! — вторили им женщины.

Парни, призванные в австрийскую армию, собирались домой и дразнили соседей из России:

— И всыплет же наш император перца вашим фонькам! Долго помнить будут...

А для русских и польских евреев настали черные дни. Рослый, толстопузый полицейский, который не один год важно расхаживал по грязным улочкам, теперь заходил в один дом за другим и приказывал собирать вещи. Русских евреев интернировали, хоть они и твердили, что давно не имеют с Россией ничего общего.

Галицийские пытались заступаться за русских соседей.

— Ничего не поделаешь, господа, — отмахивался жирной рукой полицейский. — Военное время.

Не лучше было и тем, кто переселился из нищего квартала на богатые улицы.

Беда не миновала даже Соломона Бурака, владельца огромного магазина. Всех его родственни-

ков, продавцов и продавщиц, прямо из магазина забрали в полицию, так мало того, даже ему самому, богачу и старому берлинцу, приказали приходить отмечаться, пока не будет нового распоряжения. Соломон был вне себя. У него склад забит товаром, грядет сезонная распродажа, скоро покупатели повалят толпами.

— Черт бы побрал этих фонек! — ругался он. — Война им понадобилась! Именно сейчас!

Соломон кинулся за протекцией к знакомым банкирам и фабрикантам, но никто не захотел ему помочь.

— Война, герр Бурак, — отвечали все как один. — Ничего не попишешь.

Соломон Бурак быстро понял, что просьбами ничего не добьешься, и обратился к испытанному другу и помощнику — толстому кошельку. Он не раз выручал его и в России, где берут в открытую, и здесь, где якобы вообще не берут.

С бумажником, туго набитым деньгами, Соломон отправился к высшему начальству разузнать что и как. Он всегда начинал с головы, а не с хвоста. Так, покуривая толстую сигару, отпуская шутки и рассказывая анекдоты на сочном уличном немецком, Соломон быстро добился, чтобы от него отвязались. Пришлось, правда, отвалить солидный куш Красному Кресту, зато начальство, узнав об этом, просто расцвело от

счастья. И еще больше расцвело, когда Соломон Бурак вежливо и ловко сунул ему в руку запечатанный конверт, будто заплатил гонорар медицинскому светилу.

— Очень благородно, герр Бурак, — сказал чиновник, расплываясь в улыбке.

— Буду рад прислать для вашего семейства образцы осенних моделей, — ответил Соломон Бурак и с легким кошельком и легкой душой вышел на улицу.

Родственников он так и не смог вызволить, пришлось набрать на их место немецких девок. Однако сам он был в безопасности. С удвоенной энергией Соломон принялся готовиться к осеннему сезону. Соседи были разочарованы. Больше других злился главный конкурент Людвиг Кадиш, которого призвали в армию.

— Когда отправляетесь в лагерь для интернированных, герр Бурак? — спросил он.

— «Кадейш урхац, освяти праздник и омой руки», — ответил Соломон Бурак словами, которые произносят на пасхальной трапезе, намекнув и на фамилию соседа, и на то, что рука руку моет: всегда можно найти выход, была бы голова на плечах.

Довид Карновский был потрясен, когда ему приказали явиться в полицию и там объявили, что скоро его вместе с другими русскими отправят в лагерь для интернированных.

Это не укладывалось в голове. Его, Карновского, который от темноты и невежества Востока бежал к свету и культуре Запада? Который говорит по-немецки грамотнее, чем любой немец? Видного прихожанина известной синагоги, знатока Мендельсона, Лессинга и Шиллера? Преуспевающего торговца, владельца доходного дома, отца детей, выросших в стране? Его хотят арестовать, как простолюдина?

Карновский отправился к своему другу, раввину Шпайеру. Пусть раввин объяснит, кому надо, кто такой Довид Карновский. Но доктор Шпайер побоялся даже поговорить с другом, к которому так часто приходил в гости побеседовать о Торе и науке.

— Военное время, дорогой герр Карновский, — холодно сказал он. — Я не могу вмешиваться.

— Но вы же знаете, какой из меня русский, герр доктор! — воскликнул изумленный Карновский. — Разве евреи не должны выручить друг друга из беды?

— Закон страны — наш закон, — ответил цитатой доктор Шпайер. — Вы ставите меня в неудобное положение.

Карновский вышел, не попрощавшись.

Не лучше его приняли и у профессора Бреслауэра.

— Когда говорят пушки, музы молчат, — сказал профессор. — Мне очень жаль, но военное время...

Довид Карновский пошел в еврейский квартал, к реб Эфраиму Вальдеру. Он не собирался искать у него покровительства. Довид прекрасно знал, что старик не сможет повлиять на власти. Просто хотелось выговориться, рассказать, как поступили с ним его добрые друзья.

Проходя по Гамбургер-штрассе, возле синагоги, где стоял небольшой памятник Мендельсону, он поднял угольно-черные глаза на бронзового философа, из-за которого когда-то приехал в город культуры и света. Достойных наследников он оставил, подумал Карновский с горечью, вот они, так сказать, мудрецы и праведники.

Недалеко от еврейского квартала он наткнулся на колонну арестованных, которых вели полицейские. Прохожие плевались и грозили кулаками.

— Смерть русским! — несло со всех сторон. — Смерть проклятой банде!

В арестантов летели камни и комки грязи. В толпе кровожадной черни Карновскому стало не по себе. Чуть ли не бегом он добрался до Драгонерштрассе. Лавка Эфраима Вальдера была увешана австрийскими флагами и портретами кайзера, как у всех галицийских евреев. Жанетта Вальдер кучу денег потратила на эти флажки и картинки.

Реб Эфраим, как обычно, сидел над книгами, изучал, делал записи.

— Добро пожаловать, ребе Карновский! — поздоровался он, откладывая гусиное перо. — Давненько не виделись. Присаживайтесь.

Довид Карновский остался стоять.

— Не забывайте, мы ведь теперь враги, — сказал он с усмешкой. — Если вы боитесь, я уйду.

Реб Эфраим Вальдер улыбнулся в седую бороду:

— Это удел черни. Ученому и мыслителю бояться не подобает.

Довид Карновский сел и выложил все, что думал о своих друзьях, которые так легко от него отказались.

Реб Эфраим Вальдер не удивился. Старик, немало повидавший за свою долгую жизнь, он давно привык ко всему относиться философски: к человеческой слабости, неблагодарности, даже к войне.

— Война началась, когда завистник Каин убил в поле своего брата Авеля, и с тех пор не прекращается ни на минуту, — сказал реб Эфраим. — Мелкий философ, но очень умный человек Вольтер замечательно написал об этом в одной из книг, сейчас не могу вспомнить название.

Спокойно, будто не было никакой войны, реб Эфраим достал рукопись и принялся читать Карновскому недавно добавленные мысли.

Единственным, кто заступился за Карновского, оказался его сын, от которого Довид давно не ждал ничего хорошего. В новой форме военного врача Георг пришел в полицию и растолковал, что несправедливо интернировать отца, когда его единственный сын отправляется на фронт. Довида оставили в покое.

— Поди знай, откуда что возьмется, — сказал он жене, на этот раз не по-немецки, а по-еврейски. — Никогда бы не подумал, что Георг на такое способен.

— А я всегда гордилась нашим сыном, — ответила счастливая Лея. — Храни его Бог, нашего мальчика...

Больше всех последними событиями был раздражен доктор Фриц Ландау.

— Идиоты, стадо баранов, пушечное мясо! — напутствовал он военные части, с песнями марширующие на фронт. — Кайзеровские жополизы гонят их на смерть, а они еще и поют!

— Папа, перестань, — просила Эльза, — не надо при пациентах. Еще донесет кто-нибудь.

— Ну и пусть! — кричал доктор. — Я бы это самому кайзеру сказал!

В пивной Петерсилле доктор метал громы и молнии в товарищей по партии, которые поддерживали правительство, в глаза называл их идиотами, у которых в голове бумага вместо мозгов, а в жилах чернила вместо крови. Знали

бы они, какой прекрасный механизм человеческого тела, из какой замечательной материи оно состоит, как умно, рационально сделан каждый орган, как удивительно переплетены нервы, как чудесно устроены сердце, мозг, глаз! Тогда бы они ни за что не смогли убить человека. Но они, болваны, ничего знать не хотят, кроме дурацкой политики, да благоговеют перед коронами и лампасами. Потому-то они так легко и становятся убийцами.

Когда Георг Карновский, в военной форме, зашел попрощаться перед отправкой на фронт, у доктора Ландау не нашлось для него ни одного доброго слова.

— Прощайте, доктор-убийца, — сердито пробурчал он, подавая Георгу кончики пальцев.

Георг попытался оправдаться:

— К счастью, я еду не убивать, а лечить. Не будьте так суровы. Не я начал войну.

— Все вы ее начали, все! — закричал доктор Ландау. — С ума вы все посходили, мясники чертовы!

Совершенно иначе приняла Георга Эльза. Она тоже уже получила диплом и работала вместе с отцом, но никто не собирался отправлять ее на фронт. Поэтому она была расстроена и завидовала Георгу. Общее возбуждение, марширующие солдаты, парады, военная музыка, режущие знамена волновали ей кровь, притягива-

ли, манили. Ей хотелось куда-то идти, маршировать, петь, что-то делать и радоваться вместе со всеми.

— Как бы я хотела поехать с вами, Георг, — сказала она с тоской, прижавшись к его плечу.

Георг сиял. Его загорелое лицо светилось ожиданием необычных, важных событий, в черных глазах горел безумный огонь. Его настроение передалось Эльзе.

— Черт возьми, как же вам идет мундир, Георг. — Она впервые в жизни сделала ему комплимент.

У доктора Ландау даже борода затряслась.

— Дура! — рявкнул он. — Как все бабы. Из-за таких идиоток, которым нравятся мундиры и убийства, все войны и начинаются.

— Ну, не сердись, милый, смешной папка, — сказала Эльза, целуя его в усы.

Но доктор не захотел мириться и, хлопнув дверью, скрылся в кабинете.

На улице Эльза взяла Георга под руку. Она пошла с ним на вокзал, чтобы проститься перед самым отъездом. Как все девушки, провожавшие женихов и любимых, она прижималась к Георгу, без конца его целовала, заглядывала ему в глаза.

— Милый мой! — шептала она ему на ухо, как влюбленная гимназистка.

Когда паровоз дал последний свисток и кондуктор принялся решительно загонять пасса-

жиров в вагон, Эльза снова кинулась к Георгу и крепко обняла. Кондуктор предупредил, что поезд трогается. Но Эльза быстро вскочила в вагон. Перед каждой остановкой они прощались, Эльза собиралась выйти, сесть на обратный поезд и вернуться домой, но в последнюю секунду раздумывала и ехала дальше. Они смеялись, как дети, когда кондуктор, принимая плату, сердился, что ему сто раз приходится выписывать билет.

Они сошли во Франкфурте-на-Одере, Георг — чтобы следующим утром пересесть на санитарный эшелон, Эльза — чтобы вернуться домой. Молча, взявшись за руки, они бродили по вокзалу. Но когда прибыл поезд на Берлин, они снова стали прощаться и так долго целовались, что поезд ушел.

— Надо же! — засмеялась Эльза, глядя вслед исчезающему составу.

Они вышли на улицу. Колыхались флаги на балконах. Откуда-то доносилась веселая музыка. Важные офицеры и молоденькие солдаты гуляли с девушками. Город был наполнен радостным беспокойством и нетерпением. Начал капать теплый летний дождик. Георг с Эльзой зашли в ярко освещенный ресторан при гостинице. Женский оркестр играл то военные марши, то вальсы, пары кружились в танце. Георг обнял Эльзу за талию и повел среди танцующих,

она покорно повторяла каждое его движение. Потом они пили вино за столиком. Эльза выпила несколько бокалов, хоть ее отец и был убежденным противником алкоголя. Дамы, не стесняясь, целовались с кавалерами в офицерской форме. Эльза, глядя на них, выпила с Георгом на брудершафт. Наступил вечер, пары одна за другой начали покидать ресторан. Было видно, как они проходят через фойе и поднимаются по широкой лестнице. Георг взял Эльзу под руку, они тоже вышли в фойе.

— Ваша фамилия? — спросил портье.

— Доктор Георг Карновский с женой, — ответил Георг, и Эльза крепче прижалась к нему.

Как изголодавшиеся звери, бросились они друг к другу в тесном гостиничном номере на последнем этаже. Летний дождь барабанил по стеклам и крыше.

Георгу было не привыкать просыпаться рядом с женщиной в гостинице. Он прекрасно знал, что бывает наутро, и в этот раз тоже ждал от девушки сожаления, может, даже слез. Но Эльза повела себя так, будто они уже не один год были мужем и женой. Она заботливо, как преданная супруга, помогла ему надеть мундир. Георг слегка растерялся.

— Мы ведь даже пожениться не успели, — сказал он виновато. — Ну, ничего, сделаем это, как только приеду в отпуск.

СЕМЬЯ КАРНОВСКИХ

— Зачем, малыш? — удивленно спросила Эльза, причесываясь перед зеркалом над комодом.

Георг был потрясен. Его уязвило и слово «малыш», которое он всегда терпеть не мог, и то, что она отвергла предложенную им награду. А ведь любая женщина была бы счастлива! Снова она показала ему свое превосходство, выскользнув у него из рук.

С улицы доносился стук солдатских сапог и призывные гудки паровозов.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

14

У господина Йоахима Гольбека недалеко от Зоопарка было два роскошных четырехэтажных дома, украшенных ажурными балконами, башенками, колоннами и карнизами. Мощные стены, огромные окна, лепные потолки, широкие мраморные лестницы, жирные ангелочки над подъездами и сверкающие витрины магазинов. Двери были парадные, для жильцов, и боковые, для прислуги, посыльных и почтальонов. Нищим, уличным музыкантам и торговцам вход был строго запрещен.

Господин Гольбек был крепким хозяином, а госпожа Гольбек — не менее крепкой хозяйкой. В доме все было тяжелым, основательным: мебель, ковры, гобелены, медные светильники и фарфоровая посуда. Плотные шторы надежно защищали ковры и мебель от солнечных лучей.

Таковыми же основательными, крупными были надписи на вещах, сделанные готическими бук-

вами, полные житейской мудрости, в основном в рифму. Эти надписи были повсюду: на полотенцах, горшках и пивных кружках. Вышивки на полотенцах, которые фрау Гольбек хранила со свадьбы, сообщали, что хлеб да вода — здоровая еда и что кто рано встает, тому Бог дает. Новые полотенца, расшитые дочерью Терезой, призывали береечь платье снову, а честь смолоду и утверждали, что без труда не вынешь рыбку из пруда. На бокалах и кружках стояли несколько фривольные изречения о вине, веселье и женщинах. Бархатную подушку, на которой герр Гольбек любил вздремнуть после обеда, украшала вышивка серебряной ниткой: «Всего лишь полчаса». И даже сиденье в туалете, для удобства обтянутое бархатом, несло на себе рифмованный призыв к чистоте.

Сколь основательны, солидны были дома господина Гольбека, столь же солидны были жильцы: степенные, зажиточные, достойные люди. Единственным исключением был герр Макс Дрекслер, владелец оптики, расположенной в одном из домов Гольбека. Оптик Дрекслер блеснул с ног до головы: блестели стекла пенсне, блестели черные волосы и подстриженные усики, сверкали начищенные туфли, сияли перстни, манжеты и булавка на галстуке, блестела витрина и выставленный на ней товар. Дрекслер был единственный еврей в доме. И, как настоящий еврей, он минуты не мог прожить без шутки, чем

очень сильно выделялся среди прочих жильцов. Когда он заходил к Гольбеку, чтобы внести плату или сообщить о какой-нибудь поломке в помещении, он с порога начинал рассказывать анекдоты, в которых почти всегда фигурировали герр Кон и герр Леви. Макс Дрекслер платил день в день, содержал оптику в порядке и чистоте, у Гольбека не было к нему претензий. И все же Йоахим Гольбек считал Дрекслера недостаточно важным человеком для своего дома, относился к нему как к исключению, отчасти потому, что оптик был евреем, но больше из-за его острого языка.

Чем-чем, но чувством юмора семейство Гольбек не отличалось.

Вообще-то добродушный толстяк Йоахим Гольбек любил посмеяться. Наклонив квадратную, подстриженную ежиком голову, он внимательно слушал анекдоты Дрекслера и, если ему удавалось понять смысл, хохотал так, что слезы текли из водянистых, навывкате глаз. Чаше, правда, до него так и не доходило, в чем соль. Дрекслер, умолкнув, ждал, что сейчас хозяин разразится хохотом, а Гольбек только серьезно смотрел на него безнадежно тупым взглядом сытой коровы.

— Да, да, так в жизни и бывает, герр Дрекслер, — изрекал он глубокомысленно, пытаясь выйти из неловкого положения.

Еще меньшим успехом Дрекслер пользовался у госпожи Гольбек, дородной дамы с гладко

зачесанными волосами и вздернутым носиком. Пенсне на шнурке придавало ей особенно важный и значительный вид. Фрау Гольбек не считала нужным ломать голову над анекдотами оптика. Постоянно погруженная в домашние дела и заботы, в штопаных чулках и залатанном белье, она была слишком занята, чтобы тратить время на пустые разговоры. Даже когда муж водил ее в театр, что бывало очень редко, она с удовольствием смотрела только сентиментальные драмы, в которых героини изъясняются красивыми, возвышенными и почти непонятными словами. Комедий она не любила, считала, что смотреть их — напрасная трата времени. С господином Дрекслером она старалась держаться учтиво, но никогда даже не улыбалась его шуткам, только из вежливости кивала головой и повторяла: «Да, да», мечтая про себя, чтобы этот разнаряженный еврей поскорее убрался восвояси.

Фрау Гольбек ничего не имела против евреев. За покупками она ходила в еврейские магазины, там дешевле. Когда ребенок болел, а домашний врач ничего не мог поделать, она приглашала профессора-еврея. Как многие в городе, она считала, что евреи лучше разбираются в медицине. Йоахим Гольбек хранил сбережения в еврейском банке и там же приобретал ценные бумаги. Тем не менее супруги чувствовали в евреях что-то чужое и относились к ним не без опаски, как, напри-

мер, к актерам: хоть они и доставляют радость, лучше держаться от них подальше.

Но к оптику Дрекслеру госпожа Гольбек испытывала особую неприязнь. Соседки рассказывали, что он продает не только очки и термометры, но и такие запрещенные штучки, которые помогают избавиться от нежелательного ребенка. Фрау Гольбек, родившая и похоронившая нескольких детей, ненавидела женщин, избегающих материнского долга. Поэтому она с подозрением смотрела на нарядного Дрекслера, который, говорят, продает такие ужасные вещи. В витрине оптики стояла восковая фигура обнаженной женщины в синих очках, резиновых чулках, бюстгальтере и с поясом, поддерживающим отвисший живот. Каждый раз, проходя мимо, фрау Гольбек испытывала стыд и негодование. Фигура напоминала ей о ее собственном теле, изувеченном возрастом и родами. Почему полиция не запретит ставить такие непристойные манекены?

Но еще хуже были шутки Дрекслера. И госпожа Гольбек, и ее муж чувствовали себя беспомощными, неуклюжими и глуповатыми рядом с элегантным, подвижным и остроумным оптиком. Анекдоты не всегда были про Кона и Леви, иногда место Леви занимал Шмидт. При этом герр Кон оказывался не очень порядочным, зато герр Шмидт — очень глупым. Гольбекам становилось неловко, даже беспокойно, они чувствовали, что

над ними смеются. Когда Дрекслер уходил, они вздыхали свободно.

— Ну, этот Дрекслер! — говорила фрау Гольбек, когда оптик уже не мог ее слышать.

— Да, этот Дрекслер... — вторил герр Гольбек, раскуривая погасшую сигару.

Кто такой этот Дрекслер, они не уточняли, и без лишних слов было ясно. Фрау Гольбек с радостью возвращалась к вязанию, а герр Гольбек к биржевым сводкам в газете. У ног фрау Гольбек лежал жирный и коротконосый, очень похожий на хозяйку бульдог. Это был тихий и воспитанный пес, он никогда не осмеливался поиграть с упавшим на ковер клубком, хоть ему и очень этого хотелось. Супругам Гольбек было хорошо и спокойно. Покоем дышали массивная мебель, толстые стены, плотные шторы на окнах и надежно запертые двери, через которые не мог войти ни один незванный гость. Ни несчастье, ни преступление, ни болезнь не могли проникнуть сквозь надежные стены в дома Гольбеков недалеко от Зоопарка.

Война смогла.

Сначала Гуго, единственного сына, призвали в армию и отправили на Западный фронт. Потом госпоже Гольбек перестали подавать к кофе взбитые сливки, как она любила. Потом мясо стали есть не каждый день, а через день. Расписные фарфоровые тарелки становились все больше, а порции на них все меньше. Кофе стали варить из же-

лудей, хлеб намазывать не маслом, а невкусным мармеладом. Росли налоги. Жильцы задерживали плату, бывало, на целые месяцы. Каждое утро, одеваясь, Йоахим Гольбек замечал, что жилетка сидит на нем все свободней. Дочь Тереза бросила домашние дела, вышивание, вязание и записалась на курсы сестер милосердия, чтобы поступить на работу в госпиталь. С фронта приходили вести о поражениях, в стране начались волнения и беспорядки. Район заполонили люди, которых тут раньше в глаза не видели. Они приходили из предместий, из Нового Кельна, плохо одетые, с красными флагами, и так шумели, что их крики проникали сквозь толстые стены и тяжелые шторы. Кроме шума и красных флагов, они принесли всевозможные болезни: дифтерит, тиф, дизентерию и особенно появившуюся вместе с войной испанку. Первым заболел сам хозяин Йоахим Гольбек и через три дня скончался, несмотря на то что Тереза ни на шаг не отходила от его постели.

Справив траур, вдова Гольбек собрала все счета, бухгалтерские книги, облигации, векселя, расписки, оставшиеся от мужа, и передала их единственному мужчине в доме — сыну Гуго, который вернулся с Западного фронта. Но он понятия не имел, что с этим делать. Долговязый, нескладный, очень светлокожий и светловолосый, он все еще носил военную форму: широкие галифе, высокие желтые ботинки и приталенную офицер-

скую куртку с наградным знаком и светлыми пятнами на месте срезанных эполет. Обер-лейтенант Гуго Гольбек ничего не понимал в бухгалтерии, счетах и векселях. Единственной профессией, которой он овладел, было военное дело. Но война кончилась, и теперь он не знал, куда себя деть. На улицу, кишевшую демобилизованными солдатами и прочим отребьем, выходить не хотелось. Целыми днями Гуго, вытянув длинные ноги, сидел в низком кресле, курил сигарету за сигаретой, насвистывал и играл с верным псом, который прошел с ним всю войну от начала до конца. Когда надоедало играть с собакой, он, зевая от скуки, забавлялся с револьвером или биноклем — единственными вещами, которые остались у него после войны, если не считать боли в отмороженной ноге. Иногда вдова Гольбек пыталась занять его делом:

— Гуго, надо бы продать ценные бумаги, они всё падают.

— И что? — нехотя отвечал Гуго, не вставая с кресла.

— Гуго, надо собрать плату с жильцов. Никто платить не хочет.

— И что?

— Гуго, ничего не купить, все в дефиците.

— И что?

Увидев, что единственный мужчина в доме ко всему слеп и глух, Тереза принялась искать ра-

боту. Когда-то мать обучила ее всему, что должна уметь девушка из порядочной семьи. У Терезы был диплом лицаея, она хорошо шила, вязала и играла на пианино, в общем, обладала всяческими достоинствами. Но единственное, что она смогла найти, это место сиделки в частной клинике профессора Галеви на Кайзер-аллее.

Когда Гуго от матери узнал об этом, он не только сказал свое обычное «и что?», но еще добавил грубое солдатское слово в адрес чертовых рожениц, за которыми Тереза Гольбек должна будет выносить судна.

Госпожа Гольбек покраснела:

— Гуго, тебе не стыдно? При матери!

Гуго рассматривал носы своих ботинок, будто видел их в первый раз. Он чувствовал себя виноватым перед Терезой: из-за него ей придется ухаживать за роженицами, да еще у профессора-еврея. Но больше ему нечего было сказать. Так он и продолжал сидеть в кресле, долговязый, нескладный, бледный и ленивый. А пес лизал его желтые ботинки, из которых до сих пор не выветрился запах пороха и крови.

Георг Карновский вернулся с Восточного фронта тоже с наградным знаком и в чине капитана медицинской службы. Но после демобилизации

он не носил мундир ни одного дня. Парикмахер очень хотел сделать Георгу короткую стрижку, которая была в моде у отставных военных, но Георг отказался наотрез. Он даже ни разу не надел армейские ботинки, пропахшие войной и смертью.

Дело было не в том, что Георг Карновский не переносил запаха крови и гнили, как в студенческие годы. Он пропитался им за несколько лет службы на перевязочных пунктах, в лазаретах и госпиталях, надыхался смертью. Его смуглые, жилистые руки, поросшие черным волосом, ампутировали солдатские ноги, вскрывали животы, вычищали гной из ран. Его уши слышали вопли, стоны и проклятия раненых, которых оперировали без наркоза, и хрип умирающих. Его черные, блестящие глаза видели жестокость, страх, надежду, сомнения, но чаще всего — смерть. Нет, теперь он не испытывал тошноты от запаха гнили, как когда-то. Но отвращение осталось и с каждым днем становилось сильнее. Георг старался забыть войну. Ему даже не хотелось говорить о ней с родителями.

А Лея хотела знать все до мелочей. Она целовала его загорелые, обветренные щеки, гладила крепкие, мозолистые ладони, не могла насмотреться на него, словно не верила, что снова видит сына. В ней опять проснулась материнская нежность, и она разговаривала с ним, как с маленьким ребенком, будто много лет назад, когда

она носила его на плечах по комнатам, а он целовал мезузы перед сном.

— Маленький мой, счастье мое, Мойшеле, — называла она его домашним именем, — ну, расскажи маме, как ты там жил.

Довиду Карновскому интересно было поговорить о сражениях. Он проштудировал все военные карты, изучил вооружение, разобрался в стратегии и горел желанием показать сыну, что он, его отец, хоть и сидел дома, понимает в военном деле не меньше любого офицера. Но Георг не хотел разговаривать о войне ни с матерью, ни с отцом.

— Забыть бы все это, — только и отвечал он на расспросы.

Довид Карновский был разочарован.

Еще больше была разочарована Ребекка, сестра Георга.

Пока Георг служил в армии, она выросла и расцвела, хоть в доме и было туго с едой. Ребекка с нетерпением ждала, когда Георг вернется. Она с гордостью рассказывала о нем подружкам в лицее и мечтала о том, как брат наденет офицерскую форму и они вместе пройдут по улице.

— Георг, милый, ну надень мундир, — просила она, — он так тебе идет!

— Нет, моя маленькая красавица, я больше не буду носить эту гадость, — отвечал Георг, поглаживая толстые черные косы сестры.

Ребекка отдергивала голову. Ей было обидно до слез, что Георг называет форму гадостью, а ее, Ребекку, маленькой. Мама относится к ней как к ребенку, так и он туда же. А она так надеялась на него, мечтала, что он наденет мундир и выйдет с ней прогуляться, и все будут думать, что это ее парень. Даже его комплименты не могли утешить Ребекку: она не верила, что он и правда считает ее красивой.

Ей, очень рослой для своих лет, досталась смуглая кожа, огромные блестящие глаза и неровные, но ослепительно белые зубы. Черные волосы отливали синевой. К тому же Ребекка унаследовала у Карновских слишком большой нос. Мужчинам он даже шел, но девушке придавал чересчур упрямый и решительный вид. Кроме того, из-за этого носа, на который все сразу обращали внимание, никто с первого взгляда не мог заметить ее черных глаз, прекрасных волос и румянца на щеках. Ребекка была несчастна.

— Мама, почему ты не дала мне твою внешность? — спрашивала она, смотрясь в зеркало.

Лея не желала слушать таких претензий. Она обожала мужа, считала его самым красивым мужчиной на свете и гордилась, что дети пошли в него.

— Ты, глупая, радуйся, что похожа на отца, — отвечала она.

Но Ребекке не хотелось быть черной в городе светловолосых и сероглазых. Ей не нравилось,

что на нее таращат глаза в трамвае или подземке. В лицее ее дразнили цыганкой. Нет, не верила она Георгу, когда он говорил, что она красавица. И обижалась, что он не хочет надеть мундир и пройтись с ней по улице. Ей нечем похвастаться перед подружками, которые разгуливают с братьями и приятелями в военной форме.

— Противный ты, ненавижу тебя, — сказала она вроде бы в шутку, однако в этой шутке была немалая доля правды.

Георг с удивлением посмотрел на сестру. За несколько лет, пока он был на войне, она из ребенка превратилась в женщину со всеми женскими желаниями и капризами. Он вышел из дома и отправился в северную часть города, в Новый Кельн.

Там ничего не изменилось. В квартире доктора Ландау все было по-прежнему. Все так же сидели на длинной скамье пациенты, и старая Иоганна из кухни разговаривала с женщинами о болезнях и лекарствах. Казалось, они так и не прерывали беседу с тех пор, как Георг заходил сюда попрощаться перед отправкой на фронт. Карновский чуть приоткрыл дверь в кабинет. Доктор, в том же белом халате, с теми же заплатами на локтях, засовывал деревянную палочку в горло плачущей девчужке.

— Не хныкать, глупая гусыня, не хныкать! — приговаривал он, точь-в-точь как когда-то. Все было как прежде, только в рыжей бороде доктора стало больше седины.

Карновский тихо, осторожно вошел. Доктор повернулся и тут же узнал гостя. Он не прервал работу, но широко улыбнулся Георгу. Заговорил он с ним, только когда бросил палочку с грязной ваткой и вымыл руки под краном.

— Очень рад вас видеть, Карновский! Но сперва больные. Эпидемия в Новом Кельне, дифтерит и грипп.

— Я просто поздороваться зашел, доктор, — ответил Карновский. — Эльза в лаборатории? Хочу ее видеть.

— Эльзу теперь можно увидеть где угодно, только не в лаборатории, — сказал с досадой доктор Ландау, вытирая руки полотенцем, — на собраниях, на митингах, только не в кабинете, когда она мне нужна.

Георг огорчился. Всю дорогу он думал о ней, представлял, как она удивится и обрадуется, когда он войдет. Он нарочно не сообщил заранее, что собирается прийти. И вот...

— Раз так, пойду, — сказал он тихо, — не буду вам мешать.

— Да бросьте, — пробурчал доктор Ландау. — Лучше помойте руки, наденьте халат и помогите. Так я быстрее управлюсь. Заодно и поговорим.

Простукивая голые женские спины, прочищая от пленок детские горла, делая уколы в вены, он расспрашивал Георга:

— Ну, и как там было, в героических боях за родину, а, доктор-мясник?

Он думал зацепить Георга и устроить с ним дискуссию о войне, как не раз делал с другими. Но Георг не обиделся.

— Знаете, доктор, вы были правы. Фронт — это бойня, а мы на ней мясники, как вы говорите. Нечего рассказывать.

Доктор Ландау оставил насмешливый тон и дружески посмотрел на Карновского сквозь толстые стекла очков. Потом заговорил о других, более важных вещах. Чем молодой человек собирается заниматься? Искать работу в больнице? Открыть кабинет в Западном Берлине? Или он решил стать специалистом, как теперь модно?

Слово «специалист» он, как всегда, произнес с издевкой. Доктор терпеть не мог специалистов. Изучая покрасневшее горло пациента, Карновский ответил, что хотел бы найти место хирурга.

— У меня на войне была хорошая практика, — сказал он. — Она дала больше, чем дали бы годы работы в любой больнице.

Доктор Ландау фыркнул в усы:

— Все только резать хотят. А почему бы молодому человеку не заняться акушерством?

И, ощупывая вздувшийся женский живот, пояснил удивленному Георгу:

— После бойни надо рожать и помогать новым поколениям прийти в мир. Сеять после жатвы.

Карновский молчал, а доктор Ландау улыбался.

— Лучшее в моей практике — это принимать роды, — говорил он с нежностью в голосе. — Знаете, бывает, среди ночи будят и зовут к роженнице, и я лечу с радостью.

Вечером, когда Эльза вернулась домой и увидела Георга, она так же покраснела, как он побледнел. Целую минуту они молча стояли и смотрели друг на друга. Доктор рассердился:

— Меня, что ли, стесняетесь? Давайте, целуйтесь наконец!

И они бросились друг другу в объятия.

— А теперь идем есть, — приказал доктор, — есть, есть, есть.

Старая Иоганна подала скудный ужин: немного овощей, увядшую зелень и большой графин воды. Служанка больше не ругалась с доктором из-за его странной привычки не есть мяса. Никто не ел мяса в голодные послевоенные дни. Доктор Ландау с аппетитом грыз овощи, запивал холодной водой и говорил, не переставая. Эльза пыталась его перебить:

— Папа, дай Георгу рассказать. Это же он герой войны, а не ты.

— Ты глупа, как все женщины, — не остался в долгу доктор. — Только о героях войны и дума-

ете. Из-за таких гусынь войны и происходят. Это ради вас всякие идиоты проливают кровь.

Эльза рассмеялась:

— Папа, что ты болтаешь? Ты же знаешь, мне военная форма совсем не нравится.

— Зато тебе нравятся красные знамена, и выступления на трибунах, и аплодисменты. И тому подобная ерунда.

Карновский удивился.

— Неподходящая речь для члена рабочей партии, — заметил он.

— За время войны я здорово поумнел, — ответил доктор. — Они ничуть не лучше кайзеровских подхалимов, точно так же поддерживали военный бюджет. Так что больше я с ними дела не имею. Все, что у меня осталось, это медицина, старая, добрая медицина.

Иоганна подала компот из груш. Доктор любил это блюдо еще с тех пор, как была жива его жена. Она прекрасно варила компот. Вспомнив жену, доктор Ландау загрустил, и тут же в нем проснулись отцовские чувства. Облизывая усы, он думал, как было бы хорошо, если бы вот этот молодой врач, который сидит рядом, остался в его доме. Сначала это была чисто профессиональная мысль.

Очень много больных стало после войны, одному трудно справляться с таким количеством пациентов. А этот Карновский, видно,

и правда хороший врач, практика у него была богатая. Эльза тоже понимает в своем деле. Взялись бы они за работу все вместе, тогда бы показали Новому Кельну, на что они способны. От профессиональных забот доктор незаметно для себя перешел к отцовским. Карновский любит Эльзу, дураку понятно. Что ж, он парень видный, здоровый, далеко не глупый. И Эльзе он симпатичен, это ясно. Так почему бы им не породниться? Доктор так замечтался, что уже готов был высказать эти мысли вслух, но тут же устыдился своих отцовских чувств. Еще не хватало, посватать дочь Карновскому. Пускай сами разбираются. Рассердившись на себя, доктор быстро встал из-за стола. Пора было идти на вечернюю прогулку, он никогда ее не пропускал. Эльза начала рассказывать о том, как она выступала перед рабочими, но доктор Ландау не пожелал слушать.

— Твое место здесь, глупая гусыня! — крикнул он. — В кабинете, в лаборатории! Оставь политику партийным пустозвонам, которые ничего другого не умеют.

Эльза хотела выбрать крошки из отцовской бороды, но он не дал.

— Моя борода, а не твоя! — рявкнул он и, тяжело ступая, вышел из комнаты.

Как только дверь закрылась, Карновский крепко обнял Эльзу.

— Я так скучал по тебе, моя рыжая, — бормотал он, целуя огненные волосы. — Теперь мы будем вместе, всегда. Сегодня же поговорю с твоим стариком.

— Нет, милый. — Эльза взяла его за руку. — Не надо, пожалуйста.

Георг стремительно отодвинулся, будто получил неожиданный удар.

— У тебя кто-то есть? — резко спросил он, глядя ей в глаза.

— Милый, с чего ты взял? — обиделась Эльза. Георг ничего не понимал:

— Так в чем же дело? Почему нет?

— У меня есть партия, — твердо сказала девушка. — Я вся принадлежу ей. Вся, понимаешь?

Таких глупостей Георг даже слышать не хотел. Ерунда, женские капризы. Он уже не студент, чтобы она водила его за нос. После того как они были близки, она принадлежит ему, он имеет на нее право. И нечего голову морочить. Большое дело, партия. Они поженятся, как все приличные люди, будут вместе работать, вести хозяйство, ездить за город по воскресеньям, как раньше. А когда немного подкопят, придется ей на время оставить медицину, чтобы родить ребенка.

Он обнял ее крепко, со всей нежностью, накопившейся за годы разлуки. Эльза была прекрасна. Щеки горели румянцем, сверкали огромные ка-

рие глаза. Стройной тело совершенно не изменилось, осталось таким же гибким и женственным. Георга охватило желание.

— Ты будешь моей, — шептал он, — только моей. Никому тебя не отдам... Слышишь? Никому...

Он крепко прижал ее к себе. Она затихла в его объятиях. Но вдруг вырвалась с неожиданной силой.

— Нет! — сказала она властно.

Георг окаменел под ее насмешливым взглядом.

— Эльза, я тебя не узнаю, — сказал он с горечью. — Помнишь тот день, когда я уезжал?

— Помню, Георг, — мягко ответила Эльза. — Все помню и ни о чем не жалею. Но это не значит, что я должна стать твоей женой, рожать детей и вести хозяйство, как ты требуешь.

— В ту ночь ты говорила другое. Неужели у тебя ничего ко мне не осталось? ‡

Взгляд Эльзы стал еще теплее. Конечно, она его любит. Любит с того дня, когда они познакомились. Она тоже тосковала по нему, сильно тосковала. Но пустая жизнь жены и матери — не для нее. Предстоит большая работа, в стране начинается новая жизнь. Партийные руководители дают ей ответственные задания, которые редко доверяют женщинам. Ее даже выдвинули в депутаты! Она не может отказаться от партийной работы ради личного счастья.

Увидев, что напором он ничего не добьется, Георг пошел другим путем. Он заговорил о своей любви, о том, как на войне тосковал по Эльзе. Хорошо, он согласен принять ее капризы. Да, он считает, что политика — это глупость, которая годится только какой-нибудь старой деве. Он уверен, что женское счастье — быть матерью и женой. Но он не будет мешать ей делать то, что она считает нужным. Она сама возьмется за ум. Он дает слово, что не станет ограничивать ее свободу, лишь бы они были вместе.

Но Эльза не собиралась сдаваться. Знает она мужчин с их стремлением властвовать над женщиной. А лучше всех она знает его, Георга. Ему нужна жена, которая будет на сто процентов женой, матерью его детей и его собственностью. И многие девушки были бы этому рады, но только не она. Вот поэтому она никогда не выйдет замуж. Он **должен** ее понять. Ей нелегко это говорить, ведь она его любит, очень любит. Георг не стал слушать.

— Ложь! — перебил он. — Ты вообще не знаешь, что такое любовь. Раньше ты любила микробов, теперь любишь партийные собрания.

Эльза приняла кокетливый тон. Она прижалась к Георгу, поцеловала его, ласково дернула за чуб.

— Милый, смешной, сердитый мальчишка, — заговорила она, как с ребенком. — Ну, не вешай нос, малыш.

Георг грубо оттолкнул ее:

— Я не мальчишка и не желаю слушать всякую чушь!

Как в студенческие годы, он почувствовал себя жалким и ничтожным рядом с этой красивой рыжеволосой женщиной, которая играет с ним, как хочет. Его мужская гордость страдала. Ведь это он всегда решал, с кем ему быть, женщины просили его любви и подчинялись ему. А теперь все наоборот, и это так унижительно!

— Смотри, пожалеешь, да поздно будет, товарищ депутат, — сказал он в сердцах и бросился вон из комнаты.

На пороге он столкнулся с доктором. Тот вернулся с прогулки. Георг попытался объяснить свой стремительный уход. Доктор Ландау понимающе улыбнулся в бороду.

— Обычное дело, друг мой, — сказал он. — Не надо так страдать. Приободритесь, молодой человек!

Георг заставил себя улыбнуться.

— Так-то лучше. И вот что, послушайте-ка моего совета и займитесь акушерством. Не все женщины с ума посходили, многие хотят иметь семью и детей.

Эльза поняла отцовский намек и попыталась спорить, но доктор махнул рукой.

— Быстро спать, глупая гусыня! — приказал он. Потом подошел к Георгу, приобнял его за та-

лию. — Карновский, если хотите, я дам вам письмо к профессору Галеви, чтобы он взял вас к себе в клинику.

Громкое имя произвело на Георга впечатление.

— К самому профессору Галеви?

— Он мой старый друг. И очень хороший врач, хоть и специалист. И человек прекрасный. Редкость среди специалистов...

16

В военные годы женщины мало рожали, но теперь клиника профессора Галеви снова полна. Несмотря на тяжелые времена, инфляцию и безработицу, много свадеб, а женатые возвращаются к семейной жизни. Клиника основана давно, и сам профессор Галеви уже стар. Он носит бакенбарды, редкость по теперешним временам, и пышные, совершенно белые, будто сделанные из ваты, усы. На крючковатом, как орлиный клюв, носу проступают темно-красные и синие прожилки. Но черные, глубоко посаженные глаза смотрят молодо, кажутся чужими на старом, морщинистом лице. И руки профессора еще не утратили сил, он сам проводит сложнейшие операции. Его пациентки — женщины из аристократических семей, зачастую профессор принимает роды уже у третьего поколения. Многие известные люди,

ученые, банкиры, чиновники, военные и даже государственные мужи — «его» дети, это он помог им появиться на свет.

В просторном кабинете окнами в сад висят многочисленные фотографии. Вот профессор в молодости, когда он только начинал практиковать, здесь — в зрелые годы, на медицинских конгрессах, в окружении других светил. Среди фотографий самого профессора висят портреты его родственников: деды и прадеды, бородатые, в ермолках, отец, раввин из прирейнского города, а вот молодой человек в очках и форме капра-ла, которая совсем не идет благородному, умному лицу. Это последняя фотография младшего сына, погибшего на фронте. На раме — лента из черного крепа.

Уже три года, как медсестра Гильда повязала на раму траурную ленту, но у профессора до сих пор начинает щемить сердце, стоит только посмотреть на фотографию. Вот и сейчас он изучает рентгеновские снимки, но нет-нет да и бросит взгляд на портрет. Услышав, как фройляйн Гильда легонько постучала в дверь, профессор Галеви быстро отвел глаза, словно его застали за чем-то постыдным.

— Господин профессор, к вам доктор Карновский, — говорит Гильда, подойдя справа: она знает, что профессор не слышит левым ухом.

— Доктор Карновский? Кто это?

— Господин профессор назначил ему встречу, — улыбается Гильда. — У него письмо от доктора Фрица Ландау.

— От Фрица Ландау, — припоминает профессор Галеви. — Конечно. Пусть войдет.

Карновский по армейской привычке щелкнул каблуками, но, сообразив, что такое приветствие тут неуместно, аж два раза поклонился старому ученому.

— Я доктор Карновский, господин профессор, — сказал он тихо, — Георг Карновский.

— Говорите в правое ухо, коллега, — ответил старик. — На левое я глуховат.

От слова «коллега» Карновский покраснел, как от насмешки, и, подойдя справа, повторил свои слова. Профессор Галеви кивнул головой:

— Как поживает Фриц? Все сидит в Новом Кельне и воюет со всем миром?

Карновский почувствовал себя уверенней, ведь он дружен с доктором Ландау, который прислал его сюда. Он рассказывает, и профессор Галеви смеется от души, смеются даже бакенбарды и прожилки на орлином носу.

— Фриц — прекрасный врач, — замечает он, — очень хороший, только слегка сумасшедший. Воюет с целым светом.

Когда Карновский рассказывает о войне, профессор невольно бросает взгляды на портрет с

черной лентой. Опять знакомая боль: они вернулись, а его сын — нет. Но профессор понимает, что этот молодой человек ни в чем не виноват. Он внимательно смотрит на него глубоко посаженными черными глазами.

— И почему же вы решили пойти в гинекологию? — спрашивает он. — Потому что это ваше призвание или потому что доктор Ландау мог дать вам рекомендацию?

Карновский с улыбкой вспоминает слова доктора Ландау: сеять после жатвы. Профессор Галеви опять смеется:

— Молодец Фриц! Это он хорошо сказал, сеять после жатвы... Это верно...

Карновский рассказывает о работе в госпиталях. Старик кивает:

— Да, да. Но я не люблю массовой продукции, молодой человек. У меня надо работать тщательно... Что ж, приходите завтра утром. Я сделаю распоряжение.

Карновский не может поверить собственным ушам: его берут в клинику профессора Галеви, о которой мечтают лучшие врачи. Он горячо благодарит профессора. Тот подает руку, неожиданно сильную для его лет.

Георг уже в дверях, но профессор окликает его:

— Карновский, Карновский... Что-то не припомню в нашей общине никого с такой фамилией. Кто ваш отец?

Доктор Карновский рассказывает об отце, который выбрал просвещенную Германию, хотя мог бы стать в Польше раввином. А здесь тоже изучает Талмуд и другие книги, в которых он, Георг, мало что понимает. Профессор Галеви слушает с интересом.

— Это очень приятно, — говорит он, улыбаясь, — ведь мой отец, благословенной памяти, как раз был раввином.

Он с гордостью показывает на портрет, где изображен его отец в маленькой ермолке на голове. Но вдруг поворачивается к портрету с черной лентой и тихо добавляет:

— А это сын. Эммануэль, в честь моего отца так назвали... Погиб...

Карновский пытается сказать что-то сочувственное.

Тут профессор Галеви понимает, что зашел слишком далеко. Это личное, зачем посвящать чужого человека в семейные дела? Старый дурак, совсем из ума выжил, думает он о себе. Он зол и на себя, и на Георга.

— Ну, всего доброго, — говорит он торопливо.

Но напоследок не может удержаться от колкости.

— А вы красавец, — замечает он. — Женщинам нравится, когда их обслуживают молодые, красивые врачи, а не старые знаменитости...

Доктор Карновский краснеет, как мальчишка, и спешит покинуть кабинет.

Эльза Ландау действительно попала в рейхстаг. Она оказалась самой молодой среди депутатов, к тому же красивая женщина, да еще и с медицинским образованием. Репортеры не отходили от нее ни на шаг и в статьях постоянно делали ей комплименты. Сколько ни старались ее запутать, свести разговор к тому, что должно быть интересно женщине, услышать ее мнение о любви или моде, она оставалась серьезной и говорила только о важных государственных делах. Журналисты были потрясены. Ее первая речь в рейхстаге произвела сильнейшее впечатление.

Огненно-рыжая, молодая, стройная и хрупкая, она стояла на возвышении в огромном зале, перед сотнями мужчин разного возраста и положения, и метала грома и молнии в тех, кто не согласен с ее партией. Левые устроили ей овацию. Правые насмешками попытались сбить ее с толку, но она не осталась в долгу. Спокойно и уверенно она отразила все нападки, сумев поставить на место даже старых, матерых депутатов.

Как в университетские годы, когда она ловко и умело расчленяла мертвые тела, теперь она расчленяла старый, отживший мир, вытягивала жилы из противников. В свободное время она выступала на собраниях перед рабочими, солдатами, в молодежных организациях, разъезжала по

городам, где ее принимали с флагами и музыкой. Новый Кельн гордился товарищем Эльзой Ландау. Жители приветствовали ее отца, встречая его на утренней или вечерней прогулке:

— Примите поздравления, герр доктор, о вашей дочери опять во всех газетах.

— Люди, не надо так тепло одеваться, — отвечал доктор. — Тело должно дышать, ему нужен воздух...

Ему не хотелось слышать об успехах Эльзы. Он ни разу не пришел в рейхстаг на ее выступление.

— Пустоголовые идиоты, горлопаны, паяцы, — называл он журналистов, которые делали из Эльзы сенсацию.

Доктора Ландау выводят из себя статьи об Эльзе и ее фотографии в газетах и журналах. Но еще сильнее они выводят из себя доктора Карновского. От ее фотографий некуда деваться, они во всех газетах: в уличных киосках, в кафе, куда он заходит выпить чашку кофе, на столах в приемной клиники профессора Галеви. Куда бы Георг ни посмотрел, он видит ее портрет.

Сначала он пытался изгнать ее из памяти. Пускай себе трещит на собраниях, дает интервью и повсюду печатает свои фотографии, каждый раз в новой позе. Ему не до того, у него работа, о которой мечтает любой врач. Он еще покажет этой рыжей гордячке. Когда-то она обучала его анатомии, но скоро он ее превзойдет.

Георг и правда с головой погрузился в работу. Он приходил в клинику раньше всех, а уходил последним.

Годы фронтовой практики не прошли даром. Там ему приходилось быстро принимать решение и делать сложнейшие операции в любых условиях, иногда на голой земле, при свете луны. Он вынужден был делать работу не только врача, но также медсестры или санитаря. И теперь пациентки чувствовали, что перед ними настоящий, опытный врач. Они радостно улыбались ему, когда он входил в палату. Медсестры удивлялись, как быстро и умело для врача-мужчины он накладывает повязки или меняет бинты.

— Прекрасно, Карновский, прекрасно, — говорил, наблюдая за Георгом, сам профессор Галеви, обычно скупой на похвалы.

И доктор Карновский начинал работать еще усерднее.

Он старался забыть ту, которая его обидела, но не мог, никак не мог.

Он давал себе слово, что больше не будет читать ее речей и интервью, у него есть дела поважнее, лучше читать медицинские книги и журналы. Но рука снова тянулась к газете. При этом он каждый раз чувствовал унижение. Он ненавидел Эльзу и любил ее. И оттого что любовь не была взаимной, она становилась только сильнее и сильнее. Успехи Эльзы не смешили Георга, как

ее отца. Они доставляли ему мучения, отбирали покой, аппетит и сон. Однажды он даже пришел в рейхстаг на ее выступление. Ему было занятно посмотреть на людей, которые восхищаются его бывшей любовницей. На тесной галерее, среди других любопытных, он почти не слышал, что она говорит. Да это его и не интересовало. Он думал только об одном: о ночи, которую они провели вместе, когда он уезжал на фронт. Прошли годы, но он помнил каждую мелочь. Георг посмотрел на людей вокруг, и ему стало смешно. Если б они только знали, что та, которую они так внимательно слушают, была его любовницей, лежала в его объятиях! Вдруг ему захотелось встать и крикнуть об этом на весь зал. Только усилием воли Георг удержался от этой мальчишеской, глупой выходки.

Потом он долго ждал ее в коридоре, чтобы повторить то, что уже много раз говорил. Пусть она не думает, что он восхищается ее речами и шумихой, которую она вокруг себя создает. Для него она осталась той же самой Эльзой, на которую он имеет право. Мужчина имеет право на женщину, с которой он разделил свое ложе. Он не мальчик, с которым можно поиграть и бросить. Он умеет добиваться своего.

Но когда он увидел, как она, гордая, воодушевленная, смеющаяся, идет в окружении депутатов, которые ловят каждое ее слово, как за ней бегут

репортеры и фотографы со своими аппаратами, он почувствовал такое унижение, что ему тут же расхотелось попадаться ей на глаза. Он понял, что между ними все кончено, и с еще большим рвением погрузился в работу.

Медсестры улыбались молодому толковому врачу, заглядывали ему в глаза, но он их не замечал. Девушки обижались и страдали, а доктору Карновскому приятно было видеть их страдания. Он мстил за свое унижение всему женскому полу. Равнодушно проходил он по коридорам больницы, а сестры расступались и провожали его взглядом. Когда они ему ассистировали, он был строг и требователен, ему нравилось нагонять на них страх. Особенно боялась доктора Карновского самая молодая из медсестер, Тереза Гольбек, дочь богатых родителей, не из-за хорошей жизни вынужденная устроиться на работу в клинику профессора Галеви.

При первой же встрече, когда Тереза помогала доктору Карновскому надеть халат, она так разволновалась, что не могла справиться с завязками на спине. Доктор Карновский посмотрел на сестру пронизывающим взглядом. Тереза вообще стеснялась новых людей, особенно мужчин, и покраснела до корней волос. Тут же поняла, что врач это заметил, и смутилась еще больше. Она так нервничала, что никак не могла завязать халат. Доктор Карновский нетерпеливо дернул пле-

чом. А дальше было еще хуже. От волнения вместо шприца Тереза подала Карновскому флакон с эфиром. Врач снова внимательно посмотрел на нее черными глазами.

— Морфий! — бросил он резко.

Испуганная своей ошибкой, Тереза совсем запуталась и протянула ему тампон. Доктор Карновский рассердился.

— Не эфир, не тампон, а морфий, — сказал он раздраженно. — Морфий!

После работы, в сестринской, Тереза разрыдалась. Она уже ненавидела молодого врача, который так ее перепугал.

Назавтра Тереза с беспокойством ждала, что он возьмет ассистировать другую сестру. Но он не взял другой. Он поздоровался и даже извинился за вчерашнюю резкость.

— Это все война, — сказал он, — нервы ни к черту. Не берите в голову.

— Конечно, господин доктор, не буду, — ответила Тереза и покраснела от собственной лжи.

С тех пор Тереза потеряла покой. Она боится, что доктор Карновский возьмет другую сестру, и боится с ним работать, путается и делает ошибки.

В больнице посмеиваются над Терезой. Сестры быстро поняли, в чем причина ее беспокойства, и не упускают случая над ней подшутить. Тереза все отрицает, но она совсем не умеет врать. Каждое ее чувство, огорчение и радость, любовь и нена-

висть — все написано на ее бледном лице, все видно по глазам, таким светло-голубым, какие нечасто встретишь даже в стране голубоглазых. И на язык она не остра, не знает, что ответить, когда над ней издеваются.

Не только сестры, но и доктор Карновский иногда подсмеивается над ней. Он знает, что она не выносит его взгляда, и нарочно пристально смотрит на нее внимательными черными глазами. Ему доставляет удовольствие видеть, как кровь приливает к ее щекам. Это очень заметно на фоне белоснежного медицинского халата. Карновский обращается с ней, как со школьницей. Бывает, спрашивает, есть ли у нее парень, любит ли она шоколад, в кого из актеров она влюблена.

Терезе обидно. Она хотела бы сказать ему, что, хоть она всего лишь медсестра, в свободное время она читает серьезные книги. Она интересуется музыкой, ходит в театр, и не потому, что ей нравится кто-то из актеров, а потому, что любит посмотреть хорошую пьесу. И еще много чего могла бы она сказать, но ей не хватает смелости. И хоть она и обижается на доктора, ей приятно быть рядом с ним. Ей нравятся его низкий голос, смуглое лицо, горящие черные глаза.

— Господин доктор смеется надо мной? — тихо спрашивает она, хотя у нее даже сомнений нет.

Ее покорность наполняет доктора Карновского мужской гордостью. Вдруг он задает неожиданный вопрос:

— Тереза, где вы взяли такие невинные глаза в наше кровавое время?

Тереза вспыхивает, у нее даже шея краснеет. Была бы тут яма, она бы провалилась в нее от стыда.

18

Ни медсестры, ни врачи в клинике профессора Галеви не понимали, что Карновский нашел в Терезе.

Он очень быстро рос, молодой доктор Карновский. Чаще, чем кого бы то ни было, профессор Галеви приглашал его к себе в кабинет, чтобы обсудить какой-нибудь сложный случай, чаще, чем другим врачам, доверял ему тяжелых больных. Пациентки чувствовали дрожь во всем теле, когда молодой врач прикасался к ним сильными, теплыми руками. Карновскому прочили блестящую карьеру.

— И зачем она ему? — с завистью спрашивали друг друга сестры о Терезе.

Карновский и сам не понимал.

Поначалу, когда Тереза стала неловко проявлять влюбленность, это скорее развлекало его, чем интересовало. Многие молодые врачи стара-

ются выглядеть старше и солиднее, чтобы производить впечатление на пациентов. Карновский не был исключением. Он даже отпустил густые усы, которые подстригал на английский манер. Под черными усами не очень ровные, но ослепительно белые зубы казались еще белее. Он научился разговаривать с пациентками покровительственным тоном, отеческим и слегка насмешливым. Открыто, как взрослый над ребенком, он подшучивает над сестрой Терезой, когда она ему ассистирует.

— Ну, как дела, сестричка? — спрашивает он. — По-прежнему краснеете?

— Нет, господин доктор, — краснея, отвечает Тереза.

Иногда он проявляет заботу:

— У вас склонность к анемии. Вам надо себя беречь.

— Что я могу сделать, господин доктор? — спрашивает Тереза.

— Пейте побольше молока, — советует доктор Карновский. — А лучше всего выйти замуж. Лучшее средство для девушки.

Тереза вспыхивает, а Карновский продолжает тем же тоном:

— А что, сестричка, разве нет парней, которые в вас влюблены?

— Есть, конечно, — тихо отвечает Тереза, — но ничего не выйдет.

— Вот как? — удивляется Карновский. — Почему же?

— Ну, потому что... Потому что никто из них мне не нравится, господин доктор, — мямлит Тереза.

Карновский знает, что такое любовь, но продолжает насмешничать:

— Да бросьте. Это было важно для наших бабушек, а не для современных девушек, после войны.

От таких речей Тереза даже забывает, что она у него в подчинении.

— Так нельзя говорить, господин доктор! — кричит она возмущенно.

— Почему нельзя? — прикидывается простаком Карновский.

— Потому что... Потому что любовь вечна! — восклицает Тереза. — Потому что любовь — святое чувство!

Доктор Карновский хохочет:

— Да вы, не иначе, влюблены, сестричка. И кто же этот счастливчик, могу я узнать?

Это уже слишком. Тереза пытается погрузиться в работу, а доктор Карновский все смеется у нее за спиной.

Досада не покидает Терезу, когда она обходит палаты. Почему для своих насмешек тот, кого она любит, выбрал именно ее? Сколько раз она клялась себе, что больше не потерпит такого отно-

шения. Лучше она вообще будет его избегать. Но стоит ему сказать хоть слово, и она стоит перед ним, молчаливая и растерянная, и продолжает слушать его шуточки.

Карновский тоже не раз думал, что надо бы оставить девушку в покое. Сестры в клинике уже бросали на него насмешливые взгляды, дескать, ты можешь строить из себя кого угодно, но мы-то знаем, что ты за птица, знаем, что происходит между тобой и одной из нас. Это уже ни для кого не секрет.

Такое поведение не прибавляет уважения к молодому доктору, который стремится приобрести в городе хорошую репутацию. Да и вообще, зачем ему этот флирт с робкой, тихой медсестрой?

Очень бледная, худенькая, с гладко зачесанными светлыми волосами, Тереза больше походила на школьницу, чем на взрослую женщину. Медицинский халат делал ее еще незаметнее. Тонкая белая шея, острый подбородок. Насколько бледной была ее внешность, настолько же бледным был ее характер. Всегда до невозможности серьезная, Тереза совсем не понимала шуток. В ней совершенно не было изюминки, не было женской хитрости, умения заинтриговать, понравиться. Все, что она думала, было написано у нее на лице. Доктор Карновский не раз давал себе слово, что прекратит бессмысленный флирт. Так будет лучше и для нее, и для него, для его меди-

цинской карьеры. Но его тянуло к этой смешной, тихой, легко краснеющей девушке, и он никак не мог остановиться.

Однажды она поставила ему на стол цветы, простые синие васильки в стеклянном стаканчике. Карновский сделал ей комплимент:

— Красивые цветы. Синие и невинные, как ваши глаза.

Он сказал это в шутку, но Тереза стала приносить цветы каждый день. Как-то она не пришла на работу, и Карновский сразу заметил, что чего-то не хватает: без цветов стол был непривычно пуст. Так же ему не хватало ее самой. Он скучал по ее голубым глазам и тихому голосу, полному почтения и покорности.

Особенно ему не хватало ее покорности. После пренебрежения со стороны Эльзы, после ее твердости эта покорность была ему как бальзам на душу. Вдруг он увидел в Терезе достоинства, которых раньше не замечал. Ее тонкая шея теперь казалась ему не по-детски хрупкой, а женственно изящной. Хотелось нежно взять ее за острый подбородок, приподнять ее головку, посмотреть в голубые, чистые глаза. Милая, смешная девочка, думал он о ней. И продолжал говорить с ней покровительственно-насмешливым тоном, хоть и понимал, что это не дело.

Однажды ночью он увидел совершенно другую, новую Терезу. Это дежурство было для

Карновского очень тяжелым. Роженица, которую профессор Галеви оставил на его попечение, в полночь умерла. Доктору Карновскому не в чем было себя винить. У женщины было больное сердце, профессор Галеви даже не хотел брать ее в клинику, опасаясь летального исхода. Карновский делал ей инъекции, давал кислород, выбивался из сил, чтобы она осталась в живых, но ничего не помогло. Он был измучен и опустошен. Тереза попыталась его утешить.

— Да замолчите вы, ради Бога! — прикрикнул он на нее.

— До свидания, господин доктор, — попрощалась Тереза в воротах клиники, но вдруг Карновский взял ее под руку.

— Подождите, вместе пойдем, — скорее приказал, чем попросил он. — Мне нужно, чтобы рядом был кто-нибудь живой.

Карновский стремительно шагал и молчал, только курил сигарету за сигаретой. Тереза чуть ли не бежала, чтобы не отстать. Когда они проходили через Зоопарк, он вдруг свернул к скамейке и сел. Тереза тоже села, слегка отодвинулась от него. В темном небе белел Млечный Путь. Покатилась и исчезла звезда. Доктор Карновский задумался, глядя в темно-синий купол над головой.

Холодные, прекрасные и вечные, сияли звезды, миллиарды страшно чужих, далеких миров.

Может быть, думал он, этот свет родился где-то во Вселенной тысячи лет назад и со скоростью тысяч миль в секунду летел сюда, чтобы осветить скамейку в пустом парке. Так же холодно и равнодушно он сейчас освещает восковое лицо мертвой роженицы. На фронте он так же освещал погибших и умирающих, так же будет освещать его, доктора Карновского, когда он умрет, и миллионы других после него. До чего же бессмысленна, коротка и ничтожна человеческая жизнь по сравнению с вечностью! Хотя кто знает? Может, все это существует только потому, что это видят человеческие глаза. Для роженицы в холодном море нет больше ни звезд, ни неба, ничего. Мысли о вечности, пространстве, времени, жизни и смерти кружились у него в голове. Вдруг он вспомнил, что рядом сидит живой человек.

— О чем вы сейчас думаете? — спросил он.

— Думаю, что в такую ночь хорошо умереть, — тихо ответила Тереза.

Доктор Карновский сверкнул черными глазами:

— Что за чушь!

Тереза посмотрела на него. Ее глаза были синими, как небо над парком, непонятными и неземными. Карновский взял ее за руку.

— У вас пальцы замерзли, — сказал он.

Вдруг Тереза схватила его руку, поднесла к губам и поцеловала. Карновский вздрогнул.

Сколько женщин у него было, ни одна не целовала его рук.

— Что ты делаешь? — Он так растерялся, что перешел на «ты».

Тереза пристально смотрела на него, ее глаза были такими светлыми и неподвижными, какие бывают только на простеньких иконках, а не у живых людей. Огромные, неподвижные, очень светлые глаза.

— Ты слишком серьезная, — сказал Карновский. — Смотри на вещи философски, не надо все принимать так близко к сердцу.

Тереза покорно опустила голову.

— Я знаю, что это невозможно, — сказала она тихо, — знаю, я вам не пара. Я только хочу... Вы не будете сердиться на меня?

Карновский нежно взял ее за подбородок, приподнял ее голову.

— Что на тебя нашло? — спросил он. — Успокойся.

— Позвольте мне родить от вас ребенка, и я успокоюсь. Уйду... Навсегда... Клянусь вам!

Она опустила голову, как рабыня, которая просит милости у господина. Карновского охватила нежность к девушке. Нежность и любовь.

— Пойдем домой, милая, — сказал он тихо. — Тебе холодно, ты дрожишь.

Он не повел ее к себе, как поступил бы с другой женщиной, но проводил ее до дому. У дверей

он впервые поцеловал ее в губы в эту звездную ночь, полную тайн.

Карновский до утра думал о тихой девушке, которая вдруг оказалась такой храброй в своей великой любви.

С тех пор Карновский стал открыто встречаться с Терезой. Он не таился ни от медсестер, ни от врачей, ни от самого профессора Галеви.

— Смотрите-ка, а тихоня-то наша всех обскакала, — говорили медсестры с завистью и негодованием.

Довид Карновский вышел из себя, когда узнал, с кем встречается его сын. А ведь ему, его сыночку, такие партии предлагали! В синагоге Довида молился профессиональный сват герр Липман. Он называл себя «доктор Липман» и требовал, чтобы другие тоже так его величали, хотя никто не знал, где он учился и получил докторскую степень. Этот Липман носил волосы до плеч, даже в будни расхаживал в цилиндре и был вхож в лучшие дома Западного Берлина. По субботам он после молитвы поджидал Карновского, чтобы вместе пойти домой, и по дороге рассказывал о богатых невестах, расписывал, какие они образованные, как на пианино играют и какое приданое готовы дать родители. Наклонившись к уху Довида, он говорил, будто по секрету:

— Дорогой герр Карновский, такая удача выпадает раз в жизни. И, заметьте, не какие-нибудь

приезжие. В Германии со времен прапрапрадедов. Слову доктора Липмана можно верить...

Доктор свадебных наук не врал. То, что Довид Карновский приехал из Польши, было для Западного Берлина серьезным изъяном, но многие были не прочь породниться с его сыном, который родился в Германии и работал в клинике профессора Галеви. Можно дать ему хорошее приданое, помочь открыть кабинет и позабыть о его происхождении. Молодой доктор Карновский дослужился до высокого офицерского чина и был очень недурен собой, так что даже самые разборчивые невесты согласны были смириться с его ярко выраженной еврейской внешностью. Что поделаешь, у каждого свои недостатки.

Довид Карновский был горд, что с ним считаются в старейших берлинских домах. Он желал сыну добра, но и о себе не забывал. После войны торговля лесом шла из рук вон плохо, тестя уже не было в живых, зарабатывать на хлеб стало тяжело. Мало того, дочь подрастает. Карновский надеялся, что сын выйдет в люди и поможет отцу и вести торговлю, и найти приличного жениха для Ребекки.

— Знаешь, Лея, кого нам сватают? — с гордостью рассказывал Довид после беседы с доктором Липманом. — Только б у нашего сына хватило ума сделать правильный выбор.

— Дай Бог! — отвечала Лея, поднимая глаза к лепному потолку в столовой.

Она тоже хотела, чтобы сын поскорее женился, но у нее были на то свои причины. Она уже не надеялась родить в ее годы, поэтому мечтала о внуках. Сначала от сына, а потом и от дочери.

Но однажды в субботу пришла недобрая весть. Доктор Липман, как всегда, после утренней молитвы пошел проводить Карновского. И вместо того чтобы рассказать об очередном варианте, он наклонился к уху Довида и поведал о медсестре, с которой встречается его сын.

Довид Карновский остановился как вкопанный и осмотрел доктора Липмана от цилиндра до лаковых туфель.

— Быть не может, герр Липман! — воскликнул он, позабыв о приличиях и докторской степени собеседника. — Это ложь, клевета!

Доктор Липман рассмеялся: его осведомленность поставили под сомнение!

— Это правда, герр Карновский, уж я-то знаю, — ответил он, потрянув волосами. — Так что вы на это скажете?

Сказать на это было нечего. Довид Карновский поспешил домой, чтобы сообщить Лее, какое несчастье их постигло.

— Дожили! — крикнул он с порога, даже не поздравив жену с субботой. — Можешь гордиться своим сыночком! Гойку себе нашел...

Он опять не преминул подчеркнуть, что недостатки сын унаследовал с материнской стороны, и был так рассержен, что забыл про немецкий язык и заговорил по-еврейски, будто в Мелеце. Лея попыталась успокоить и мужа, и себя:

— Всякое бывает по молодости, по глупости. Даст Бог, оставит ее, найдет себе приличную пару. Все будет хорошо, вот увидишь.

Довид Карновский не захотел успокоиться.

— Мало бед он нам причинил и еще причинит, — предрек он. — Знаю я его...

Еще никогда за обедом Довид не предъявлял жене столько претензий. И рыба переперчена, и курица жесткая, никакого вкуса, и даже чай отдаст водой из миквы в Мелеце.

— Ладно, подай на пальцы полить, — сказал он, не доев.

Как только суббота закончилась, Довид, даже не сменив праздничного кафтана на повседневный костюм, поехал к Георгу в Новый Кельн. Не застав его дома, он отправился в клинику профессора Галеви. Карновский долго бродил туда-сюда по безлюдной улице. Наконец он увидел сына. Георг вышел из больницы под ручку с молодой женщиной, ростом едва ему по плечо. Сердце бешено заколотилось в груди: значит, Липман сказал правду. Довид внимательно оглядел девушку. Ему хотелось понять, кто она, та, ради которой его сын готов загубить свою душу. Ни лица, ни

фигуры, ни походки, ничего такого, из-за чего мужчины теряют голову. Карновский огорчился еще больше.

— Георг! — окликнул он.

Доктор Карновский обернулся и уставился на отца, в праздничном кафтане стоявшего напротив больницы.

— Что-то с мамой? — спросил он испуганно.

Довид Карновский слегка поклонился девушке и на чистейшем немецком ответил, что с матерью все в порядке, но ему срочно надо поговорить с сыном об одном важном деле. Он надеется, что милая дама его простит. Георг вспомнил, что не представил отцу свою спутницу, и попытался это сделать, но Довид Карновский не изъявил желания пускаться в разговоры с медсестрой.

— Приятно познакомиться, — сказал он, прежде чем Георг успел назвать ее имя. — До свидания!

— До свидания, герр Карновский, — растерянно ответила Тереза. Она почувствовала, что имеет какое-то отношение к этой неожиданной встрече.

Сначала отец и сын шли молча, звук шагов разносился по пустынной улице. Довид Карновский думал об одном: он должен быть спокоен, совершенно спокоен. Написано же, гнев не приличествует мудрым. Но едва он заговорил, изречения

из святых книг тут же позабылись. Кровь ударила в голову, глаза засверкали.

— Скажи-ка, Георг, — начал он, сжимая кулаки, — это та самая девка, про которую мне рассказывали?

Георг покраснел и оттого, что отец знает о его любви, и от слова «девка».

— Отец, не на улице, — забормотал он. — Да не волнуйся ты. Не вижу причины волноваться.

— Это ты не видишь, а я-то вижу. Еще как вижу!

Теперь доктор Карновский попытался убедить себя, что он должен быть спокоен. Но, точь-в-точь как его отец, забыл об этом при первых же словах. С минуту отец и сын смотрели друг на друга, будто в зеркало: на чужом лице каждый видел собственное упрямство и презрение.

— Не кричи, — сказал Георг. — Ты забываешь, что я уже не ребенок.

— Я не благоговею перед докторишками, — бросил в ответ Карновский-старший. Так и сказал: не докторами, а докторишками.

В комнате сына Довид увидел портрет девушки. Он стоял на столе рядом с фотографией Леи. Это окончательно взбесило Довида.

— Вот, значит, как далеко у тебя с ней зашло! Рядом с матерью поставил!

Битых два часа ругались отец и сын поздним субботним вечером. Довид Карновский требо-

вал, чтобы Георг прямо сейчас дал слово порвать с этой девкой. Ведь лучших невест из Западного Берлина предлагают! Он столько вложил в сына и не допустит, чтобы тот все разрушил из-за какой-то медсестры. Так что пусть немедленно выбросит из головы эти глупости.

— Ничего ей не сделается, цела будет! — кричал Довид Карновский. — Найдет себе другого, да и все. А ты из-за нее не только жизнь, ты душу загубишь!

Георг готов был испепелить отца взглядом. Он метался по комнате, полной Терезы: ее фотографий, вышитых ею подушечек, платочков, салфеток. Еще чего! Он не позволит вмешиваться в свою жизнь, не даст себя опутать, не продается за приданое. Отец тратил на него деньги? Хорошо, он вернет ему деньги, все до последнего пфеннига. Но не допустит, чтобы им помыкали и оскорбляли его девушку.

Довид Карновский потерял терпение. Он выпрямился во весь рост, даже привстал на цыпочки, чтобы казаться еще выше, и спросил:

— И что же ты сделаешь, если я буду говорить, что считаю нужным, а? Может, побьешь отца? Из дому вышвырнешь?

Было уже за полночь, а Георг так ничего и не пообещал. Карновский взял пальто.

— Хорошо. Тогда выбирай: я или она, — сказал он.

От волнения он долго не мог попасть в рукава, но не позволил, чтобы сын помог ему одеться.

— Ладно, все, — проворчал он и вышел за дверь.

На Гамбургер-штрассе Довид остановился перед маленьким памятником Моисею Мендельсону, своему учителю, из-за которого он приехал в эту страну.

— Рабби Мойше, — сказал он, — наши дети уходят от нас. Наши дети — отступники...

Мудро и печально смотрел с пьедестала бронзовый философ, и капли дождя блестели на его сутулых плечах.

19

Тереза рассказала матери, что у нее любовь с доктором-евреем. Вдова Гольбек сразу представила себе оптика Дрекслера, у которого на витрине стояла голая женщина в резиновых чулках.

Все евреи были для нее такие же, как Дрекслер: черные, болтливые, умные, хитрые, и все нелегально чем-нибудь торгуют. Когда молодой доктор впервые оказался у нее дома, ее ожидания подтвердились. Он был черный, как грач: волосы, густые брови, подстриженные усы и, главное, глаза, огромные и блестящие. Слово сама темнота вошла в дом, где издавна жили светловолосые, голубоглазые люди. При этом он был кра-

сив суровой мужской красотой. Румянец выступил на увядших щеках вдовы Гольбек. Ей вспомнились молодые годы, когда она встречалась с таким же красивым и таким же чужим мужчиной. Она знала, что Карновский — акушер, и ей было неловко. Пожилой женщине казалось, что черноволосый доктор видит ее насквозь, будто она стоит перед ним обнаженная, как фигура на витрине оптика Дрекслера. Она даже попыталась прикрыть руками слишком большую, обвисшую грудь. Пенсне соскользнуло с переносицы и повисло на шнурке. Хуже всего было то, что Тереза привела Карновского неожиданно и как раз в тот день, когда в доме намечалась генеральная уборка. Госпожа Гольбек водрузила пенсне на место и только тогда спохватилась, что не поздоровалась с гостем.

— Приятно познакомиться, герр доктор, — сказала она растерянно, по привычке протянув руку к губам молодого человека. Но доктор Карновский не стал целовать мягкие пальцы мадам Гольбек, а лишь пожал их крепкой, смуглой ладонью. От таких манер гостя вдова смутилась еще больше. Поправив седые гладко зачесанные волосы, она попыталась начать разговор: — А погода сегодня разгулялась, не правда ли, герр доктор? Как вы думаете?

Она ждала, что услышит подобающий ответ, а потом можно будет и пригласить гостя к столу.

Но доктор Карновский не захотел говорить о погоде, она его не интересовала. Гораздо больше его заинтересовали рифмованные вышивки на скатерти. Карновский принялся читать их вслух, и, хоть он ни разу не улыбнулся, вдова Гольбек уловила в его голосе снисходительную насмешку и обиделась. Но самое ужасное, что Карновский, не пожелав разговаривать о погоде, совсем сбил женщину с толку, она не знала, как себя вести и что делать дальше. Можно ли подавать кофе или надо подождать, пока все приличия не будут соблюдены? Наконец она решила, что все-таки пора садиться за стол.

Наливая дрянной эрзац-кофе в самые дорогие чашки, которые были у нее в доме, она попыталась завести непринужденную беседу о том, как плохо после войны стало с продуктами. Мадам Гольбек надеялась, что этой темы хватит по меньшей мере на полчаса. Но Карновский, вместо того чтобы поддерживать беседу, отхлебывал кофе до неприличия большими глотками, то и дело вытирал расшитой салфеткой подстриженные английские усы и неровными, но очень крепкими зубами грыз печенье. Госпоже Гольбек не нравилось, как он глотает, как вытирает губы. Она частенько принимала гостей и знала, что в приличном доме хозяйка должна положить на стол салфетки, причем самые лучшие, с вышивкой, но гость не должен ими поль-

зоваться, особенно теперь, когда мыло стоит так дорого. А как он поглощает кофе! Из вежливости мадам Гольбек спросила, не выпьет ли гость еще чашечку. Она не сомневалась, что он откажется, но не тут-то было.

— Конечно, с удовольствием, — ответил он тут же и взял еще одно печенье.

А когда он, допив очередную чашку, поблагодарил за угощение только раз, мадам Гольбек и вовсе потеряла дар речи.

Она-то думала, что гость наговорит ей комплиментов, а она смутится и скажет, что печенье совсем не удалось, но он будет стоять на своем, нахваливать угощение и рассыпаться в благодарностях. Когда же Карновский, не спросив разрешения, закурил и выпустил сразу из носа и изо рта густую струю дыма, у госпожи Гольбек сердце защемило от беспокойства. Этот странный смуглый человек курил так же энергично, как ел, за одну затяжку он выкурил чуть ли не четверть сигареты. Как бы ковер не запачкал пеплом. Хозяйка быстро пододвинула ему пепельницу. Фрау Гольбек уже сама не понимала, что хуже: его дурные манеры или такое пренебрежение к ее имуществу. Мало того, она не могла придумать, с чего начать новую беседу. Наконец она решила поговорить о его профессии:

— У господина доктора хорошая практика?
Карновский кивнул головой:

— Работы по горло. Весь Берлин рожает: Гонят продукцию, восполняют военные потери. Но качество — так себе, эрзац...

Госпожа Гольбек и ее дочь покраснели. Доктор назвал медицинскую практику работой! И как можно говорить о важнейшей заповеди такими словами: «продукция», «гонят», «эрзац»?! У вдовы Гольбек кровь прилила к морщинистым щекам. Тереза умоляющими глазами посмотрела на любимого: «Ради Бога, не говори так при матери!» Карновский, несколько умерив пыл, начал рассказывать о детской смертности, контроле рождаемости, венерических болезнях, которые солдаты принесли с войны, и даже о том, что в стране появилось очень много незаконнорожденных, пока мужей не было дома.

— Господи, Господи! — вздыхала госпожа Гольбек.

А потом зачем-то привела гостя в зал и показала ему огромную фотографию в позолоченной резной раме.

— Вот, господин доктор, мой муж, царство ему небесное, — вздохнула вдова.

Доктор Карновский увидел толстого пожилого мужчину с круглой головой и пышными усами. Морщинки были старательно заретушированы. Облаченный в праздничный сюртук с высоким воротником, мужчина на фотографии выглядел важным и самодовольным. Глупо тарасились

очень серьезные глаза навывкате. Вдова Гольбек, скрестив руки на груди, с достоинством ожидала, что гость выразит восхищение ее почившим мужем. Но Карновский был огорчен, что этот подретушированный жирный человек — отец его возлюбленной. «Ну да, ну да», — пробурчал доктор, и вдова снова растерялась, не зная, что делать дальше. Но тут, на ее счастье, из коридора донесся собачий лай, а потом — бодрое насвистывание.

— Это Гуго с прогулки, — сказала она Терезе и вышла встретить сына.

Доктор Карновский услышал приглушенные голоса: умоляющий женский и упрямый мужской. Слов было не разобрать, но Карновский догадался, что говорят о нем, и ему стало неловко.

Вдруг в комнату влетела овчарка и с радостью бросилась сначала к Терезе, а потом к Карновскому. Вслед за ней, без малейшей радости, вошел хозяин, очень высокий, угрюмый и бледный.

— Обер-лейтенант Гуго Гольбек, — представился он, по-военному щелкнув каблуками.

— Доктор Карновский, — ответил Георг, но каблуками не щелкнул.

С минуту они молча смотрели друг на друга: светловолосый Гуго Гольбек — на черного Георга Карновского, черноволосый Георг Карновский — на светлого Гуго Гольбека. Доктор Карновский выглядел стопроцентным штатским, Гольбек,

хоть и без формы, — солдатом с головы до ног. Военный распознавался в нем по короткой стрижке и выправке. Прозрачные, почти лишенные бровей и ресниц глаза ничего не выражали, как стеклянные протезы. Мужчины сразу почувствовали неприязнь друг к другу, и оба поняли, что это взаимно. Как и госпожа Гольбек, Гуго попытался разрядить обстановку разговором о погоде.

— Вот, кажется, мы и дождались солнечных дней, — сказал он с сильным прусским акцентом. Гуго ждал, что этот черноволосый, смуглый человек ответит что-нибудь в том же духе, но доктор Карновский молчал. Напряжение нарастало. Тереза попробовала спасти положение.

— Гуго, доктор Карновский — капитан, — сказала она серьезно, в надежде, что армейский чин ее избранника произведет хорошее впечатление на ее сурового брата.

Гуго Гольбек снова щелкнул каблуками, как офицер, который приветствует офицера.

— Вот как! — заметил он.

Слова сестры не слишком его впечатлили. Конечно, это лучше, чем штатская крыса, но восхищаться особенно нечем. Как каждый боевой офицер, он считал, что военные врачи и капелланы ему не ровня, даже те, у кого более высокое звание. Они с ним и рядом не стояли. Только глупая девчонка может гордиться капитанским званием своего чернявого дружка. Большое дело, клиз-

мы ставить. Для обер-лейтенанта Гуго Гольбека он никто и звать никак. Когда доктор Карновский сказал, что служил на Восточном фронте, Гуго Гольбек даже не пожелал поговорить о войне. Для того, кто был на Западном фронте, Восточный фронт — вообще не фронт.

Каменное лицо Гольбека несколько подобрело, когда доктор Карновский предложил ему закурить. С благодарным поклоном Гуго принял сигарету.

— Египетские, господин доктор, — определил он по первой затяжке.

— Да, я всегда такие курю, господин Гольбек, — сказал Карновский.

— А немецкому обер-офицеру египетские сейчас не по карману, — заметил Гольбек, вытягивая длинные ноги.

С удовольствием затягиваясь ароматным дымом, он принялся рассказывать о французском городе, куда его часть вступила так стремительно, что жители бежали, побросав все добро. И в покинутом доме он нашел коробку египетских сигарет и превосходных гаванских сигар. Черт возьми, повезло же ему тогда с этими сигаретами. Рассказывая, он то и дело смеялся без причины. Когда не мог подобрать подходящего слова, заменял его на «это самое», а то и на солдатское «Donnerwetter». Доктор Карновский нетерпеливо курил, рассматривая вытянутую ногу Гольбека.

— Простите, — прервал он рассказ о египетских сигаретах, — но мне кажется, вы подхватили в окопах ишиас. Левая нога не беспокоит?

Гуго Гольбек покраснел до ушей. Он терпеть не мог, когда ему напоминали о недуге, который он стойко переносил. А этот чертов доктор сразу распознал его болезнь. У него одно на уме: осматривал его ногу, вместо того чтобы слушать.

— Да бросьте! — отмахнулся он с досадой. — Ерунда, не стоит об этом.

Но доктору Карновскому больше нравилось говорить о болезнях, чем о войне.

— Мне такое не раз встречалось у солдат на фронте, — сказал он с профессиональным интересом. — И обычно удавалось вылечить.

Гуго Гольбек уверился, что этот еврейский лавочник, который торгует медициной, уже видит в нем пациента. Нет уж, ему он свой товар не всучит, не на того напал.

— Если в наше время немецкий офицер может купить дешевых сигарет, — произнес он с достоинством, — уже хорошо. Где уж нам тратить на докторов?

И, очень довольный своим ответом, встал, выпрямился во весь рост и презрительно посмотрел на докторишку. Но Карновский ничуть не смутился. Пропустив слова Гольбека мимо ушей, он быстро приблизился к обер-лейтенанту и вдруг ударил его кулаком по задней стороне бедра.

— Черт! — вскрикнул Гольбек от боли.

— Конечно, ишиас, — сказал доктор Карновский. — И к тому же запущенный. Не надо этим пренебрегать.

Гуго почувствовал себя униженным. Он уже ненавидел врача всей душой.

— Ерунда... — повторил он.

Карновский даже не посчитал нужным ответить. Вместо этого он обратился к женщинам. Он выпишет лекарства, и мадам Гольбек сможет лечить сына сама, дома. Тереза будет делать брату массаж, обычно это дает хороший результат. Карновский все ей объяснит и покажет. Вдова Гольбек почувствовала симпатию к молодому врачу. Он с первого взгляда определил болезнь Гуго и взялся бесплатно его лечить. Карновский сразу вырос в ее глазах.

— Вы очень любезны, господин доктор, — поблагодарила она.

Карновский и Тереза ушли. Госпожа Гольбек лакомилась остатками печенья, двумя пальцами аккуратно поднося ко рту крошки, и размышляла о будущем дочери. А ведь, пожалуй, Терезе будет совсем неплохо с этим быстрым и прворным врачом-брюнетом. Мадам Гольбек решила примириться со свершившимся фактом.

— По-моему, весьма достойный человек! А, Гуго?

— Наглый еврей, — лениво отозвался сын.

Госпоже Гольбек было неприятно это услышать.

Конечно, ее тоже беспокоил выбор Терезы, и вера, и внешность Карновского были для нее непонятными и чужими. Зачем дочь связалась с ним, вместо того чтобы идти старым проверенным путем поколений? Но, как хорошая хозяйка, она всегда брала в расчет практическую сторону дела. Многие женщины почитают докторов, особенно докторов-евреев, которых в городе большинство, и госпожа Гольбек не была исключением. Она не сомневалась, что толковый и энергичный Карновский обеспечит ее дочери прекрасную жизнь. Был бы жив муж и была бы возможность дать хорошее приданое, она бы поговорила с Терезой по-другому. Но раз Бог ее наказал, сделав нищей вдовой, а дочери пришлось устроиться в больницу, значит, надо радоваться, что ее девочку берут в жены без приданого. И совсем неплохо превратиться из медсестры в госпожу докторшу.

К тому же мадам Гольбек знала, что евреи очень хорошо обращаются с женами, не пьют, не устраивают скандалов. А сейчас, после войны, приличных мужчин вообще мало. Остались только всякие бездельники, вроде ее сына, которые о свадьбе и не помышляют, а лишь дурачат девушек и ломают им жизнь. И время голодное, хорошую работу трудно найти. В общем, госпожа Гольбек положила на одну чашу весов все достоинства

доктора Карновского, а на другую — его еврейское происхождение и решила, что достоинства перевешивают этот недостаток. Она уже смотрела на черноволосого медика как на члена семьи, и ей хотелось, чтобы он понравился сыну.

— Подумай хорошенько, Гуго, — возвала она к его благоразумию. — Мы люди бедные. Тереза его любит, и он согласен взять ее без приданого, только по любви. Ты ведь не хочешь, чтобы сестра испортила себе карьеру, только потому что он тебе несимпатичен.

— В наше чертово время немецкий офицер ничего хотеть не может, — ответил Гуго. — Немецкий офицер может только смотреть, слушать и молчать.

Его бледное лицо ничего не выражало, словно маска. Прозрачные глаза уставились в одну точку. Если бы он не насвистывал, было бы вообще не понятно, что он жив.

20

Довид Карновский строго-настрого запретил Лее ходить к сыну и его гойке, но после свадьбы она все же отважилась их навестить.

Конечно, она тоже сердилась на сына за то, что вместо радости он принес в дом огорчение. Она иначе представляла себе величайший день в его жизни. Когда Георг еще был ребенком, она мечта-

ла, как проводит его под балдахин, как в синагоге будут праздновать свадьбу по закону Моисея и Израиля, мечтала о невестке, которую будет любить, как родную дочь. И все-таки не могла выкинуть сына из сердца, как того требовал ее муж. Не так много у нее детей, чтобы отказаться от одного из них.

Кроме того, Лея знала: она не единственная в городе, у кого случилась такая беда, а то и что-нибудь похуже. Да, бывает, что дети из-за любви покидают семью. В отличие от мужа, она не считала сына отступником. Это была не еврейская свадьба, но ведь и не христианская. А если родители откажутся от сына, будет еще хуже.

Лея дождалась, когда Довид уехал по делам в Гамбург, и сказала Ребекке, что они пойдут в гости к Георгу, но отец ни в коем случае не должен об этом узнать.

Ребекка запрыгала от счастья.

Рано развившаяся, энергичная, подвижная, как все Карновские, и при этом очень сентиментальная, она не смогла скрыть своей радости, когда мать велела ей одеваться, чтобы идти к брату. Как всех девушек, свадьбы очень ее интересовали. А запретный брак с христианкой и то, что их поход совершается втайне от отца, — это так романтично! Ребекка была на седьмом небе.

Она вытащила из шкафа все платья, чтобы выбрать самое красивое. Но какое бы она ни наде-

ла, ей тут же начинало казаться, что другое будет лучше, больше ей подойдет. Вот если бы можно было надеть все сразу!

Лея одевалась в совершенно другом настроении. Она открыла шкаф, и ей на глаза попало ее свадебное платье, прекрасное платье из блестящего шелка, украшенное рюшечками и оборочками. Длинное дорогое платье, хранившее тайны былого женского счастья и любви. Лея погладила пальцами шелк и вздохнула.

— Мама, что с тобой? Ты плачешь? — не поняла Ребекка.

— Ничего, ничего, — смутилась Лея.

И, взяв под руку дочь, отправилась к незнакомой, непонятной невестке.

Лея всегда волновалась, когда ей приходилось разговаривать с чужими людьми. Она до сих пор была не уверена в своем немецком и от волнения делала ошибки, хоть и понимала, что говорит неправильно. Даже в синагоге, среди женщин, она не чувствовала себя спокойно. А сейчас ей предстояло встретиться с чужой женщиной, которая должна стать ей дочерью. Конечно, ей не раз приходилось иметь дело с христианками, сначала в отцовском доме, в Мелеце, потом в Берлине, и к служанкам она относилась по-простому, не как хозяйка, а как женщина к женщине, доверяла им, делилась горестями и радостями. И все же ей было страшно. Лея не представляла себе, что

сможет увидеть в невестке дочь, и тем более не представляла, что эта чужая, незнакомая женщина признает ее матерью, как в еврейских семьях, где жена переносит любовь к мужу на его мать. Слишком далеки они друг от друга. Кто знает, не будет ли невестка смотреть свысока, думала Лея по дороге, презирать ее или даже втихаря ненавидеть. Обычное дело, что гои ненавидят евреев. Дрожащей рукой она позвонила в дверь с табличкой «Доктор Карновский». Как их поздравить, что сказать? Лея прижала к груди букет — все, что она принесла молодым в подарок, словно бедная родственница.

Но тут дверь распахнулась, и светловолосое, голубоглазое существо бросилось Лее Карновской на шею:

— Мама!

Это случилось, Лея услышала слово, которое мечтала услышать долгие годы. Неужели она до этого дожила? Беспокойство и сомнение испарились в одну секунду. Она обнимала любящего, родного человека.

— Доченька, — прошептала Лея с нежностью.

Георг сиял от счастья. Он тоже со страхом ждал этой встречи и теперь чувствовал огромную благодарность и к жене, и к матери. Простые женщины сердцем достигли того, чего они с отцом не смогли достичь умом и логикой.

— Ну что, Ребекка? — обратился он к сестре, не зная, о чем спросить.

А Ребекка расцеловала сначала брата, потом его жену.

— Тереза, называй меня сестрой, ладно? — попросила она. — Я всегда мечтала, чтоб у меня была сестра.

Лицо Терезы пылало от счастья и смущения.

Она боялась первой встречи не меньше, чем Лея. Она успела привыкнуть к евреям, особенно к еврейским женщинам, с тех пор как начала работать у профессора Галеви. Христианка, еврейка — Тереза не видела никакой разницы: все одинаково боялись родов, одинаково радовались и благодарили Бога, когда ребенок рождался благополучно, и одинаково страдали, если что-то было не так. И все же она не могла преодолеть до конца отчужденность и недоверие к еврейскому народу. Это, конечно, не касалось профессора Галеви или тем более Георга, за которым она не раздумывая пошла бы хоть на край света. Но она с детства впитывала неприязнь к евреям дома, в школе, в церкви и с ужасом ждала дня, когда ей придется увидеться со свекровью. Муж был для нее самым прекрасным мужчиной в мире, но его мать представлялась Терезе черным, злым чудовищем, как евреев изображают на карикатурах и в бульварных комедиях.

Теперь страхи и подозрения рассеялись, женщины полюбили друг друга с первой минуты, ведь каждая так мечтала любить и быть любимой. И вот они уже принялись обсуждать домашние дела, заговорили о хозяйстве, нарядах и особенно о готовке: что Георгу нравится, что не нравится. Тереза подала чай и домашнее печенье.

— Все кошерно, мама, — сказала она, покраснев до корней волос, — смело можете есть.

Тереза говорила неспроста, Лея Карновская действительно могла есть спокойно. Ведь Тереза очень серьезно подготовилась к роли еврейской жены. Она отыскала справочник, в котором немецкие раввины подробно описали, как зажигать субботние свечи, вымачивать и солить мясо, готовить кошерную пищу, и выучила книжку наизусть. Георг смеялся, но она не обращала внимания. Тереза привыкла все доводить до конца: если она выходит замуж за еврея, она обязана знать все еврейские законы и обычаи.

Лея смутилась.

— Доченька моя, — прошептала она с благодарностью, — дитя мое...

А когда Тереза достала из шкафа два небольших бронзовых подсвечника, купленных заодно со справочником, Лея была потрясена.

— Вот, мама, а это для субботы, — серьезно сказала молодая жена.

Георг захохотал:

— Мам, видишь, у меня жена — еврейская праведница.

— Как тебе не стыдно? — Тереза, как всегда, не оценила его юмора.

Вдруг Лея Карновская сняла с шеи жемчужное ожерелье и надела его на невестку. Тереза склонила голову и поцеловала руку свекрови:

— Мама, ну зачем?

Лея застегнула замочек.

— Это мой свадебный подарок. Моя мама подарила мне его на свадьбу, а ей подарила ее мама.

Женщины в ее роду из поколения в поколение надевали это благородное ожерелье по вечерам в пятницу. Не обидятся ли они на том свете, что она надела их субботнее украшение на шею нееврейской невестки? Но Тереза стояла, потупив глаза от счастья и смущения, как скромная еврейская девушка, и Лея снова почувствовала, как они близки друг другу.

— Его надевали перед тем, как благословить свечи, — сказала она.

— Мама, я тоже буду надевать его перед благословением, — ответила Тереза.

С тех пор Лея Карновская стала часто выбираться к детям. Она больше не беспокоилась из-за своего плохого немецкого, говорила с невесткой, не стесняясь, а иногда даже вставляла домашние еврейские словечки. Лея научила Терезу готовить еврейские блюда, печь штрудель и маковые коржики. А Ребекка даже больше, чем Лея, полюбила

свою новую сестру. Девушке нужно было излить на кого-нибудь нежность, которая накопилась в ее сердце, и она всей душой привязалась к Терезе. То, что Тереза была старше, наполняло Ребекку гордостью. А в том, что Тереза замужем, была тайна любви — любви, о которой Ребекка так мечтала! При каждой встрече она бросалась невестке на шею и так крепко ее обнимала, что Тереза иногда даже немного пугалась.

Тереза забеременела, и Георг запретил ей работать. Теперь Ребекка не отходила от нее ни на шаг. Она так волновалась, будто сама собиралась стать матерью.

Довид Карновский каждый раз устраивал скандал, когда узнавал, что жена, несмотря на его запрет, опять ходила к сыну. Лея всячески пыталась смягчить сердце мужа, рассказывала о том, какая Тереза милая, какая добрая, о том, что она ест кошерное и зажигает субботние свечи. Но Довид и слушать не хотел.

— Да не в этом дело, — твердил он. — Подумай получше. Это только начало, первый шаг к отступничеству.

Лея зажимала уши.

— Типун тебе на язык, — отвечала она испуганно. — Даже не говори такого.

— Мудрый видит наперед, — продолжал Довид. — Тебе твоим женским умом этого не понять, а я-то знаю...

Увидев, что в одиночку она ничего не добьется, Лея попыталась найти союзников. Она поговорила с раввином Шпайером: пусть он скажет, можно ли отцу отречься от сына. Доктор Шпайер встал на ее сторону.

— Дорогой герр Карновский, в жизни всякое бывает, — подступил он к Довиду после субботней молитвы. — Вы в Берлине не один такой. Лучше помириться.

Довид Карновский не внял совету. Он больше не верил этим просвещенным в цилиндрах. Это раньше он такими восхищался, но с тех пор как доктор Шпайер в трудный час отказал ему в помощи, Довид охладел к раввину и ему подобным. Теперь он ставил его не выше, чем раввина из Мелеца, который когда-то так его оскорбил. Довид нередко вспоминал того раввина. Из-за него он покинул Мелец, бежал от темноты к свету, от суеверий и невежества к истинной вере и мудрости. Теперь Довид был далеко не так уверен, что Мелец — темнота, а Берлин — свет.

Но еще больше, чем евреи, его разочаровали немцы. Довид постоянно чувствовал их неприязнь, и не только во время войны. Он говорил на чистейшем немецком, знал грамматику до тонкостей, и все равно из-за еврейского происхождения над ним смеялись, а то и грубо оскорбляли в глаза, особенно когда он приходил собирать плату с квартирантов.

По городу шлялись толпы здоровенных парней и орали, что надо бы перерезать всех евреев в стране. И это было не какое-нибудь простонародье, а студенты, люди, познавшие свет образования. По улицам, названным в честь философов, по Кант-штрассе, по Лейбниц-штрассе, разгуливали просвещенные юноши с дубинками в руках и призывали к убийствам и грабежам.

Довид Карновский чувствовал себя обманутым, он разочаровался в городе своего учителя Мендельсона. Он не считал, как раввин Мелеца, что рабби Мойше Мендельсон — выкрест и позор еврейского народа, но видел, что ни к чему хорошему этот путь не приведет. Сначала просвещение, друзья-христиане, а в следующем поколении — отступничество. Так было с рабби Мендельсоном, так будет и с ним, Довидом Карновским. Георг уже ушел из дома. Если даже он, Довид, никогда не изменит своей вере, его дети все равно станут гоями. Может, они даже будут ненавидеть евреев, как многие выкресты.

Еще больше, чем за Георга, он боялся за Ребекку. Целыми днями пропадает у брата, подружилась с его гойской женой. Довид никогда не был высококого мнения о женском уме, знал, что женщины живут не головой, а сердцем, и опасался, что дочь пойдет по стопам сына.

— Я не хочу, чтобы Ребекка там крутилась! — кричал он на Лею, стуча кулаком по столу. —

Ладно ты, взрослая женщина, но она-то еще ребенок, запросто с пути собьется.

Лея плакала, ее огорчало, что муж так суров с детьми. Она напомнила ему о моавитянке Руфь, которая приняла еврейскую веру. От Руфи произошел царь Довид, а от царя Довида произойдет Мессия. Карновский и слушать не захотел.

— Что ты несешь, женщина? Руфь пришла от Моава к Израилю, а сейчас Израиль идет к Моаву. Ясно?

Лея не понимала мужа. Довид Карновский чувствовал себя одиноким и никому не нужным. Друзья, дети — все от него отвернулись. Сидя в просторном кабинете, полном редчайших книг и рукописей, Довид ловил себя на мысли, что цепь оборвалась, после него эти книги никому не понадобятся. Целый мир, вся мудрость, накопленная за тысячи лет, всё, за что евреи без колебаний жертвовали жизнью, будет забыто. Лишь только он умрет, все эти сокровища будут проданы на оберточную бумагу, а то и просто выброшены на помойку. Ему становилось страшно.

Довид отправляется в еврейский квартал, к реб Эфраиму Вальдеру. Реб Эфраиму уже за восемьдесят. Его лицо напоминает лист пергамента, руки словно поросли мхом, но ум по-прежнему остер и ясен. Старик всегда рад Карновскому.

— Добро пожаловать, ребе Карновский, — подает он гостю худую, слабую руку. — Что хорошего происходит в мире?

— Ничего хорошего, реб Эфраим, — отвечает Карновский. — Плох теперешний мир.

— А лучше он никогда и не был, ребе Карновский, — улыбается в седую бороду реб Эфраим.

Карновский не согласен. Когда он был молод, дети почитали родителей, тогда отец был в доме царем. А теперь отец для детей — никто, пустое место.

Реб Эфраим снова улыбается:

— Отцы всегда недовольны детьми. Я уже далеко не мальчик, ребе Карновский, а еще мой отец, благословенной памяти, говорил, что я его не почитаю, а вот он в мои годы был совсем другим. Чего ж вы хотите, если еще пророк Исаия жаловался: «Я воспитывал сыновей, а они грешат против меня...»

Поговорив о детях, Карновский начинает рассуждать о трудных временах, дефиците, голоде, о том, что в стране неспокойно, что растет ненависть к евреям. Реб Эфраим Вальдер спокоен, все это он уже видел. Так было, есть и, наверно, будет. Сколько он живет на свете, всегда были нужда, ненависть, жестокость, распри между людьми. История мира — это история ненависти и злобы, нужды, болезней, войн и смерти. Новый

потоп все стирает, но всегда находится Ной, который строит ковчег, берет в него несколько чистых и множество нечистых тварей, и все начинается сначала. Великий мудрец Екклесиаст был прав, ребе Карновский: все уже было, нет ничего нового под солнцем.

Довид Карновский не может смотреть на вещи столь философски. Он места себе не находит, ему не смириться с выбором сына. А реб Эфраим, как всегда, спокоен.

— Вы не один такой, ребе Карновский, — говорит он. — Вот, например, моя дочь. Сидит целыми днями, читает дурацкие романы, страдает, сама не знает почему. Рабби Мойше из Дессау тоже был не слишком-то счастлив, все его дети стали отступниками.

Довид Карновский тяжело вздыхает. Выходит, правы были хасиды, когда так разозлились, увидев Тору Мендельсона.

— Наверно, раввин в Мелеце был поумнее, чем я. Вот до чего доводит берлинское просвещение.

Реб Эфраим машет рукой:

— Жизнь — большой шутник, ребе Карновский. Евреи хотели быть евреями дома и людьми на улице, но жизнь все поменяла: мы гойи дома и евреи на улице.

— Значит, реб Эфраим, те хасиды были правы? — спрашивает Карновский. — Значит,

они всё предвидели? Получается, рабби Мойше Мендельсон действительно виноват?

Реб Эфраим не согласен: мудрец не виноват, что глупые ученики извратили его учение. Чернь всегда искажает слова мудреца, подгоняет их по своей глупости, потому что не может понять их смысла. Почему узколобые недоумки так ненавидели рабби Мойше бен-Маймона, Маймонида, как его называют гои? Потому что он не позволил превратить служение Всевышнему в идолопоклонство. Оттого что дураки искажают мысли мудреца, сам он дураком не становится.

— Нет, ребе Карновский, — говорит Вальдер, — мудрец и есть мудрец, а дурак и есть дурак. Я как раз недавно об этом написал. Если хотите, сейчас прочитаю.

С мальчишеским проворством он взбирается по лесенке, перебирает рукописи на верхней полке и наконец находит нужную.

— Ах, злодеи! — восклицает он с досадой, увидев, что мыши погрызли пергамент. — Ну что ты будешь делать!

— Реб Эфраим, у вас же кошка есть, — говорит Карновский.

Кошка дремлет на стуле, свернувшись калачиком.

— С тех пор как Мафусаил, благословенной памяти, покинул этот мир, мне ни одной приличной кошки не попало, — вздыхает реб

Эфраим. — Уже совсем старый был, слепой, но сражался со злодеями не на жизнь, а на смерть.

Рукопись изрядно попорчена мышами, но реб Эфраим помнит уничтоженные места наизусть.

— Ну, что скажете, ребу Карновский? — спрашивает он.

Карновскому нечего возразить, но он сильно сомневается, что доводы Вальдера подействуют на гоев, помогут установить мир между Симом и Иафетом. Он лучше знает жизнь, чем реб Эфраим, который не выходит из дому. Он насмотрелся на гоев во время войны, повидал их злобу и жестокость. Они и теперь полны ненависти ко всем и ко всему, а особенно к евреям. И не только просто-народье, но и образованные, студенты. Да что говорить о гоях, если даже евреи нас не понимают, даже наши собственные дети. Кому нужны рукописи, в которые реб Эфраим вложил столько мудрости, на которые потратил столько лет работы?

— Как сказано: «Для кого я трудился?»

— Удивляюсь вам, ребу Карновский, — перебивает реб Эфраим. — Как вы, ученый человек, можете так говорить?

Нет, реб Эфраим не согласен, не все еще пропало. Он не слепой, он знает, что делается в мире, хоть и не выходит из комнаты. Но мыслящий человек не должен бояться и отчаиваться. Ничего нового не происходит, так было всегда. Когда Моисей вырезал скрижали, чтобы дать миру

основу, чернь вместе со священником Аароном плясала вокруг золотого тельца и кричала, что это бог Израиля. И во времена Екклесиаста было не лучше. У рабби Сократа и рабби Платона учеников было всего ничего, а чернь предавалась распутству, грабежам и прочим злодеяниям. И рабби Мойше бен-Маймон был в своем поколении один такой. Однако они не боялись и делали свое дело. И слова мудрецов остались в веках.

— Нет, ребе Карновский, — заканчивает реб Эфраим, положив руку Довиду на плечо, — что посеяно, непременно взойдет. Ветер уносит зерна в пустыню, и там вырастают плодовые деревья. Я буду делать то, что должен.

На Драгонер-штрассе многолюдно и шумно. После войны к старожилам приехало много родственников из-за границы. Прибыли беженцы из Галиции, оставшиеся без императорского покровительства, польские евреи, изгнанные из родных мест, русские, румынские. Еврейским солдатам, которые воевали в русской армии и попали в плен, некуда было возвращаться; сионисты не могли собрать документы, чтобы выехать в Палестину; жены ехали к мужьям в Америку, но в дороге остались без средств. И все они осели в Берлине. Жили где попало, торговали или болтались без дела, сидели в дешевых кошерных рестораниках. Полиция устраивала облавы, хватала тех, у кого не было документов. Квартал, прозванный в насмешку

Еврейской Швейцарией, жил шумной, напряженной жизнью. Продавцы и покупатели торговались, нищие выпрашивали милостыню, полицейские свистели, менялы меняли деньги, евреи молились. Надрывались граммофоны в книжных лавках, с модных американских пластинок звучали напевы канторов и сальные куплеты. А реб Эфраим ничего не видел и не слышал, улицы для него не существовало. Он читал Довиду Карновскому страницу за страницей. Кошка лежала на стуле, свернувшись калачиком. В углах трудились мыши, грызли, но она не обращала на них внимания, только слушала голос хозяина. Когда реб Эфраим доходил до какого-нибудь особенно важного места, до новой, необычной мысли, его глаза вспыхивали, лицо розовело, как у юноши.

— Ну, ребе Карновский, что на это скажете? — интересовался он.

— Прекрасно, реб Эфраим, прекрасно! — отвечал восхищенный Довид Карновский.

Когда Тереза почувствовала схватки и приехала с матерью в клинику профессора Галеви, туда, где она когда-то работала, доктор Карновский решил, что будет сам принимать роды. Вся клиника была взбудоражена.

— Тереза, вы не боитесь? — спрашивали сестры. — В таких случаях женщины обычно не доверяют мужьям.

— Ничуть не боюсь, — обижалась Тереза. Ей было неприятно, что ее подозревают в недоверии.

Врачи окружили Карновского.

— Коллега, вы точно не будете нервничать? — спрашивали они с намеком, что Карновский, пожалуй, слишком в себе уверен.

— Конечно, не буду, — спокойно отвечал Георг.

Доктора, недовольные успешной карьерой Карновского, пожимали плечами, но профессор Галеви одобрил его решение:

— Врач, который не может взять на себя ответственность за жизнь близкого человека, не может отвечать и за жизнь чужого. Запомните это, молодые люди.

Нервничать доктор Карновский начал, когда все закончилось. Тереза родила мальчика.

Карновский так и хотел, чтобы первый ребенок оказался мальчиком, и Тереза была горда, что родила мужу сына, а волновался он из-за родителей, особенно из-за матери. Лея была счастлива, что снова сможет взять на руки маленькое тельце, прижать к себе, приласкать. Но при этом она умоляющими глазами смотрела на Георга, ничего не говорила, только жалобно смотрела, как овечка на голодного волка. Доктор Карновский был сильно обеспокоен.

В первый день он был уверен, что не позволит себя уломать. Он не даст совершить над своим первенцем бессмысленный обряд только потому, что тысячи лет назад Авраам поклялся свое-

му Богу, что все его потомки мужского пола будут обрезаны на восьмой день после рождения. Какое дело врачу из самого центра Западной Европы до кровавых обычаев кочевника-патриарха? И пусть мать смотрит умоляющим взглядом, все равно он не изменит своим принципам.

На второй день он слегка смягчился, но все еще не поддался. Если бы его жена была еврейка, он, может, и согласился бы. На что ни пойдешь ради матери? Конечно, Тереза не стала бы возражать, она его любит, для нее его слово — закон. Но он не может ее принуждать. Именно потому, что он еврей, а она христианка, в таких вещах он не имеет права давить на нее и на ее семью.

На третий день Лея с трудом сдерживала слезы. Доктор Карновский не знал, куда спрятаться от ее умоляющего взгляда. Она молчала, но ее глаза говорили: «Твоя мать имеет на это право. Ты можешь сделать ее счастливой, а можешь ее убить».

Доктор Карновский был обеспокоен не на шутку. «Вдруг она этого не перенесет?» — думал он. У него есть обязанности перед женой, но есть и перед матерью. Положение было щекотливым, очень щекотливым. Вопрос стоял так: «Еврей или нет». Он хочет быть хорошим для своей нееврейской жены и ее родных, а получается, будто он считает, что еврейское происхождение — изъян, который надо скрывать.

На четвертый день к беспокойству о матери прибавилось беспокойство об отце. Сам ставший отцом, теперь Георг и о своем отце думал несколько иначе. Конечно, Карновский-старший сурово с ним обошелся, но это потому, что он человек старых взглядов, однако он желал сыну только добра, это надо понимать. Может, и правда провести эту небольшую церемонию с ребенком? Кстати, это и для здоровья полезно, а отец наверняка растает, они помирятся, простят друг друга. Пусть узнает, что молодые бывают мудрее, мягче, добрее стариков.

На пятый день он вдруг решил пойти к отцу и пригласить его на обрезание. Однако в нем тут же снова проснулось упрямство. Нет, это будет слишком, не он обидел отца, а отец — его. К тому же это его праздник, вот пускай отец сам и придет поздравить сына. Придет — прекрасно, Георг воздаст ему все сыновние почести, и пусть он будет доволен. А не придет — и не надо. Два дня он провел в напряженном ожидании, явится отец или нет. На восьмой день, когда отец так и не пришел, Георг сделал сыну обрезание, но устраивать по этому случаю праздника не стал. Он сам обрезал ребенка, без молитвы и благословения, без гостей, пряников и водки.

— Бедный малыш! — сказала сестра Гильда, поднося плачущего ребенка к кровати Терезы. — Неужели вам его не жалко, господин доктор?

— А почему должно быть жалко, Гильда? — резко, с насмешкой в голосе ответил Карновский. — Меня в свое время тоже не пожалели.

Он был зол на себя, из-за того что поступил против собственной воли.

Зато Лея была на седьмом небе: теперь все было в порядке. Она насела на мужа, чтобы тот навестил сына.

— Какое-то дикое упрямство! — возмущалась она. — Чего тебе еще надо? Ведь он ради тебя это сделал!

Довид Карновский понимал, что Лея права, но уступать не хотел. Именно потому, что она была права, а он нет.

В благодарность за то, что Тереза позволила сделать ребенка евреем, доктор Карновский дал новорожденному имя ее отца — Йоахим. А Тереза в честь мужа прибавила еще одно имя — Георг. В мальчике соединились как имена, так и внешние черты обоих родов: голубые глаза и белая кожа Гольбеков, черные волосы и крупный, с горбинкой нос Карновских.

Берлинские гостиницы, в которых останавливались принцы, дипломаты и знаменитые оперные певцы, были полны новых, необычных постояльцев.

Это были веселые, жизнерадостные американцы в разноцветных рубашках и лаковых туфлях. Мужчины не снимали шляп в фойе, дымили сигарами, по-приятельски, за руку, здоровались со швейцарами и хлопали по плечу коридорных в расшитых ливреях. Женщины носили дорогие меха и украшения, но их платья были слишком коротки и яркие. Держались они свободно, очень громко разговаривали и смеялись. Американцы целой толпой заваливались в гостиничный бар, выпивали, бросали окурки куда попало, даже на персидские ковры. От таких маñер служащие выходили из себя. Они привыкли иметь дело с высшей знатью, а обслуживать того, кто с тобой запанибрата, казалось им позором. Однако они не показывали своего презрения, напротив, стремились во всем угождать этим шумным, невоспитанным людям. К тем, что побогаче, прислуга обращалась «ваше превосходительство», к остальным, на всякий случай, «господин доктор».

Ведь новые постояльцы, хоть и не обладали хорошими манерами, зато обладали хорошими деньгами, они так же легко разбрасывали марки, как сигаретные окурки. Им доставляло удовольствие поменять один доллар на несколько миллионов марок и швырять их коридорным, посыльным, торговкам сигаретами, официантам и швейцарам в мундирах и брюках с лампасами. Им нра-

вилось спать на кроватях, на которых спали принцы и принцессы.

Гостиницы поменьше были заполнены другими постояльцами: румяными голландцами, элегантными, смуглыми румынами, рослыми латышами, светловолосыми чехами, поляками, эстонцами, франтоватыми русскими, быстрыми, черноглазыми евреями. Все они приехали торговать в страну, где деньги потеряли всякую цену. Приезжие коммерсанты скупали дома в столице, огромные, на века построенные дома.

До отказа заполнен постояльцами отель реб Герцеле Вишняка «Кайзер Франц-Иосиф» в квартале, который насмешливо называют Еврейской Швейцарией. В каждом номере несколько человек, даже спят по двое в одной кровати. Здесь останавливаются галицийские и польские евреи в коротких и очень коротких сюртуках, приехавшие скупать товары в страну, где деньги ничего не стоят. В других гостиницах дешевле, но они останавливаются у реб Герцеле Вишняка: приятнее жить среди своих.

Вдова Гольбек — одна из тех, кто решил продать дом в районе Зоопарка. Денег, собранных с жильцов за месяц, не хватало, чтобы купить продуктов на рынке. Госпожа Гольбек все чаще возвращалась домой с легкой корзиной и тяжелым сердцем. Вдова начала распродавать домашнюю утварь: старинные кувшины с мудрыми изрече-

ниями в рифму, венецианское стекло, хрусталь — все пошло в антикварные лавки, которых в городе становилось больше день ото дня. Но все равно кормить домашних было нечем, а Гуго еще требовал денег на сигареты, он выкуривал несколько пачек в день, и госпожа Гольбек решила продать дома, построенные ее мужем на века. Она продала их за две тысячи долларов, со всеми балконами, карнизами, колоннами и лепными ангелами. Подписывая контракт, вдова Гольбек рыдала.

— Хорошо, что твой отец этого не видит, — сказала она сыну.

Гуго, как всегда, остался спокоен. Он взял у матери один доллар, тут же поменял его на улице, распихал по карманам марки и пропал на целые сутки. Он неплохо погулял: походил по барам, купил хороших сигарет, пострелял в тире, покатался на верховой лошади, а потом нашел девушку на Курфюрстендам и пошел с ней в гостиницу. Последние деньги он отдал шоферу, который привез его пьяного домой. Главным в жизни для него была армия, а на втором месте стоял теперь зеленый американский доллар, который может доставить человеку так много радости.

Довид Карновский тоже продал дом в Новом Кельне. Мало того что деньги совсем обесценились, так жильцы еще постоянно задерживали плату. Исправно платил только доктор Ландау. Остальные с ненавистью смотрели на смуглого,

черноволосого хозяина, говорившего на слишком правильном, искусственном языке.

— Мы тут не жулики и не спекулянты, — говорили они, когда Карновский приходил требовать денег. Так они намекали чужаку, что вот он-то как раз жулик и спекулянт, он и ему подобные.

Карновскому все это изрядно надоело, с дома он не получал ничего, кроме оскорблений. Торговля лесом после войны тоже шла из рук вон плохо. Каждую неделю Георг присылал отцу конверт с деньгами. И каждый раз Довид Карновский отправлял конверт обратно, даже не распечатав.

— Я не продам первородства за миску чечевичной похлебки, — ворчал он.

Когда стало совсем тяжело, Карновский нашел покупателя-иностранца и сбыл дом по дешевке, но за настоящие деньги, имеющие цену. Жаль было расставаться с имуществом, в которое он столько вложил, но делать было нечего.

А Соломон Бурак, хозяин магазина на Ландсбергер-аллее, не унывал, хотя на то и были причины. Он распродал товары за скверно напечатанные бумажки, которые даже толком не считал. Соломон любил шум и толчею, ему нравилось, что покупательницы хватают все подряд, рвут ненужные вещи друг у друга из рук. Ита глубоко вздыхала каждый раз, когда принимала деньги за кассой.

— Соломон, мы ж отдаем товар даром! — причитала она. — Так мы скоро останемся с пустыми полками и пачкой туалетной бумаги!

— Ничего, Ителе! — отвечал Соломон. — Зато хоть как-то дело движется...

Выбора-то все равно не было. Все вынуждены были продавать себе в убыток, но только Соломон не плакал, а, наоборот, радовался толчее и шуму, как глупый мальчишка пожару. Вместо родственников из Мелеца ему пришлось во время войны набрать немецких продавщиц, но он все так же шутил, вставляя еврейские словечки. Продавщицы уже прекрасно знали, что такое «бекицер», «мишпуха», «парнуса»*.

— Миллион туда, миллион сюда, — говорил он.

По-прежнему Соломон Бурак не упускал случая разыграть клиентку.

— Сколько? — спрашивала, бывало, покупательница, ощупывая отрез ткани.

— Пять, — бросал он в ответ.

— Сколько, вы сказали? — переспрашивала женщина.

— Десять!

— Вы же только что сказали, пять!

— Пятнадцать! — не моргнув глазом, отвечал Соломон.

Разница, собственно говоря, была невелика, пять миллионов, десять или пятнадцать, но

* «Короче говоря», «семья», «заработок» (*идиш*).

Соломона раздражала глупость покупателей, готовых торговаться за никчемные бумажки. Или он уговаривал клиентку приобрести одежду для покойников, которая тоже продавалась у него в магазине:

— Берите, gnädige Frau! Потом дороже будет.

Он шутил, но «gnädige Frau» воспринимала его слова всерьез и действительно покупала.

Иту раздражало его веселье.

— Твой отец — сумасшедший, — говорила она Рут, которая помогала ей за кассой.

Рут не отвечала. Она уже была замужем за приличным человеком, которого нашел для нее отец, чтобы она забыла Георга Карновского, у нее было двое детей, но она до сих пор была несчастна и тосковала по тому, кто ее отверг. Она знала, что ее муж — хороший, добрый и честный человек, достойный любви. Она искренне пыталась его любить, но не могла. Рут жила, словно на вокзале в чужом городе: нужно недолго побыть здесь, среди посторонних людей, но скоро она поедет домой. Она сама не знала, чего ждала, но продолжала надеяться на какое-то чудо. Отец подсмеивался над ней, когда она вдруг застывала на месте и смотрела в одну точку.

— Ку-ку, где наша Рут? — кричал он, чтобы привести ее в чувство.

Но Рут не слышала. И мужа она тоже часто не слышала, когда он к ней обращался.

Невозмутимый, плотный, коренастый, ее муж Йонас Зелонек был полной противоположностью своего тестя: серьезный человек и расчетливый торговец. Сын познаньского коммерсанта, он смолоду научился разбираться в торговых делах и шел по жизни расчетливо и неторопливо. До свадьбы он сумел накопить приличную сумму, потому что не тратил денег на всякие глупости. Женился он тоже по расчету: с помощью свата нашел себе подходящую жену с хорошим приданым и стал компаньоном тестя. И торговлю, и семейную жизнь он вел солидно и основательно. Шума и суеты не любил, ему не нравились шутки Соломона и его привычка вставлять еврейские слова. Близких отношений с продавщицами Зелонек избегал, хотя многие из них не прочь были с ним пофлиртовать. Как образцовый муж он посвящал жену во все, что касалось их семейной жизни, в том числе и в коммерческие дела. Сейчас Зелонек был сильно обеспокоен: все, что он вложил в магазин тестя, включая приданое, летело к чертям из-за сумасшедшей инфляции. Он говорил об этом с женой. Рут слушала его, но не понимала. Его заботы и он сам оставались для нее чужими, хотя у них уже было двое детей.

— А? — спрашивала она, будто спросонья.

Йонасу Зелонеку было неприятно, что жена совершенно равнодушна к его заботам, но он мол-

чал. Он знал: лучше не говорить о том, что невозможно изменить. Также он ничего не говорил тестю, когда тот переходил все границы со своими дурацкими шуточками. Зелонек был не слишком религиозен, соблюдать субботу ему было некогда, в синагогу он ходил лишь на некоторые праздники, но при этом искренне молился Богу, чтобы Он помог пережить тяжелые времена.

По расчетам выходило, что только Бог может спасти от беды.

22

Атмосфера в клинике профессора Галеви была напряженной, как всегда перед серьезной операцией. По коридорам быстро и бесшумно сновали врачи и медсестры в белоснежных халатах. Санитары провозили каталки, на которых лежали укрытые одеялами больные. Уборщицы молча надраивали линолеум. Взволнованные роженицы пытались узнать у медсестер, что происходит, но те не говорили. Таков был закон клиники: не рассказывать пациентам ни об операциях, ни о смертельных случаях.

— Ничего, ничего, — улыбались сестры, — все как обычно.

Беспокойство передалось даже старому швейцару, даже девушке, которая сидела на телефоне в справочном бюро.

В кабинете профессора Галеви, расположенном по соседству с операционным залом, тоже было беспокойно, как и во всей клинике. Старшая медсестра Гильда, затянутая в узкий медицинский халат так, что ее пышные формы чуть ли не разрывали ткань, дрожащей пухлой рукой постучалась и робко приоткрыла дверь:

— Господин профессор...

Профессор Галеви сердито посмотрел на Гильду:

— Попрошу не мешать!

Медсестра еле сдержала слезы:

— Простите, господин профессор. Я не хотела мешать, но его превосходительство господин посол хочет с вами поговорить.

— Превосходительство, не превосходительство, сейчас я никого не могу принять, — резко ответил профессор.

Так у него было заведено: с того момента, как семья пациентки дала согласие на операцию, — все, никаких разговоров, теперь она принадлежит не мужу, не родителям, а только ему, профессору Галеви.

— Идиотка! — с гневом сказал он про Гильду своему ассистенту, доктору Карновскому. — Его превосходительство, видите ли... Дура набитая.

— Не стоит на нее сердиться, господин профессор.

— Карновский, а кто вам сказал, что я сержусь? Я всегда спокоен, особенно перед операцией.

Но он не был спокоен, понимал это, и поэтому его беспокойство все росло. Уже почти сутки роженица находилась в клинике и никак не могла разрешиться от бремени. Ничего необычного в этом не было, за пятьдесят с лишним лет практики профессор видал такое не раз. Однако сейчас был особый случай. Роженица — единственная дочь посла иностранной державы, и профессор был в ответе как за собственную репутацию, так и за репутацию своей страны, которая обладала самой передовой медицинской наукой в мире. Но конечно, важнее всего была сама роженица.

Профессор испытывал к ней нежность, будто она была его собственной дочерью. Совсем юная, маленькая, худенькая, с веснушчатым личиком, тонкими руками и курчавой головкой, она больше походила на школьницу, чем на будущую мать. На обследовании она смеялась и прыгала, как ребенок, а потом, расшалившись, вдруг объяснилась профессору в любви и чмокнула его в морщинистую щеку, оставив на лице старика отпечаток помады.

Огромный живот совсем не подходил к ее маленькому, детскому телу, казалось еще не развившемуся до конца. Все месяцы, что она была под наблюдением профессора, его не покидало бес-

покойство за молодую женщину. А теперь, когда пришло время и ее привезли в клинику, оно достигло предела. Уже почти сутки женщина пыталась родить, но не могла.

Вместе с профессором волновалась вся клиника, а больше других — доктор Карновский, которому профессор Галеви доверил важную пациентку. Целые сутки Карновский ни на шаг не отходил от роженицы и делал все, что можно, но ничего не помогало.

— Доктор, я не хочу умирать, — испуганно бормотала женщина каждый раз, как только боль немного отпускала.

— Да что вы выдумываете? — улыбаясь, отвечал Карновский. — Все идет прекрасно, надо только еще чуть-чуть потерпеть.

— Вы ведь не дадите мне умереть, правда? — Молодая женщина сквозь слезы улыбалась ему в ответ и тонкими пальчиками хваталась за сильную, волосатую руку Карновского, как за самую жизнь.

Чем хуже ей становилось, тем сильнее она сжимала его руку.

— Господи! — стонала она от боли, от первой настоящей боли, которую ей довелось испытать.

Через сутки профессор Галеви вызвал к себе доктора Карновского и оглядел его усталыми черными глазами навывкате.

— Будем делать кесарево сечение, — сказал он сердито, будто Карновский был в чем-то виноват. — Все, больше ждать нельзя.

— К сожалению, нельзя, господин профессор, — согласился Карновский.

Профессор Галеви всегда долго думал, прежде чем принять серьезное решение, но, приняв, действовал быстро и решительно. Вот и сейчас он, несмотря на свой возраст, энергично приступил к делу. Сестры уже кипятили инструменты, стерилизовали салфетки и ватные тампоны. Врачи надевали передники, колпаки и марлевые повязки, натягивали резиновые перчатки. Все делалось быстро, без лишних слов. Карновский пошел готовить роженицу к операции.

— Доктор, очень плохо? — спросила она с испугом. — Что со мной будут делать?

— Не волнуйтесь, все в порядке, — ответил Карновский, проверяя ей пульс.

Профессор Галеви отдавал приказы.

— Проследите за подготовкой к операции, Карновский, — предупредил он ассистента. — Работаем быстро и спокойно. Главное, спокойно.

Профессор считал, что спокойствие — это самое важное. Но в этот раз старик вовсе не был спокоен, не столько из-за пациентки, сколько из-за себя самого. Время от времени он чувствовал слабость во всем теле, всемирно известный профессор Галеви. Слабость и легкое головокру-

жение. Поначалу он списывал это на усталость и давал себе отдохнуть. На неделю-другую уезжал в деревню на Балтийское море, ловил рыбу, отвлекался от забот, и силы возвращались. Но стоило приехать в Берлин и приступить к работе, как усталость и головокружение нападали снова. Мало того, начало подводить зрение. Перед глазами мелькали серебристые и черные точки, иногда мелькали так, что он ничего, кроме них, не видел. И руки стали дрожать, а ведь у него никогда такого не было. Весь медицинский мир знал его твердую руку хирурга. За завтраком профессор Галеви видел, как чашка кофе дрожит у него в пальцах. Он понял, что это не усталость, а возраст. Профессор сам себе послушал фонендоскопом сердце. Сердце было в порядке. Давление тоже. Он сделал все анализы, но ничего не обнаружил. Однако головокружения не проходили. К ним прибавились боли в шее, иногда мускулы немели, как парализованные. Профессор Галеви даже подумал, не лечь ли на обследование к старому другу, профессору Барту, но решил себя не выдавать. Не хотелось, чтобы весь медицинский мир узнал, что профессор Галеви уже не тот.

Старые товарищи, два светила частенько подшучивали друг над другом, над возрастом и здоровьем. Каждый стремился показать, что он будет покрепче. Когда они здоровались, профессор

Галеви так стискивал руку худощавого, хрупкого Барта, что тот вскрикивал от боли.

— Галеви, тебе же сто лет, а ты все как мальчишка, — твердил профессор Барт. — Побереги последние силы, старик.

— А ты за меня не беспокойся, старая дева, — отвечал Галеви, намекая на холостяцкую жизнь и субтильное сложение Барта, — сил у меня пока хватает.

— Станет плохо с сердцем, обращайся, — отвечал Барт. — А то сегодня хватает, а завтра, глядишь, и кончатся.

— Если вдруг все-таки женишься и сделаешь обрезание, присылай жену ко мне в клинику, — не оставался в долгу Галеви.

Это, конечно, были шутки, но Галеви знал, что и Барт, и другие врачи и профессора часто обсуждают его возраст и завидуют, что он продолжает оперировать. Потому и не хотелось посвящать Барта в свои неприятности. Больше всего профессор Галеви боялся, что коллега велит ему оставить практику и отправиться на покой. Покой — это самое страшное, что он мог себе представить.

Он терпеть не мог безделья. Пока он лечил, оперировал, принимал роды, распоряжался в клинике, он знал, что живет. А на отдыхе возраст сразу давал о себе знать: здесь покалывает, там ломит. Профессор не сомневался, что никто не владеет хирургическим искусством так, как он, ни у

кого нет такой легкой и верной руки, никто так не знает анатомии человека. Карновский и другие врачи просили его не задерживаться в клинике допоздна: они сами справятся, а если что-то случится, ему тут же позвонят. Но профессор не слушал. Он знал, что дома сразу навалятся апатия и слабость.

Последние сутки совершенно его вымотали. Его мутило, черные и серебристые точки кружились в диком хороводе, застилали глаза. Боль тисками сжимала виски, пальцы на руках сводило судорогой.

От волнения тело покрывалось липким потом, чего прежде никогда не бывало. Профессор сердился без причины, кричал на врачей и медсестер, тут же ругал себя за несдержанность. Никто ему ничего не говорил, но по глазам окружающих было видно, что они догадываются о его страхах и сомнениях. Когда стало ясно, что роженице не поможет ничего, кроме операции, и ее жизнь висит на волоске, профессор совсем пал духом.

Кесарево сечение — нетрудная операция для профессора Галеви, но в этот раз все сложилось уж очень неудачно. Роженица — худенькая, слабая девочка, ее мать — истеричка. Все кто ни попадя интересуются состоянием пациентки, даже из Министерства иностранных дел несколько раз звонили. Где уж тут оставаться спокойным. Хуже всего, что руки дрожат. Усилием воли профессор

пытался побороть дрожь, особенно когда входил Карновский с отчетом. Ненадолго это удавалось, но скоро руки снова начинали дрожать.

Пока шли приготовления к операции, профессор пережил тяжелые минуты. Он убедил себя, что причина его волнения — тарарам, который подняли вокруг важной пациентки. Чтобы успокоиться, он прилег на диван, но от этого стало еще хуже.

Пришло равнодушие. Он почувствовал себя старым и усталым. Что поделаешь, пора уходить. Нечего цепляться за жизнь, если жизнь показывает, что он уже ни на что не годен. Глаза врут, руки трясутся. Какой из него хирург? Он не имеет права рисковать человеческой жизнью, двумя жизнями. Надо отступить.

Вдруг слабость исчезла, он резко поднялся с дивана. Чушь! Он, хирург, должен выкинуть из головы эти глупости! Бывало, и в молодости подступали страх, сомнение, беспокойство, но он не поддавался, гнал их от себя. Вот и сейчас он их прогонит. Подняли шум, устроили панику. Плевать, глупости это все. Для него, профессора Галеви, она такая же пациентка, как и все остальные. Он тысячи женщин прооперировал и на этот раз справится не хуже. Так всегда: пока идут приготовления к операции, врача мучают сомнения, но стоит приступить к работе, все меняется. Это как генерал перед сражением: он должен тысячу раз все обдумать и просчитать. Но с того момен-

та, как прозвучал сигнал к атаке, — все, никаких колебаний и сомнений. Только спокойствие, уверенность и твердость.

Профессор Галеви ополоснул лицо холодной водой и быстро, чтобы никто не успел заметить, принял успокоительную таблетку. Вызвал Гильду, чтобы она помогла надеть халат и вымыть руки. Бросил взгляд на портрет отца, раввина в маленькой ермолке, будто прося поддержки в трудный час, и твердым, решительным шагом вошел в операционную. Глазами спросил Карновского, все ли готово. Доктор Карновский кивнул. Профессор Галеви осмотрел врачей, сестер, инструменты, баллон с кислородом и даже женщину-донора, готовую дать кровь, если понадобится. Подошел к роженице. Она уже была под наркозом. Неподвижно лежало худенькое, изнеженное тело, на лице, казалось, застыла мольба и надежда, что ее спасут, не дадут покинуть этот прекрасный, добрый и уютный мир.

Собрав волю в кулак, профессор Галеви взял скальпель, острый, блестящий скальпель, которым были прооперированы тысячи человеческих тел, и приготовился сделать первый разрез. Но в ту же секунду почувствовал резкую, нестерпимую боль в висках, будто голову сжали клещами. В глазах стало светло и темно сразу.

Врачи и медсестры застыли на месте, только повязки на лицах слегка шевелились от дыхания.

Первым пришел в себя Карновский. Как офицер, который в бою принимает на себя командование, если погибает старший по званию, он принял на себя командование возле операционного стола.

— В кабинет его, вызвать профессора Барта! — приказал он.

Несколько человек подхватили профессора Галеви.

— Следите за давлением! — бросил Карновский врачу, который стоял возле роженицы. — Гильда, оставайтесь здесь.

Гильда кивнула, показывая, что поняла приказ.

— Спокойно, осторожно, — сказал Карновский, точь-в-точь как всегда говорил, приступая к операции, профессор Галеви.

Было так тихо, что можно было услышать, как у Гильды от волнения бурчит в животе.

— Давление падает, — сказал врач.

— Адреналин! — приказал Карновский.

И тут же:

— Кислород!

Когда давление стало восстанавливаться, Карновский приступил к спасению ребенка. Новорожденный не дышал. Карновский передал его стоявшему рядом врачу.

— Откачайте слизь, — сказал он негромко.

И вот раздался первый крик. Радость сверкнула в черных глазах Карновского.

Он вышел из операционной, Гильда стянула с его рук резиновые перчатки, помогла снять с лица марлевую повязку. По лбу Карновского катились крупные капли пота.

— Вытрите, пожалуйста, — попросил он медсестру и пошел в кабинет профессора Галеви.

Профессор лежал на диване, рядом сидел Барт и держал друга за руку.

— Тихо, старик, — предупредил он, когда Галеви попытался подняться, увидев Карновского, — лежи, не вставай.

Доктор Карновский в двух словах рассказал, как прошла операция. Профессор кивнул головой и слабо улыбнулся. Опытным глазом медика Карновский сразу заметил, что у него парализована правая половина лица.

Напрасно весь персонал старался, как всегда, сохранить происшедшее в тайне. Газеты были полны статей о дочери посла и ее ребенке, о родах, об инсульте, который случился с профессором Галеви в тот момент, когда он взял в руку скальпель, и о докторе Карновском, который успешно провел операцию. Репортеры и фотографы осаждали клинику.

Профессора Галеви увезли в больницу профессора Барта. Он уже не вернулся к практике, его место занял доктор Карновский. Он стал знаменит на всю столицу, особенно же его восхваляли жены иностранных дипломатов.

— Он бесподобен! — говорила подругам мать спасенной роженицы.

— А какой интересный мужчина! — вторили ей молодые аристократки, рассматривая фотографии в газетах. — С таким доктором и болеть приятно.

— Только уж очень ярко выраженная восточная внешность, — кисло замечали дамы постарше.

Среди тех, кто прислал доктору Карновскому поздравления, была доктор Эльза Ландау. Она написала несколько слов на листке с печатью рейхстага. «Вот она меня и признала», — думал Карновский, в очередной раз перечитывая строчки, написанные уверенной, не по-женски твердой рукой. Ему было приятно, но в нем снова проснулась тоска по Эльзе.

23

Маленький Йоахим Георг, Егор, как его называют родители — они соединили два имени в одно, — занят важным делом: во дворике отцовского дома в Грюнвальде он поливает траву. Струя из резинового шланга заливает цветы на клумбах, окруженных натянутыми на колышки веревками. На веревках висят белые флажки. С газона, ровно подстриженного, как голова садовника Карла, вода уже льется на тротуар. Взволнованная

Тереза Карновская просит, чтобы малыш прекратил устраивать беспорядок.

— Егор, хватит! — кричит она. — Ты всю улицу залил.

— Егор, не лей на цветы, ты их поломаешь!

— Егор, у тебя ноги мокрые! Ты же недавно болел! Забыл уже? Вспомни, Егорхен!

А Егорхен продолжает делать свое дело. Болеть он не любит, но в пику матери не хочет пойти сменить мокрые ботинки. Тереза с беспокойством смотрит на свое чадо. Егор высокий для пятилетнего ребенка, но очень худенький, кожа да кости. Голова на тонкой шейке кажется слишком большой. Он часто простужается и успел переболеть всеми детскими болезнями: корью, скарлатиной и коклюшем. Родители не понимают, как он умудряется заболеть. Карновские живут в лучшем районе, чистом и просторном. Теперь у доктора Карновского прекрасная, хорошо оплачиваемая практика. Сразу, как только он стал знаменит, он приобрел в Грюнвальде дом с большими окнами, садиком и железным забором. У Терезы есть служанка и садовник, который к тому же водит машину. Здесь маленькому Егору хватает солнца и свежего воздуха. С другими детьми он почти не общается, не хочет. Мать растит его по всем правилам медицинской науки. Она дает ему ровно столько молока и овощей, сколько указано в справочнике, не больше и не меньше, минута в мину-

ту выводит его на прогулку и укладывает спать, одевает так, как написано в книге для родителей. Отец часто делает сыну медицинский осмотр. Вернувшись домой, доктор Карновский тщательно моет руки, прежде чем подойти к ребенку. Он играет с сыном, берет его на руки и подбрасывает высоко-высоко, до самого потолка. Тереза никак не поймет, откуда берутся болезни. Ладно бы они жили в северных рабочих районах, в каком-нибудь Новом Кельне, тогда было бы нечему удивляться. Да и никто в семье этого не понимает, ни Карновские, ни Гольбеки. Разумеется, каждая сторона винит другую. Доктор Карновский не сомневается, что слабое здоровье ребенок унаследовал от матери. Ведь Тереза очень бледная, у нее каждая жилка видна. Ее брат слишком худой для своего роста, у него тоже бледная, прозрачная, нездоровая кожа. По опыту Георг знает, что такие люди склонны к инфекционным заболеваниям и простуде. Другое дело — смуглые, крепкие Карновские. А Гуго Гольбек уверен, что это как раз Карновские виноваты. Хотя евреи — лучшие врачи, сами они хилые и изнеженные, не закаленные суровой жизнью и тяжелой работой.

— А чего ты ждала от этих Карновских, черт бы их взял, — зевая, говорит он матери.

— Но ведь Георг такой крепкий, сильный, — недоумевает госпожа Гольбек.

Гуго лениво объясняет:

— Да не в нем дело. Это вообще раса такая.

Он недавно слышал об этом в пивной Шмидта, где собираются студенты и отставные офицеры. И по армии он это знает. В его части был один солдат-еврей, маленький, толстый, в очках, смешно смотреть.

Единственная, кто никого не винит в болезнях ребенка, это его мать, Тереза Карновская. Она знает, что во всем виновата война. Терезе пришлось голодать, когда ее организм развивался и требовал хорошей пищи. И после войны было несколько тяжелых лет. Тереза не одна такая: многие матери жалуются ей, что послевоенные дети слабенькие и болезненные. Она пичкает сына укрепляющими микстурами, а его рвет от них на персидский ковер в столовой. То же самое происходит, когда мать дает ему лекарство или стакан молока. Егор научился вызывать у себя тошноту, даже если после еды прошло добрых два часа, и пользуется этим.

— Мама, меня сейчас вырвет, — угрожает он, если Тереза не выполняет какой-нибудь из его капризов.

С отцом он на такое не решается, но его невозможно принудить сделать то, чего он не хочет. Он ненавидит лекарства, не любит, когда отец сует ему в рот ложку, чтобы осмотреть простуженное горло.

— Егорхен, скажи «а-а-а», — требует доктор Карновский.

— М-м-м-м! — мычит Егор, как корова, крепко сжав губы.

Особенно он любит доводить бабушку, когда она появляется у них в доме. Она с порога бросается к внуку, покрывает его поцелуями, сажает на колени и рассказывает, каким должен быть хороший мальчик. Хороший мальчик должен побольше кушать, у него должны быть пухленькие щечки. Хорошему мальчику нельзя быть таким тощим и бледным, как макаронина, он должен быть румяным, как яблочко.

— Радость моя, золотце, ласточка, птенчик, сокровище! — называет она его на родном еврейском языке.

Егор смеется над непонятными словами и неправильным бабушкиным немецким.

— Ласточка... — передразнивает он, — птенчик...

Тереза сердится:

— Егорхен, как тебе не стыдно? Быстро извинись перед бабушкой Леей!

Но Егорхен не хочет извиняться и убегает в сад, к Карлу. Карл сидит возле гаража и что-то чинит. Он постоянно что-нибудь чинит: возится с автомобилем, или ремонтирует табуретку, или колдует над электрическими проводами. Рукава у него всегда закатаны, мускулистые рабочие руки покрыты татуировками. По карманам коричневых бархатных брюк распиханы молотки, плоско-

губцы и отвертки. Карл держит во рту гвоздики, берет их один за другим и заколачивает.

— Привет, Карл! — здоровается Егор каждый раз, когда его видит, по десять раз на дню.

— Привет, Егорхен! — отвечает Карл, не вынимая гвоздей изо рта и постукивая молотком.

Он говорит на языке северных рабочих кварталов, с выразительными уличными словечками, которые очень нравятся маленькому Егору, а то, что мама запрещает их употреблять, делает их особенно привлекательными. Еще ему нравится смотреть, как на руках Карла перекачиваются тугие мускулы, движутся под кожей, словно живые существа. Но больше всего он любит задавать Карлу вопросы, а вопросов у него много.

— Карл, а откуда у тебя шрам над глазом?

— Это меня чертов француз зацепил штыком, — отвечает Карл ртом, полным гвоздей.

— Как это?

— Ну, война же была, мы сражались.

— У тебя кровь текла? — спрашивает Егорхен с испугом.

Он боится крови. У него часто идет кровь из носа, особенно в жаркую погоду, и ему страшно даже говорить о ней.

— А то, конечно, текла, — спокойно отвечает Карл. — Да это ерунда. Я-то его штыком в бок, да и уложил на месте.

Ребенок испуган не на шутку, а Карл машет татуированной рукой.

— Ты крови не бойся, — учит он, — а то в солдаты не возьмут. Хочешь стать солдатом, когда вырастешь?

— Конечно, хочу! — говорит малыш. — У меня сабля будет, как у дяди Гуго на фотографии.

На втором месте после Карла у Егора бабушка Гольбек. Иногда она приходит и берет его на несколько часов. Она не говорит смешных слов, как бабушка Лея Карновская, не целует его так горячо и не называет всякими глупыми именами. Она приводит его в кирху. Там она опускается на колени и велит ему встать рядом. В кирхе красиво, окна с разноцветными стеклами и всякие статуи, а когда говорят, звук эхом отражается от стен.

После бабушки Гольбек — дядя Гуго. Он очень высокий, выше папы. Дядя Гуго дает Егору посмотреть в бинокль, через него видно далеко-далеко. И разрешает поиграть с револьвером, только сперва вынимает патроны. А еще он рассказывает про войну.

Всегда спокойный, дядя Гуго оживает, когда говорит о войне. Светло-голубые глаза горят, щеки розовеют. Увлечшись, он забывает, что перед ним ребенок, и разговаривает, как со взрослым. А маленький Егорхен увлечен еще больше. Он обожает рассказы о сражениях и подвигах, любит рассматривать армейские фотографии, на которых дядя

в офицерской форме: в высоких ботинках, узких бриджах, с эполетами и в каске. Егорхен хвастается дяде, что у папы тоже есть фотографии с войны, папа тоже был офицером. Дядя Гуго с пренебрежением отмахивается: ерунда! Он был всего лишь военным врачом. Вот он, дядя Гуго, настоящий офицер, обер-лейтенант. Егорхен разочарован в отце, но зато дядей он может гордиться.

— А почему ты сейчас не ходишь в каске и с саблей? — спрашивает он с сожалением.

И попадает в больное место.

— Потому что эти, чтоб их... — начинает Гуго, но тут же вспоминает, что разговаривает с ребенком, к тому же с сыном Терезы. — Ты еще маленький, тебе не понять, — заканчивает он. — Вот вырастешь, тогда узнаешь.

Егорхен хочет вырасти поскорее, чтобы узнать все, что взрослые от него скрывают. Сейчас он больше всего хочет узнать, наденет ли дядя Гуго шлем и саблю снова.

— Может быть, малыш, — говорит Гуго. — Похоже, к тому идет.

Егорхен счастлив, что дядя Гуго опять станет офицером.

— Я тоже буду лейтенантом, — сияет ребенок. — Как ты!

— Не врачом, как твой отец?

Егор презрительно кривит губы. Еще не хватало! Уж лучше быть шофером, или посыльным,

или даже трубочистом, который ходит со щеткой из дома в дом. Это ж так противно, совать ложку кому-нибудь в рот или вливать горькую микстуру, как делает с ним его папа.

Дядя Гуго улыбается:

— Смотри, не проболтайся родителям, о чем мы говорили.

— Ни за что! — обещает Егорхен, довольный, что у них с дядей есть секрет.

А бабушка Гольбек велит ему не рассказывать дома, что они были в кирхе.

— Бабушка, почему? Мама не хочет, чтобы я туда ходил?

— Папа будет сердиться.

— А почему он будет сердиться?

— Ну, он этого не любит.

— Бабушка, а почему не любит?

Бабушка хочет что-то сказать, но, спохватившись, уходит от ответа:

— Ты еще мал, не поймешь. Узнаешь, когда вырастешь. Так что смотри, ни слова!

Он не рассказывает, хотя ему трудно держать язык за зубами. Хочется рассказать именно потому, что нельзя. Но он думает о том, что видит вокруг, много думает, особенно по вечерам, когда мама укладывает его в кровать и гасит лампу. Непонятные эти взрослые. Он знает, что у него есть еще дедушка, у папы в кабинете висит его портрет. Но они ни разу не виделись.

— А почему дедушка Карновский никогда к нам не приходит? — спрашивает он отца.

— Ты увидишь его, когда вырастешь, — отвечает отец.

А бабушка Карновская приходит. Она приносит ему сладкие коржики с изюмом и миндалем. Почему-то она говорит не так, как все, и его учит произносить непонятные слова, прежде чем попробовать коржик. Он не знает, что значат эти слова и зачем их говорить. А когда спрашивает у бабушки, она отвечает, что он еще мал, потом узнает. И предупреждает, чтобы он ничего не рассказывал ни маме, ни папе.

Скорее бы вырасти и все узнать, думает Егорхен. Лежа в кровати, он вытягивает ноги, мама говорит, так он вырастет быстрее. Но сколько бы он ни тянулся, он остается маленьким и по-прежнему ничего не понимает. Отец редко бывает дома. С утра он едет в клинику, потом посещает больных. Бывает даже, уходит из дома среди ночи. Тогда мама говорит, что его вызвали к больной женщине. Когда он дома, он играет с сыном, берет его на руки, подбрасывает к потолку или сажает на спину и катает по комнате, но это бывает редко. А хуже всего то, что отец любит его осматривать и совать ложку в горло. Прямо во время игры вдруг посадит к себе на колени, заглянет в глаза, в уши, пощупает шею, а потом велит открыть рот и сказать «а-а-а».

Егорхен этого терпеть не может. Что там рассматривать? Отец еще несколько раз подбрасывает его, но вдруг опускает на пол.

— Тебе надо бы побольше гулять с мамой, играть с детьми, а не сидеть с Карлом у гаража. Понял, червяк зеленый?

Егорхен ужасно не любит, когда отец называет его зеленым червяком. И с детьми играть он тоже не любит. Они бегают, гоняются друг за другом, а он никого не может догнать, сразу устает. А они смеются и дразнят его аистом. Еще называют его цыганом из-за черных волос. Он не знает, как вести себя с другими детьми, даже побаивается их, не может взять за руку мальчика или девочку в саду, когда мама велит встать в круг и потанцевать.

— Егорхен, что это такое? — говорит мама. — Ребенок должен играть с детьми.

— Нет, — отвечает Егорхен.

Он не прочь поиграть, но что-то его не пускает. Дети избегают его, он смотрит на них с завистью и начинает их ненавидеть. Ему гораздо лучше со взрослыми, особенно с домашней прислугой. Он любит поболтать с кухаркой Лизетхен, а еще больше ему нравится садовник и шофер Карл, который всегда что-нибудь чинит. Карл интересно рассказывает о кораблях, в молодости он служил на флоте кочегаром. Егорхен не может дожидаться, когда кончится обед или ужин, его тянет

к Карлу. Но мама не пускает. Она говорит, что маленькому мальчику пора спать, загоняет его в постель и гасит лампу. Егорхен лежит с открытыми глазами, ему страшно.

Он видит в темноте рогатых чертей, о которых ему рассказывает служанка Лизетхен, ведьм с острыми подбородками и длинными волосами, летающих на метлах, и колдунов в красных колпаках: по ночам они забираются в дома через печную трубу. Он зажмуривает глаза, чтобы их не видеть. Но чем крепче он сжимает веки, тем больше вокруг ведьм и чертей. Они вылезают из печки, летают по комнате и водят хороводы. На железной топочной дверце фигурки трубочистов, один с лестницей, другой со щеткой и веревкой в руках. Егорхен видит, как трубочисты оживают, слезают с дверцы и прыгают вокруг него. Они дико хохочут, показывают длинные, красные языки. Он накрывается с головой, но трубочисты стаскивают одеяло и черными руками хватают Егора за плечи. Он зовет на помощь:

— Мама! Мама!

Мама прибегает и видит, что ребенок весь мокрый от пота. Дрожащими ручками он крепко обнимает ее за шею.

— Мама, они хотели посадить меня в мешок!

Тереза вытирает ему лоб. Она смеется над сыном: умный мальчик должен спать, а не лежать в темноте с открытыми глазами. Умный мальчик

не боится ведьм и чертей, он знает, что их не бывает. Она зажигает свет: пусть сам посмотрит. И печной дверцы тоже нечего бояться. Тереза открывает печку, внутри все черное, но так и должно быть, это копоть от дыма. Только глупые мальчики верят, что через дымоход в дом пробирается всякая нечисть. А умный мальчик сейчас ляжет в кроватку, и уснет, и ничего не будет бояться. Ведь он сам видит, что в комнате никого нет. Правда, Егорхен?

— Мама, — говорит Егорхен, — при свете их не видно, а в темноте видно.

Тереза снова смеется. Какая ерунда! Наоборот, при свете все видно, а в темноте — нет. Потому свет и зажигают вечером, когда становится темно. Она объясняет, что для страха нет причины.

— Спать, спать, глупенький мой, — приказывает она. — Спокойной ночи!

— Спокойной ночи, мама, — отвечает Егорхен.

Тереза укрывает его одеялом, целует в глаза и тихо выходит, погасив лампу.

Когда лампа гаснет, видения возвращаются. Оживают и начинают двигаться узоры на лепном потолке. От потушенной лампы тянутся разноцветные лучи, круги, большие и маленькие, в бешеном танце вращаются перед глазами, гоняются друг за другом, будто играют в пятнашки. Егору стыдно снова звать маму. Он с головой прячется

под одеяло и наконец засыпает. Но и во сне видения не оставляют его, выползают из углов, пролезают в щель под дверь. Мертвые солдаты из рассказов Карла собрались в комнате. Заколотые, окровавленные, безголовые, безногие, они парят над кроватью. И Егор тоже солдат. Он уже взрослый. На нем форма, как у дяди Гуго: высокие ботинки, каска и сабля на боку. Он лейтенант. На него бегут чертовы французы, один уродливее другого. Он отдает приказ идти в атаку, размахивает саблей, и враги падают на землю. Но вдруг на него бросается один, черный, из Африки, дядя Гуго рассказывал про такого. Он держит нож в огромных белых зубах. Егор заносит саблю, но он голыми руками хватает клинок и ломает пополам, а потом, сжав нож в руке, тянется к горлу Егора.

— Йо-хо! — завывает черный, словно ветер в печной трубе.

Егорхен вскакивает с кровати и бежит в спальню родителей.

— Мама, папа! — кричит он. — Я боюсь!

Родители привыкли к такому. Они зажигают свет. Тереза вытирает сыну вспотевший лоб, доктор Карновский берет его к себе в кровать и выговаривает жене за то, что она позволяет Егору слушать сказки про чертей и бесов. Он занят сутки напролет и не может уделять сыну достаточно внимания. Но она, мать, должна следить, что-

бы прислуга не забивала ребенку голову всякими глупостями. Если Карновский еще раз услышит, что Лизетхен помянула ведьму или черта, он велит ей убираться. Он зажигает свет во всем доме, берет сына за руку и водит по комнатам. А ну, где тут черти? Пусть попадетса хоть один, они ему быстро хвост отрежут. Егорхен успокоился, он смеется, но все же не хочет возвращаться к себе в спальню. Можно он будет спать у родителей, хотя бы вот здесь, на полу? Нет, он больше никогда не будет бояться, но сегодня он хочет переночевать в их комнате. Вдруг во сне опять явится чернокожий французский солдат с ножом в зубах. Доктор Карновский разрешает сыну лечь к маме, и ребенок тут же засыпает.

— Бедный мой, маленький, — шепчет Тереза, рассматривая его тонкие ручки, сложенные на одеяле.

— Идиотские байки дяди Гуго, — ворчит Карновский. — Сабли, ножи, чушь собачья... Тысячу раз говорил, чтоб не оставляли ребенка с этим придурком!

— Господи Иисусе! — вздыхает Тереза и гасит свет.

Отец и мать лежат молча, но не могут уснуть. Оба беспокоятся за ребенка. Что-то с ним не так. Казалось бы, они молоды, здоровы, и ребенок должен быть здоров. Откуда у него эти страхи и фантазии? Людям свойственно переклады-

вать вину на других. Тереза считает, что виноват муж, мало внимания уделяет сыну. Отец должен больше заниматься ребенком, матери Егор не слушается, а его слушался бы. И как врач он мог бы делать больше, посоветовался бы с коллегами-педиатрами. Она бы и сама посоветовалась, но боится, муж рассердится, что она ему не доверяет. Еще и бабушка Карновская раздражает ребенка своими неумными ласками, учит его еврейским молитвам, пичкает сладостями, к тому же перед обедом. Тереза пытается воспитывать сына, как написано в книгах для родителей, приучать его к порядку, к дисциплине, но где там с такой бабушкой. Сколько она просила свекровь не давать ему сладостей! Хотела даже пожаловаться мужу, но побоялась, что он неправильно поймет.

Георг лежит и размышляет, почему сын совсем не такой, как он. За ним никто так не присматривал, не трясся над ним, но он был веселый, здоровый, ничего не боялся. Это из-за того, что ребенку забили голову всякой глупостью, думает он. Лизетхен своими чертями, Гуго дурацкими историями про войну, бабушка Гольбек кирхой, святыми и чудесами. От него скрывают, но он знает, что бабушка таскает Егора в кирху и рассказывает ему про чудеса, а потом у ребенка разыгрывается фантазия. Он уже не раз собирался поговорить об этом с женой, но боится, что она обидится. Матери-то он сказал, чтобы не морочила Егору

голову молитвами и благословениями, ни к чему это. Она, конечно, обиделась, но матери можно сказать. С тещей труднее, она и так считает его чужим. Как она это истолкует?

К черту, не может человек быть свободным, как бы ему ни хотелось, думает Карновский. Никуда не денешься от воспитания, суеверий, обычаев. Наследие многих поколений тянется за человеком, как ржавая цепь. Отец не хозяин собственному ребенку, он не может уберечь его от родственников. Бесплезно гнать глупость из дому, выгонишь в дверь, она вернется через окно или печную трубу.

Поразмышляв о воспитании, он начинает думать о наследственности. Ясно, что Егорхен больше взял с материнской стороны, чем с отцовской. У него черные волосы, как у всех Карновских, но кожа очень тонкая, прозрачная. Материнская кожа. И сложение как у Гольбеков. Дядя Гуго тоже худой, высокий и бледный. Доктору Карновскому это не нравится, он по опыту знает, что такие люди тяжело переносят операции, медленно восстанавливаются, они склонны и к физическим, и к душевным болезням, фантазиям и суевериям.

Он смотрит на спящего мальчика. Подрагивают опущенные ресницы, тонкие ручки сложены на одеяле, лоб бледнеет под черной челкой. Георг чувствует жалость к сыну. «О чем он ду-

мает, — спрашивает он себя, — что творится в детской головке, какие страхи там гнездятся? Что пугает его во сне?» Доктор Карновский хорошо изучил человеческий мозг, знает каждую извилину, на войне не раз приходилось делать трепанацию черепа. Но что такое этот комок материи? Почему у одного он способен додуматься до глубочайших мыслей, а у другого туп, как у скотины? Почему кого-то он приводит к покою и радости, а кого-то к вечному страху? Карновский не знает. Рядом лежит его сын, его кровь и плоть, а он не может его понять. Видит только, что маленький ребенок уже полон мрачных мыслей и беспокойства. Кто знает, чья кровь будит его по ночам, у кого он такое унаследовал. Может, у кого-то из далеких предков со стороны Гольбеков, у несчастного раба, привыкшего к ударам кнута, или у ландскнехта, за кусок хлеба служившего в чужом войске, или у лесного разбойника, который в глубоких пещерах скрывался от диких зверей и врагов. А может, у кого-нибудь из его рода, у арендатора, которого польский магнат травил борзыми, или у раввина, который ночами рыдал от страха перед адом. Доктор Карновский знает: наследственность — великая сила. Давно ушедшие поколения возрождаются в потомках. Может повлиять даже боковая ветвь, какой-нибудь брат прапрабабки или сестра прапрадеда. Много плохого и хорошего скрыто в семени. Ум и глупость, же-

стокость и доброта, сила и слабость, здоровье и болезнь, гениальность и безумие, красота и уродство, голос, цвет волос и множество других качеств передаются от предков потомкам в мельчайшей частице капли, умножающей человечество. Таков закон природы, как говорят его коллеги. Но что такое природа, кровь, наследственность? Карновский думает об этом в ночной час, когда сон прерван криком испуганного ребенка. Он берет с полки книгу и начинает читать. Он хочет узнать, что думал об этом монах Мендель. Этот монах так подробно сумел классифицировать все, что касается наследственности, выразить линиями и цифрами, но яснее Георгу не становится. Ничего не проясняют и философские сочинения, которые Карновский держит в спальне и перелистывает, когда ему не спится. У него со студенческих лет сохранилась привычка интересоваться новыми философскими произведениями. Авторы восхищают его глубиной мысли и пронизательностью, но они не могут рассказать, что творится в голове маленького мальчика, который просыпается по ночам от страха и бежит к родителям.

Георг откладывает книги и смотрит на ребенка. Малыш посапывает, свернувшись калачиком. Под боком у мамы он нашел защиту от ночных кошмаров. И отцовское сердце сжимается от боли и беспокойства за судьбу сына.

В салоне издателя Рудольфа Мозера, в Западном Берлине, собираются все сливки общества: поэты, знаменитые актеры и актрисы, иностранные корреспонденты, депутаты рейхстага, музыканты, художники. Для украшения салона непременно приглашают какую-нибудь экзотическую персону: смуглого восточного принца, приехавшего познакомиться с Европой, индийскую танцовщицу, длинноволосого, бородатого теософа или даже всемирно известного черного мага. Один из постоянных гостей на субботних собраниях — доктор Карновский. Госпожа Мозер обязательно его приглашает, ведь он стал знаменитостью, после того как спас дочь посла. Представляя Карновского новым знакомым, фрау Мозер повторяет одну и ту же шутку:

— Познакомьтесь: известный хирург доктор Карновский, лучший дамский мастер в Берлине...

Пожилые, толстые мужья с подозрением относятся к гинекологам, особенно если врач молод и хорош собой. Влажными пальцами они неловко пожимают крепкую, горячую ладонь Карновского.

— Очень приятно, герр доктор, — пытаются они кислой улыбкой замаскировать неприязнь.

А их молодые, красивые жены приятно удивлены внешностью медицинского светила.

— А, так это вы, господин доктор? — пускают они в ход все свое обаяние. — Мы думали, вы гораздо старше, солиднее.

— С длинной бородой и толстым животом? — спрашивает Карновский.

— Именно так.

— Это приходит вместе с профессорским званием и ревматизмом, — говорит доктор Карновский, показывая в улыбке неровные, но очень белые зубы. — А вот моя жена.

— Ах, как же я плохо воспитана! — восклицает госпожа Мозер и целует Терезу, как ребенка, которого раньше не заметила. — Простите меня, мой ангел!

— Что вы, что вы, ничего страшного, дорогая фрау Мозер, — говорит Тереза, краснея.

Она привыкла, что в обществе ее сначала не замечают, только потом спохватываются, что она здесь. А Тереза каждый раз делает вид, что ничуть не обиделась, ничего страшного не случилось, но при этом чувствует себя оскорбленной и униженной. Видно, как она краснеет, как бы густо она ни пудрилась.

Больше всего она смущается, когда начинают танцевать. В салоне госпожи Мозер современные, вольные нравы. Каждый может одеваться, как ему нравится, и вести себя, как хочет. Депутаты приходят в черных фраках и накрахмаленных белых манишках, а художники — в бархатных куртках

и с трубочками в зубах. Американские журналисты предпочитают светлые костюмы и цветные рубашки. Среди дам в строгих вечерних платьях и дорогих украшениях расхаживает широким мужским шагом художница в серой блузе с галстуком и плоских огромных туфлях. Кто-то расположился в кресле, кто-то примостился на низеньком пуфике, кто-то сидит по-турецки на цветастом ковре, а кто-то и вовсе на лестнице, ведущей из зала на второй этаж. Бесшумно передвигаются элегантные официанты, гости, не дожидаясь, когда им предложат, сами берут с подносов напитки и закуски. Непрерывно звучит рояль, пары танцуют танго, фокстрот или чарльстон, то, что сейчас в моде. Фрау Мозер следит, чтобы гости чувствовали себя свободно. Она не ждет, когда ее пригласят на танец, а сама приглашает, кого хочет. И обязательно приглашает доктора Карновского.

— Если мой белокурый ангел не будет ревновать к мерзкой старухе, я потанцую с доктором, — говорит она и, прежде чем Тереза успевет ответить, кладет руку на плечо Карновскому и прижимается к нему всем телом.

Терезе Карновской нет нужды беспокоиться из-за партнера для танцев. Среди коротко подстриженных женщин она единственная с длинными косами, которые кольцами уложены на голове. Светлые волосы, мраморно-белая кожа и женственные линии тела делают ее похожей на древ-

них германских красавиц со старинных гравюр. Художники от нее в восторге. Мужчины охотно ее приглашают, но она стесняется танцевать, особенно новые танцы. Она краснеет, когда соприкасается коленями с партнером или когда он прижимает ее к себе. Еще больше краснеет, когда ей говорят флиртующие комплименты, как принято в этом салоне. Тереза знает: ее приглашают, чтобы прикоснуться к ее телу. Она ничего не говорит, не сопротивляется, но не может преодолеть отвращение и стыд. При первой возможности она спешит сесть.

— Извините, я устала, — говорит она, когда ее приглашают снова, и обмахивает веером разгоряченное лицо.

Танцуя с госпожой Мозер, доктор Карновский замечает, что Тереза сидит с веером в руке. Он сам ее приглашает. Тереза счастлива танцевать со своим Георгом. Она нежно кладет руку ему на плечо, склоняется ему на грудь. Изгиб тонкой шеи полон преданности и покорности, как у рабыни перед господином. Георг прижимает ее к себе и чувствует покорность во всем ее теле. Ни у кого из пациенток Георг не видел столь женственного, изящного сложения, как у жены, но она сдержанна и холодна. В ней совершенно нет огня, нет обаяния, тайны, изюминки, нет того, что больше всего нравится мужчинам. Она так же холодна, даже когда он злится на нее без причины, а потом они

мирятся. По опыту Георг знает, что такие ссоры только укрепляют отношения между мужчиной и женщиной, после них нежность и влечение друг к другу становятся еще сильнее, еще сильнее начинает пылать обновленная любовь. Но Тереза сдержанна, когда он обижает ее, и сдержанна, когда он опять становится к ней добр. Ничего, кроме покорности и благодарности, хоть в радости, хоть в печали. Георгу скучно с ней по вечерам, когда он приходит домой из клиники, скучно по ночам, когда они лежат в постели. Она молчит, когда они танцуют.

— Что ты молчишь? — спрашивает доктор Карновский. — Тебе нехорошо?

— Нет, Георг, просто я так рада, что ты танцуешь со мной, — отвечает она тихо и смущенно, как девушка, которую пригласили на танец впервые в жизни.

Георг любит ее скорее как ребенка, чем как женщину.

Он чувствует приятное возбуждение, волнение в крови, когда хозяйка, госпожа Мозер, приглашает его снова. Она вовсе не красива, не сравнить с Терезой. У нее коротко, по-мужски подстриженные волосы, круглые кошачьи глаза, жирные, блестящие губы. И фигура совсем не та, что у Терезы, ноги слишком мускулистые от гимнастических упражнений и верховой езды. Но в ней горит дикий, неуправляемый огонь. Как

опытная соблазнительница, она знает, чем завлечь мужчину в танце. Она склоняется к Георгу, обвивается вокруг него, как змея, и тут же отстраняется, чтобы через мгновение снова прижаться всем телом. Серыми кошачьими глазами она пристально смотрит в черные глаза Георга. Лишь чуть шевеля губами, совсем незаметно для окружающих, она нашептывает ему нежные, пылкие слова. Госпожа Мозер привлекательна не только в танце, но и в беседе. Она может поддержать любой разговор в салоне, поговорить о современной литературе и живописи, она знает обо всех семейных скандалах, разводах и изменах в высшем обществе, но лучше всего она разбирается в политике.

Танцы заканчиваются, мужчины разбиваются на группки, закуривают. Госпожа Мозер успевает всюду. С теми, кто увлечен искусством, она современна и прогрессивна, может вставить пару слов о новом романе или последней выставке. В компании сплетников и веселых молодых дам, обожающих разговоры о любви, свадьбах, разводах и изменах, она по-кошачьи хитра. Она серьезна и образованна, когда прислушивается к беседе профессоров и теологов о науке и философии. И с политиками, корреспондентами, депутатами и партийными лидерами она тоже как рыба в воде. Госпожа Мозер поражает мужчин глубокими знаниями и острым умом.

— А вот послушайте, что об этом думает фрау Мозер, — говорят они друг другу.

Она родилась в Вене, в семье крупного чиновника и венгерской баронессы, училась в Париже, объездила весь мир с первым мужем, английским путешественником, и прекрасно владеет полудюжиной языков. Госпожа Мозер не только разбирается в политике, она делает политику. Недаром ее муж — издатель одной из важнейших столичных газет. Недаром к ней в дом приходят депутаты, представители различных держав и зарубежные журналисты. Словно птица, которая устремляется туда, где видит горстку зерна, госпожа Мозер порхает от одной группки к другой, там и тут оставляет слово, идею, шутку, мнение. Ничто не утаится от ее зорких серых глаз. Мужчины восхищаются ею, женщины завидуют. Больше всех ей завидует Тереза Карновская. Ей очень неуютно в современном салоне. Она ничего не может сказать ни о книгах и живописи, ни о семейных драмах, ни о политике. Каждый раз она отказывается идти к Мозерам, говорит мужу, чтобы он шел без нее. Лишь изредка ему удается уговорить ее пойти вместе, и потом она всегда жалеет, что согласилась.

Она прекрасно видит, что госпожа Мозер флиртует с ее мужем, прижимается к нему и что-то шепчет ему на ухо, хоть все это и замаскировано фигурами модного танца. Тереза изнывает от

ревности и унижения. Она даже пытается найти для Георга оправдания. Конечно, она для него неподходящая пара в этом утонченном салоне, она только мешает ему, позорит его перед обществом. Тереза уходит посреди вечера, чтобы не путаться у людей под ногами. Госпожа Мозер ужасно огорчена, что ее милое дитя, белокурый ангел, прекрасный цветок собирается ее покинуть.

— Простите, у меня голова болит, — лжет Тереза, краснея.

Доктор Карновский упрасивает жену остаться. Если она уйдет, она испортит ему вечер. Ну что ж, если она уходит, он, конечно, пойдет с ней. При этом в душе он хочет остаться здесь без нее и боится, что она даст себя уговорить. Нет-нет, зачем же, возражает Тереза, пусть он останется. И всей душой надеется, что он не послушает ее и тоже пойдет домой. Каждый из них отлично понимает, что они оба врут друг другу. Наконец Тереза прекращает эту жестокую игру и поспешно покидает салон. Доктор Карновский чувствует себя виноватым, зато свободным.

Госпожа Мозер берет его под руку и ведет к камину, где обычно сидят политики и ученые. Во-первых, лучше увести его подальше от молодых, симпатичных девушек. Во-вторых, она знает, что доктор Карновский любит общество интеллектуалов. Эта любовь сохранилась в нем с тех лет, когда он изучал философию в университете.

Под уютное потрескиванье березовых поленьев говорят обо всем на свете: о политике и философии, о религии и психологии. Столица побежденного государства полна революционеров, богосискателей, психоаналитиков, приверженцев новых религиозных течений. Одни призывают разрушить цивилизацию и вернуться к первобытной жизни, другие предсказывают нашествие азиатской культуры. У камина идет война между двумя Зигфридами: доктором Зигфридом Клейном и доктором Зигфридом Цербе.

Старые товарищи по университету, доктора философии, в молодости они вместе писали стихи, пьесы и романы, но без успеха. Потом доктор Зигфрид Клейн устроился репортером в юмористический еженедельник, скопил денег и начал издавать собственный журнал. Вскоре журнал разросся на всю страну, а вместе с ним вырос и доктор Клейн. Неудачи на поэтическом поприще сделали его злым, едким и острым на язык. В своем журнале он не щадил никого, едко высмеивал всех подряд. Публика обожала его издание, ставшее в Берлине серьезной силой. Политики, писатели и общественные деятели боялись бойкого пера доктора Клейна, как отравленной стрелы. Кого не добивал доктор Клейн, тех добивал его друг, карикатурист Эмиль фон Шпанзатель. Аристократ по происхождению, сын генерала, художник фон Шпанзатель как никто умел изо-

бражать военных и представителей высшего общества. Когда карикатурист выставлял их во всей красе, они чувствовали себя оплеванными, им было стыдно перед женами и детьми. Фон Шпанзатель сразу замечал в человеке слабое место, видел изъян, который хотят скрыть больше всего. Ни перед чем не дрожали так, как перед пером Клейна и карандашом фон Шпанзателя.

Жертвы сатиры были злы не столько на еврея Клейна, сколько на Эмиля фон Шпанзателя, потомственного аристократа, изменившего своему классу. Частый гость на страницах журнала — доктор Цербе. Когда-то они вместе с Клейном учили философию, вместе писали стихи и драмы. Такой же неудачник в поэзии, как и его друг доктор Клейн, Цербе, однако, не сложил оружия. Наоборот, чем больше было провалов, тем больше он верил в свою гениальность. Он обвинял редакторов, театральных режиссеров, критиков и рецензентов, что они против него в заговоре. Ведь все они — евреи и не могут понять истинно германского духа и мистической глубины его творений. В своей маленькой, изредка выходящей газетке он ведет непримиримую войну с литературными авторитетами, многие из которых или евреи, или имеют еврейских предков, или прислуживают евреям. Он в пух и прах разносит интеллектуалов, либералов и вольнодумцев. Он призывает к беспощадной борьбе. Свои статьи он

дополняет собственными стихами. Непонятные, мистические, они написаны длинными тяжело-весными фразами, со множеством древних слов, вышедших из употребления сотни лет назад.

Но то, что он громит евреев, интеллектуалов и либералов, не мешает ему посещать салон крещеного еврея Рудольфа Мозера. Цербе не может порвать со старым другом и заклятым врагом Клейном. Сын священника, интеллектуал с головы до ног, злой, желчный и физически слабый, Цербе терпеть не может военных, которые говорят только о сражениях, охоте на зайцев, дуэлях и женщинах. Маленького роста, в очках, с постным лицом пасторского сына, редкими светлыми волосами и нескладной фигурой, никогда не носивший военной формы, доктор Цербе ненавидит тупых аристократов, которые презирают его так же, как он их. Еще меньше удовольствия он получает от встреч с представителями нового национального движения, зелеными юнцами в тяжелых сапогах. В своем издании он представляет этих сопляков истинными сынами отечества, которым принадлежит будущее. Они липнут к нему, борцу с еврейским засильем, покупают его газету, ходят на его лекции. А его тошнит от их глупости и трескучих фраз. Другое дело — салон Рудольфа Мозера. Здесь можно всласть наговориться обо всем на свете: о философии, политике, религии. Доктор Цербе никогда не упускает случая загля-

нуть к Мозерам. Они тоже всегда ему рады, хоть Мозер сам из тех, с кем сражается доктор Цербе. Особенно он привязан к доктору Клейну, своему насмешливому и жестокому врагу.

— Добрый вечер, доктор Циникус, — приветствует Цербе Клейна.

— Добрый вечер, доктор Графоманус, — отвечает Клейн со смешком.

Он знает: доктор Цербе ненавидит, когда его называют графоманом, ничто так не выводит его из себя. Он прощает любые нападки, но не переносит, когда высмеивают его стихи. Зная об этом, доктор Клейн обожает критиковать их в журнале.

Доктор Цербе синеет от злости. Он садится на своего конька: что доктор Клейн и ему подобные могут понять в немецкой поэзии? Откуда коломыйским коммивояжерам знать, что такое истинно германский дух? Они только и умеют зубоскалить, научились, разъезжая с товаром по деревням. Чтобы всучить свое барахло, коммивояжер должен развеселить покупателя дешевой шуткой. Из поколения в поколение они продают лежалый товар добрым, наивным христианам. Все они такие, от Моисея до Гейне и всяких там Клейнов. Доктор Клейн наслаждается гаванской сигарой и от души хохочет над речью доктора Цербе.

— Я на тебя не обижаюсь, друг мой, — отвечает он. — Это говорит твое страдающее сердце, раненое сердце обиженного графомана, авто-

ра непризнанных бульварных пьес и бездарных стишков... Конечно, больно, когда хочешь, но не можешь.

Доктор Цербе скрежещет зубами, а тут еще карикатурист фон Шпанзатель быстро делает рисунок и показывает всем вокруг. На рисунке — плюгавое и злобное существо, настолько мерзкое, что женщины отводят глаза. Доктор Цербе готов провалиться сквозь землю. Особенно ему стыдно перед дамами. Он действительно не слишком видный мужчина, ему не везет с прекрасным полом. С досады он ставит под подозрение аристократическое происхождение фон Шпанзателя. Только представитель избранного народа может быть таким желчным и неблагородным по отношению к противнику. Всем известно, что еврейские банкиры охотно отдавали чернявых дочерей за обнищавших аристократов. Фон Шпанзатель несколькими штрихами подправляет портрет доктора Цербе и хохочет во все горло.

— Как вам это нравится, дамы и господа? — показывает он рисунок.

— Это уж слишком зло, дорогой фон Шпанзатель, — говорит хозяин, Рудольф Мозер. — Это чересчур...

Газетный магнат Рудольф Мозер — доброжелательный, мягкий и благородный человек. Его принципы — уступчивость, компромисс и золотая середина. В газете он дает высказаться всем

сторонам, учтив с противниками и никогда не переходит на личности.

Рудольф Мозер настолько либерален, что даже не обижается на доктора Цербе за нападки на выкрестов. И если доктор Цербе просит в долг, никогда не отказывает.

Художник не согласен с Мозером, что рисунок слишком злой. Фон Шпанзатель очень высокий, худой и жилистый, его движения быстры и резки, и так же резки его карикатуры. Нарочно выпрямившись во весь рост перед низеньким, сутулым Цербе, он внимательно рассматривает рисунок.

— Нет, господа, — заявляет он серьезно. — Я бы не назвал это карикатурой. Здесь изображена сущность доктора Цербе. И не только доктора Цербе, но всех таких, как он, а их в Пруссии миллионы.

Господа прислушиваются. Фон Шпанзатель выпивает бокал французского вина, закусывает глубокой затяжкой из трубки и начинает говорить. Говорит он резко, не выбирая выражений. Уроженец Рейнланда, почитатель французской живописи, которую он изучал, богемная личность, свободный и жизнерадостный человек, он обожает все французское и ненавидит все немецкое, а прусское особенно. Он терпеть не может немецкое искусство, тяжелые памятники, симметричные улицы, дисциплину, порядок и раболепие, а также собственную военно-

аристократическую семью. Как только ему удастся скопить немного денег, он едет в Париж и рас-транжиривает их в кофейнях населенного художниками квартала. Свое презрение он выражает в карикатурах на земляков. Он показывает портрет доктора Цербе. Вот он, истинно немецкий характер. Нарисовав этого человечка, в котором мало способностей, но много ненависти ко всем, кто хоть чуть-чуть талантливее, он изобразил миллионы таких Цербе. Их всегда было полно, но особенно много стало теперь, после поражения. Доктор Цербе — символ страны, которая завидует другим, но, вместо того чтобы изменить свое дурацкое лицо, разбивает зеркало.

Это слишком даже для Рудольфа Мозера.

— Вы преувеличиваете, дорогой фон Шпанзатель, — мягко замечает он. — Вы карикатурист и говорите, как рисуете. Разве можно говорить такое о нашем народе, создавшем высочайшую культуру в Европе?

Фон Шпанзатель залпом выпивает еще бокал вина и перебивает хозяина.

— Кто сказал, что мы культурный народ? — бушует он. — Мы варвары, только срам прикрываем не звериными шкурами, а солдатскими штанами, и вместо копий у нас теперь пулеметы. Наши предки, варвары, ненавидели Рим, потому что им отвратительны были римская культура и наука, а мы ненавидим Париж, город культуры,

науки и искусства. Мы завидуем французам, англичанам, евреям, всем, кто умнее и лучше нас. Поэтому мы пытаемся всех унижать, мы злобные церберы и завистники.

Хозяин не на шутку обеспокоен. Пусть немецкий аристократ, потомственный «фон» может позволить себе такие речи, но он, Рудольф Мозер, крещеный еврей и издатель солидной газеты, не может позволить себе их слушать. Он пытается перевести дискуссию в другое русло, но тут вступает доктор Цербе. Туманно и витиевато он начинает говорить о вредной французской бацилле, поразившей немецкий народ. Бациллу интеллектуалис или бациллу иудеус хочет сожрать здоровое тело германской нации. Но прозрение наступило вовремя. Молодежь пробудилась, она отбрасывает чуждые веяния, отвергает лежалый товар глумливых коммивояжеров. Молодежь возвращается к героическому духу предков, возрождает чистоту германской расы.

— Страшитесь, слепые интеллектуалы! Вы не видите, что грядет новая эра, надвигается геройским шагом! — проповедует он, грозя пальцем, как его отец прихожанам в сельской церкви.

Хозяину не по себе. Это очень нехорошие угрозы. Кроме того, они часто слышатся в последнее время, слишком часто. Рудольф Мозер верит в лучшее, он убежден, что всегда побеждают разум, компромисс и золотая середина. Он не хо-

чет думать о плохом, ведь думать о плохом очень неприятно. И все же у него беспокойно на душе. Госпожа Мозер пытается пошутить:

— Надеюсь, доктор Цербе, мне-то вы не сделаете ничего плохого?

Доктор Цербе целует ей руку:

— За прекрасных дам я готов пойти в огонь и воду!

Доктор Клейн сводит на нет пафос старого друга.

— Не так страшен черт, как его малюют, — замечает он с усмешкой. — Из-за того что критик-еврей когда-то нелестно отозвался о его стихах, наш маленький сердитый Юпитер теперь мечет молнии. Не так ли, доктор?

Доктор Цербе прощается и целует дамам ручки. Доктор Клейн приглашает его прийти снова:

— Заглядывай, пока можно, Цербе. Если настанет день, когда прекратятся вечера у нашей дорогой госпожи Мозер, тебе ведь будет скучно с твоими дружками в сапогах, а, рифмоплет?

Гости расходятся. Госпожа Мозер надевает перину и выходит с Карновским.

— Доктор Карновский любезно согласился отвезти меня в Ванзее, — говорит она мужу. — Спокойной ночи, милый, слишком не засиживайся за работой.

— Спокойной ночи, любимая, — отвечает Мозер и целует жену в голову.

Она часто проводит воскресенье в загородном доме. Рудольф Мозер остается в городе, он трудится без выходных. Ему не нравится, что доктор Карновский отвозит его жену на машине, но он не подает виду. Разве он не современный человек, который должен на все смотреть объективно и философски? Он вежливо прощается с Карновским, благодарит его и просит почаще заходить в гости.

Доктор Карновский усаживает госпожу Мозер в машину, садится за руль. Они нагоняют доктора Цербе. На нем дешевое, поношенное пальто, он бредет, маленький и сутулый. Сзади нелепо висят черные фалды фрака, развеваются на ветру, и будничное пальто выглядит из-за них еще более убогим. Он приподнимает шляпу и провожает шикарный автомобиль ненавидящим взглядом.

— Смешной он, бедняга, — говорит госпожа Мозер.

— Он опасный и жестокий человек, — отвечает доктор Карновский. — Он обиженный истерик, в котором уживаются мания величия и мания преследования. Во времена революций такие опаснее всего.

— Ты в это веришь, мой милый? — спрашивает, прижимаясь к нему, госпожа Мозер.

— Обиженный истерик опасней бешеной собаки, — продолжает Карновский. — Я видел безумие у него в глазах, когда он говорил.

У госпожи Мозер появляется повод начать беседу о психоанализе, который сейчас в моде, о комплексе неполноценности, об истории. Доктор Карновский удивлен ее осведомленностью. Она говорит, как мужчина-интеллектуал. Но, как только они заходят в дом, образованная дама сбрасывает вместе с одеждой интеллект и стыд. В искусстве любви она не знает себе равных. Она настолько изобретательна, что даже женский врач Карновский поражен. На всех языках, которые она знает, она нашептывает ему в ухо нежные, горячие слова любви и тут же — грубые, отвратительные, непристойные. Карновскому не нравится, когда женщина ведет себя нагло.

— Ты говоришь, как уличная девка, — отталкивает он ее от себя.

— Да, побей меня, любимый, назови меня сухой! — умоляет она.

По дороге в город Карновского мучает совесть. Он мерзок самому себе. Он думает о Терезе, сейчас она лежит в кровати и плачет. Что тянет его к этой шумной, развратной женщине? Она даже не красива. Ноги полноваты, спина мускулистая, как у мужчины, рот слишком велик. В клинике он видит сотни женщин гораздо красивее ее. Многие дают понять, что он им нравится. Некоторые даже приходят на прием не потому, что больны, но чтобы раздеться перед ним, ощутить прикосновения его рук. С тех пор как он стал известен, женщины завалива-

ют его письмами, полными любовных признаний и восхищения. Среди тех, кто ему пишет, девушки из лучших семейств, немало красивых. Он не понимает, зачем он связался с этой далеко не юной дамой. Каждый раз, сидя за рулем автомобиля, он дает себе слово порвать с ней. Ему стыдно перед собой и перед Терезой, которую он предал.

Но проходит несколько дней, и он начинает тосковать. Его тянет к той, в ком соединились разум и инстинкт, светская дама и шлюха.

25

За несколько лет Гуго Гольбек перепробовал множество профессий. Он торговал электрическими пылесосами и охотничьими ружьями, служил приказчиком в обувном магазине, но так и не смог приспособиться к гражданской жизни.

Лишь раз он попробовал то, что было ему по душе. Когда мать продала дома, он выпросил у нее один бумажный доллар и гулял на него целые сутки. Он пострелял в тире, посидел в баре и взял напрокат лошадь. Там, в школе верховой езды, он познакомился с инструктором, капитаном в отставке, и за кружкой пива рассказал ему, что у матери есть иностранная валюта. В голове капитана тут же зародилась мысль, что он, на пару с обер-лейтенантом Гольбеком, мог бы открыть свою школу и зарабатывать деньги. В городе пол-

но иностранцев. Американки обожают верховую езду. Они весьма расточительные дамы, к тому же любят молодых офицеров. Обер-лейтенанту Гольбеку очень понравилась эта идея.

Слова капитана подействовали на него, как сигнал к атаке. Это было лучшее, чем мог бы заняться офицер в эти чертовы времена. В неразговорчивом Гуго вдруг проснулось красноречие, когда он пошел к матери просить денег. Он целовал ей руки, обещал счастье и удачу, злился, требовал, даже угрожал, что пустит себе пулю в лоб. В конце концов мать сдалась и дрожащими руками отдала ему деньги. Гуго воспрянул духом. Он купил красавцев коней, кожаные седла, нанял конюхов, дал объявления в газеты и сел ждать, что американки понесут ему доллары. Фантазия разыгралась. В романах, которые он читал от нечего делать, рассказывалось, как бедные офицеры в школе верховой езды знакомятся с богатыми американками. Обычно дочь американского миллионера по уши влюблялась в европейского военного и отдавала ему руку вместе с отцовскими миллионами. Гуго не видел причины, почему этого не может случиться с ним. Надев форму и гладко причесав белокурые волосы, он смотрелся в зеркало и очень себе нравился. Он ждал, но американки все не появлялись. Инфляция закончилась так же неожиданно, как началась. Марка стала стремительно расти. Гостиницы опустели. В школу

Гольбека никто не шел. В итоге от его предприятия остались только рейтузы и стек. С тех пор чертов мир, в котором нет места для немецкого оберлейтенанта, стал ему совсем не мил. Вернулась апатия. Работы по-прежнему не было.

Мать сдавала комнаты, да Тереза иногда подкидывала денег. На это и жили. Гуго курил, играл с собакой и смотрел в полевой бинокль. Когда дома становилось невмоготу, тянуло посидеть с приятелями в пивной или пострелять в тире, он шел к Терезе просить на расходы.

У Терезы всегда можно было хорошо поесть, а у Карновского имелась приличная коллекция вин, ликеров и коньяков, немецких и импортных. Гуго Гольбек с наслаждением потягивает французский коньяк, столь любимый им после Западного фронта, курит дорогую сигарету, вытащенную у зятя из портсигара, и размышляет, почему проклятый мир так несправедливо устроен: какой-то носатый докторишка оказался наверху, а немецкий офицер на дне.

— Черт, а сигареты у него неплохие, — замечает он и идет во двор, к гаражу. Запах бензина кажется ему волшебным ароматом. До войны он ездил на мотоцикле, на фронте водил автомобиль. Он обожает технику.

Карл разрешает ему завести машину. Гуго с наслаждением прислушивается к звуку двигателя. Очень похоже на пулеметную стрельбу.

— Отличная машина, Карл.

— Так точно, герр обер-лейтенант. — У Карла сохранилась солдатская привычка обращаться по званию.

Егорхен возвращается из частной школы. Увидев во дворе дядю, он бросается к нему с радостным криком:

— Дядя Гуго, дядя Гуго!

— Привет, малыш, — здоровается с племянником дядя Гуго.

Ему приятно, что ребенок им восхищается, это возвышает его в собственных глазах, ведь ни зять, ни даже родная сестра его ни во что не ставят. Поэтому он говорит с Егором, как со взрослым. Он объясняет ему устройство двигателя, разрешает подержаться за руль, понажимать педали. Потом учит его стрелять из детского ружья. Дядя Гуго — прекрасный стрелок, он может сбить маленькую птичку с ветки акации, растущей посреди двора. Мальчик начинает приставать к матери, чтобы она позволила им с дядей Гуго прокатиться на отцовской машине. Тереза против, муж не любит, когда Гуго берет машину, но малыш не отстает. Он известный упрямец, настоящий Карновский, и мать сдается.

— Гуго, только, ради Бога, потихоньку, — предупреждает она брата.

— Да ладно, — отвечает Гуго и, чуть отъехав, выжимает газ до предела. Он обожает быструю

езду, с тех пор как у него был мотоцикл с двумя сиденьями. Егорхен в восторге.

— Дядя Гуго, а папа никогда так не гоняет! — кричит он.

— Куда ему, твоему папе. Он вообще ездить не умеет. — И Гуго прибавляет скорость.

Лицо горит, сейчас он чувствует себя человеком, и жизнь, кажется, не так уж плоха. Егорхен тоже радуется. Робкий по природе, он, однако, любит похулиганить, а с дядей бояться нечего.

— Дядь, а ты можешь еще быстрее?

— Я-то могу, только нас полиция остановит, а потом твой отец ругаться будет.

Егорхен смотрит на дядю огромными голубыми глазами и изливает ему мальчишескую душу, делится своими радостями, бедами и мечтами. Скрытный, недоверчивый, он никогда не рассказывает родителям, как прошел день, что было в школе, но дяде можно поведать заботы, надежды и сомнения, а их у него немало. Он уже знает, что у него не такая семья, как у всех. Родители не такие, и бабушка Гольбек, и бабушка Карновская. Дядя Гуго, брат мамы, не такой, и тетя Ребекка, сестра папы. И он сам не такой, как все дети в школе. Папа и мама не хотят говорить об этом, вечно уходят от ответа, когда он их спрашивает, но он знает, что чем-то выделяется, и не в лучшую сторону. Учитель Закона Божьего относится к нему не так, как к остальным. Иногда велит ему

сидеть на уроке с другими детьми, а иногда выставляет из класса. И мальчишки тоже. Вообще он для них свой, но стоит с кем-нибудь поссориться или подражаться на школьном дворе, тут же кричат: «Еврей!» Он хочет узнать у дяди, как это так. Он немец или нет?

— Господи, ну конечно, немец, ты же из Гольбеков! — с гордостью отвечает Гуго.

— А почему тогда мальчишки говорят, что я не немец?

— Ну, потому что по отцу-то ты Карновский. А они, дураки, этого не понимают.

Егорхен улыбается дядиным словам. Вот они кто — дураки. Но радость быстро исчезает. Он хочет до конца разобраться, кто он.

— А папа разве не немец? Мама говорит, немец. Он на войне был, капитаном.

Дяде Гуго смешно: сестра называет мужа капитаном и считает его немцем. Что глупая женщина может знать о таких вещах? Но Егору он этого не говорит. У него язык не поворачивается сказать такое мальчику, которого он любит.

— Конечно, он немец, твой папа. Он ведь родился в Германии. Но он не совсем немец, он еще еврей, понимаешь? Только тебя, малыш, это не касается. Ты-то чистый немец, ты Гольбек. Ясно?

Егорхен задумывается:

— Дядь, а что значит еврей?

— Еврей? — переспрашивает дядя Гуго и тоже задумывается. Он-то прекрасно знает, что это значит. Еврей — это такой нелепый человек, черный и носатый. Он обязательно богат и вечно лезет, куда не просят. Еще от ораторов в пивных он знает, что чертовы евреи продали страну во время войны, воткнули армии нож в спину. Если бы не они, армия непременно разбила бы чертовых французов. Но ребенку он не может этого сказать. — Еврей — это тот, кто ходит не в кирху, а в синагогу, как твой папа, — объясняет он.

— Но папа никогда не ходит в синагогу.

Дядя Гуго не знает, что ответить. Он устал от серьезного разговора. Когда ему приходится напрягать мозги, он вообще быстро устает. Лучше поговорить о войне, это гораздо интересней.

— Да ерунда это все. Ты еще маленький, не поймешь. Не думай об этом.

Но как же об этом не думать?

— А почему мама вышла замуж за папу, а не за настоящего немца?

Может, дядя Гуго ответит на вопрос, который его давно мучает. Больше спросить не у кого.

Дядя Гуго хотел бы ответить, что его сестра — дура, как все женщины, и просто глупо влюбилась. К тому же после войны Гольбеки обеднели, ей пришлось устроиться на работу в больницу, а там, естественно, полно евреев, лю-

бая больница — это синагога. Но не говорить же такое ребенку. Он говорит только, что женщины вообще смешные, и мужчине нечего о них думать. Ведь он, Егорхен, не девчонка, чтобы забивать себе голову всякими глупостями. Пусть лучше учится стрелять, водить мотоцикл, ездить на лошади, фехтовать, чтобы стать хорошим солдатом.

Егорхен согласен с дядей, но, правда, он не уверен, что сможет стать солдатом. Бабушка Карновская говорит, что теперь, после войны, в армию не берут. Дядя Гуго выходит из себя. Чушь! Да откуда ей знать? Ничего, еще вернутся старые добрые времена. Он, Гуго Гольбек, опять наденет мундир. Снова будет армия, муштра, приказы и война, хорошая настоящая война. И нечего Егору слушать бредни старой глупой еврейки. Она бы еще на него лапсердак напялила, как в Еврейской Швейцарии ходят...

Забывшись, он говорит с мальчиком, будто тот — стопроцентный Гольбек, а никаких Карновских и в помине нет. Но вдруг видит, что его занесло слишком далеко.

— Только смотри, дома не проболтайся, о чем мы с тобой говорили, — предупреждает он. — Мужской разговор должен остаться в тайне.

— Еще бы! — Егорхен обижен, что дядя в нем сомневается. — Конечно, не проболтаюсь.

— Вот это слова мужчины! — И дядя Гуго прибавляет газу, чтобы успеть домой до прихода зятя.

Ему не хочется ссориться с Георгом. При всем презрении, которое он питает к еврейскому докторишке, он робеет перед ним. Как многие врачи, Карновский смотрит несколько свысока на всех, кто не относится к его профессии, будто любая человеческая жизнь в его руках.

— Ну, что подельывает герр обер-лейтенант? — спрашивает он с насмешкой.

Гуго не любит, когда зять называет его обер-лейтенантом. Обращение по званию, которое так приятно слышать, например, от Карла, в устах Карновского звучит как издевательство.

— Что может подельывать немецкий обер-лейтенант в наше чертово время? — отвечает он с намеком, что сейчас время Карновских, а не Гольбеков.

— Чертово время будет еще долго, герр обер-лейтенант, — предсказывает Карновский. — Когда оно изменится, у тебя будет такой ревматизм, что ты сможешь быть только генералом в отставке...

— У меня на этот счет другое мнение, герр доктор, — отвечает Гуго.

— Ладно, пойдете-ка обедать, я голоден как волк, — говорит Карновский и ведет сына и шурина в просторную столовую, где их ждет накры-

тый стол. Тереза повязывает Егору салфетку, чтобы он не испачкался, и зовет сестру мужа:

— Бека!

Ребекке нравится, когда ее так называют. Полное имя звучит слишком по-еврейски. Она появляется из сада, у нее в руке букет цветов. Тяжеловатым шагом она приближается к столу.

— О, герр Гуго! — говорит она с удивлением.

Гуго вскакивает и что есть силы щелкает каблуками.

— Здравствуйте, фройляйн Бека! — И он элегантно целует ей ручку.

Черные глаза Ребекки вспыхивают от галантных манер лейтенанта и от внимания, которое он ей оказывает. Видели бы бывшие одноклассницы в лице! Тереза указывает Ребекке на место рядом с Гольбеком, Гуго учтиво пододвигает ей стул.

— Вы очень любезны, герр обер-лейтенант.

Ребекка чувствует под столом его ногу, от него пахнет табаком, кожей и мылом для бритья. Настоящий мужской запах.

В порыве нежности, неожиданно для себя, она наклоняется к Терезе и целует ее в щеку, а смущенная Тереза поправляет ей непослушные волосы.

Доктор Карновский не может удержаться:

— Психологи говорят, если девушка так горячо целует подругу, она представляет себе, что целует ее брата.

Все трое, Ребекка, Тереза и Гуго, краснеют до ушей. Ребекка готова испепелить Георга взглядом.

— Ты циник, как все гинекологи, — говорит она сердито. Особенно ее злит, что в его словах есть доля правды.

Доктор Карновский рассказывает смешные случаи с нервными пациентками. Ребекка не хочет слушать. Ее голова забита цветами, музыкой, романами и мечтами, и ей неприятно, что брат смеется над женским полом.

— Лучше вы расскажите что-нибудь, герр обер-лейтенант, — обращается она к соседу. — О чем-нибудь прекрасном.

Гуго Гольбек в замешательстве. Он не знает, что рассказать. Но Ребекка так на него смотрит, что ему некуда деваться, и он начинает рассказывать о своих приключениях на фронте. Это единственное, о чем он всегда готов поговорить. Но как обойтись без крепких солдатских выражений, которые нельзя использовать при дамах? Он запинается на каждом слове, однако Ребекка внимательно слушает истории о его подвигах и только иногда восклицает:

— О Господи!

Доктор Карновский не уверен в правдивости военных рассказов, он видел на фронте другое.

— А дизентерии у вас там не было, герр обер-лейтенант? — спрашивает он, наливая себе бокал столового вина.

Ребекка с ненавистью смотрит на брата. Всегда был и остался мерзким циником. Все теперь такие, нет больше прекрасных и благородных рыцарей.

— Чертово послевоенное время! — вздыхает Гуго. — Без армии нет романтики.

— Золотые слова, герр Гуго, — говорит Ребекка, глядя на него влюбленными глазами. — Только расчет и практичность.

Это для нее больная тема. Сейчас, после войны, мужчины слишком практичны. Все ищут брака по расчету, любовь для них ничего не значит. О молодых людях, которых сватает доктор Липман, она и слышать не хочет. По еврейской привычке во всем винить себя она думает, что стремление делать деньги на чем угодно, даже на любви, — еврейская особенность. Ей нравится высокий, белокурый обер-лейтенант, элегантный, вежливый и благородный. Она видит благородство даже в том, что он не может устроиться в жизни.

— Он как ребенок, такой беспомощный, наивный... — шепчет она на ухо Терезе.

Тереза другого мнения о брате, но она не возражает. Ребекка уводит Гуго в садик, они садятся возле цветов, на ее любимое место. Она с жаром говорит о книгах, музыке и актерах. Гуго молча слушает, он в этом не разбирается. Ребекка начинает читать наизусть стихи современных поэтов.

Гуго поражен, к такому он не привык. Он заводит интрижки с белошвейками или гуляет с девушками из приличных семей, они охотно слушают его истории о войне и смеются, когда он рассказывает что-нибудь забавное, но ни разу не было, чтобы девушка читала ему стихи, да еще наизусть и с таким чувством.

— Хорошо, очень хорошо, — отзывается он о стихах, хотя ничего в них не понял.

Ребекка все больше воодушевляется.

Она энергична, как ее отец, и, как мать, нежна и заботлива, она готова заступаться за всех слабых и беззащитных. Мужчины для нее как дети. Поэтому ей не нравятся деловые, умные и практичные, способные самостоятельно найти свое место в жизни. Наоборот, ей по душе беспомощные и по-детски наивные. В светловолосом, молчаливом и неустроенном Гуго она видит ребенка, которому нужна мама, чтобы водить его за ручку, опекать и развивать его скрытые способности.

— Вы большой ребенок, герр обер-лейтенант! — восклицает она, когда Гуго говорит очередную глупость.

Гуго не знает, как себя вести. Она интригует его темпераментом, черными волосами и огнем, горящим в огромных глазах. Она непонятна и загадочна, не то что его белокурые подружки. Гуго никогда не был близок с еврейской женщиной,

хотя много слышал о них от приятелей. Лишь в одном он уверен: такой жены он бы не хотел. Он считает, что она ниже его, но чувствует, что на самом деле все наоборот. Ему не преодолеть неприязни к непонятному и чужому.

Только оказавшись на улице, он может вздохнуть свободно.

Как всегда, прежде чем проститься, он крутится перед зятем, отводит взгляд, мнется, глубоко затягивается сигаретой. Доктор Карновский знает, что это значит, и приходит на помощь.

— Сколько? — спрашивает он, глядя в прозрачные глаза Гуго.

— Двадцать пять марок, если можно, — мямлит Гуго. — Отдам, как только найду работу... Слово офицера...

Доктор Карновский много раз слышал это обещание и знает, чего оно стоит. Тем не менее дает деньги.

— Сойдемся на пятнадцати, — говорит он с усмешкой.

Гуго берет бумажки и вылетает на улицу.

— Сволочь! — Он зол на зятя, потому что пришлось перед ним унижаться и потому что Карновский, как настоящий еврей, сторговал десятку.

В пивной Шмидта Гуго чувствует себя как дома. Здесь собираются отставные офицеры, приходят студенты с девушками. Свежее пиво, отмен-

ные сосиски, сочная квашеная капуста. Друзья приветствуют его, щелкая каблуками, официантки улыбаются.

Когда студенты напиваются и начинают дискуссии, становится совсем весело. Говорят, что пора возродить Германию и отомстить французам и чертовым предателям из Западного Берлина, еврейским толстосумам, которые воткнули нож в спину доблестной армии. Гуго не принимает участия в спорах, он не мастак говорить, его дело — вести солдат в атаку, получать и отдавать приказы, но ему приятно слушать о том, что Германия скоро возродится.

— Прозит! — И он пьет кружку за кружкой.

Вечером он уходит с официанткой. Если наутро остается немного денег, он идет в тир. Там за меткую стрельбу он часто получает приз — пачку сигарет.

26

У доктора Эльзы Ландау, представителя Северного Берлина, дела в рейхстаге с каждым днем все хуже.

— На Драгонер-штрассе! — кричат ей, когда она выступает. — В Еврейскую Швейцарию! Иди к своим галицийским единоверцам, фальшивомонетчикам, большевикам, спекулянтам!

Некоторые посылают ее еще дальше:

— Убирайся в Палестину! Евреи, вон из рейхстага!

Эльза Ландау не остается в долгу. Она объясняет, кто тут фальшивомонетчики и спекулянты. Ей известны все тайны вражеского лагеря, она знает, что там за люди, и умело вытаскивает их грязное белье на всеобщее обозрение. Она приводит факты и цифры. Но логика и остроумие не могут победить грубых выкриков и смеха. Эльза Ландау устала воевать с горластыми депутатами, посылающими ее в Иерусалим. Она охрипла, иногда не может держать себя в руках и впадает в истерику.

Еще хуже выступать в провинции. Студенты, отставные солдаты, безработные, вчерашние гимназисты, которые не нашли себе занятия, и авантюристы всех мастей, подсланные противниками, срывают ее выступления, свистят, хохочут, орут, кидают тухлые яйца и гнилые овощи. Однажды в зале кто-то выстрелил из револьвера.

— Рыжая! Еврейская блядь! — кричат юнцы в тяжелых сапогах.

Эльза Ландау знает цену этих выкриков и проклятий, но ей больно, когда в ней оскорбляют женщину. Она отказалась от любви и семейного счастья, чтобы бороться за права рабочих, а ей прилепили лживую, грязную кличку. Хуже всего, что толпа всегда начинает дружно ржать, услышав это слово. Оно действует куда сильнее, чем

разумные речи, факты и статистика. А юнцы в сапогах уже настолько обнаглели, что обещают застрелить ее, как собаку, если она посмеет выступать по немецким городам.

Эльза Ландау не дает себя запугать. Она успела понюхать пороху в трудное послевоенное время. Наоборот, чем больше писем с угрозами она получает, тем больше ездит с выступлениями, добирается до самых диких мест, где юнцы в сапогах бушуют сильнее всего. Она будит спящий пролетариат, который сложил оружие, вдыхает в рабочее движение новую жизнь, возрождает умершие организации, раздувает едва тлеющий огонь революции. Но Эльза видит, что враги с каждым днем набирают силу. Они уже привлекли на свою сторону не только лавочников и крестьян, но и множество рабочих.

Пролетариат замучен безработицей, люди устали ждать неизвестно чего и жить на пособие. Они требуют конкретных действий от правительства, депутатов и партийных лидеров. Эльза взывает к разуму, приводит доказательства, ссылается на книги по экономике, но ее не хотят слушать.

— Одни слова! — говорят самые недовольные и нетерпеливые. — Мы устали от слов, нам нужен хлеб, нужна работа.

Эльзе Ландау нечего на это ответить. Она видит, что надвигается большая беда, а партийные лидеры не хотят этого понять, им некогда встре-

чаться с народом, они заняты своими делами. В провинциальных городах она заходит к рабочим домой, ест с ними за одним столом, беседует с их женами, видит их нужду и, главное, апатию. Она предупреждает товарищей о надвигающейся опасности.

— Слишком пессимистично, товарищ Эльза, — отмахиваются они.

Но ей лучше знать. Невеселые мысли приходят ей в голову по ночам, когда она лежит в номере провинциальной гостиницы и не может уснуть. Когда она выступает перед рабочими, приходит на их праздники или спортивные соревнования, слушает их оркестры, которые играют в ее честь, она забывается, ей кажется, что все хорошо. Но потом она остается одна в захолустной гостинице, которые все на одно лицо: одинаковая мебель, одинаковые гравюры с замками и рыцарями, широкие кровати и тяжелые шторы. На Эльзу нападают отчаяние и страх.

Ей одиноко. Стройное тело утопает в перинах на огромной двуспальной кровати. Сквозь стены доносятся приглушенные голоса, смех и шепот влюбленных парочек. Эльза чувствует, что она никому не нужна, но гонит от себя грустные мысли. Какое ей дело до влюбленных за стеной, ей, борцу за счастье народа? Но тоска не уходит. Ей вспоминаются отцовские слова: «Эльза, ты пожалеешь, но будет поздно».

Отец не раз ее предупреждал, а она смеялась. Но теперь его слова кажутся не такими уж смешными. Она вспоминает другого близкого человека, Георга Карновского. Вспоминает гостиницу в городе на берегу Одера. Комната была очень похожа на эту, в ней даже висели точно такие же гравюры. Но там она была не одна. С ней был Георг, он уезжал на фронт. Как давно это было! Но она прекрасно помнит ту ночь. Он любил ее, и она впервые в жизни почувствовала любовь. Но она отказала ему, променяла его на партийную работу, борьбу и, главное, на славу. Эльза не обманывает себя. При всем ее идеализме важнее всего была слава, желание доказать мужчинам, что она ни в чем им не уступает, а может, даже их превосходит. Она добилась своего. Она знаменита, мужчины ею восхищаются. Пресса подхватывает каждое ее слово, с ней считаются даже враги. Женщины завидуют и говорят, что она должна собой гордиться.

Но она несчастна. На работе она отвлекается, но стоит остаться одной, особенно ночью, как в ней просыпается женская слабость. Она думает о семье, покое, уюте и любви. Она не может забыть Георга. У него семья, жена и ребенок. Она не видела его уже несколько лет, но все знает о нем. Он стал известным врачом. А ведь они могли бы быть вместе. Пусть ей пришлось бы подчиниться мужу, зато она не была бы одна.

Откуда-то прилетает детский плач и сонный голос матери. Эльза прислушивается. Она завидует этой женщине, баюкающей ребенка. Отец твердил, что женщина должна выйти замуж, рожать детей. Она смеялась над ним, а теперь знает, что он гораздо лучше нее понимал женскую душу. Она приходит домой к рабочим и видит, что их жены живут полноценной жизнью. У них есть семья и дети. Бывает, к Эльзе подбежит толстенький, румяный малыш, заберется на колени, пухлыми ручками обнимет за шею. Чего стоят споры, борьба, речи и аплодисменты, за которые она отдала молодость, любовь и материнское счастье?

Она сама от них отказалась. После Георга были другие, добивались ее любви, но она всех отвергла, не захотела бросить партийную работу, поработить себя. А теперь свобода превратилась в обузу. Она знает, что уже не молода. Тело по-прежнему стройное и гибкое, мужчины все еще говорят ей комплименты, но что толку себя обманывать? Она стала быстро уставать, раньше такого не было. Она понимает: возраст дает о себе знать. Часто болит голова. Это начало увядания.

Отбросив одеяло, она рассматривает свое тело. Ей жаль себя, жаль юности, которая прошла без нежности и любви. Ее тело никогда не познает материнского счастья, ребенок никогда не прильнет к ее груди. Не успеет она оглянуться,

как наступит старость. А жизнь старой одинокой женщины бессмысленна и пуста.

Эльза принимает успокоительное, но таблетка не помогает. Тяжелые мысли не уходят, ей не уснуть. Мягкая кровать кажется жесткой, как бы она ни пристроила голову на пуховой подушке, ей неудобно. Комната полна тихих ночных звуков. На улице смеются, это пара прощается под окнами гостиницы, но все не может расстаться. Издалека доносится пьяное пение, потом детский плач. Городские часы звонко отбивают каждый час, полчаса, четверть часа, эхо тоскливо повторяет за ними. Эльзе страшно, ее терзают дурные предчувствия, неумолимо надвигается что-то ужасное. Она зарывается лицом в подушку и плачет. А часы угрожающе бьют в ночи.

27

Напряженное ожидание, надежда и страх одновременно захватили столицу. На улицах и площадях хозяйничали люди в тяжелых сапогах.

Они были повсюду. Они шагали, разъезжали на автомобилях и мотоциклах, несли горящие факелы, играли в уличных оркестрах и, гремя каблуками, маршировали, маршировали и маршировали.

Грохот сапог будоражил кровь. Никто не знал, что принесут новые хозяева: счастье или беду, удачу или разочарование. Но все были напряже-

ны и взволнованы, будто всё поставлено на карту или совершается что-то запрещенное, и никто не знает, чем кончится дело: то ли постигнет кара, то ли сойдет с рук. Что-то изменилось. Было по-праздничному радостно, беспокойно, весело и страшно.

Снова звучала военная музыка, как в старые добрые времена. Снова стучали сапоги. Вернулись знамена, факелы, салюты, парады и торжественные речи. Особенно громко сапоги стучали в Западном Берлине, по Курфюрстендам, где жили и держали магазины, бюро и кабинеты черноволосые и черноглазые коммерсанты, профессора, директора театров, адвокаты, врачи и банкиры. Люди в сапогах маршировали мимо банков и шикарных магазинов и во всю глотку распевали, как сверкнет сталь и польется еврейская кровь, чтобы черноволосым было хорошо слышно.

Им было слышно, черноволосым банкирам, коммерсантам, врачам и адвокатам. Было слышно и смуглым художникам, журналистам и торговым агентам, которые, как всегда, сидели в ресторанчиках с газетой и чашкой кофе. Им было неловко, беспокойно и неудобно, но не слишком страшно. Подумаешь, два-три неприятных слова в глупой песне. Умные люди не должны воспринимать это всерьез. Так же относились к происходящему и торговцы на Фридрих-штрассе и Александер-плац.

Торговля шла даже лучше, чем раньше. На улицах царило легкомысленное, праздничное настроение, люди охотно тратили деньги, отбросив расчеты и бережливость. Официанты подавали кофе, яблочные пироги и газеты черноволосым посетителям, по-прежнему обращаясь к ним «доктор» и не задумываясь, есть у клиента докторское звание или нет. Никто не верил, что все изменится. Никто не хотел верить. Каждый думал, что если и случится что-нибудь плохое, то уж точно не с ним.

Рудольф Мозер, владелец самой влиятельной газеты в стране, каждый день ездил на машине в издательство и продолжал делать свою работу. Ему неприятно было слышать песни о еврейской крови, но он ни на секунду не мог допустить, что они имеют отношение к нему самому. Пусть он родился в еврейской семье, но он давно крестился, у него жена-христианка, он прихожанин крупнейшей в городе церкви. В его салоне бывают видные политики, в том числе и из правого лагеря. Так чего еще? Даже такой человек, как доктор Цербе, бывает у него в гостях. Что бы ни случилось с евреями, его, христианина, это не коснется.

Домовладельцы, банкиры и коммерсанты, театральные директора, знаменитые актеры и художники, всемирно известные ученые, которые еще относились к еврейской общине, тоже не ду-

мали, что в песнях подразумевается их кровь. Их принадлежность общине — не более чем формальность, в остальном они давно порвали с еврейством. Они переняли немецкую культуру и образ жизни, прочно укоренились в стране. У них есть заслуги перед государством. Многие сражались на войне. Если что-нибудь и случится, то только с теми, кто сохранил еврейскую культуру или мечтает переселиться в Азию.

Раввин доктор Шпайер тоже не верил, что ему что-то угрожает. Разве его предки не поселились тут много поколений назад? Разве он не говорит на образцовом немецком языке? Разве не украшает проповеди цитатами из Гете, Лессинга, Шиллера и Канта? Когда началась война, разве он не призывал прихожан своей синагоги сражаться и проливать кровь за родину? Нет, если к кому-то и есть претензии, то к чужим, тем, кто недавно приехал. Как во время войны, он снова стал держаться подалеже от своего друга Довида Карновского. Так будет лучше, решил он. Человек не должен подвергать себя опасности. Не зря написано, что благо тому, кто всегда пребывает в трепете.

Доктор Карновский продолжал работать в клинике. Люди в сапогах орали, что врачам-евреям пора убираться из страны, но его это не сильно заботило. Глупости! Он здесь родился, здесь учился, все знают о его достижениях и заслугах. Мало того, он был на фронте, получил медаль, дослу-

жился до капитана. Его жена — христианка, чистая немка. Если он и беспокоился, то не за себя, а за родителей. Ведь они до сих пор не получили гражданства, как бы с ними не случилось чего плохого.

Довид Карновский тоже не представлял себе, что его могут изгнать из страны. Он живет здесь много лет, его сын служил в армии, а он сам — уважаемый коммерсант, аккуратный и честный. Немцы, с которыми он ведет дела, восхищаются им, он прижился в стране, в совершенстве выучил язык и давно порвал все связи с Востоком. Если для приезжих и есть опасность, то, конечно, только для тех, кто поселился здесь после войны и живет в еврейском квартале. Хоть Довид Карновский и сочувствовал этим людям, все же он питал к ним легкое презрение. Слишком много их сюда набежало. Они купали дома, когда деньги ничего не стоили. Вот и у него купили дом по дешевке. Они носят длиннополые кафтаны и пейсы. Довиду Карновскому становилось стыдно, когда он встречал кого-нибудь из этих людей в трамвае или подземке. Иногда они приходили в западные районы просить милостыню. Своим видом и манерами они позорили берлинских евреев. Даже он, сам приезжий, их терпеть не мог. Ничего странного, что гои их ненавидят. Правда, среди них попадаются достойные люди, ученые, знатоки Торы, как реб Эфраим Вальдер, но таких

мало. В целом они так и остались в Берлине чужими. Может быть, кто-то из них пострадает, особенно те, кто живет в Германии нелегально.

Жители еврейского квартала тоже проводили между собой различия. Владелец гостиницы «Кайзер Франц-Иосиф» реб Герцеле Вишняк был уверен, что ему и его землякам, австрийским или, как их называли русские, галицийским, ничего не угрожает. Разве Австрия не была союзником Германии, разве они не сражались с врагом общества? Правда, теперь Галиция принадлежит новым хозяевам, полякам. Но это потому, что проиграли войну, а вообще она всегда была австрийской. Глупо думать, что их, граждан союзного государства, кто-нибудь тронет. Так могут думать только русские, которые понаехали сюда со всего света. А русские тоже делились на разные категории, на тех, у кого исправные документы, и тех, у кого сомнительные. Последние верили, что им помогут их консулы. Пока еще мир не рухнул.

— Ничего, все будет хорошо, — успокаивали евреи друг друга. — Были уже Амань, которые пытались нас уничтожить, но Господь нас не оставил, не оставит и сейчас.

И продолжали работать или торговать.

Больше других процветал Соломон Бурак. По Ландсбергер-аллее тоже маршировали люди в сапогах и призывали население не покупать у жуликов и спекулянтов, но женщины толпились в

магазине и покупали даже больше, чем раньше. Как бы то ни было, все хотят иметь дома стоящие вещи, а не бумагу, которая в любой момент может обесцениться, как случилось после войны. Соломон Бурак плавает в огромном магазине, как рыба в воде. Он по-прежнему любит пошутить, его не изменили ни возраст, ни тяжелые времена.

— Последняя модель от Амана, называется «казни египетские». Берите, фрау, не пожалейте, — уговаривает он покупательницу, которая принимает его шутки за чистую монету.

Ита его сдерживает:

— Соломон, ты слишком много болтаешь. И у стен есть уши, Шлоймеле.

Зять, Йонас Зелонек, раздражен и взволнован. В себе он не сомневается, хоть и познаньский, он считает себя немцем, к тому же он был на войне. А вот насчет тестя, который приехал из Мелеца, из-за границы, он не уверен. Он терпеть не может шуток Соломона и его привычки вставлять еврейские слова. Ему это и раньше не нравилось, а теперь тем более.

— Ради Бога, оставьте дело на меня, — просит он. — Было бы лучше, если бы вы несколько дней не появлялись в магазине с вашими местечковыми островами.

— А что, думаешь, раз ты познаньский, они тебе кланяться будут? — возражает Бурак. — Нет, Йонас, для них мы одного поля ягоды.

Точно так же он дразнил соседей, немецких евреев, с которыми никогда не был особенно дружен. Особенно доставалось главному конкуренту Людвигу Кадишу. Людвиг Кадиш нашел способ себя обезопасить. Во-первых, он нацепил на лацкан железный крест, который получил на войне за то, что потерял в бою глаз, и ходил, гордо выпятив грудь, чтобы крест был лучше виден. Во-вторых, он повесил в витрине свой солдатский мундир. Людвиг Кадиш хотел показать покупателям, что он не из тех, кто вонзил нож в спину армии. Если кто-то так сделал, то, во всяком случае, не Людвиг Кадиш. Вот его мундир, а вот его железный крест. Еще он надеялся, что мундир защитит его стекла. За последние дни еврейские магазины несколько раз забросали камнями. Чтобы уберечь свои окна, немцы выставили в них кресты. Людвиг Кадиш не захотел выставлять христианского креста, вместо этого он выставил железный крест. Соломон Бурак высмеял соседа:

— Мезуза не поможет, герр Кадиш. Злодей Аман мезузы не испугается.

Людвиг Кадиш взорвался и высказал соседу все, что думал. Это они виноваты, такие, как Соломон. Немцы Моисеева вероисповедания всегда жили с христианами в любви и дружбе. Так и было бы дальше, если бы не понаехали польские и русские. Это их местечковый выговор, хитрость и дурные манеры пробудили древнюю ненависть

к евреям, заново раздули потухший огонь. Это их длиннополые кафтаны, их жаргон, их сионизм и социализм, их коробейники и спекулянты, поддельные документы и прочее свинство. Устроили конкуренцию, сбили цены, навредили порядочным торговцам, и еврейским, и христианским. Ладно бы они тихо сидели в еврейском квартале. Так нет, они расползлись по всему городу! Но ничего, скоро все это кончится, их депортируют туда, откуда они приехали. Останутся только местные.

Бурак хохочет над Кадишем: немчик есть немчик, чего от него ждать, кроме глупостей. Амань и фараоны будут бить всех подряд, им все равно, Соломон Бурак или Людвиг Кадиш.

— Еврей не хорош, но хорош еврейский грош...

Кадиш не желает слушать.

— Я запрещаю вам так говорить со мной, герр Бурак! Я немец, я... Людвиг Кадиш...

Даже стеклянный глаз смотрит с ненавистью, но Соломон Бурак не очень-то пугается соседского гнева.

— «Кадейш урхац, освяти праздник и омой руки», — говорит он. — Будет пасхальная трапеза. По нам прочитают кадиш, потом сдерут с нас кожу, как шелуху с картошки, и польют наши раны соленой водой. А потом гои будут делить наше добро, и какая им разница, Соломон Бурак

или Людвиг Кадиш? Мы еще нажремся горькой зелени, так что из носа ползет...

При этом Соломон Бурак спокоен. Он знает, что будет плохо, но не боится, только, как все, чувствует витающее в воздухе напряжение. Он тоже по-мальчишески возбужден, хоть далеко не молод, у него уже внуки растут. Что-то произойдет, и ему хочется это увидеть.

Общим оживлением захвачен и Йоахим Георг, которого дома называют Егором. Занятия в гимназии идут по-прежнему, но что-то изменилось. В школьных стенах царит дух вседозволенности. Учителя растеряны, ведут уроки кое-как, не слушают, что отвечают ученики. На смену дисциплине и страху пришла свобода. Еще сильнее, чем в гимназии, это чувствуется на улице.

Теперь Егор Карновский все время там, втайне от родителей он прогуливает уроки. Он исходил полгорода, исследовал всю Курфюрстендам, изучил Унтер-ден-Линден, добрался до Александерплац и до Северного Берлина. Он садился в подземку, или трамвай, или автобус и ехал неизвестно куда. Весь город не знал, что делать. Полицейские в касках, всегда важные и самоуверенные, теперь топтались на месте, не понимая, есть ли у них власть или уже нет. Водители автобусов не знали, по какому маршруту ехать. Что им делать, знали только марширующие люди в сапогах. Заслышав грохот сапог, отставные солдаты

вскидывали головы, как боевые кони при звуке трубы.

Не по годам высокий, худощавый, с голубыми глазами, полными любопытства, Егор маршировал вместе с городом. От музыки кружилась голова и хотелось идти без конца, без цели, не важно куда, лишь бы маршировать, маршировать и маршировать, чеканя шаг. Как все, Егор вскидывал руку, когда приближалась очередная марширующая компания. Как все, он приветствовал ее, как все, покупал за несколько пфеннигов маленькие значки и прикалывал их к лацкану школьной куртки. Однажды, проголодавшись, он впервые в жизни зашел в пивную и заказал пиво и закуску, как взрослый. Было приятно попробовать сосиски, которых никогда не подавали дома, и горький запретный напиток. Было приятно слушать уличный язык посетителей, грубый и сочный. Они говорили о новых временах, факелах и парадах. Щекотал ноздри едкий дым дешевых сигар.

Егор Карновский не задумывался о еврейской крови, которая должна потечь, когда сверкнет сталь. Во-первых, он не вслушивался в слова, они были не слишком важны, как слова любого гимна. Во-вторых, они не имели к нему отношения. Ведь он Гольбек, чистый немец, один из миллионов тех, кто марширует, поет и сражается за свободу. Не зря дядя Гуто предсказывал, что снова будут парады, мундиры и горящие факелы.

Егор чувствовал себя не слабым, как обычно, но бодрым и полным сил. Усталость приходила только дома, когда его заставляли есть то, чего он терпеть не мог, или отец осматривал его и требовал показать горло.

Ему страшно хотелось надеть мундир и вместе со всеми маршировать без остановки, сжимая в руке факел. Не важно куда, лишь бы шагать, подалее от дома, от отца с его заботами, от матери с ее ласками, от учителей с их наставлениями, шагать к новой, вольной жизни.

Он сам не заметил, как очутился возле рейхстага, на площади среди флагов и факелов. Из открытых автомобилей люди в мундирах во весь голос произносили речи. Толпа редела, вскидывая руки. Кровь ударила в голову, Егор ощутил в себе небывалую силу. Захотелось совершить что-нибудь необычное, великое, героическое.

Впервые он почувствовал, что жизнь имеет смысл, глубокий смысл.

Молодчики в сапогах неспроста распевали, что сверкнет сталь и польется еврейская кровь. Эти слова были в песне не только для рифмы, как думали обыватели из Западного Берлина. Еврейская кровь уже текла, пока понемногу, по капле, но с каждым днем все больше.

Среди ночи люди в сапогах явились к редактору сатирического еженедельника доктору Клейну, увезли его на Ранке-штрассе возле Потсдамского моста, в пивную Шмидта, и отвели в подвал, где герр Шмидт хранил бочки с пивом. Доктор Клейн попытался вызвать полицию, чтобы она защитила его от произвола, но полиция ответила, что не может вмешиваться.

— Ну, что скажете, господин редактор? — спросили люди в сапогах.

— Ничего, господа, — ответил доктор Клейн. — Когда говорят пушки, музы молчат.

Сначала он надеялся превратить происходящее в шутку, но надежда испарилась, когда по узким каменным ступеням он спустился в подвал, где воняло пивом и мышами.

— Снять воротничок и пиджак! — приказал старший над людьми в сапогах.

Доктор Клейн с удивлением посмотрел на него через очки. Он не понял, чего от него хотят. Старший пояснил:

— Мы вас побреем, господин редактор. Чтобы пиджак и воротничок не мешали, их надо снять. Верно, камрады?

Камрады радостно захохотали. Доктор Клейн понял, в чем дело. В журнале он постоянно называл лидера этих людей парикмахером. Так же его изображал карикатурист фон Шпанзатель, с бритвой в высоко поднятой руке. Читатели сме-

ялись. Доктор Клейн знал, что и его фельетоны, и карикатуры слишком злы и желчны, но он не считал сатиру преступлением. Противники тоже не щадили его в своих изданиях, они изображали Клейна в виде черта с курчавыми волосами, огромным носом и толстыми губами, хотя у него был небольшой нос, тонкие губы и прямые волосы. Он спокойно к этому относился. На то и существуют сатирические журналы, чтобы несколько преувеличивать. Но молодчики в сапогах считали иначе. Заметив, что доктор Клейн не спешит выполнить приказ, один из них подошел и с размаху ударил его по лицу. Доктор Клейн упал и разбил голову о пивную бочку. Его не били никогда в жизни, и от первого удара он сразу потерял присутствие духа. Сейчас его убьют, подумал он. Но чем дольше его избивали, чем острее становилась боль, тем сильнее его тело цеплялось за жизнь. Он падал, а его снова и снова поднимали и продолжали наносить удары.

— Застрелите меня! — попросил он.

Молодчики в сапогах опять захохотали, его просьба показалась им очень смешной. Нет, они застрелят его в другой раз, когда посчитают нужным. Пока они его только немножко «побреют». Они будут бить, пока он не выдаст им своего друга, еврейского прислужника фон Шпанзателя.

Несмотря на боль, доктор Клейн вздрогнул, услышав имя друга. Когда все только начиналось,

фон Шпанзатель хотел усадить его в свой спортивный двухместный автомобиль и увезти за границу, в Париж.

Но доктор Клейн отказался бежать. Он допускал, что его издание могут закрыть, но не верил, что ему самому сделают что-нибудь плохое. Он не представлял себе, что насмешки и карикатуры могут кого-то так разозлить. В стальных глазах фон Шпанзателя сверкнули гнев и презрение.

— Беда таких, как ты, в том, что вы не знаете нас, немцев, — сказал он. — Вы смотрите на нас еврейскими глазами. А я-то знаю свой народ... До свидания!

Это были последние слова, которые доктор Клейн услышал от друга и единомышленника. Он вспомнил их теперь, когда на него сыпались удары резиновых плеток. Он клялся, что его друг давно в Париже, но ему не верили, продолжали бить и требовать, чтобы он сказал, где тот скрывается. Доктор Клейн никогда не думал, что его слабому телу, никогда не знавшему тяжелой физической работы, придется вынести такие мучения.

К издателю крупной либеральной газеты Рудольфу Мозеру пришли не молодчики в сапогах, а важные люди с письменным приказом. Его не били, но посадили в тюрьму вместе с ворами и пьяницами, чтобы защитить от разбушевавшихся народных масс, которые хотят отомстить ему за измену родине.

Рудольф Мозер утверждал, что ему нечего бояться и он не нуждается в защите. В конце концов, он может уехать за границу. Ему пообещали, что его выпустят, но только если он подпишет бумагу, что его издание переходит в руки правительства. Госпожа Мозер побежала к доктору Цербе, который имел теперь большое влияние на людей в сапогах. Разве он не был частым гостем ее салона, разве ее муж его не поддерживал? Доктор Цербе отказался ее принять. Он уже стал редактором газеты, которая принадлежала Рудольфу Мозеру. Доктор Цербе как раз сидел в его кабинете за огромным столом красного дерева, и ему совсем не хотелось видеть госпожу Мозер, которая пришла ходатайствовать за супруга. У доктора Цербе не было на то ни мужества, ни желания.

— К сожалению, доктор Цербе занят, — сказал ей, отводя глаза, служащий редакции, бывший служащий Рудольфа Мозера.

Еще сильнее доктор Цербе был занят тогда, когда к нему пришла жена его старого товарища по университету доктора Клейна. Она ничего не знала о муже, с тех пор как его среди ночи увели из дома.

На окнах доктора Фрица Ландау в Новом Кельне красной краской написали, что он еврей, поэтому ему можно лечить только своих единоверцев. Кончилась сладкая жизнь, больше он не будет своими еврейскими руками при-

касаться к арийским женщинам, бесчестить маленьких девочек и сосать кровь немецких рабочих. Арийцам нельзя заходить в его проклятый грязный кабинет. Старой Иоганне молодчики в сапогах приказали уйти из его дома, не пристало арийке служить грязному еврею. Но сгорбленная от старости женщина прогнала их, заявив, что, пока она жива, она не оставит господина доктора. Они обозвали ее еврейской шлюхой и убралась.

На дочь доктора устроили облаву, искали ее по всему городу, во всех домах Нового Кельна, где она могла скрываться у рабочих. Каждую ночь приходили к ее отцу и устраивали обыск, в лаборатории перебили все пузырьки с лекарствами. В конце концов старого доктора арестовали, чтобы держать его под замком, пока она не явится сама. Она пришла, и его отпустили. Седой доктор с утра до вечера бродил по улицам Нового Кельна с непокрытой головой и тяжелой палкой в руке. Теперь у него было много времени для прогулок. Но он больше не останавливал детей, чтобы объяснить им, как правильно дышать. Он шел, опустив глаза, и коротко отвечал на приветствия. Некоторые еще здоровались с ним.

— Доброе утро, — бросал он, не поднимая головы.

Если мать пыталась рассказать о болезни ребенка, он отмахивался палкой.

— Никаких разговоров с арийцами, — отвечал он. — Запрещено, запрещено...

Даже в Еврейской Швейцарии молодчики в сапогах на всех магазинах написали «Jude», хотя никаких магазинов, кроме еврейских, там не было. Это слово красовалось на лавках, где продавалось кошерное мясо, на стенах синагог и на книжном магазине реб Эфраима Вальдера. С хозяев потребовали по одной марке за краску и работу. На Гамбургер-штрассе слово «Jude» было написано не только на всех дверях и окнах, но и на памятнике Мендельсону. Философ печально и мудро смотрел на пятно краски. Толпа любопытных собралась на Ландсбергер-аллее, когда парни в сапогах нагрянули к Соломону Бураку. Весь район прекрасно знал магазин, где можно было купить все от свадебного платья до савана. Зеваки сбежались смотреть бесплатное представление. Люди в сапогах не только написали на каждой витрине «Jude», но еще нарисовали на стене огромную шестиконечную звезду, чем сильно развеселили публику. Когда работа была закончена, они вошли внутрь. Соломон, как всегда, не удержался от шутки:

— Сколько я вам должен, господа? За каждое окно отдельно или за всю работу сразу?

Ита дрожала.

— Соломон, замолчи! Шлоймеле!

Но Соломон не остановился:

— Еще и звездочку нарисовали. Это ведь тоже чего-то стоит, верно?

С наигранным почтением он отсчитал деньги. Парни взяли их, но уходить не спешили.

Йонас Зелонек решил, что пора вмешаться. Он говорит по-немецки не хуже, чем они, и был на фронте.

— Чем могу служить, господа?

Но Соломон Бурак отодвинул зятя в сторону, как ненужную вещь.

— Господам, наверно, здесь неудобно? Извольте пройти в кабинет.

Господа вошли за ним в заднюю комнатку, которую Соломон называл кабинетом. Бурак сразу приступил к делу. Он знает, что у него полно врагов. Он пожаловался на конкурентов и недобросовестных покупателей, которые не хотят платить по кредитам. Понятно, что «господа» не откажутся взять его под свою защиту, ведь они всегда так поступают.

— Надо жить и людям помогать, — вспомнил он любимую фразу.

Они тоже придерживались этого принципа. Соломону было не привыкать давать взятки. Он ловко сунул «господам» кругленькую сумму и попросил присылать в магазин жен и подруг.

— Буду очень рад. Имеются последние модели от Малех-Амовеса*.

* Малех-Амовес — ангел смерти.

Господа пообещали присылать жен и подруг и с достоинством удалились.

— Ша, тихо, — сказал Соломон жене и зятю. — Червонец туда, червонец сюда, Бог пропасть не даст. Если Он не пошлет денег, так пошлет холеру...

Не так любезно люди в сапогах обошлись с соседом и конкурентом Бурака Людвигом Кадишем.

Людвигу Кадишу очень не хотелось, чтобы на его магазине написали, что он еврей.

— У меня железный крест! — кричал он. — Четыре года на фронте! Вот мой мундир, в дырах от пуль.

На толпу страстная речь господина Кадиша произвела впечатление, но люди в сапогах только рассмеялись. Подумаешь, любой еврей может купить за несколько марок железный крест и повесить себе на грудь. Но тут Людвиг Кадиш сделал то, чего никто не ожидал. Он вынул стеклянный глаз и поднял его над головой, чтобы всем было видно.

— Это я, по-вашему, тоже купил?

Люди в сапогах сразу заговорили по-другому. А вот это уже выступление против власти, это агитация и вражеская пропаганда. Придется им проучить наглеца. Хоть стеклянный глаз, хоть железный крест, еврей всегда останется евреем. Этот чертов Кадиш — один из тех, кто пил кровь немецкого народа, обманывал и грабил, и он не бу-

дет приказывать верным сынам отечества, что им делать. Они написали на его магазине не просто «еврей», но «грязный еврей», сорвали с него железный крест, потому что для железного креста унижение висеть на груди еврея, и велели убрать с витрины мундир, а потом отправляться с ними на проверку. Людвиг Кадиш плакал, слезы текли даже из пустой глазницы.

— Железный крест! — рыдал он. — Четыре года на фронте!

Соломон Бурак больше не мог на это смотреть. Кадиш постоянно ругался с ним, говорил, что его надо отправить обратно в Польшу, кичился своим немецким происхождением, но сейчас это не имело значения. Он еврей. Пусть немецкий еврей и, конечно, дурак дураком, как все немчики, но Соломон не допустит, чтобы гои над ним издевались. Он быстро, незаметно для других подмигнул старшему. Тот все понял и отменил приказ.

— Оставаться на месте! — бросил он Кадишу. — И уплатить десять марок, по марке за надпись.

Людвиг Кадиш еще не понял, чего от него хотят, а Соломон Бурак уже отсчитал за него десять марок и намекнул старшему, что с ним, Соломоном, всегда можно договориться, если что, а пока лучше бы ему забрать своих людей и уйти. Кадиш вытирал стеклянный глаз и причитал над своим магазином, как над покойником:

— Дожил... «Еврей» написали!

— Не понимаю только, зачем они написали это у меня, — сказал ему Соломон. — И так на вывеске написано «Соломон Бурак», ясно, что я из Мелеца, а не из Потсдама...

Доктора Карновского не арестовали, но запретили, как всем врачам-евреям, принимать немецких женщин. Он успокаивал себя тем, что он может практиковать еще в дипломатической колонии, но ему дали понять, что этого делать не следует. Нельзя запретить семьям дипломатов у него лечиться, но ему запрещают их лечить, пусть оставит это врачам-христианам, а сам лечит евреек. Клиника, которую доктор Карновский выкупил у наследников профессора Галеви, стала бы убыточной. Конкуренты намекнули, что готовы за небольшую сумму приобрести ее с инструментом, мебелью и всем, что в ней есть. У Карновского не было выбора. Он недавно закончил в клинике ремонт, установил новейшее оборудование, но пришлось уступить за десятую часть настоящей цены. За годы труда он получил пачку бумажных денег, с которыми не знал, что делать. Когда любой может безнаказанно посягнуть на еврейское имущество, опасно и хранить их дома, и положить в банк.

Машину он тоже хотел продать. На что она ему, если он лишился практики? Но шурин Гуго Гольбек не позволил.

Теперь Гуго Гольбек был с теми, в сапогах. Он подружился с ними в пивной Шмидта на Потсдамер-плац, куда заглядывал каждый раз, когда удавалось выпросить у зятя денег. Как обер-лейтенант он получил очень важное задание обучать военному делу молодых людей, не служивших в армии. Он учил их ходить строевым шагом, стрелять и колоть штыком. Они собирались за городом в укромных местах. Плата была ничтожная, но Гуго был счастлив. Он снова отдавал приказы, водил взвод в атаку и вдыхал любимый запах пороха. Когда люди в сапогах пришли к власти, он перестал скрывать, что он тоже один из них. Теперь он с гордостью носил коричневую рубашку с нашивкой штурмовика на рукаве. Он даже дома, перед матерью, ходил в новой форме, а сестры и зятя стал избегать, как чумы.

Он больше не нуждался ни во французском коньяке, ни в сигаретах, ни в денежных подачках. У штурмовика Гуго Гольбека было все, что надо: парады, салюты, сапоги и галифе. Раньше он только дома мог достать револьвер, почистить и спрятать, а теперь носил его в открытую, и даже армейский бинокль вешал на шею, когда выходил на улицу. Не было никакой корысти встречаться с зятем, горбоносым докторишкой, который всегда над ним смеялся. Гуго больше знать не хотел ни Карновского, ни его растрепанную черноволосую сестру, помешанную на романах и стихах, ни

Терезу. О Егоре он иногда думал, но быстро вытравил его из памяти. Его голова была занята другим. Единственное, что привязывало его к дому доктора Карновского, это машина.

Она давно вызывала в нем бешеную зависть. Он мог простить зятю все: роскошный дом, клинику, египетские сигареты и французский коньяк, но только не машину. Гуго Гольбек с ума сходил от такой несправедливости. У еврея, к тому же скверного водителя, который никогда не ездит быстрее шестидесяти километров в час, есть автомобиль, а немецкий обер-лейтенант, который знает двигатель как свои пять пальцев и на пустой дороге может гнать под сто двадцать, должен ходить пешком. А теперь машина была особенно нужна, она очень бы подошла к его положению. И у женщин он стал пользоваться большим успехом. Они его боготворили, красавца штурмовика в униформе. Машина пригодилась бы, чтобы катать подружек. У зятя дорогой автомобиль, «мерседес», он недавно поменял старую модель на новую. Гуго извелся, мечтая о машине.

Сначала он не решался поговорить о ней с зятем. Он даже не отваживался явиться к нему в форме, стеснялся, но потом стыд исчез. К тому же он знал, что машину у Карновского все равно скоро отберут. Если он, Гуго Гольбек, не сделает этого вовремя, то сделает кто-нибудь другой, а это было бы величайшей несправедли-

востью. Ведь он как-никак брат Терезы, у него больше прав. А стесняться нечего. Этот чертов Карновский неплохо нажился на немецком народе. Даже на войне нашел себе теплое местечко, не то что он, Гольбек. Да он вообще весь род Гольбеков опозорил, женившись на Терезе, примешал к чистой крови Гольбеков еврейскую кровь. Хватит ему жировать, хлестать французский коньяк, курить дорогие сигареты и разъезжать на машине. Вот Гольбек, немецкий офицер, не мог лишнего пфеннига потратить, но пришли другие времена. Пора уже Гуго Гольбеку ездить на машине, он не допустит, чтобы ее увели у него из-под носа.

Однажды вечером он надел форму и отправился к зятю. Чеканя шаг, чтобы все слышали, уверенно прошел по мощеной улице, но возле садика перед домом мужество его покинуло. Он долго не решался открыть калитку. Сначала посмотрел на окно Егора. Особенно стыдно было перед ребенком. Окно не горело, значит, мальчик спал. Гуго почувствовал облегчение. Посмотрел на окно в спальне Терезы. Перед сестрой тоже было стыдно, хоть и не так, как перед племянником. Окно тускло светилось. Гуго долго ходил перед домом вперед и назад, насвистывал и пытался заставить себя войти. Он презирал себя за трусость. Наконец окно Терезы погасло. Гуго выкурил несколько сигарет подряд, подождал еще,

чтобы сестра успела заснуть, и неуверенно позвонил. Тихим «хайль» он по привычке приветствовал испуганного зятя, когда тот осторожно приоткрыл дверь. С минуту Гуго покашливал, переминаясь с ноги на ногу.

— Кажется, погода разгулялась, — пробормотал он наконец, не зная, с чего начать разговор.

Доктор Карновский не ответил, только пронзил его взглядом умных черных глаз. Моргая белесыми ресницами и вставляя через слово «верно» и «ну вот», Гуго стал объяснять, что хотел бы на несколько дней взять машину. Ну вот, она же доктору Карновскому сейчас все равно не нужна, верно? А ему очень нужна, ну вот, у него намечается важная поездка по делам. Он же теперь занимает высокую должность, верно?

Гольбек глупо улыбался и ждал ответа. Пусть зять хоть что-нибудь скажет, пусть любое слово нарушит звенящую тишину вечернего дома. Гуго Гольбек был готов услышать что угодно, лишь бы чертов еврей прекратил смотреть на него пронизательным взглядом черных глаз. Но чертов еврей молчал и осматривал его от начищенных сапог до белобрысого солдатского ежика на голове. Гольбек не выдержал взгляда и покраснел. Доктор Карновский достал из кармана ключи от машины и положил на стол.

— Надеюсь, вы не в обиде, господин доктор, — проямлил Гуго с глупой улыбкой.

— Когда человек в сапогах приходит и берет, что ему надо, какая разница, в обиде или не в обиде? Приказ есть приказ, господин штурмовик, — ответил Карновский.

Гуго Гольбек понес что-то о долге, исторической необходимости и законе времени. Он набрался этих слов от уличных ораторов. Карновский не стал слушать.

— Спокойной ночи. — И он вышел из кабинета.

Гуго Гольбек почувствовал себя жалким вымогателем. Но едва он сел за руль и вдавил в пол педаль газа, как обо всем забыл. Запах бензина пьянил, как чудесный аромат.

— Наглый еврей, — бормотал он сквозь зубы. Его бесило, что зять видит его насквозь.

На другой день доктор Карновский сел на автобус и поехал к родителям. Довид был поражен, ведь они не виделись столько лет. Он растерянно стоял перед сыном. Георг крепко обнял отца.

— Незачем больше сердиться друг на друга, — сказал он с грустной улыбкой. — Теперь мы все равны, мы все евреи.

Довид Карновский погладил сына по щеке, как ребенка, который провинился и пришел просить прощения.

— Держись, сынок. Будь сильным, как я, как наш народ, — сказал он. — За века евреи привыкли ко всему. Мы все перенесем.

В Гимназии имени Гете, где учился Георг Карновский, новый директор доктор Кирхенмайер провел большие изменения.

Во-первых, он приказал служащему Герману снять висевший в актовом зале портрет Гете и повесить другой портрет. Старик во фраке и завитом парике, мудро улыбаясь, много лет смотрел со стены, но теперь его место занял человек в сапогах, с широко раскрытым, кричащим ртом и черными усиками щеточкой. Во-вторых, доктор Кирхенмайер приказал, чтобы учителя по-новому здоровались с учениками. Теперь, входя в класс, они должны были вытягивать вверх руку, а ученики в ответ должны были делать то же самое. В-третьих, директор обратил самое пристальное внимание на гимназиста Карновского. Он велел ему садиться в классе отдельно от других учеников, чтобы Егор знал свое место в новой, возрождающейся стране. Став директором, доктор Кирхенмайер по-прежнему преподавал биологию. Он любил свой предмет, и дополнительная плата за учебные часы была не лишней. Когда он, войдя в класс, впервые вскинул руку в приветствии, Егор Карновский вместе со всеми отсалютовал в ответ, но доктор Кирхенмайер приказал ему опустить руку.

— Карновский, а ты будешь только говорить «здравствуйте», как обычно, — сказал он, загадочно улыбнувшись.

Дома Егор отказался от обеда. Мать начала выпрашивать, что случилось, но он не отвечал. Егор вообще не любил рассказывать, что было в школе, он считал, что это его дело. Когда отец захотел проверить его пульс и посмотреть горло, он и вовсе разозлился.

— Отстань! — крикнул он, вырвав руку. — Я здоров!

Тереза покраснела:

— Егорхен, как ты разговариваешь с отцом?

Егор убежал к себе в комнату. Доктор Карновский понял, что у сына начались неприятности. Он хотел с ним поговорить, но не знал, как это сделать. Он не мог повторить сыну то, что услышал от своего отца.

С каждым днем доктор Кирхенмайер все яснее давал понять гимназисту Карновскому, что наступили новые времена. Егор привык считать себя Гольбеком, как внушал ему дядя Гуго, но директор думал иначе. Нет, он Карновский, единственный в классе с такой фамилией. На уроках Закона Божьего его, как и раньше, выпроваживали из класса, а на остальных занятиях он должен был теперь сидеть на задней парте, как последний двоечник. Но даже двоечники стали его сторониться. Ну и что, что они плохо учатся? Зато

они истинные арийцы, им можно приветствовать учителя, вытягивая вверх руку, а Карновскому нельзя. Еще они могут надевать униформу и маршировать на школьном дворе под команды учителя гимнастики, как настоящие солдаты, только Каровский не может, так что лучше держаться от него подальше.

Стоя в углу двора, когда остальные маршировали, Егор Карновский чувствовал себя прокаженным. Одни мальчишки смотрели на него с презрением, другие вообще не хотели смотреть. Гордо, с высоко поднятыми головами, они чеканили шаг и салютовали друг другу. Гимназистки восхищенно глазели на них с улицы. Школьникам даже выдавали настоящие винтовки, когда учитель гимнастики проводил урок военного дела. Егору Карновскому было обидно до слез. Самое ужасное, что он не мог понять, за что ему такое наказание и унижение.

Доктор Кирхенмайер, правда, часто говорил о том, что предатели вонзили нож в спину армии, а теперь их постигло справедливое возмездие. Мальчишки при этом поворачивали головы и смотрели на последнюю парту, где сидел Карновский. Но Егор не считал себя виновным в преступлениях против отечества, никому он ножа в спину не вонзал. Однако представить себе, что доктор Кирхенмайер просто-напросто лжет, он тоже не мог, ведь и в газетах писали то же самое. Егору хотелось с кем-нибудь об этом поговорить,

но он не знал с кем. Мать его не понимала. Он не раз пытался ей рассказать, что его не допускают к урокам военной подготовки, но она только отмахивалась и отвечала, что не надо принимать такие мелочи близко к сердцу, наоборот, пусть радуется. Эти занятия вредны, а он и так слабенький.

— Да что ты чушь несешь? — грубил Егор, огорченный, что ему напоминают о его слабом здоровье.

С отцом говорить не хотелось. Его, как и всех Карновских, Егор с детства не воспринимал как близкого человека. Но доктор Карновский и сам понимал, что ребенку приходится переживать в это жестокое время, и, как мог, пытался облегчить его страдания. Он высмеивал сумасшедших идиотов и их нелепые учения. Пусть Егор на них плюнет, как он, его отец. Вместо того чтобы думать о муштре и приказах, пусть побольше читает и прилежно учится. Но Егор не хотел читать и учиться. Уже потому, что все Карновские, и отец, и бабушка, и тетя Ребекка, придавали учебе такое значение, он ее ненавидел.

Егор пошел к дяде Гуго. Хотя отец называл его идиотом в сапогах и вором, укравшим машину, он все равно продолжал любить дядю. Несколько раз он не застал его, но приходил опять и опять, и наконец-то, поздно вечером, Гуго оказался дома.

— Дядя Гуго! — бросился к нему Егор с порога.

Дядя холодно посмотрел на племянника. Он тоже соскучился, но у него были сомнения, может ли штурмовик встречаться с ребенком, в котором кровь Гольбеков смешалась с кровью Карновских.

— Ну, как поживаешь? — спросил он с нарочитым прусским акцентом.

— Да так себе, — невесело улыбнулся Егор.

Он принялся изливать перед дядей душу, рассказывать о своих несчастьях и обидах. Дядя Гуго сидел в кресле, вытянув ноги, и чистил револьвер.

— Свинья! — рычал он, слушая рассказ Егора о докторе Кирхенмайере. — Дерьмо собачье!

Сперва он разозлился на Кирхенмайера, который отравлял жизнь сыну его сестры, Гольбеку. До других ему дела не было, он не задумывался о них, как не задумываются над судьбой коровы или курицы, которую собираются зарезать. Но тут шла речь о его родственнике, и он вышел из себя. Он даже захотел сесть в машину, поехать в гимназию и доходчиво объяснить этому старому куску дерьма, что лучше бы ему отцепиться от мальчишки, а иначе придется иметь дело с ним, штурмовиком Гуго Гольбеком. Однако он тут же вспомнил о дисциплине. Как образцовый военный, он знал, что у каждого солдата есть командир, которому надо беспрекословно подчиняться, так устроена жизнь. Приказ свыше — это не шутки, тут даже штурмовику лучше не совать носа. Директор гимназии ревностно выполняет свои

обязанности, а ведь Егор и правда не чистых кровей. Он перестал бормотать ругательства.

Конечно, глупо говорить, что Егор вонзил нож в спину отечества, сказал он племяннику. Очень неприятно узнать, что Егора обижают в школе, что его, Гольбека, хорошего парня, не допускают до занятий. Но он должен понять, что он страдает не из-за своих недостатков, а из-за отца, из-за того, что в нем чужая кровь. Так устроена жизнь, на войне невинный часто расплачивается за виновного, и ничего с этим не поделаешь.

Закончив логичную, убедительную речь, дядя Гуго встал и принялся деловито перебирать бумаги на столе, чтобы показать, что разговор окончен. Все, штурмовик Гуго Гольбек занят, у него есть заботы поважней. У него мелькнула мысль, не отвезти ли Егора домой на машине, но он решил, что не стоит. Не хватило духу сесть при ребенке в машину его отца. К тому же штурмовику не годится ездить по улицам с еврейским мальчиком. Правда, у Егора не еврейские черты лица и голубые глаза, а если бы не черные волосы, он выглядел бы, как настоящий Гольбек, но все же надо быть осторожней. Кто знает, что произойдет в ближайшее время.

— Извини, я занят. — И, попрощавшись с племянником за руку, он быстро выпроводил его за дверь.

Егор ехал домой разочарованный и расстроенный еще сильнее. В целом мире не было никого,

кто мог бы его понять и пожалеть. Он сидел в автобусе, забившись в угол. Было страшно, что кто-нибудь может распознать его изъян, примесь еврейской крови, и в глаза перед всеми оскорбить.

Так увечный, горбатый или хромой, постоянно боится насмешек. Вместе с обидой в нем росла злость на отца. Это все из-за него. Слова дяди Гуго, что невинные часто расплачиваются за виновных, сверлили мозг. Если бы не семейство Карновских, Егор был бы как все. С отца злость перекинулась на мать. Зачем она связалась с Карновскими? Егор понимал, что глупо об этом думать, все равно ничего не изменишь, но не мог побороть чувство обиды на родителей. Вернувшись домой, он быстро проскользнул к себе в комнату. Мать принесла ему стакан молока.

— Егорхен, ты где пропадал? Я волновалась за тебя. В такое время...

— А я-то тут при чем? — ответил он дерзко. — Это из-за меня, что ли, время такое?

Еще более дерзко он повел себя, когда отец пришел пожелать ему спокойной ночи.

— Где ты был? — спросил Карновский.

— Да так, парад смотрел, — соврал Егор. — Знаешь, красиво, факелы, флаги...

Гнев сверкнул в черных глазах Карновского, ему не понравилось то, что он услышал. А Егор был доволен, что стрела попала в цель, даже его боль ненадолго утихла.

Доктор Кирхенмайер продолжал делать свое дело. Он всем показал, кто теперь в гимназии хозяин. Он показал это учителям, которые продолжали жить в прежних временах, и Егору Карновскому, единственной паршивой овце в стаде. Доктор Кирхенмайер хотел отыграться за прошлые обиды и унижения.

Педант с лицом цвета остывшего рыбного бульона, прозрачными, круглыми глазами и ржавыми волосами, доктор Кирхенмайер не мог добиться от учеников ни любви, ни уважения. Во всех школах, где ему довелось преподавать, они всячески издевались над ним. Бывало, старшеклассники так доводили Кирхенмайера, что он бежал за помощью к директору. Но директор, вместо того чтобы наказать распоясавшихся учеников, почему-то обвинял учителя, что он не в состоянии справиться с классом.

— Что я могу сделать, если они так воспитаны, господин директор? — чуть не плакал доктор Кирхенмайер.

— Но ведь другие учителя могут, — возражал директор. — Только у вас не получается, герр доктор.

Доктор Кирхенмайер перепробовал все на свете, пытался использовать и кнут, и пряник, даже шутил на уроках, чтобы подсластить горькую пилюлю науки. Но ученики будто сговорились не смеяться над его шутками, только равнодушно смотре-

ли на учителя. Никто даже не улыбался. А вот когда он был серьезен, они начинали хохотать. Они смеялись не над его шутками, а над ним. Кирхенмайер был несчастен. Ведь он ничем не хуже других учителей, не менее образован, у него докторская степень. Он много читал, не только научные книги, но и философские, а богословская литература вообще была его слабостью. Он даже втайне сам пописывал. Доктор Кирхенмайер прекрасно знал классиков и не упускал случая процитировать на уроке кого-нибудь из них, особенно Гете, которого чуть ли не полностью помнил наизусть. Но ничего не помогало, невоспитанные ученики не ценили его достоинств. А ведь они уважали других учителей, которые доктору Кирхенмайеру в подметки не годились.

Он переходил из одной школы в другую, попробовал даже преподавать в женском лицее. Он думал, что у девочек сможет добиться уважения, но не тут-то было. С ними оказалось еще хуже, чем с мальчиками. Все его старания пропали даром. Он строил из себя галантного кавалера, чтобы понравиться ученицам, а они хихикали над ним. Не было покоя и в учительской, куда он приходил на перемене, чтобы выкурить сигару и съесть бутерброд.

Учителям тоже нравилось подшучивать над ним. Они смеялись над его сигарами, бутербродами, зонтиком и костюмом.

У доктора Кирхенмайера был свой способ одеваться, питаться и курить, очень хороший способ для того, кто живет на учительское жалование. Когда нужно было идти на урок, он плевал на сигару и прятал ее в карман жилетки, чтобы докурить на следующей перемене. Эти окурки, когда он доставал их и совал в рот, выглядели очень неаппетитно. Сигары он покупал дешевые, и учителя постоянно говорили, что доктор Кирхенмайер завонял всю учительскую.

— Доктор, а вы когда-нибудь курили целую сигару или вы всегда окурки покупаете? — спрашивали любимчики гимназистов.

Доктор Кирхенмайер с достоинством отвечал, что бережливость — величайшее достоинство культурного человека. Но учителя так не считали и продолжали смеяться. Они смеялись, когда он разворачивал вышитую салфетку и доставал тоненький бутерброд с какой-нибудь дешевой дрянью, смеялись над его засаленным пиджаком, который он носил много лет, чуть ли не со свадьбы, и время от времени обшивал каймой разломаченные кромки. Но больше всего смеялись над его дырявым зеленым зонтиком. Доктор носил его в любую погоду, даже в жаркие летние дни, когда на небе не было ни облачка.

— Ничего нельзя знать наперед, господа, — говорил Кирхенмайер. — Дождь посылает Бог, и человек всегда должен иметь с собой зонт, если

он не хочет промокнуть. Или вы скажете, что я не прав?

— Ну что вы, герр доктор, — отвечали учителя.

Они внимательно рассматривали зеленый зонтик, прикидывали, сколько он может стоять, проверяли, как он открывается и закрывается, что совсем не шло ему на пользу. Молодые учителя придумали прятать зонтик, и доктор Кирхенмайер подолгу его искал, когда собирался домой. Он страдал, оттого что не мог найти общего языка ни с учениками, ни с коллегами. Сначала он пытался произвести впечатление эрудицией, но вскоре увидел, что учителей интересует другое. Они часто вели в учительской непристойные разговоры. Молодые хвастались победами над прекрасным полом, пожилые советовались о лекарствах, помогающих вернуть мужскую силу. Доктору Кирхенмайеру было нечего сказать. Сдержанный, скупой и непривлекательный внешне, он никогда не пользовался успехом у женщин. У него не было никого, кроме жены, костлявой, властной и некрасивой. Все же он пытался поддерживать неприличные беседы. Они не доставляли ему ни малейшего удовольствия, но хотелось понравиться коллегам. Однако коллеги смеялись над ним, а не над анекдотами, которые он рассказывал.

— Герр доктор, вы потеете от своих анекдотов, — говорили ему. — У вас воротничок мокрый.

Это была неправда. Голубоватый резиновый воротничок, который он носил ради экономии, был так же сух и чист, как утром, после того как фрау Кирхенмайер вымыла его с мылом. Это была всего лишь злая шутка, и доктор Кирхенмайер опять был унижен. Никто не проявлял к нему уважения. Он пытался главенствовать хотя бы дома, но жена не больно-то позволяла ему разыгрывать из себя тирана. Наоборот, это она держала его в ежовых рукавицах и без конца поучала, что и как делать.

Когда началась борьба с предателями и международными банкирами, воткнувшими нож в спину отечества, доктор Кирхенмайер почувствовал симпатию к людям в сапогах.

Их расовую теорию он, конечно, не принял. Как биолог он понимал ее несостоятельность. Его, педанта и начитанного человека, знатока классической литературы, раздражала их безграмотная речь. Но из-за инфляции доктор Кирхенмайер лишился сбережений. Все, что ему удалось накопить, потому что он годами носил один и тот же пиджак и резиновый воротничок, курил дешевые сигары и ел бутерброды из черствого хлеба, пропало, когда деньги превратились в бесполезную бумагу. Это был тяжелый удар. Доктор Кирхенмайер без конца подсчитывал, сколько удовольствий он мог бы получить за сэкономленные деньги. Чем больше он считал, тем больше ему становилось.

И он поверил, что в его бедах виноваты международные банкиры из Западного Берлина. Все из-за их махинаций. Это на его деньги они понастроили дворцов и закупили своим толстым женам дорогих украшений. А люди в сапогах призывали бороться с банкирами, не хотели смириться с национальным унижением, и вечно униженный и несчастный доктор Кирхенмайер легко нашел с ними общий язык.

Пока они были в меньшинстве, он не отваживался встать на их сторону. С волками жить — по-волчьи выть, считал он, не следует выступать против власти. Но чем популярнее становились люди в сапогах, тем смелее доктор Кирхенмайер выказывал к ним симпатию. А когда они одержали решающую победу, он сразу записался в их ряды. Он сделал это тайно, кто знает, как карта ляжет, но не прогадал. Когда они полностью захватили власть, они хорошо расплатились с доктором Кирхенмайером, сделав его директором гимназии.

Это был величайший день в его жизни. Раньше все директора, будто сговорившись, пеняли ему, что он не может справиться с классом, а теперь он сам стал директором. Он сидел в директорском кабинете, а учителя вытягивались перед ним по струнке, ожидая приказов.

И доктор Кирхенмайер не скупился на приказы, он каждый день выдумывал что-нибудь новое.

В первый раз, когда он приказал Герману снять портрет Гете, его руки дрожали, он чувствовал, что совершает святотатство. Но он пошел на это, чтобы угодить новой власти и отблагодарить ее за добро, которое она ему сделала. А потом он вошел во вкус и быстро убедил себя в собственной правоте и непогрешимости.

Больше над доктором Кирхенмайером не смеялись. Он носил на лацкане старого зеленого пиджака особый значок. Над обладателем такого значка смеяться не решался никто. Наконец-то ученики стали его слушать, а он, чтобы купить их расположение, позволил им участвовать в парадах, выделил много времени на занятия военной подготовкой и начал преподавать им новую расовую теорию, хоть и считал ее глупой. Школьникам особенно нравилось, что он применял новое учение к гимназисту Карновскому, единственной черной овце в белом стаде. Из книг по психологии доктор Кирхенмайер знал: ничто не способно так возвысить человека, как унижение другого, ничто не доставляет такого удовольствия, как издевательство. И он выбрал жертву. Он усадил Карновского на заднюю парту и стал цепляться к нему по любому поводу. Что бы Карновский ни сказал, доктору Кирхенмайеру это не нравилось. Он то и дело упоминал на уроках новую расовую теорию о чистой и нечистой крови. Ученики прекрасно

понимали, кого имеет в виду учитель, и дружно поворачивались назад.

Больше всего их веселило, что учитель нарочно картавил, когда вызывал Карновского к доске. Доктор Кирхенмайер очень смешно выговаривал «р» в его фамилии, он слышал такое произношение у комика, когда единственный раз в жизни побывал в театре. Мальчишки хохотали, а доктор Кирхенмайер был счастлив: наконец-то его шутки стали пользоваться успехом. Свершилось то, к чему он стремился много лет. Однажды дождливой ночью, когда ревматизм не давал ему уснуть, он придумал, что интересно было бы провести урок, посвященный новой расовой теории, и показать ее положения на живой модели. Это было бы и педагогическое новшество, и хорошая демонстрация его власти. Директор ставит школу на службу государству. Эта идея, бредовая с точки зрения биологии, но очень практичная, так обрадовала доктора Кирхенмайера, что он забыл о боли и заснул крепким, здоровым сном. С утра пораньше он приступил к подготовке. Пригласил на предстоящую лекцию несколько человек из Министерства образования и репортера партийной газеты, чтобы он написал о педагогическом новшестве. Лекцию доктор Кирхенмайер решил прочитать не в классе, а в актовом зале, для всех учеников, и учителям тоже приказал явиться. Егор Карновский по привычке сел в заднем ряду.

Доктор Кирхенмайер был в приподнятом настроении. Он впервые в жизни выступал перед такой большой аудиторией. Его глаза горели, бледно-серое лицо покраснело. Он тщательно приготовился, подобрал множество цитат. Говорил он длинными, непонятными фразами, что придавало его речи налет учености. Чиновники из министерства и репортер, люди с большими заслугами перед партией и небольшим интеллектом, напряженно вслушивались, безуспешно пытаясь уловить смысл. Они понимали только, что доктор не скупится на похвалы создателям новой теории, и удовлетворенно кивали. Вдруг доктор Кирхенмайер снял очки, несколько раз протер их, выпил стакан воды и, глядя поверх голов, объявил:

— Карновский, подойти к сцене!

Все повернулись назад.

— Карновский, Карновский, Карновский! — звали мальчишки Егора, который от неожиданности и страха не мог двинуться с места.

На ватных ногах он прошел через зал и остановился перед сценой. Доктор Кирхенмайер велел ему подняться и встать возле доски, испещренной линиями, кругами и стрелками, иллюстрирующими лекцию.

— Встать вот здесь! — приказал Кирхенмайер, повернув Егора лицом к залу.

Холодная, липкая ладонь Кирхенмайера прикоснулась к пылающей щеке Егора. Он не по-

нял, чего директор от него хочет, но почувствовал недоброе. Впервые в жизни он стоял на сцене, у всех на виду. Колени дрожали, Егор боялся, что сейчас упадет. В зале поднялся шум. Доктор Кирхенмайер поднял руку, требуя тишины.

— А теперь, господа, мы проиллюстрируем наш реферат наглядным примером. Прошу внимания! Перед нами объект нашего исследования.

Доктор Кирхенмайер разошелся. Он уже говорил «мы», как опытный лектор, который призывает аудиторию принять участие в обсуждении.

Сперва он измерил циркулем и линейкой череп Егора Карновского по длине и ширине и записал цифры на доске. Он аккуратно снял все размеры: расстояние от уха до уха, от макушки до подбородка, длину носа. Егор вздрагивал от каждого прикосновения потных, холодных пальцев. Доктор Кирхенмайер объяснял, все больше воодушевляясь: товарищи и ученики могут отчетливо видеть на доске различия в строении черепов нордического и негритянско-семитского типа. Нордический, или долихоцефальный, тип — удлинненная голова, что говорит о совершенстве и превосходстве северной расы. Негритянско-семитский, или так называемый брахицефальный, тип — круглая голова с низким лбом, больше подходящая для обезьяны, чем для человека, что свидетельствует о расовой неполноценности. Однако в нашем слу-

чае особенно интересно выявить пагубное влияние, которое негритянско-семитская раса способна оказать на нордическую. Объект, который мы наблюдаем, представляет собой пример такого смешения. На первый взгляд может показаться, что стоящий перед нами объект по своему строению ближе к нордическому типу. Но это всего лишь иллюзия. Если мы рассмотрим его с точки зрения антропологии, то измерения покажут, что негритянско-семитское строение только скрыто, замаскировано нордическими чертами, чтобы, так сказать, спрятать негритянско-семитские особенности, которые в подобных случаях всегда оказываются доминирующими. Это можно видеть по глазам объекта. На первый взгляд они кажутся голубыми, но, присмотревшись, мы разглядим, что в них нет чистоты, характерной для нордической расы, они замутнены чернотой азиатских пустынь и африканских джунглей. То же самое можно сказать о волосах. Они черные, и, хоть и кажутся прямыми, в них явно присутствует способность завиваться. Что касается ушей, носа и губ, то в их строении негритянско-семитское влияние особенно заметно.

В доказательство доктор Кирхенмайер чертил на доске схемы, писал цифры и приводил цитаты из известных антропологов, используя при этом множество иностранных слов. И гости, и школьники были поражены его знаниями. Закончив с

головой Егора Карновского, он перешел к телу своей модели.

— Пусть объект разденется, — обратился он к Карновскому в третьем лице.

Егор не шелохнулся. Доктор Кирхенмайер рассердился.

— Я приказываю объекту снять одежду, чтобы слушатели могли лучше понять лекцию, — сказал он резко.

Егор не двигался. По залу пролетел недовольный ропот. Доктор Кирхенмайер подозвал служащего, одетого в униформу штурмовика:

— Камрад Герман, уведите объект, разденьте его и приведите обратно.

— Слушаюсь, камрад директор.

Несколько минут Егор Карновский боролся с Германом в кабинете рядом с актовым залом.

— Нет, — кричал он ломающимся мальчишеским голосом.

— Не глупи, а то мне придется применить силу, — убеждал Герман, который не раз получал от Карновских солидные подношения.

Егор сопротивлялся. Он не мог предстать в голом виде перед всей гимназией, ему было бы не перенести такого позора. Самое ужасное, что он был обрезанный. Он всегда стыдился того, что с ним сделал отец. Дети смеялись над ним, когда он, еще совсем маленький, купался голым. И он отбивался от Германа изо всех сил.

— Нет! — кричал он. — Нет!

В конце концов Герман разозлился. Он больше не обязан хорошо относиться к ученику Карновскому, мальчику из зажиточной семьи. Теперь он штурмовик, облаченный в униформу, и сам директор обращается к нему «камрад». Соппротивление вывело его из себя, и он начал грубо срывать с ребенка одежду. Когда он дошел до белья, Егор впился зубами ему в руку. От вида собственной крови камрад Герман совсем озверел.

— Ах ты, жиденок, я тебе покажу, как кусаться! — И он ударил Егора по лицу.

Его никогда не били, и первый же удар лишил его способности сопротивляться. Он был сломлен. Герман поднял его, как раненое животное, и вытащил на сцену. Колени Егора подгибались.

— Стоять прямо, — рявкнул Герман.

Зал взорвался от хохота. Еврейская отметина на теле Егора произвела впечатление не только на школьников, но и на гостей. Доктор Кирхенмайер сразу не стал прерывать веселья, чтобы заслужить благосклонность в глазах аудитории, но через минуту призвал к тишине и продолжил лекцию.

Дальше все шло как по маслу. Доктор Кирхенмайер доказал пагубное влияние негритянско-семитской крови на нордическую, продемонстрировав на «объекте» изгиб позвоночника, строение

грудной клетки и даже форму локтевого сустава. Затем он перешел к нижней части тела и показал на ней признаки вырождения семитской расы, к которой принадлежал объект. Мальчишки опять засмеялись, но доктор Кирхенмайер их одернул: ничего смешного, это один из вопросов научной расовой теории, и слушатели должны отнестись к нему со всей серьезностью.

Доктор Кирхенмайер мог бы еще много чего рассказать, но тут колени Егора подогнулись, и он рухнул на пол. Директор приказал камраду Герману увести объект, позволить ему одеться и отправить домой.

В тот же день вечерняя партийная газета подробно написала о замечательной лекции, которую прочел в гимназии камрад доктор Кирхенмайер. С помощью наглядных пособий он доказал пагубное влияние еврейско-негритянской крови на нордическую. Журналист расхвалил доктора Кирхенмайера как за его научные исследования, так и за передовые методы преподавания и призвал директоров всех учебных заведений последовать его примеру. Несмотря на свою скудость, доктор Кирхенмайер купил несколько экземпляров газеты и каждый из них прочитал вслух, сначала жене, а потом еще себе самому.

Егор лежал на кровати лицом к стене. Родители спрашивали, что случилось, но он не отвечал ни отцу, ни матери.

— Отстаньте от меня! — кричал он в истерике.

Ночью у него поднялась температура. Доктор Карновский приложил ему лед ко лбу, проверил пульс.

— Сынок, что с тобой? — спросил он.

— Я хочу умереть, — чуть слышно ответил Егор заплетающимся языком.

Нарушение речи не на шутку испугало Карновского, он понял, что психическое состояние ребенка под угрозой. Глаза Егора светились безумным блеском.

30

Карновским было не до порядка в доме. Двери в комнаты были распахнуты, занавесок никто не поднимал, ковров не чистил. В спертom воздухе остро пахло лекарствами и рвотой.

Доктор Карновский не отходил от сына ни на шаг. Тереза, как когда-то, надела медицинский халат и сидела возле кровати. Егор бредил, и она ловила каждое слово. Когда сил уже не было, ее заменяла Ребекка. В столовой, где перестали накрывать, потому что каждый наскоро совал в рот, что попадалось под руку, метался растерянный Довид Карновский и прислушивался к звукам, долетавшим с верхнего этажа, из комнаты Егора.

— Помогите, Господи, сжался, — просил он не на немецком, а на родном еврейском языке.

Трудное время заставило позабыть старые обиды. Он больше не сердился на сына и приехал, как только услышал о болезни внука. Не зная, чем заняться, он завел все часы в доме*. Покончив с этим делом, он принялся читать наизусть псалмы. Тяжелые времена сделали Довида Карновского очень религиозным. Он даже забыл о литовском произношении, которого всегда придерживался, потому что считал его образцовым, и бормотал псалом за псалмом по-простому, на польский манер. Потом он прочитал молитву за здоровье больного. Старик запнулся, когда упомянул Йоахима Георга, сына Терезы, уж очень странно прозвучали в еврейской молитве чужие имена, будто в кошерной пище попался тrefной кусок. Все же он дочитал молитву до конца. Лея Карновская бегала вверх-вниз по лестнице. Она то и дело заглядывала в комнату ребенка и тихо просила Бога о милости. Она умоляла, чтобы Он помог ее внуку в беде, обещала, что сделает большое пожертвование синагоге и будет еще строже выполнять заповеди.

— Господи, родной Ты наш, защитник наш, — шептала она, подняв глаза к потолку, — услышь мои молитвы, Отец наш небесный...

На кухне распоряжалась бабушка Гольбек, готовила и мыла посуду.

* Существует обычай останавливать часы, когда в доме лежит покойник.

— Господи Иисусе, — молилась она на икону, которую служанка, покидая еврейский дом, оставила на стене рядом с фотографиями цирковых борцов и танцовщиц.

Только фрау Гольбек поддерживала в доме порядок, подметала, вытирала пыль и варила на всех кофе. Про Довида Карновского она тоже не забыла.

— Прошу вас, герр Карновский. — Осторожно, стараясь не пролить на скатерть, она подала ему чашку.

— Благодарю, фрау Гольбек! — Довид неловко принял чашку дрогнувшей рукой.

Два пожилых человека впервые встретились в доме, где лежал больной ребенок. Они стеснялись друг друга. До сих пор они ни разу не виделись, хотя и находились в близком родстве. Довид Карновский видел перед собой седую, старую, добрую женщину, заботливую бабу, полную нежности к его внуку. Внешне она была не так обеспокоена, как Лея, не забывала о доме и готовке, но было видно, что ее тоже не покидает тревога, она, не переставая, тихо молилась за мальчика. Скромно, неловко и заботливо она принесла Довиду кофе. Он не чувствовал неприязни и отчуждения ни с ее стороны, ни со стороны невестки, и ему было стыдно за то, что он много лет сторонился хороших людей, с которыми его свела судьба.

— Садитесь, фрау Гольбек, — пододвинул он стул. — Мне так неудобно, что вы из-за меня беспокоитесь.

Он чуть не назвал ее сватьей.

— Что вы, мне очень приятно, герр Карновский. — Она долила в его чашку сливок.

Вдова Гольбек говорила совершенно искренне. Ей нравился этот пожилой господин, высокий, крепкий, с седоватой бородкой клинышком, живыми черными глазами и умным, благородным лицом. Ему очень шли элегантный пиджак, белоснежная рубашка, темный галстук и серебряное пенсне на шнурке, которое он надевал, когда читал. Говорил он чисто и очень грамотно, как проповедник. И, как проповедник, украшал речь поговорками и цитатами. Фрау Гольбек было неловко, что она испытывала неприязнь к такому достойному человеку. Когда заговорили о том, что происходит в государстве, она чуть не сгорела со стыда. Обоим не хотелось говорить об этом, как о чем-то постыдном, но невозможно избежать того, что витает в воздухе. Фрау Гольбек быстро скрылась на кухне, чтобы Довид не заметил, как покраснели ее морщинистые щеки.

Ей было стыдно за свою страну, свой народ, сына Гуго и особенно за себя, за то что она, как все вокруг, до сего дня ненавидела таких людей, как Карновский.

Когда город был полон ораторских речей, факелов, оркестров и прокламаций, она тоже пошла и проголосовала за тех, кто обещал счастье, победу и хорошую жизнь. Зять очень сильно помогал ей, но она не могла смириться с тем, что после войны потеряла дома, что Гуго болтается без дела, и вообще все стало хуже, чем было до того, как проиграли войну. Ей пообещали, что все будет как раньше, а может, и лучше. Даже сын говорил, что все переменится, как только страна избавится от врагов, которые предают ее и грабят честных людей. Она поверила обещаниям.

Конечно, она не считала одним из врагов зятя, врача, который никому не делал плохого и обеспечивал ее дочери достойную жизнь. Он прекрасно относился к теще и даже шурина иногда подкидывал денег. Он был на фронте. Нет, врагами были другие: жулики, спекулянты и банкиры, о которых писали в газетах, те, кто обманом выудил у народа сбережения и имущество. Никого из них она в глаза не видела, но слышала, что они повсюду. Они прибрали к рукам всю власть и подтачивают страну изнутри, поэтому надо как можно скорее с ними покончить, и все станет как до этой проклятой войны. И теперь ей было стыдно, будто она совершила преступление, о котором никто не знает, но, казалось, Довид Карновский умными черными

глазами видит ее насквозь и догадывается о тайном грехе.

С тех пор как люди в сапогах пришли к власти, вдова Гольбек повидала в городе много страшного и отвратительного, такого, чего никогда не смогла бы даже вообразить. На улицах подростки нападали на пожилых людей, не жуликов и спекулянтов, а приличных, достойных граждан, унижали их и даже избивали, а полицейские стояли и смотрели. В магазинах, где она покупала из года в год, перебили витрины и испачкали стены краской. Из клиник вышвырнули лучших врачей, у которых она лечилась, ее зятю запретили практиковать. Сын приучился сквернословить и пить, а в дом не приносил ни гроша и частенько собирал у себя таких дружков, которых в прежнее время вдова Гольбек и на порог бы не пустила. Бывало, и уличных девок приводил. Она была несчастна из-за сына, но еще больше из-за дочери.

Знакомые порвали с Терезой, подруги перестали заходить в гости, боялись встречаться с ней из-за еврейского мужа. Даже брат Гуго стал избегать единственной сестры. Еще и матери наказал пореже появляться в еврейском доме. Как же, он ведь штурмовик. Она, конечно, его не послушалась. Ничто в мире не заставило бы ее отказаться от своей плоти и крови. Но радости визиты не доставляли. Доктор Карновский почти никуда не

выходил. Однажды они шли с Терезой по улице, и к ним привязалась толпа подростков. Они угрожали и кричали, чтобы он не смел гулять с немецкими женщинами. С тех пор Карновский и Тереза старались не покидать дом. Госпоже Гольбек стоило немалых трудов уговорить дочь немного прогуляться.

И вот случилось несчастье с внуком. Никто не убедил бы госпожу Гольбек, что ее Егорхен хуже других, поэтому над ним можно издеваться. И кто это сделал? Не уличная банда, а ученые люди, доктора, директора! Это было выше ее понимания. Она завидовала мужу, который вовремя покинул этот свет. Глядя на его портрет в гостиной, она просила мужа, чтобы он скорее забрал ее к себе. Еще больше, чем перед его портретом, она изливала душу перед иконой Девы Марии в полутемной кирхе, куда она непременно заходила по дороге к Терезе. Стоя на коленях на каменном полу, она просила за несчастную дочь, за непутевого сына, за зятя, на которого свалилось столько бед, и особенно за внука, невинного ребенка, которому злые люди причинили страдания.

— Святая Дева и Господь наш Иисус, — шептала она, — спасите и сохраните бедное дитя от зла и мучений, пошлите ему добрых ангелов, чтоб они его исцелили и утешили, ведь он чист от греха, как невинный агнец...

За время болезни Егор сильно изменился, хоть и пролежал в постели всего несколько недель.

Он вытянулся, стал заметно выше, рукава стали ему слишком коротки. Голос окончательно поломался, стал по-мужски низким и совсем не подходящим слабому и худому мальчишескому телу. На щеках и подбородке появилась заметная черная порось, признак мужской зрелости, который совсем не вязался с прыщиками, разбросанными по бледной коже. На похудевшем лице крупный нос под густыми черными бровями стал еще более заметен. На тонкой шее проступил острый кадык, который прыгал вверх-вниз при каждом глотке. Когда температура спала и вернулась память, Егор попросил мать принести зеркало.

Он увидел в нем точь-в-точь такое же лицо, как рисовали в газетных карикатурах на Ициков.

— Господи, как же я погано выгляжу. Как настоящий еврей, — сказал Егор, оттолкнув зеркальце.

Тереза погладила его растрепанные волосы, сильно отросшие за время болезни.

— Ради Бога, Егорхен, не надо, — прошептала она с испугом. — Папа услышит.

Егорхен повторил те же слова гораздо громче, будто нарочно, чтобы было слышно во всем доме.

Доктор Карновский сделал все, что мог, чтобы вытащить сына. Он давал укрепляющие лекарства, чтобы поставить его на ноги, но особенно волновался за душевное состояние. Пока Егор лежал с температурой, доктор Карновский ловил и записывал каждое слово, которое он произносил в бреду. Это были бессмысленные, бессвязные слова, но Карновский сумел восстановить по ним всю картину и понять, что произошло. Язык у Егора с каждым днем заплетался все меньше, но полностью речь не восстановилась, даже когда температура пришла в норму. Он особенно сильно шепелявил, когда бывал чем-нибудь огорчен, а огорчался он из-за любой мелочи. Доктор Карновский знал, что это связано не с физическим, а с умственным расстройством. Он всеми силами старался, чтобы сын забыл о пережитом унижении. В домашней библиотеке имелись книги не только по медицине и философии, но и по психологии и психоаналитике. Вообще, Карновский, как большинство хирургов, относился к психологии с недоверием, анатомия была для него куда важнее психики. Да и некогда было читать эти книги, он покупал их только потому, что они были в моде. Но теперь он стал не просто в них заглядывать, а серьезно изучать. Мысли, которые раньше казались нелепыми, стали близки и понятны. Карновский попробовал применить описанные методы к сыну, чтобы вместе с телом исцелить и его душу.

Он раскаивался, что из-за занятости уделял Егору мало внимания. Ни работы, ни славы больше не было, остался только ребенок, и Карновский пытался спасти свое единственное сокровище. Он будет его беречь, не пустит в эту ужасную школу, но сам станет ему учителем, воспитателем и отцом, а главное — другом, самым близким другом.

— Веселее, парень, — сказал он сыну тоном, больше подходящим для приятеля, чем для отца, и слегка щелкнул его по носу.

Егор отвернулся, даже не улыбнувшись.

— Не трогай мой нос, — сказал он недовольно. — Он и так слишком длинный.

Доктор Карновский смутился. Он понял, что выбрал неверный тон, и заговорил серьезно:

— Сынок, забудь о них. Они не стоят того, чтобы о них думать. Плюнь, как я плюю на таких, как они.

Егор не ответил. В его молчании сквозило презрение и к совету отца, и к нему самому.

Нет, он ничего не забыл. Оскорбление, которое нанесли ему в школе, все время было с ним, в памяти, в мозгу, в крови. Он мысленно переживал его снова и снова, с каждым разом острее испытывая боль, унижение, муку и... удовольствие. Как больной чумою испытывает одновременно боль и наслаждение, расцарапывая язвы, так и Егор наслаждался самоистязанием. Он презирал не тех, кто унижил его, а себя. Вместо того чтобы

возненавидеть своих мучителей, он возненавидел себя самого, ту часть себя, которая послужила причиной унижения. И он мстил себе, наслаждаясь болью.

В презрении к собственной неполноценности он дошел до того, что начал оправдывать своих гонителей. Прав был доктор Кирхенмайер, что изолировал его, когда нашел в нем изъяны, доставшиеся ему от отца. Он сам их ненавидел. Егор Гольбек ненавидел Егора Карновского, его черные волосы, густые брови и особенно длинный, горбатый нос.

Мать смеялась, когда он говорил о своем носе. Она твердила, что нос — это как раз самое красивое, что в нем есть, он придает ему мужественный и решительный вид. И черные волосы и брови — это прекрасно. Он напоминал ей отца, каким она увидела его в первый раз. Егор просто из себя выходил. Какой отвратительный вкус у его матери! Он совсем не считал, что отец красив. Вот мать — другое дело: светлые волосы, ясные глаза, чистое, открытое лицо. В черных волосах и смуглой коже отца он видел что-то нечистое, принесенное из азиатских пустынь и африканских джунглей, как говорил доктор Кирхенмайер. Во внешности матери нет кривых линий, гладкие волосы, прямой нос. И дядя Гуго такой же. Гольбеки ничем не отличаются от всех людей, и он не отличался бы, если бы не отец.

Все его беды — из-за отца и его расы. Вот почему он всегда был слабым, быстро уставал и лег-

ко простужался, не то что мальчишки в школе. Дядя Гуго часто об этом говорил. Теперь об этом говорят уличные ораторы, пишут все газеты и журналы. На карикатурах Ициков всегда изображают со смешным длинным носом, огромной курчавой головой и тщедушным, скорченным телом. А рядом рисуют стройных, мускулистых германцев. Доктор Кирхенмайер доказал его неполноценность с цифрами в руках. Нет, это не просто так придумали, как пытаются внушить отец. Глупо думать, что весь мир без причины ополчился на евреев. Егор знает это по себе. Он видит в зеркале смешного, черного, хилого и длинноносого Ицика. Так и тянет плюнуть в зеркало. Егор стыдится выходить на улицу.

Доктор Карновский не мог смотреть, как сын чахнет в четырех стенах. Егор стал вялым и бледным. У него пропал аппетит, вечером он не мог уснуть и допоздна засиживался с газетами и журналами, портил зрение, а потом спал до полудня и вставал разбитым, измученным и огорченным, будто проспал что-то важное или куда-то опоздал. От него неприятно пахло. Доктор Карновский пытался вытащить мальчика на свежий воздух, к ветерку и солнцу.

— Поднимайся, соня! — приказывал он сыну вроде как в шутку, чтобы тот не обиделся. — Умываться и гулять! Давай, вместе пойдем.

— А чего идти-то? — равнодушно спрашивал Егор.

Доктор Карновский знал, почему сын не хочет на улицу. Он и сам побаивался выходить из дома, но заставлял себя преодолевать страх. Он не позволит этим гадам себя запугать. В последнее время он стал часто выходить без надобности, просто им назло. Он даже нарочно не надевал шляпу и с гордостью демонстрировал прохожим черные волосы. Твердым, уверенным шагом он каждое утро проходил несколько километров, отбросив лень и грустные мысли, которые одолевали его дома. Одни соседи притворялись, что не видят его, другие здоровались кивком головы. Женщины иногда даже осмеливались улыбнуться и поздороваться первыми. Доктор Карновский еще выше поднимал голову, чтобы показать, что никого и ничего не боится. Доктора Карновского не запугаешь! Он хотел брать с собой сына, но Егор отказывался выставлять напоказ свою неполноценность. Рядом с отцом его еврейские черты были бы еще более заметны. Учиться он тоже не хотел. Когда отец пытался с ним заниматься, он спрашивал:

— А зачем?

Он не хотел даже посидеть в садике перед домом. Доктор Карновский теперь сам делал всю домашнюю работу. Как раньше Карл, он постоянно что-то чинил, забивал гвозди, пилил дрова, мастерил, перестраивал, часами не выходил из столлярки во дворе. Его энергия требовала выхода, и он пытался приучить к работе Егора.

— А ну, молодой человек, давай-ка посмотрим, кто больше дров напилит, — вызывал он сына на состязание.

— Я лучше газету почитаю, — отвечал Егор.

Доктор Карновский терпеть не мог газет, в которых не было ничего, кроме клеветы на его народ.

— Выброси эту гадость! — приказывал он.

Но Егор не слушался. Лежа на диване, он читал о парадах, факелах, знаменах и победах. Еще он полюбил слушать радио, из которого сутки напролет неслись торжественные речи, военные марши, звук шагов и призывы к ненависти и мести. По радио требовали расквитаться с предателями, вырожденками и жуликами, от которых все зло на свете. Егор так воспламенялся, что готов был убивать врагов своими руками.

Радио раздражало доктора Карновского еще сильнее, чем газеты, а Егор не выключал его на зло отцу и себе. Он нарочно выращивал в себе ненависть к собственному народу. Егор Гольбек наслаждался мучениями Егора Карновского.

Лишь изредка матери удавалось уговорить его немного пройтись. С ней он чувствовал себя защищенным. Рядом с ней его еврейские черты не так бросались в глаза. Егор видел причину своих несчастий в том, что мать выбрала отца, но ненависти к ней не испытывал. Невозможно видеть плохое в том, кого любишь. Чем сильнее он нена-

видел отца, тем больше любил мать. Он даже жалел ее из-за выпавших на ее долю несчастий. Он крепко обнимал ее и целовал. Его привязанность стала столь сильной, что Тереза начала беспокоиться.

Слабое, отвыкшее от движения тело Егора, созревая, тянулось к противоположному полу. У него не было друзей, чтобы поболтать о девочках и познакомиться с ними, и его тянуло к матери, в которой он видел образец женской красоты.

Тереза чувствовала его запретное влечение.

— Ну что ты, хватит, — краснела она, когда он обнимал ее что было сил. — Пойди лучше во двор, помоги папе.

Идти к отцу не хотелось. Рядом с ним, сильным, волевым, загорелым, постоянно занятым какой-нибудь работой, Егор особенно остро ощущал свою слабость. Ему казалось, что отец презирает его, слабака и лентяя. В отцовских глазах ему чудилась насмешка, причем оправданная. Кроме того, он ревновал мать к отцу, как ревнуют возлюбленную.

Егор скрежетал зубами, когда вечером отец прикручивал лампу в столовой, уходил к матери в спальню и закрывал за собой дверь. Перед сном мать долго расчесывала волосы и заплетала косы. С длинными белокурыми косами, в прозрачной рубашке, она казалась Егору идеалом красоты, идеалом германской женщины из журнала. Отец

черными глазами смотрел на светловолосую мать, точь-в-точь как на газетной карикатуре, где черный, горбоносый мужчина осквернял белокурого ангела. Егор стучался в спальню и врал, что у него что-нибудь болит, чтобы нарушить уединение родителей. Уже потом, через годы, он в снах всегда видел любимую похожей на мать. По утрам он долго не вставал с кровати, чтобы Тереза, которая теперь сама застилала постель, как можно позже узнала о его мальчишеском позоре.

Егор скрывал от родителей, что он читал и что рисовал от нечего делать. В отцовской библиотеке было множество книг по нормальной и патологической гинекологии, проиллюстрированных фотографиями и цветными рисунками. Егор тайком таскал эти книги из шкафов и читал у себя в комнате на верхнем этаже, лежа в кровати. Они так его увлекали, что он часто не слышал, как мать зовет завтракать. Он рассматривал иллюстрации, глаза горели, щеки покрывались нездоровым румянцем. Егор копировал рисунки из книг или сам рисовал обнаженных девушек. Вместе с тем он копировал из газет и журналов карикатуры, на которых изображалась красота собственной, высшей расы и мерзость чужой.

Эти рисунки Егор прятал от родителей даже тщательнее, чем с голыми женщинами. Но однажды отец застал его за работой. Егор неизвестно который раз срисовывал из журнала карикату-

ру, на которой толстогубый, кучерявый, горбоносый банкир насилывал прекрасную белокурую девушку. Доктор Карновский взял листок бумаги и внимательно рассмотрел.

— Егор, это ты сделал? — резко спросил он, хотя и сам знал ответ.

Егор молчал.

— Почему ты не отвечаешь, когда я спрашиваю?

Егор продолжал молчать.

Карновский так разозлился, что не подумал ни о физических, ни о моральных последствиях и ударил сына по лицу. Из носа потекла струйка крови. У Егора помутилось в голове.

— Жид! — вдруг крикнул он отцу и расплакался.

Доктор Карновский стремительно вышел из комнаты, испугавшись, что сам не сможет сдержать слез.

— Господи, в кого мы превратились? — воззвал он к Тому, в Кого никогда не верил.

На другой день Карновский не пошел на утреннюю прогулку, как обычно, а поехал в город, чтобы разузнать, как получить визу в другую страну.

Перед консульствами с иностранными флагами стояли длинные очереди: мужчины и женщины, молодые и старики, богачи из Западного Берлина и оборванцы из еврейского квартала. Здесь были даже те, кто давно порвал с общиной,

но вынужден был отвечать за грехи предков, — все ждали у тяжелых, неповоротливых дверей.

Доктор Карновский встал в конец очереди и стоял молча, как все остальные. Он хотел спасти себя, Терезу, отца и мать, но главное — единственного сына, больного от унижений и ненависти к себе самому.

32

Никогда Ребекка Карновская не была счастлива так, как в те дни, когда повсюду царила ненависть, а ее семья и народ подвергались жесточайшим преследованиям.

Однажды она случайно встретила на улице Гуго Гольбека в высоких сапогах и коричневой рубашке с нашивкой штурмовика. Ребекка застыла на месте, не веря собственным глазам. Ноги приросли к земле, огромные черные глаза, не мигая, смотрели на высокого, бледного парня. Гуго не выдержал ее неподвижного взгляда.

— Здравствуйте, фройляйн Бека, — промямлил он с глупой улыбкой.

Она не ответила. Вдруг оцепенение прошло, и она со всех ног пустилась домой. Вбежав в квартиру на Ораниенбургер-штрассе, девушка разрыдалась. Она заливалась слезами и не могла остановиться. Родители пытались узнать, что случилось, ведь на улицах было опасно. Но она не мог-

ла говорить, только плакала, на секунду затихала и начинала плакать с новой силой.

Она оплакивала свои растоптанные надежды, которые возлагала на высокого, белокурого мужчину. Она рыдала над двуличием голубоглазого парня, который говорил ей комплименты в доме ее брата, над утраченной верой в наивного и беспомощного большого ребенка, как она его называла. Сентиментальная по природе, Ребекка была потрясена до глубины души, но, выплакавшись, быстро позабыла о своем разочаровании.

Все, что осталось у нее к человеку, в которого она когда-то верила, это отвращение к нему, его высоким сапогам и нашивке на рукаве. Такое же отвращение она испытывала ко всем высоким, светловолосым людям в униформе, которые когда-то так ей нравились. Раньше она презирала людей своего круга, но теперь стала смотреть на них другими глазами. В конце концов она влюбилась в одного из них, влюбилась, как всегда, всем сердцем.

Ни Довид, ни Лея не поняли восторга своей дочери, когда она впервые привела избранника домой.

— Это Рудольф Рихард Ландскронер, прошу любить и жаловать.

— Очень приятно, — разочарованно протянули родители.

Насколько звучным было имя, настолько не приметным был его обладатель. Маленького ро-

ста, уже немолодой, он держал в руках футляр со скрипкой. Лее и Довиду он напомнил местечкового музыканта.

Они знали, что он известный скрипач, Ребекка даже сказала, что великий, но от этого их впечатление не изменилось. Они, особенно Довид, вообще не считали музыку профессией. Рядом с рослой Ребеккой он казался еще меньше, и голос у него был высокий, почти женский.

Они ничего не сказали дочери. Она была уже далеко не молода, засиделась в девках. Денег на приданое у них не было. Много молодых людей покинуло страну, разъехалось кто куда. Ничего лучше родители все равно не могли ей предложить.

— Что скажешь, Довид? — спросила Лея, отведя мужа в сторону. Она надеялась услышать что-нибудь утешительное.

— Ну, по крайней мере, еврей, — сказал Довид.

Он даже не стал надевать праздничный цилиндр и сюртук на тихую свадьбу без гостей.

А Ребекке и не нужны были ни поздравления, ни подарки. У нее был ее Руди, и она светилась от счастья.

Она полюбила его именно потому, что он был маленький, скромный и незаметный. Она всегда хотела видеть в муже беспомощного ребенка, которого она будет опекать, как мама, защищать и заботиться о нем. Ей казались такими чужие бе-

локурые парни, но она разочаровалась в них. Зато она нашла маленького, тихого Руди.

Впервые она увидела его на концерте и тут же влюбилась. С мягкими волосами почти до плеч, пухлыми щеками, бархатными черными глазами и длинными белыми пальцами, сорокалетний Руди выглядел, как вундеркинд со скрипочкой. Ему бурно аплодировали. Ребекка аплодировала сильнее всех и громче всех вызывала его на бис. С тех пор она стала ходить на все его концерты. Они познакомились, и ему пришлось по душе восхищение, нежность и материнская забота темпераментной, сентиментальной, энергичной высокой женщины.

После свадьбы она полностью взяла его в свои руки. Она носила за ним скрипку, расчесывала его мягкие волосы, помогала одеваться перед концертом и снимала с него туфли, когда он приходил усталый. Ребекка старалась приготовить мужу что-нибудь вкусенькое и кормила его, как мать избалованного ребенка. Она заключала вместо него договоры и помогала на концертах, расхваливала его перед знакомыми и в гостях даже помогала надевать и снимать пальто. Она без конца говорила о своем Руди. Лея Карновская, сама преданная жена, уже не могла слушать восторженных рассказов дочери.

— Ривка, сколько можно? — Ей было обидно, что дочь дала себя поработить. — Ты ведь тоже живой человек.

— Да что ты, мама! Я так счастлива! Тебе не понять! — восклицала Ребекка.

Рудольф Рихард Ландскронер принял заботу Ребекки как должное. Влюбленный в себя и скрипку, он позволял ей восхищаться и служить ему, как ребенок, привыкший к материнской ласке.

Когда Ребекка поняла, что скоро станет матерью, она от счастья чуть не задушила Лею в объятиях. Довид не выказал большой радости, когда жена сообщила ему эту новость.

— Рожать в такое время? — спросил он с тревогой.

Доктор Георг Карновский был вне себя.

— Ребекка, твой Руди — идиот! — не сдержался он. — Приходи ко мне, я все сделаю... Так будет лучше и для тебя, и для несчастного создания, которое ты носишь.

Ребекка брату чуть глаза не выцарапала.

— Никто не отберет моего счастья! — кричала она. — Никто!

Родители уговаривали ее пройти обследование, но она отказалась, потому что Руди не пожелал с ней поехать.

До того как наступили тяжелые времена, Рудольф Рихард Ландскронер не был известен. В прежние годы мало кто знал скрипача Ландскронера. Говорили о музыкантах с мировым именем, а он считал, что они ему в подметки

не годятся. Его заметили, только когда знаменитые музыканты из-за своего происхождения покинули страну.

В больших концертных залах он не мог показывать свой талант, хоть и мечтал об этом, зато перед единоверцами мог выступать сколько душе угодно. Теперь они очень его ценили, аплодировали и вызывали на бис. Экзальтированные дамы называли его «маэстро», девушки просили автограф. Рудольф Рихард Ландскронер был счастлив: наконец-то пришло признание. Он часто вспоминал покойного отца, ресторанного музыканта, который верил в гениальность сына и при обрезании добавил ему имя Рихард, в честь Вагнера. «Жаль, отец не дожил», — с горечью думал Рудольф. Он не хотел уезжать из города, где сумел прославиться, в чужую, неизвестную страну. Там уже собрались все знаменитые музыканты, они не дадут ему проявиться.

У него не было уверенности в завтрашнем дне, но он привык к новой жизни, как привыкают ко всему плохому, настолько в ней укоренился, что даже не чувствовал особого беспокойства и унижения. Он и раньше старался без надобности не выходить на улицу, не мог присесть на скамейку в парке. Случайно встретившись взглядом с белокурой женщиной, он машинально опускал глаза. Рудольф Рихард Ландскронер давно смирился со своей расовой неполноценностью.

Признание перевешивало все, он был счастлив, и Ребекка была счастлива вместе с ним. Она не послушала ни родителей, ни брата, ни друзей и решила остаться с Руди. Ребекка даже не поехала в порт проводить родных, когда они через несколько лет наконец-то получили визу. Она не могла оставить двоих детей: Руди и ребенка, которого ему родила.

— Совсем с ума сошла, не про нас будет сказано, — ворчала Лея.

— Женский ум, — ответил Довид Карновский и отправился проститься с Эфраимом Вальдером. — Слышали, ребе Эфраим? — поделился он новостью. — На Гамбургер-штрассе взорвали памятник ребе Мойше Мендельсону.

— Что такое памятник, ребе Карновский? Металл и камень. Его дух они не взорвут.

Довиду было не по себе, что он уезжает, а ребе Эфраим остается.

— Как только мы, с Божьей помощью, приедем на место, я вам тут же вышлю нужные бумаги, ребе Эфраим, — пообещал он. — Чего бы мне это ни стоило.

— Я слишком стар, ребе Карновский, — улыбнулся Эфраим Вальдер. — Знаете, вот если бы вы смогли спасти мои книги... Книги и дочь. А, Ентл?

Ентл, которая называла себя Жанеттой, подняла близорукие глаза от французского романа и мотнула поседевшей кудрявой головой.

— Что ты выдумываешь? — сказала она с досадой. — Чтобы я тебя бросила? В твои-то годы, не сглазить бы.

Она точно не знала, сколько отцу лет. Наверно, все сто, а то и больше. Понятно, что ему недолго осталось.

Реб Эфраим разрушался, как старое дерево. Сухая, потемневшая от возраста кожа шелушилась, как кора. Борода, кустистые брови и пучки волос в ушах позеленели, как мох. Худые, высохшие руки уже не могли служить. Жанетта одевала и раздевала отца и помогала ему доносить ложку до рта. Она даже в туалете помогала старику, хоть ей и было неловко, несмотря на то что ей самой давно перевалило за пятьдесят.

Однако голова у реб Эфраима работала не хуже, чем в молодости. Наоборот, с годами в нем оставалось все меньше зависти, вожделения, амбиций и прочих глупостей, а мысль становилась яснее и дух — чище. Зрение и слух тоже не подводили. Лежа на кровати, потому что ноги часто отказывались служить, он видел каждую мышь, стоило ей появиться из щели в полу и приняться за книгу. Его уши различали каждый шорох, каждый скрип дверей в его лавке.

— Ентл, кто там? — кричал он дочери, чтобы она сообщила, что делается за стенами комнаты.

У Ентл не было хороших новостей. Книжки и пластинки перестали пользоваться спросом. Гораздо

чаще, чем покупатели, заходили люди в сапогах и требовали денег, или уличная шпана придумывала какую-нибудь гадость.

— Отец! — ломала руки Ентл. — Они кошку бросили нам в окно!

— Что такое кошка? — отзывался старик. — Божье создание.

— Дохлую!

— Что такое дохлая кошка? — спокойно отвечал реб Эфраим.

Он видел часть Божественного замысла во всем от камня до человека, в том числе и в падали.

Так же спокоен он остался, когда Довид Карновский рассказал о том, как в стране преследуют евреев, как жгут книги.

— Ничего нового, ребе Карновский. — Его голос казался слишком молодым для старого тела. — Так уже было в Праге, Кракове, Париже, в Риме и Падуе. Сколько существуют евреи, столько сжигают наши книги, нашивают отличительные знаки на нашу одежду, разрушают общины, мучают наших мудрецов. А евреи остаются евреями. Кстати, такое было не только с нами. Мудрецы народов мира тоже подвергались гонениям за ум и знания. Ребе Сократу дали выпить чашу с ядом. Ребе Галилею угрожали костром. Но остается не чернь, а такие, как Сократ, рабби Акива и Галилей, потому что дух не уничтожить, ребе Карновский.

Довид хотел возразить, но старик не дал.

— Ребе Карновский, будьте добры, встаньте на лестницу и достаньте мою рукопись, она там, на верхней полке, — сказал он с улыбкой. — Неудобно вас утруждать, но самому никак...

Довид Карновский поднялся по лесенке и снял с полки два тяжелых рукописных тома, на древнееврейском для евреев и на немецком для всех остальных. Реб Эфраим дрожащей рукой стер налипшую паутину и начал читать гостю последние записи.

Пока он читает, к нему приходят новые мысли, и, чтобы не забыть, он записывает их на полях. Его пальцы так слабы, что не могут служить телу, но к ним возвращается сила, когда они берутся за перо. Дрожащая рука твердеет, как рука старого воина, который почувствовал в ладони рукоять меча. У Довида голова занята другим, но из уважения он внимательно слушает старика.

— Отец, ты прольешь чернила на постель, — не выдерживает Жанетта. — И тебе вообще нельзя работать. Отдохни.

— В могиле отдохну, — с улыбкой отвечает реб Эфраим. — А пока глаза видят, я буду что-нибудь делать.

Жанетта машет рукой: что возьмешь со старого маразматика?

— Эх, папа, папа, — вздыхает она, не высказывая вслух того, что думает.

Реб Эфраим улыбается.

— Она считает, я слепой, глухой и не знаю, что творится в мире, — говорит он Карновскому. — Но я знаю, ребе Карновский, все знаю и все вижу. И продолжаю свое дело, потому что мудрый должен поступать так.

Жанетта кипит кастрюльку на железной печке, которую она топит старыми дешевыми книжками, и не слышит отца. Она видит, что с каждым днем становится хуже и хуже. Все меньше народу остается на Драгонер-штрассе. Магазины заколочены досками, заперты на замки. По звуку подъехавшего автомобиля, свисту и хохоту гоев и стонам евреев понятно, то кого-то среди ночи забирают из дома. Гетто, не защищенное от насилия и убийства, порождает в Жанетте непреходящий страх.

— Отец, — отрывает она его от чтения, — за что нам столько мук?

Реб Эфраим улыбается беззубым ртом:

— Старый вопрос. Такой же старый, как сами муки. Нашим убогим умишком этого не понять, но должен быть какой-то смысл во всем, что существует. Иначе этого бы не было.

От отцовских объяснений Жанетте становится еще горше.

— За что Бог нас наказывает? — твердит она. — Почему Ему нравится нас мучить? Почему Он не хочет творить добро?

Реб Эфраим пытается растолковать: только простые, глупые люди винят Бога за зло и восхваляют за добро. Мудрый же знает, что о Боге нельзя так думать, потому что все, что существует, — Его замысел. Всё: животные и растения, люди и звезды, всё должно появиться и исчезнуть, и так называемые добро и зло, и то, что называют счастьем и мукой. И так вечно, без начала и конца.

Жанетте не нравится такой Бог, Бог, который не платит добром за добро и злом за зло, Бог без справедливости. Она хочет своего старого, доброго Бога, для которого она произносит благословения и читает молитвы, которого она называет Отцом, перед которым можно выплакаться, которого можно о чем-нибудь попросить. Слова реб Эфраима лишают ее последней надежды. Ее жизнь бессмысленна, и на том свете не будет награды за страдания, и добродетели, и за то, что она не совершила ни единого греха. Жанетта плачет, не обращая внимания на Карновского.

— Не плачь, Ентл, — говорит реб Эфраим. — Плакать нет смысла.

Жанетта плачет еще сильнее.

Довид Карновский подходит к ней и гладит по седой голове, как маленькую девочку.

— Не плачьте, — утешает он ее. — Как только приеду, сразу вышлю вам документы. Заберем и вас, и отца, и книги тоже.

Жанетта вытирает глаза краем фартука. Она знает, что его добрые слова ни к чему не приведут: отец слишком стар, да и она не так молода, чтобы начать новую жизнь в чужой стране. Но все-таки ей приятно, что он утешает ее и гладит по голове. Ее никто никогда не гладил. Жанетта даже улыбается сквозь слезы. Но вдруг замечает, что отец неподвижно лежит на кровати, и бросается к нему.

— Папа, папа! — кричит она.

В ней постоянно сидит страх, что отец в любую минуту может заснуть вечным сном. Реб Эфраим открывает глаза.

— Ентеле, ты подумала, за мной смерть пришла? — смеется он. — Нет, дочка, рановато.

Довид Карновский прощается со стариком, пожимая ему слабую, холодную руку.

— Дай Бог вам здоровья, ребе Эфраим, — желает он. — Мы еще увидимся на том берегу и побеседуем...

— Я буду скучать по вас, ребе Карновский, — отвечает старик с мудрой улыбкой. — Кроме вас, некому почитать мои сочинения.

За несколько часов до отъезда Тереза пришла к матери. Хотелось в последний раз посмотреть на дом, где она родилась и выросла. Она вошла в свою комнату. Вся мебель стояла, как при ней, даже вышитые салфетки лежали на своих местах. Посмотрела на отретушированный портрет отца

в зале. Мать и дочь расплакались. Гуго Гольбек сидел в низком кресле, отвернувшись. Он не выносил женских слез. Надо было что-то сказать единственной сестре. С нарочитым прусским акцентом и бесчисленными «верно» он высказал братское мнение об отъезде Терезы.

Глупо, что она, Гольбек, бросает отечество ради какого-то Карновского, черт бы его побрал. Могла бы развестись, да и все. Снова стала бы человеком не хуже других, встречалась бы с друзьями, родней. Никто не должен был бы ее избегать. Фрау Гольбек вмешалась:

— Ты же знаешь, Тереза любит Георга. И про Егора не забывай.

А Гуго Гольбек и не забыл. Пусть мать не волнуется, пусть доверится ему, Гуго Гольбеку. Он знает больших людей, они знают его, верно? Он за просто провернет это дельце. О мальчишке нечего беспокоиться. Полно немецких женщин освободилось от своих носатых мужей, а дети остались с матерями. Просто небольшая формальность, ерунда. Скажем, что ребенок от другого, от любовника, истинного арийца, и все будет как по маслу, верно? Пусть положится на Гуго, он все берет на себя, найдет кого-нибудь, кто скажет, что это он отец. И все будет отлично, верно?

Пока Гуго говорил, лицо Терезы все больше краснело. И наконец она взорвалась. Никогда, ни до, ни после, Тереза не произносила таких слов.

— Ты, собака вонючая! — кричала она. — Ты что мне предлагать вздумал, сволочь? Дерьмо, крыса поганая, чтоб ты сдох...

Фрау Гольбек стояла, открыв рот, и руками поддерживала обвисшие груди, будто боялась, что они отвалятся от потрясения. Она не ожидала такого от тихой, спокойной дочери.

— Тереза, — бормотала она, — доченька, ты что?

Но Терезу было не остановить. Гуго не на шутку оскорбил ее женскую честь. Она сама не понимала, откуда знает такие слова. Они вылетали изо рта, и она краснела, слыша собственные проклятия. Заодно с братом она помянула всех таких, как он, паршивых собак, уличных подонков и шелудивых свиней.

Госпожа Гольбек еле удерживалась, чтобы не упасть в обморок от ужаса.

— Тереза! — умоляла она, ломая руки. — Господи Иисусе!..

А Тереза продолжала. Она изливала на Гуго весь гнев за мужа, сына, родных и близких, за всех и за все.

— Плевала я на тебя! — кричала она. — Вот тебе!

И Тереза плюнула ему на мундир.

Гуго стал еще более бледен, чем всегда. Его зубы стучали. Как военный он знал, что можно плюнуть ему в лицо, но не на его форму.

Солдатский долг требовал защитить честь мундира. Тереза догадалась, о чем он подумал.

— Ну, беги, зови полицию! — крикнула она. — Выдай меня. Что стоишь?

Гуго достал из кармана платок и тщательно стер с мундира слюну.

— Жидовская подстилка, — процедил он сквозь зубы.

Так на улице кричали белокурой женщине, если она шла с черноволосым мужчиной.

— Дева Мария! — шептала госпожа Гольбек. — До чего ж я дожила...

Тереза, побледневшая, изможденная, упала в объятия матери.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

33

Синагога «Шаарей-Цедек» на Манхеттене, у самого Гудзона, снова полна прихожан, и не только по субботам, но и в будни.

За несколько десятков лет огромная синагога, архитектурой похожая на мечеть, пережила разные времена, хорошие, хуже и совсем плохие. Поначалу в ней молились сефарды, жившие в просторных домах по берегу Гудзона. Смуглые, пахнувшие табаком и пряностями, как ковры, которыми они торговали, спокойные, гордые и важные, словно испанские гранды, сефарды стояли в синагоге, слушая монотонный напев молитвы. Их жены, разодетые в цветастые шелка и бархат, увешанные золотом и бриллиантами, тихо повторяли испанские слова по дорогим молитвенникам, напечатанным шрифтом Раши, а потом с достоинством выслушивали проповедь хахама*, доктора Узиэля де Альфаси. В мантии, высокой

* Глава сефардской общины, буквально «мудрец».

шапке, с иссиня-черной, курчавой бородой, он напоминал ассирийского царя. Служка кругами обходил синагогу, нараспев предлагая купить алию, и прихожане состязались за право быть вызванным к чтению Торы.

В изобильные военные годы, когда ашкеназские евреи, польские, литовские и румынские, стали выбираться из трущоб и постепенно добрались до берега Гудзона, сефарды покинули обжитый район и синагогу «Шаарей-Цедек». В ней зазвучали ашкеназские молитвы. Чернобородого хахама сменил молодой рабай* с подстриженными соломенными усами. Он по-английски рассказывал прихожанам о современной литературе, психоанализе, театре, благотворительности и контроле рождаемости. После изобильных лет настали скудные, и из Гарлема потянулся другой народ: испанцы, ирландцы, мелкие еврейские бизнесмены и даже черные. Синагога вместе с районом пришла в упадок. Исчезли богатые прихожане, вместо них появились лавочники и ремесленники, небритые, усталые и бедно одетые.

Народу в синагоге с каждым днем становилось все меньше, она была полна только в Дни трепета. На буднях уже не удавалось собрать миньян, по субботам это стоило огромных трудов. Шамес, мистер Пицелес, часами простаивал у ворот и высматривал еврейских прохожих, чтобы позвать

* Реформистский раввин в Америке.

их на молитву. Ему на помощь приходил Вальтер, сторож-немец. За годы службы в синагоге он изучил все еврейские обычаи и говорил на онемеченном идише не хуже, чем венгерский еврей Пицелес. В грязном рабочем комбинезоне, из карманов которого торчали молотки, отвертки и обрезки проволоки, с трубкой в зубах, он останавливал спешащих евреев:

— Эй, мистер! Давайте-ка на молитву, суббота сегодня.

— Некогда, некогда, — отмахивались прохожие, выпускали сигаретный дым и торопились дальше.

Еще в обязанности Вальтера входило сражаться с детьми, которые облюбовали для игр синагогальный двор. Смуглые испанские, сероглазые ирландские, черноголовые еврейские и чернокожие негритянские дети бегали и шумели вокруг синагоги. Девушки сидели на широкой лестнице, хихикали, секретничали и визжали, когда к ним приставали парни в штопаных свитерах. Девочки прыгали через скакалку, выкрикивая слова на какую-нибудь букву. С мальчишками было еще хуже. Они стучали мячами о стену и при этом орали как сумасшедшие. По вечерам им нравилось разводить у синагоги костры из мусора и бумаги. Сколько Вальтер их ни гонял, они не хотели найти место подальше. Их тянуло к высоким стенам и широкой лестнице синагоги «Шаарей-Цедек».

— Ублюдки чертовы! — испускал Вальтер ругательства вместе с трубочным дымом. — Пошли вон отсюда!

Хуже всего было по субботам и праздникам, когда «ублюдки» мешали прихожанам войти в синагогу, из-за них было не подняться по лестнице. С большим трудом обоим служителям, еврею и немцу, удавалось собрать небольшую кучку народу, которая в огромном зале казалась еще меньше, чем была на самом деле.

И вот синагога «Шаарей-Цедек» снова полна, и не только в праздничные дни, но и по обычным субботам, и не только утром, но даже накануне.

На западной стороне Манхеттена появились новые жители, изгнанные из Германии евреи. Теперь они молятся в синагоге «Шаарей-Цедек».

Сначала мистер Пицелес принимал их с распростертыми объятиями.

— Входите, господа, прошу вас, добро пожаловать, — приветствовал он их на онемеченном венгерском идише, твердо выговаривая «р».

Сторожу Вальтеру было приятно увидеть земляков и побеседовать на родном языке. Стоя на лесенке, он вывешивал объявления, в котором часу будут Shacharith, Minchah и Maariv*, и радостно повторял:

— Пожалуйста, заходите, джентльмены...

* Английские названия утренней, дневной и вечерней молитвы у евреев.

Мистер Пицелес рассказывал новых прихожан на почетных местах и вызывал их к Торе. Он был поражен пунктуальностью мужчин, которые никогда не опаздывали на молитву, но еще больше его удивляли женщины. Они приходили не только утром, но и вечером, накануне субботы. Раньше такое редко бывало в синагоге «Шаарей-Цедек». И дети были совсем другие. В коротких штанах и высоких чулках, умытые, причесанные, они очень сильно отличались от местных невоспитанных и шумных мальчишек в дырявых свитерах. Эти странные дети прекрасно себя вели, не отходили от родителей и на все спрашивали разрешения. Мистер Пицелес был так восхищен их поведением, что даже сам разносил им молитвенники. А девочки, которые приходили с мамами в женскую часть синагоги, вели себя еще лучше, чем мальчики.

Скоро в синагогу «Шаарей-Цедек» стало приходиться столько народу, что уже не хватало молитвенников.

Новые иммигранты быстро заселили весь берег Гудзона. Они прибывали в порт с каждым трансатлантическим рейсом. Еврейские жители района тепло принимали новоприбывших, приглашали их в гости, как мистер Пицелес в синагогу. Новоприбывших сразу распознавали по огромным ящикам, привезенным из-за океана, по ящикам, на которых большими буква-

ми были написаны названия Гамбургского или Бременского портов. В этих ящиках была массивная резная мебель. Таковую тут прежде редко видали. С трудом разъезжались на улицах тяжелые грузовики, на которых стояли сколоченные из досок контейнеры. В этих контейнерах беженцы везли спасенное добро. Чернокожие силачигрузчики обливались потом, пытаясь пронести через узкие нью-йоркские двери тяжеленные комоды, столы, кровати, кресла и платяные шкафы. Консьержи, обычно немцы, качали головами и пытались убедить новых жильцов, что лучше бы оставить неподъемные шкафы на улице: во-первых, они не пройдут через узкую дверь, во-вторых, они в Нью-Йорке не нужны, потому что в доме есть встроенные шкафы. Ирландцы, испанцы, итальянцы и немцы непристеливо смотрели на приезжих. Пока хозяева решали, что делать с вещами, спасенными из дому с превеликим трудом, а здесь не имевшими никакой цены, мальчишки уже лупили мячами в шкафы и поджигали доски от контейнера, а заодно и что-нибудь из мебели. Евреи пытались помочь новым соседям, давали советы, как надо себя вести в новой стране, и расспрашивали о жизни в Европе. Но иммигранты неохотно вступали в разговор. Им не хотелось рассказывать о преследованиях, которым они подверглись. Женщины из местных не скупилась на сочные ругатель-

ства и проклятия в адрес тех, кто издевается над их братьями и сестрами за океаном, но приезжие не говорили о своих мучителях ни единого худого слова. Некоторые недовольно отвечали на искусственном, слишком правильном английском, что не понимают еврейского жаргона. Местным, конечно, не нравилась такая заносчивость. Они помнили, что сами когда-то приехали в чужую страну из российских и польских местечек. У них не было контейнеров с мебелью. Все, что они привезли, это узлы с бельем, субботними подсвечниками да кошерной посудой. И селились не в хороших районах, а на чердаках и в подвалах Ист-Сайда. Им понадобились годы тяжелого труда, чтобы перебраться в Вест-Сайд. Они были благодарны старожилам за помощь и сочувствие. И теперь им не нравилось, что приезжие прекрасно одеты, что они прямо с парохода приехали в хороший район, что уже говорят по-английски, и особенно то, что они свысока смотрят на евреев и их язык.

Владельцы магазинов теряли терпение, когда новые покупатели торговались за каждый цент и проверяли, не обвесили ли их. Мясники в кошерных лавках выходили из себя, когда клиентки намекали, что сомневаются в их товаре.

— Ничего себе! — ворчали они, поправляя ножи на оселках. — Для немчиков, значит, у нас мясо некошерное.

Новые иммигранты избегали старожилов, как дома они избегали тех, кто приехал с Востока, и жили обособленно, в собственном «государстве».

Герр Готлиб Райхер, скототорговец из Мюнхена, открыл кошерный мясной магазин и раскрасил его, будто это была аптека. В Германии у него была сеть магазинов, славящихся ветчиной, за которой немки готовы были ехать через весь город. Здесь он приказал написать на витрине огромными золотыми буквами: «Всё кошерно», а рядом — свое громкое имя. Бок о бок с хозяином рубил мясо его сын, бывший аптекарь. Он носил в магазине белый аптекарский передник — все, что осталось от его бизнеса.

Женщины забывали обо всем на свете от счастья, что в мясном магазине их обслуживает господин доктор. Они величали его господином доктором, а он называл их по титулам их мужей. Он помнил, у кого муж был на родине доктором, у кого директором, профессором или коммерции советником. К тем, чей муж не имел титула, он обращался «Gnadige Frau». Удостоверение, что мясо строго кошерно, подписал сам доктор Шпайер, бывший в Германии раввином. В весе тоже никто не сомневался: аптекарь Райхер взвешивал точно.

Вслед за Райхером актер берлинского театра, любимец женщин Леонард Лессауэр открыл кафе-ресторан «Старый Берлин», где подава-

лось кофе со взбитыми сливками, яблочный пирог, пиво и сосиски, а также немецкие газеты и журналы со всего света. По вечерам в «Старом Берлине» было не протолкнуться, потому что герр Лессауэр надевал фрак, белую накрахмаленную рубашку и декламировал стихи или разыгрывал сцены из своего репертуара. Зато днем можно было спокойно сидеть часами за чашкой кофе и слушать, как официанты обращаются к тебе «господин доктор», хоть был у тебя титул, хоть не было. Потом приват-доцент Фридрих Кон открыл мастерскую, где можно было погладить костюм и починить обувь. Известный среди земляков, во-первых, лекциями по философии, которые он читал на родине, во-вторых, тем, что он был сыном коммерции советника Кона, получившего титул за филантропическую деятельность от самого кайзера, приват-доцент Фридрих Кон быстро приобрел клиентуру. И седыми бакенбардами, и манерами приват-доцент напоминал своего отца, который поддерживал еврейских студентов из России и отчитывал этих нигилистов за безбожие и бедную одежду, позорящую еврейский народ. С большим достоинством Фридрих Кон сам гладил платья и ставил набойки, а пока не было клиентов, близорукими глазами читал греческие и латинские книги, стоявшие на полке рядом с дырявыми ботинками. Он усердно чистил туфли и ставил заплаты, делал

нудную и дешевую работу, от которой отказывались местные сапожники и портные. Госпожа Клейн, вдова редактора крупного сатирического журнала доктора Зигфрида Клейна, от которого осталась лишь горстка пепла в урне, открыла на квартире мастерскую по пошиву дамской одежды, где можно было не только заказать новое платье, но и починить или перелицевать старое. Клиентки не стыдились перед ней своей расчётливости и бережливости, ведь они были с госпожой докторшей давними приятельницами. Они вспоминали с ней старые добрые времена, передавали приветы от родственников и плакали перед урной с пеплом, которая стояла на почетном месте — на резном комоде.

Людвиг Кадиш, сосед Соломона Бурака, ничего не смог открыть, потому что спас из имущества только железный крест, полученный за ранение. Ему пришлось продавать галстуки по мелким еврейским ресторанчикам. Зато его дочери, у которых в Германии была собственная химическая лаборатория, открыли небольшой салон красоты, где можно было недорого сделать маникюр и покрасить волосы. Пожилые мужчины закрашивали седину, чтобы скрыть возраст: молодому проще найти работу. Еврейские девушки перекрашивали черные волосы в светлые или рыжие, потому что в агентствах по найму рабочих зачастую плохо относились к евреям.

После дня беготни по огромному, душно-му городу иммигранты собирались в «Старом Берлине», где за несколько центов можно было выпить кофе со сливками и среди своих, без посторонних, всласть наговориться о старых, добрых временах на родине. В ресторане можно было встретить того, кто недавно приехал, и узнать, что там делается. Тихо, будто опасаясь, что кто-нибудь услышит и донесет, переговаривались, расспрашивали о друзьях и знакомых, узнавали, кто собирается выехать, а кто уже выехал, кого среди ночи забрали из дома и кому удалось вырваться, кто умер, кто при смерти, кто пропал без вести, а от кого осталась только горстка пепла, которую в коробочке вернули родственникам.

Как молодые и нерелигиозные собирались в «Старом Берлине», так пожилые и верующие скрывались от окружающего мира в синагоге «Шаарей-Цедек». Вскоре они всю синагогу прибрали к рукам. Сначала поставили перегородку, чтобы отделиться от немногочисленных молящихся из старожилов. Жаль было слово сказать в ответ, когда те начинали по-простому расспрашивать, как жизнь да как дела. А когда начинали проклинать заокеанских злодеев, новые иммигранты и вовсе язык проглатывали. О родине они говорили только между собой. Старожилы обижались. Они стали непрощеными гостями в своей синагоге и почти прекратили в нее захо-

дять. Не успел мистер Пицелес оглянуться, как от прежнего миньяна никого не осталось. Когда исчез последний из старых прихожан, новые завели в синагоге порядки, как у себя дома.

Они выбрали свой совет общины, куда первым вошел герр Райхер, известный торговец свининой, открывший здесь кошерную мясную лавку. Изменили расписание молитв. Теперь Вальтер вывешивал объявления о том, когда будет та или иная молитва, не только на английском, но и на немецком, чтобы всем было понятно. Потом пригласили оперного певца Антона Карали, покинувшего Германию из-за своего еврейского происхождения, и сделали его кантором. Этот певец, сын кантора, и здесь ходил с длинными крашеными волосами, носил широкополую шляпу и монокль и всюду таскал с собой портфель, набитый пожелтевшими газетными вырезками, в которых восхваляли его талант, и письмами бывших любовниц, а также их фотографией и локонами всевозможных цветов и оттенков. Он собрал хор, настоящий хор, в котором были басы, альты и сопрано, и на молитве выводил такие рулады, что прихожане закрывали глаза от наслаждения. А доктора Шпайера пригласили занять место раввина.

В проповедях доктора Шпайера ничего не изменилось. Холодный, подтянутый, с острой, как карандаш, бородкой, поседевшей от возраста

и бед, он точно так же, как когда-то в Берлине, вещал о великой миссии потомков Абрахама, Изаака и Якоба распространять законы и этику Торы, которую Бог даровал пророку Мозесу. Он цитировал немецких поэтов и философов и ни слова не говорил о том, что делается по ту сторону Атлантики, будто там не происходило ничего особенного. Мужчины наслаждались его речами, женщины твердили, что он великолепен.

У Людвиг Кадиса даже стеклянный глаз сверкал от удовольствия. После недели забот, тяжелого труда и бедности прихожане отдыхали душой. Им казалось, что они попали домой, в старые добрые времена, когда, надев цилиндры, они приходили в синагогу в родном Берлине.

Только два чужака осталось в синагоге «Шаарей-Цедек». Один — мистер Пицелес, шамес. Хоть он и старался говорить с новыми хозяевами на немецком, правда, с сильным венгерским акцентом, его не считали своим. Они никогда, даже во времена кайзера, не испытывали большой симпатии к венгерским евреям, поселившимся в Германии, считали их людьми второго сорта. А шамес Пицелес даже не был настоящим венгерским, он родился в Галиции, а в Венгрии только жил какое-то время, и они презирали его, как всегда презирали таких на родине. Даже сторож Вальтер был им ближе, им нравилось, что чистокровный немец, истинный ариец, прислуживает им в синагоге.

Другой чужак, с которым приходится считаться, — Соломон Бурак, бывший владелец магазина на Ландсбергер-аллее. Теперь он ни больше ни меньше как президент синагоги «Шаарей-Цедек».

Приходится его терпеть. Во-первых, он много жертвует на синагогу, больше, чем все остальные. Во-вторых, к нему обращаются за кредитами и берут у него в долг товары, которые потом разносят по домам.

Как их прадеды, когда-то поселившиеся в Германии, разносили товары по городам и деревням, так и правнуки в Америке занимаются торговлей вразнос, чтобы заработать на пропитание. Прошло не одно поколение, и вот они разбогатели, открыли крупные магазины и начали забывать о позоре прадедов-коробейников. А теперь они снова вернулись к ремеслу предков, к вечному еврейскому заработку и насмешкам гоев. В новой стране они ходят из дома в дом. Они не таскают на плечах мешков, как прадеды, теперь у них чемоданы, но перед ними так же захлопывают двери, так же гонят их от порога. Они привыкли смотреть свысока на таких Бураков из еврейского квартала в Берлине, на тех, кто напоминал им о давнем, забытом еврейском позоре. И вот в новой стране они идут к Соломону Бураку, пресмыкаются перед ним и даже выбирают его главой общины.

Соломон Бурак одним из первых уехал в Америку. Люди в сапогах зачастили в его магазин, к

тому же каждый раз являлись другие, и приходилось договариваться и платить по новой. Соломон быстро понял, что в этой стране делать нечего. Он понял это вовремя. Соседи, особенно Людвиг Кадиш, продолжали верить, что все наладится, отечество опомнится и вернутся прежние времена, поэтому они не торопились уезжать. Соломон Бурак оказался умнее, чутье, как всегда, его не подвело. Раздав огромное количество взяток, червонец туда, червонец сюда, он раздобыл документы для всей семьи и с женой, дочерью, зятем и внуками, прихватив кое-что из имущества, благополучно прибыл в Америку.

Начал он с привычного дела — торговли вразнос, как в Германии, когда приехал туда из родного Мелеца. Набив два чемодана всякой мелочью, милой женскому сердцу, он пускался в путь, но не по дорогам, а по еврейским улицам возле Ист-Ривер, на одной из которых и поселился. Как в молодости, он стучался в чужие дома, чтобы прокормить семью.

Ита плакала, когда Соломон собирался выходить из дома.

— Шлойме, до чего мы докатились! — причитала она.

— Ну, то, что у меня было, когда я приехал в Германию, я уже вернул, — улыбался в ответ Соломон. — Так что и дальше будет не хуже.

Он никогда не бил на жалость, как многие корбейники. Соломон Бурак терпеть не мог жало-

ваться. Гораздо лучше развеселить покупательницу шуткой. Мешая немецкий, еврейский, польский языки с английскими словами, которые он успел перенять на улице, Соломон умело разжигал в женщинах страсть к покупкам.

— Червонец туда, червонец сюда, дамочка. Надо жить и людям помогать, — приговаривал он и ударял в ладоши, что означало: это так, и все тут.

Дамы были довольны и выгодными покупками, и шутками и поговорками веселого торговца, а больше всего — комплиментами, на которые он не скупился. Соломон не жалел красок, расписывая, какой красавицей станет покупательница в обновке и как мужчины будут падать к ее ногам. Уже в первый вечер Соломон вернулся с пустыми чемоданами и полным карманом. По дороге он прикупил острых еврейских яств: соленых огурчиков, домашних лепешек с луком, чесночной колбасы, перца и селедки и все это вывалил на стол в своем тесном жилище, забитом товаром. Возраст есть возраст: кости ныли, руки отваливались, ноги еле передвигались, но дома Соломон и виду не подал, что смертельно устал, таская тяжелые чемоданы.

— Черта с два враги наши попробуют там такие лепешки и колбасу, какими Соломон Бурак объедается здесь, — шутил он, раскладывая продукты на столе. — Не вешай нос, Итешу, а то я

влюблюсь в какую-нибудь из своих клиенток, и ты останешься с носом и без мужа.

Ита вздохнула:

— Какие глупости ты говоришь, Шлоймеле. А вот мне что-то не до смеха.

— Не дождутся наши враги, чтоб Соломон Бурак распустил сопли. Ты еще будешь стоять за кассой и складывать денежки в ящик, чтоб я так жил.

Соломон Бурак не обманул.

За считанные недели он узнал вкусы американок, разобрался, в каких местах лучше продавать, познакомился с языком и местными обычаями. Он уже не носил чемоданов, а грузил товар на тележку.

— Девушка, дама, мисс, миссис, налетай, подешевело! Берите, пока не поздно, быстрее, hurry up, hurry up!* — гремел на всю улицу его голос.

Конкуренты пытались его затереть, но Соломон Бурак не из тех, кто дает себя в обиду. То шуткой, то крепким словом, а то и ударом в зубы он защищался от местных и продолжал делать свое дело.

Особенно приятно было обложить кого-нибудь из немцев, отомстить за обиды «на родине». Он находил для земляков такие сочные слова и изощренные проклятия, что евреи, услышав,

* Быстро (англ.).

хватались за животы от смеха, даже конкуренты не могли удержаться.

А Соломон тянул нараспев, будто на молитве в синагоге:

— Покупаем, денег не жалеем. Пусть хорошо будет всем евреям и плохо всем злодеям! Эй, мадам, по дешевке отдам, чтоб тошно было нашим врагам!

Он попал в струю. Вскоре он расстался с двухколесной тележкой и приобрел старенький, побитый «фордик», который при этом довольно резво бегал, громыхая расхлябанными дверцами. На экзамене по вождению он сделал несколько грубых ошибок, но вовремя подмигнул экзаменатору в кожаной куртке: червонец туда, червонец сюда, надо жить и людям помогать, и все прошло успешно. Соломон своими руками покрасил ржавый «фордик» в светло-зеленый цвет, чтобы на борту лучше была видна ярко-красная надпись «Торговый дом Соломона Бурака. Берлин». Под завязку набив машину товаром, он ездил по окрестностям Нью-Йорка. С мальчишеским задором, не подходящим его возрасту, в светлом берлинском костюме, с булавкой на пестром галстуке и перстнем на пальце, он гонял на своей развалюхе под семьдесят миль в час. Он весело разъезжал на старенькой машинке и так же весело сбывал товар женщинам в пригородных летних отелях.

— Червонец туда, червонец сюда, надо жить и людям помогать, — говорил он, быстро распаковывал, быстро считал и быстро ехал дальше.

Прошло время, он купил хорошую, новую машину и завел склад, как когда-то в Берлине. Он выискивал, где распродают что-нибудь по дешевке после пожара или банкротства, скупал фабричный брак. Он легко сходился с людьми, хлопал поставщиков по плечу, угощал сигарами и всегда знал, что происходит на мили вокруг. Он никогда не отказывал дать товар в долг. Он пообещал жене, что она снова будет стоять у него за кассой, и сдержал слово. Когда-то, в Германии, едва успев заработать несколько сотен марок, он начал вывозить из Мелеца родственников, и своих, и жены. Теперь он вывозил их из Германии в Америку, давал им товар и отправлял собирать долги по кредитам. И вот он уже перебрался в западную часть города, где приобрел роскошное, просторное жилье, не хуже, чем на Ландсбергер-аллее.

Снова его дом был открыт для всех: для родственников и друзей, для знакомых и незнакомых, для каждого, кто в чем-нибудь нуждался. Снова гости сидели во всех комнатах на стульях и диванах, на столе и даже на полу. На кухне беспрерывно кипятили чай и фаршировали рыбу, варили варенье, пекли маковые коржи и рогалики, как в Мелеце, готовили бульон с клецками. Из граммофона звучали канторские напевы и весе-

лые опереточные песенки. Гости приходили и уходили, недавно прибывшие заглядывали на день и оставались на неделю, спали на столах и скамейках. Снова Соломон называл свой дом «Отель де Клоп», но не с досады, а в шутку, и, как прежде, щедро помогал людям: червонец туда, червонец сюда, надо жить и людям помогать.

К нему стали обращаться за помощью не только бывшие жители берлинского еврейского квартала, но и выходцы из Западного Берлина, гордецы, которые на него когда-то и смотреть не хотели. Первым пришел Людвиг Кадиш, чтобы взять в кредит товара для розничной торговли, за ним потянулись другие. Соломон Бурак никому не отказывал ни в кредитах, ни в беспроцентных ссудах, подписывал векселя, помогал добывать бумаги, чтобы вывезти родных из Германии. Благодаря своей щедрой руке он одновременно с мясником Райхером оказался в правлении синагоги «Шаарей-Цедек», а затем поднялся и до президента. По субботам он с гордостью вынимал свиток из ковчега. В то время как кантор Антон Карали читал Тору, он водил по строчкам серебряной указкой. Он с достоинством выслушивал от прихожан пожелания доброй субботы, здороваясь со всеми за руку.

Соломон Бурак знал, что сэкономил бы кучу времени и денег, если бы ходил в другую синагогу, но считал, что оно того стоило. Приятно было быть президентом в общине немецких гордецов,

среди которых были даже оперный певец Карали и раввин Шпайер.

Соломон оказался единственным, кто протянул руку помощи мистеру Пицелесу. Когда шамес пришел к нему со своей бедой, он даже не позволил ему говорить по-немецки: зачем язык ломать?

— Мистер Пицелес, говорите, будто вы в синагоге где-нибудь во Львове, — сказал он, поднося шамесу стаканчик пасхальной сливовицы, которую пил весь год. — Так я вас лучше пойму.

Мистер Пицелес с благодарностью смотрит на радушного хозяина и продолжает говорить по-немецки: за последнее время он привык к этому языку. Он волнуется за свою должность, немало желающих ее занять. Особенно его беспокоит доктор Липман, знаменитый сват.

Доктор Липман по-прежнему носит волосы до плеч, бархатное пальто и не слишком свежую, но всегда выглаженную белую рубашку, как в праздник. А в праздник надевает зеленый цилиндр на радость мальчишкам на улице. Но в чужой стране он ничего не может заработать своей профессией и постоянно заводит в синагоге речь о том, что галицийскому отдали хорошее место, а он, доктор Липман, должен помирать с голоду.

— Где это видано? — твердит он возмущенно. — Стыд и позор!

Он уже ведет себя так, будто он важная персона в общине, вмешивается в дела мистера Пицелеса

и даже успел заказать визитки, на которых к степени доктора добавлено слово «reverend»*. Он тенью ходит за Соломоном Бураком, отряхивает ему пиджак, помогает надевать пальто и льстит без зазрения совести:

— Вы наш отец, уважаемый господин президент. Сначала Господь Бог, а потом вы, господин доктор...

Соломон Бурак смеется:

— Но я же не доктор, герр Липман.

— Ну как же, вы доктор, вы благородный человек, — не соглашается Липман. — Вы ангел во плоти...

Вот мистер Пицелес и боится, что Липман импозантной внешностью и лестью рано или поздно добьется своего, перетянет всех на свою сторону и получит место шамеса. Соломон Бурак хлопает его по плечу:

— Да плюньте вы на этих немчиков, мистер Пицелес. Я вас в обиду не дам, слово даю. Слово Соломона Бурака, понятно?

34

Нью-йоркский порт раскален жарким летним солнцем. Остро пахнет рыбой, смолой и гнилыми овощами.

Шпили небоскребов пронзают расплавленное серебро неба. Блестят потные тела раздетых

* Духовное лицо (англ.).

до пояса чернокожих портовых рабочих, мускулы перекатываются на обнаженных спинах. Мягкий от жары асфальт дрожит под колесами тяжелых грузовиков, воняющих бензином, выплевывающих облака дыма. Издали доносится шум пролетающих поездов, слышно, как под ними подрагивают мосты. Грузчики, пассажиры, матросы, таможенники, полисмены, таксисты спешат, толкаются, потеют, кричат, швыряют узлы и чемоданы. Неожиданно с грязного берега прилетает легкий ветерок, проносится сквозь толпу, бросает мусор и пыль людям в лицо и так же неожиданно затихает. Духота окутывает людей, как мокрая простыня. После десяти дней морской прохлады Карновские задыхаются в липком, влажном воздухе шумного нью-йоркского порта, гринкарты мокнут в потных пальцах.

Едва ступив на раскаленную нью-йоркскую землю, Довид Карновский, старший в семье, омыл руки в каменном фонтане и благословил страну, в которую привел его Господь.

Доктор Георг Карновский снял шляпу, осмотрел сверкающими черными глазами новый город от горящих на солнце башен до размягченного асфальта и несколько раз ударил в землю каблуком, будто пробуя ее на прочность. И вдруг, неожиданно для себя, взял Терезу под руку и прошелся с ней вперед, потом назад, как на прогулке. Они давно не гуляли вместе. Никто не

обратил внимания, что мужчина с обнаженной черноволосой головой ведет под руку белокурую, голубоглазую женщину. Здесь не надо было бояться уличных банд, когда идешь с собственной женой.

— Тереза, мы в Америке! — указал Георг на не слишком чистую мостовую. — Ты что, не рада?

Он обнял ее и расцеловал.

— Рада, Георг. — Тереза смутилась, что он целует ее на людях.

Карновскому хотелось, чтобы сын тоже радовался вместе с ними.

— Ну что, вот и приехали! — Он приподнял голову Егора за подбородок.

Егор состроил кислую мину, ему не понравилось, что отец так разошелся.

— Уфф, ну и жара! — проворчал он, вытирая пот со лба.

Ему никогда не нравилось, если отец так себя вел. Родители всегда кажутся детям чуть ли не стариками, а что может выглядеть глупее, чем расшалившийся старик? И то, что отец обращается с матерью, как влюбленный мальчишка, хватает ее за руку и целует, было отвратительно. Егор даже дома не мог на это смотреть, а тем более посреди улицы. И новая страна ему сразу не понравилась. Он не понимал, с чего отец так счастлив.

Издали, с парохода, Америка ему понравилась. Сверкающие небоскребы рвались в небо, как сказочные башни в волшебной стране, белые чайки парили над морем, горел на солнце факел в вытянутой руке статуи Свободы. На берегу все оказалось иначе. Здесь было невыносимо жарко и душно, будто по лицу хлещут мокрой тряпкой. На асфальте валялась кожура от бананов и сигарные окурки, обрывки газет цеплялись за ноги. В Германии такое было невозможно. Но самое ужасное — это люди. Полуголые грузчики, черные и белые, кричали, переругивались и сплевывали на землю тягучую табачную слюну, от вида которой тошнота подступала к горлу. Водители небрежно кидали вещи в грузовики, отталкивая каждого, кто оказывался на пути, причем без всякого почтения даже к прилично одетым людям. Зеленая форма служащих выглядела далеко не так элегантно, как немецкие мундиры. Когда инспектор в зеленой куртке, которую он, кстати, расстегнул из-за жары, что совершенно недопустимо для человека в форме, стал задавать Егору вопросы о возрасте, стране, фамилии и вероисповедании, Егор в пику отцу назвал религию матери. На слабом английском, который он учил в гимназии, а потом дома, по книгам, он попытался объяснить, что он, собственно, Гольбек, ариец и протестант, каковым он себя считал. Но черноволосый, кареглазый

инспектор даже слушать не захотел и ответил на ломаном немецком, а на самом деле на идише, что по документам он Карновский, иудейского вероисповедания, хлопнул печатью и велел Егору не задерживаться.

— Next! — крикнул он. — Next!*

Грузчики, с которыми Егор заговорил по-английски, его не поняли, а он не понял их. К подошве прилипла жевательная резинка и никак не хотела счищаться, сколько он ни тер ногой об асфальт. Егор уже ненавидел Америку.

— Чертова грязная страна, — сказал он с презрением, точь-в-точь как дядя Гуго, когда речь заходила о странах, в которых он побывал во время войны.

Это презрение к домам, улицам, площадям и даже людям осталось в нем надолго.

Первым, кто встретил Карновских, когда они прошли все формальности с иммиграционной службой, был дядя Мильнер, брат Леи. Низкорослый, слегка сутулый, но подвижный и быстрый, как ртуть, он тут же подбежал к сестре, которую не видел с ее свадьбы, и кинулся целоваться.

— Лееши, Лееши! — кричал он. — Узнаёшь?

Лея еще не успела толком понять, кто это, а он уже расцеловал всю семью, сначала Довида Карновского, потом Георга Карновского, а потом и Терезу Карновскую.

* Следующий! (англ.).

— Кто это, Лееши, твоя дочка? — спросил он после того, как поцеловался с чужой женой.

— Хаскл, это моя невестка, — ответила Лея. — А вот наш внук.

— Что ж, невестка — тоже дочка, — не смутился дядя Мильнер и подставил Егору щеку для поцелуя. — Как тебя зовут, бойчик?* Меня тут называют Гарри. В Мелеце я был Хаскл, а здесь Гарри, дядя Гарри.

Егор не поцеловал щеки, которую ему подставил низенький, юркий человечек, оказавшийся его дядей. Он не понимал его быстрой речи, да и не хотел понимать этого нелепого языка. По сравнению с *тем* дядей *этот* дядя выглядел настоящим посмешищем.

— Ich verstehe nicht**, — холодно ответил он.

— О, так с тобой надо говорить по-немецки, — рассмеялся дядя Гарри. — И как же все-таки вас зовут, мистер немец?

— Йоахим Георг, — с достоинством представился Егор полным именем.

— Длинновато для Америки, — заметил дядя. — Здесь любят, чтобы было кратко, время дорого.

Так же быстро, как говорил, он завел маленький, покрытый пылью «шевроле» и велел забираться внутрь:

* Мальчик (смесь английского с идишем).

** Не понимаю (нем.).

— А ну, друзья, залезайте!

В машине валялись линейки, циркули, отвертки, гаечные ключи и банки с краской. Егор не торопился садиться. С какой стати он должен слушаться этого смешного человечка, который оказался его дядей? Но дядя Гарри не стал повторять, а ловко затолкал его внутрь, как кондукторы в собвее* заталкивают пассажиров в переполненные вагоны.

— Мой инструмент, — показал на разбросанные по полу вещи. — Я строитель, Лея, чтоб ты знала, строю дома, сношу дома.

За рулем дядя Гарри не умолкал ни на минуту. Он быстро говорил по-еврейски, вставляя английские, русские, польские и немецкие слова. Лея принялась его ругать. За десятки лет ни одного письма не прислал! Она не понимала, как брат мог позабыть о родной сестре. И еще не понимала, куда подевался его высокий рост. Он же был высоким, когда уезжал из дому, а теперь он маленький и сутулый. Увидев, как он изменился, она вспомнила о своем возрасте.

— Хаскл, Хаскл, я ведь даже забыла, как ты выглядишь. За столько лет ни одного письма, ни одной фотографии.

— Времени не было, Лееши, некогда было, — отвечал Хаскл-Гарри, держась за руль.

По дороге он успел рассказать обо всей своей жизни с того дня, как он покинул Мелец, чтобы не

* Нью-йоркское метро.

идти в русскую армию. Он приехал сюда, женился, вырастил детей, женил их, дождался внуков. Чем он только не занимался! Сначала красил стены, потом стал нанимать людей, которые красили за него. От малярных работ перешел к строительству и сносу зданий. Потом стал покупать и расчищать участки под застройку. Во время войны сумел заработать несколько сот тысяч, но из-за кризиса потерял все до последнего цента. Он уже готов был снова стать маляром, но Бог помог, дела пошли, теперь он опять строит, сносит, расчищает участки, и ничего, живет. Рассказав о себе, он заговорил о детях и внуках. Потом стал спрашивать сестру, как она жила все эти годы. Она не успевала ответить на вопрос, как он задавал следующий. А разувзав все, что хотел, весело сказал, что не надо грустить, все это ерунда, ничего не поделаешь, жизнь всегда в полоску. Да хоть бы он сам. И бедным был, и богатым, ходил пешком и ездил на дорогих машинах, продавал их, покупал другие. Вот сейчас ездит на старой шарманке, и ничего, главное, чтоб все были живы и здоровы. Попутно он называл все улицы, по которым они проезжали, и с гордостью показывал здания, магазины, мосты, памятники и площади своего Нью-Йорка.

— Думаете, тут всегда так было? Как бы не так, мои дорогие. Когда я приехал, и половины этого не было. Позже построили. Ничего городишко, а?

Дядя Гарри всей душой любил Нью-Йорк, выросший у него на глазах, и восхищался не только тем, что построил сам.

— Видишь мост, бойчик? — Одной рукой он держался за руль, а другой теребил Егора. — Его построили, как раз когда я приехал. Вон, смотри.

Егор не хотел смотреть на мост и восхищаться домами и улицами. Они проезжали богатый чистый район, но он все не мог избавиться от первого неприятного впечатления. Такова была его натура: если что-то вызывало в нем отвращение, он накручивал себя и переносил его на все вокруг, в том числе и на себя самого. Уже одного того, что этот смешной Гарри, которого он никак не мог признать дядей, так любит Нью-Йорк и тычет Егору пальцем в бок, предлагая восторгаться вместе с ним, было достаточно, чтобы Егор возненавидел этот город.

— Да, да, — повторял он, щелкая языком. Так взрослый делает вид, что восхищается, когда глупый ребенок хвастается перед ним игрушками.

Доктор Карновский увидел, что добрый дядя Гарри понемногу начинает обижаться на насмешки Егора, и незаметно потянул сына за рукав, чтобы тот прекратил. Егор дернулся.

— Чего тебе? — спросил он громко, хотя прекрасно понял отцовский намек.

Когда дядя Гарри въехал в еврейский район, Егор начал демонстративно зажимать нос. Вдоль

улицы тянулись кошерные мясные магазины с нарисованными в витринах петухами, радостно идущими на убой, синагоги, рестораны, кинотеатры, похоронные бюро, украшенные разноцветными гирляндами, овощные лавки, перед которыми стояли лотки с товаром, школы с гигантскими еврейскими вывесками, пекарни, бензоколонки, парикмахерские — все перемешалось, прилепилось одно к другому. Кричали со стен вывески адвокатов, дантистов, сватов, раввинов, врачей. Из открытых окон гремели радиоприемники. Вдоль тротуаров стояли машины всевозможных цветов и марок, от старых развалюх до шикарных, новеньких автомобилей. Молодые черноволосые матери с колясками громко разговаривали и смеялись, качая младенцев. На ступеньках перед дверьми сидели толстые женщины, утирали пот и покрикивали на детей, игравших на улице.

— Сэм, Бетти, Джек, Сильвия, Морис! — несло со всех сторон.

На балконах, пожарных лестницах, крылечках и окнах сушилось белье. Ветерок, неожиданно долетевший с побережья, забирался в женские цветные панталоны, раскачивал беспомощно висевшие рукава мужских рубашек, играл с бюстгальтерами и купальными костюмами. Сверкали на солнце водосточные желоба под крышами. На перекрестках, возле сигарных лавок и аптек, сто-

яли чернявые парни и девушки, лакомились мороженым, курили, хохотали. Носились с мячами мальчишки в пестрых рубашках, свитерах с вышитыми на спине именами и даже голые до пояса. Они шныряли повсюду, гонялись за машинами и трамваями, вопили и дрались. Полисмен на углу зевал, лениво помахивая дубинкой. Шум, гам, жара, голоса, толчея, сигналы автомобилей, фрукты и овощи на лотках, вывески, сохнущее белье и мусор — все смешалось на залитой ярким солнцем улице. Дядя Гарри затормозил возле бензоколонки.

Черные глаза Довида Карновского сияли от счастья. Веселая, радостная, свободная еврейская жизнь кипела вокруг, наполняя его сердце надеждой.

— Лея, смотри, евреи, они все евреи! — повторял он, как странник, который вернулся домой после долгих скитаний.

— Не сглазить бы, — добавила Лея.

Доктор Карновский чувствовал себя не так уютно, как отец. Ему, как любому, кто вырос в Германии, не нравилась излишняя свобода, а беспорядка он просто не выносил. И все же он был рад. Не один год ему приходилось бояться из-за своей внешности, он вынужден был скрывать ее, как увечье, и теперь ему приятно было видеть, что эти люди высоко держат свои черные головы, весело и открыто разговаривают и смеются без

стыда и страха. Он выпрямился и полной грудью вдохнул горячий, влажный воздух.

— Видишь, Тереза? — спросил он, сжав ее руку.

— Да, любимый, — ответила Тереза, с изумлением рассматривая странных, непонятных людей.

Как в порту, доктору Карновскому захотелось, чтобы сын разделил его радость. Ведь он привез его сюда, чтобы освободить от яда, которым отравили его мальчишеское тело.

— Ну, как тебе тут нравится? — спросил он.

— Одна большая Драгонер-штрассе, — презрительно ответил Егор.

Арестант, который много лет просидел в тюрьме, не может вынести уличного шума, его тянет обратно в камеру. Так и Егор не мог вынести свободы. Он не понимал, как могут быть свободными эти люди. Они должны быть тихими и незаметными и стыдиться, что вообще живут на свете, как стыдился этого он. Вместо гордости за них он почувствовал к ним острую неприязнь, которую вызвал бы у него калека, выставляющий напоказ свое увечье. Его раздражали громкие голоса взрослых и крики детей. На родине никто не вел себя так развязно, не только черноглазые брюнеты, но даже голубоглазые блондины. Эти люди были для него совершенно чужими, Йоахим Георг Гольбек не имел и не хо-

тел иметь с ними ничего общего. Но при этом ему было стыдно за их вид и поведение, как может быть стыдно только за близкого человека. Он пытался сохранить равнодушное презрение, но не мог. Так раздражать может только тот, чей позор — твой позор, чье увечье — твое увечье. И от этого его ненависть к ним и к себе становилась еще сильнее.

Он пришел в полное уныние, когда дядя Гарри подъехал к своему двухэтажному дому. Дом с балконами и колоннадой стоял возле самого океана. Вокруг располагался небольшой сад, на заднем дворе около гаража валялись приставные лестницы, доски, железная арматура, инструменты и банки с краской. Красивый дом на берегу совершенно не сочетался с шумными улицами вокруг, не соответствовал ни району, ни дяде Гарри в рубашке с закатанными рукавами, ни его облезлой машине.

— Вот и мой домишко, выкроил на него в удачные годы, — с гордостью сказал дядя Гарри и просигналил, чтобы родные знали, что гости прибыли.

Здесь не было образцового порядка, но и дом, и садик, и гараж напомнили Егору об их собственном доме на родине. У них была машина, а Карл сидел с ним в гараже и рассказывал разные истории. А когда приходил дядя Гуго, они ездили кататься и гоняли за сто километров в час.

На Егора напала тоска по времени, когда все было хорошо. А теперь у него нет дома, только этот смешной человечек, который называет себя его дядей.

Пока они ехали, Егор думал, что дядин дом — огромная помойка, провонявшая луком и чесноком. Он терпеть не мог бедности и тесноты, но надеялся их увидеть, чтобы у него был повод высмеивать новых родственников и доводить родителей, зачем они привезли его на Драгонер-штрассе. Так он собирался отомстить за разочарование. Красивый, просторный дом лишил его возможности это сделать. Ему нечего было сказать, не на что было излить презрение, и от этого ему стало совсем тоскливо.

И еще тоскливее стало, когда их вышли встретить сыновья дяди Гарри. Они неожиданно оказались высокими, широкоплечими парнями и смотрелись еще внушительнее рядом с низеньким, сутулым и юрким отцом. Дядя Гарри представил их с гордостью, но и не без смущения. Как отец он был вправе гордиться такими молодцами, но понимал, что все удивляются, в кого они уродились. Он посмеивался над своим сложением, но не упускал случая напомнить ребятам, что это он их отец, хозяин и повелитель.

— Сделано в Америке! — указал он на сыновей и тут же ни с того ни с сего прикрикнул: — Ну, чего встали, как болваны? Поздоровайтесь с родственниками из Европы!

Черноволосые парни с обветренными, загорелыми лицами улыбнулись, показав крупные белые зубы.

— Привет, дядя. Привет, тетя. Как ты поживаешь? — поздоровались они на чудовищном американском идише, обратившись к нескольким людям на «ты».

Егор понял, каким хилым он выглядит рядом с ними, и попытался произвести впечатление иностранным приветствием. Он представился по всей форме, как принято в стране, из которой он прибыл. Вытянувшись по струнке, он щелкнул каблуками так громко, как умел разве что один дядя Гуго, и назвал полным именем: Йоахим Георг. Но церемонное приветствие не произвело на парней должного впечатления, они только добродушно рассмеялись:

— Хелло, Джорджи. Как дела?

Егору не понравился их бруклинский идиш. Пусть у себя дома так говорят. Он ответил на приветствие по-английски, подбирая слова, чтобы показать, что знает язык страны, в которую приехал. Но парни из-за сильного немецкого акцента ничего не поняли. Да они и не старались понять, а продолжали говорить по-еврейски, как всегда разговаривают с зелеными.

— Как тебе Америка? Хорошо, а? — Они даже не сомневались в ответе.

Уже в третий раз Егор увидел, что его английского не понимают. Вместо того чтобы удивить-

ся, что он, иностранец, знает язык, они и дальше говорили на своем дурацком жаргоне, будто на какой-нибудь Драгонер-штрассе. Егор покраснел от такой наглости. Они считают, что он должен понимать этот язык. Назло им он ответил по-английски, что Америка ему совершенно не понравилась:

— Грязно и шумно.

Он хотел, чтобы парни оскорбились, но ни один из них и глазом не моргнул. Они были настолько крепки, жизнерадостны и уверены в своих силах, что даже не представляли себе, что можно обижаться на смешного долговязого мальчишку в чистенькой одежде. Как все американцы, они были уверены, что их страна — самая прекрасная в мире, и могли только посочувствовать зеленому, который несет такую чушь. Их спокойствие окончательно вывело Егора из себя. Ему казалось, что они издеваются над ним.

Когда дядя Гарри позвал родню в дом, а Егора оставил с сыновьями, он почувствовал себя совсем беззащитным.

— Мы, старичье, немного отдохнем, — сказал дядя, — а вы, ребята, займите чем-нибудь гостя.

— Мы его купаться возьмем. — И парни пошли в гараж переодеться.

Они быстро разделись. Без одежды их загорелые, мускулистые, поросшие черным воло-

сом тела выглядели еще внушительнее. Сыновья дяди Гарри разминались, делали гимнастические упражнения, мерились силой, пока Егор, забившись в угол, натягивал плавки, которые они ему дали. Он стеснялся своей наготы с того дня, когда дети высмеяли его за то, что он не такой, как все мальчишки, а после случая в гимназии и вовсе стал бояться своего тела. Даже когда рядом никого не было, он старался на него не смотреть, как стараются не смотреть на собственное увечье. И сейчас он почувствовал привычный страх и спрятался в темном углу гаража. Парни засмеялись:

— Нас, что ли, стесняешься?

Егор отвел глаза. Ему стало завидно, что они такие рослые, сильные, ловкие, хотя красивыми он бы их не назвал. Разве можно считаться красивым, когда у тебя густые черные волосы на груди?

Но они совершенно не смущались, да еще и подтрунивали над его бледной, гладкой кожей, кожей Гольбеков, которую он унаследовал от матери и которой гордился. Его раздражали их беззаботность и жизнерадостность. Их и других черноволосых, загорелых мужчин и женщин на пляже.

Здесь было так же шумно, как на улицах, по которым они недавно проезжали. Сверкали на солнце загорелые тела, разноцветные купальные костюмы и пестрые зонтики. Над спокойным океаном кружили чайки. На горизонте бе-

лели паруса проходивших кораблей. Смех, пение, джаз из транзисторов, женский визг и детский плач — все сливалось в монотонный, низкий гул. Мальчишки кидали мяч, кувыркались, боксировали и орали во всю глотку.

Вдоль берега на мили тянулись аттракционы, крутились карусели. Зазывалы приглашали в ресторанчики, мороженщики нахваливали из будок свой товар, цыганки у палаток предлагали раскинуть карты. От ярких вывесок рябило в глазах, закладывало уши от выстрелов в тирах, женского визга, музыки из приемников и шума проносящихся мимо машин. Мускулистые парни в шортах обнимали стройных, гибких девушек. Жирные женщины с ногами, как тумбы, тощие женщины с ногами, как спички, волосатые, как обезьяны, толстопузые мужчины, плачущие дети, смеющиеся дети, люди всех цветов и оттенков, высокие и низкие, толстые и худые, в купальных костюмах, штопаных свитерах и дырявых лохмотьях разговаривали, смеялись, ели и пили, жестикулировали и кричали на раскаленном морском песке. Щекотал ноздри острый запах рыбы, водорослей, смолы, нагретых солнцем крыш, каленых орехов и горячих сосисок. От избытка сил сыновья дяди Гарри носились по пляжу, боролись, катались по песку, шутили с девушками, заговаривали с незнакомыми людьми, бросались в воду, плавали и кувыркались.

— Эй, зеленый! — звали они Егора. — Давай к нам, посмотрим, кто лучше плавает, Америка или Германия.

Егор растерянно озирался. Он чувствовал себя лишним в шумной толпе. Он не мог ни сесть, ни войти в воду. Он давно не плавал. С тех пор как люди в сапогах пришли к власти, он не был ни в бассейне, потому что там любой мог его обидеть, ни на Ванзее: там запретили появляться таким, как он. Он отвык и от людей, и от воды.

Парни смеялись:

— Эй, *sissy!** Ныряй, поплыли.

Егор не знал, что значит это слово, но догадался, что ничего хорошего. Они опять издевались над ним. Он ненавидел и сыновей дяди Гарри, и всех людей вокруг. В каждом их движении он видел распутство и наглость. Егору были отвратительны шевелящиеся волосатые тела, он ненавидел их просто за то, что они существуют. Сыновья дяди Гарри будто сошли с карикатур, которые дома рисовали на таких людей — черных, носатых, наглых вырожденцев. Вот только на вырожденцев они как раз совершенно не походили. Наоборот, они были здоровые и сильные — забияки, пловцы и боксеры. Они были совсем не такими, как Егор их себе представлял, и это его злило. Как любой слабак, который не может пустить в ход кулаки, он пустил в ход язык.

* Неженка (англ.).

— Очень грязно, — показал он на разбросанный по песку мусор, бумажки и банановые шкурки. — Вода тоже грязная, противно входить.

Парни встряхнули головами, как молодые, веселые псы после купания, и не стали отвечать. Ничего не могло испортить им хорошего настроения.

Они не жалели сил ни на пляже, ни дома за обедом, с хрустом откусывали фрукты, соленые огурчики и свежую редьку, с аппетитом жевали тминный хлеб и все, что было на столе. Полная, черноглазая тетя Мильнер не успевала подавать новые блюда.

— Посмотрите только, как метут, — смеялся дядя Гарри. — Нечего удивляться, что отец такой худой. Сыночки обожрали, хе-хе-хе...

— Пусть едят на здоровье, не сглазить бы, — радовалась тетя Мильнер.

Она суежилась на кухне, раскладывала порции по тарелкам, подавала на стол и без устали нахваливала перед гостями сыновей. Они такие молодцы, помогают родителям, водят грузовики, присматривают за рабочими на стройке и даже сами берутся за малярные кисти, если надо. А по вечерам учатся в колледже, готовятся стать людьми. И дома помогают, топят котел в подвале, убирают двор, поливают газон. И с едой никаких забот, что им ни приготовишь, все хорошо, все вкусно.

Она ухаживала за сыновьями и за Егором.

— Ешь, деточка, — уговаривала она его, — не стесняйся. Видишь, мои же не стесняются.

Егору нравилась эта добрая, ласковая тетка, которая так настойчиво его угощала. Но он хотел всем показать, что он не охотник до ее воючей еды: бульона с лапшой, курицы, огурцов, редьки, лука и фаршированных кишок. Такая пища годится для пожирателей чеснока вроде ее сыновей, но не для Йоахима Георга. Ему хотелось есть, но он демонстративно, чтобы все заметили, отодвинул тарелку. Ни дядя Гарри, ни его сыновья не обратили на него внимания. Парни продолжали уплетать, а дядя рассказывал о хороших и плохих временах и о своих взлетах и падениях, о том, как богател, разорялся и снова богател.

— А ну, мальчики, хватит жевать! — вдруг прикрикнул он на сыновей. — Марш на кухню, помогите матери мыть посуду.

Ему нравилось командовать высокими и сильными парнями.

И Довид, и Лея, и доктор Карновский, и даже Тереза, понимавшая только одно слово из десяти, были поражены, когда взрослые молодые люди, которые работают и учатся, встали и пошли мыть тарелки. В Германии ничего подобного быть не могло. Они были в восторге от сыновей дяди Гарри.

Егор сидел, опустив глаза. Из кухни доносился смех, и он не сомневался, что смеются над ним. Он совсем растерялся, когда в дом вдруг вбежала единственная дочь дяди Гарри, опоздавшая к обеду.

Черноглазая и смуглая, как братья, но худенькая и быстрая, с черными локонами, которые разлетались в стороны при каждом ее движении, она принесла с собой веселье, озорство и смех. Дядя Гарри попытался изобразить рассерженного отца, но она не больно-то испугалась, а расцеловала его в щеки, оставив на них следы помады, и назвала разными смешными словами: lollipop, sweetheart* и какими-то еще.

— Счастье твое, что здесь люди, — сказал отец, — а то бы я тебе задал.

Девушка показала ему язычок и опять рассмеялась. Единственная дочь, украшение семьи, она пользовалась тем, что была отцовской любимицей. Она ничего не делала по дому, оставляя всю работу братьям. Она не мыла посуду, вставала позже всех, не являлась вовремя к обеду и позволяла себе любую шалость, на которую никто из братьев в жизни бы не решился. Достаточно было обнять отца, расцеловать, назвать каким-нибудь ласковым словом, и он прощал ей все. Озорными черными глазами она открыто посмотрела в лицо незнакомого кузена и протянула ему маленькую белую руку. Егор не знал, как вести себя с девуш-

* Сладенький, милый (англ.).

ками. Он растерялся, его ладонь тут же вспотела. Он решил спасти положение галантностью. Егор вспомнил, как дядя Гуго ухаживал за тетей Ребеккой. Вскочив и вытянувшись по струнке, он услужливо подвинул девушке стул. Сыновья дяди Гарри рассмеялись, увидев, как Егор пытается ухаживать за их сестрой, и, что было самое ужасное, она тоже засмеялась вместе с ними.

— Я Этл, — представилась она без церемоний.

Егор совсем смутился. Он неуклюже положил ей еды на тарелку, налил девушке воды, но чем больше он старался делать все как надо, тем хуже получилось. Наливая воду, он пролил ее на скатерть. Парни зажимали рты, чтобы не прыснуть. Девушка, уверенная, что это ее красота привела кузена в замешательство, наслаждалась его растерянностью и собой, весело болтала и смеялась. А Егор не сомневался, что она смеется над ним и его неловкостью.

Он из кожи лез, чтобы выглядеть элегантным, но ничего не получалось, все валилось из рук. Он места себе не находил, мягкое сиденье стула казалось ему жестким и неудобным, словно было утыкано иголками. Ладони потели от волнения. Он боялся окончательно опозориться. Когда тетя Мильнер подала жареную курицу, он пришел в ужас, ведь он не умел ее есть, не знал, как отделить мясо от костей, как добавить густого корич-

невого соуса. Стоило поднять глаза, как взгляд наткнулся на сыновей дяди Гарри. Как всегда, Егор попытался скрыть растерянность грубостью. Именно потому, что тетя Мильнер так настойчиво его угощала, он отказывался даже пробовать. Этл, уплетая за обе щеки, постаралась помочь матери:

— Почему ты ничего не ешь? Все ведь так вкусно.

— Слишком острая еда для меня. И, черт возьми, здесь так жарко, — пробормотал он в сторону.

— А мне так ничуть не жарко, — ответила Этл, облизывая губы кончиком розового язычка. Егору подумалось, что это ему она показала язык.

Карновские попытались вмешаться, когда Егор начал грубить. Сначала Лея стала уговаривать его поесть, потом Довид, потом отец с матерью. Но чем больше к нему приставали, тем больше он упрямился. Первым не выдержал дядя Гарри. Насмешливо глядя на Егора, он сказал, что думал:

— Боюсь, мы не приглянулись вашему мальчику. Ни наша страна, ни наша жизнь, ни мы сами. Не так ли, мистер немец?

Его слова и, главное, отчетливо прозвучавшая в них насмешка, дескать, можешь нас любить, можешь не любить, меня это мало волнует, окончательно добились Егора. Он уже настолько не владел

собой, что даже обидел даму, за которой пытался ухаживать. Она решила свести все к шутке:

— Кто-кто, а я-то ему понравилась. Правда, Егор?

— Нет! — отрубил он.

— Почему? — искренне удивилась Этл.

— Не люблю черных, — ехидно сказал Егор.

Он перешел все границы. Тетя Мильнер попыталась спасти положение.

— Такой болезненный мальчик, — заботливо сказала она. — Совсем ничего не ест.

Она налила ему стакан воды и вытерла салфеткой вспотевший лоб. Тетя Мильнер надеялась, что так она замнет неловкость и за столом восстановится мир. Но ее слова оказались последней каплей. Егор больше всего на свете ненавидел, когда его называли болезненным мальчиком. Он с детства этого терпеть не мог, а тут чужая женщина, едва его увидев, заговорила о его слабом здоровье, к тому же при двух крепких парнях и девушке.

— Я здоровый, черт возьми, здоровый, понятно? — крикнул он и поднялся из-за стола. — И оставьте меня в покое. Все, чего я хочу, это чтобы от меня отстали...

Лея, Довид, дядя Гарри, тетя Мильнер, Этл — все, кроме парней, которые продолжали невозмутимо жевать, бросились успокаивать Егора. Тереза покраснела до корней волос.

— Егор, Егорхен! — кричала она.

Доктор Карновский взял сына за руку и вывел из комнаты.

— Ноги моей больше не будет в этом доме, — тихо прошепелявил Егор. — Они смеются надо мной...

У него уже несколько месяцев не было нарушений речи. Доктор Карновский испугался:

— Хорошо, хорошо, мы сюда больше не придем. Только успокойся, сынок, пожалуйста, успокойся.

На улице ярко светило солнце, но у доктора Карновского было темно в глазах. Он рвался в эту страну ради сына, и все началось так неудачно. Карновский, хоть и не был суеверен, увидел в этом дурной знак.

35

Соломон Бурак не сдержал слова, что, пока он будет президентом синагоги «Шаарей-Цедек», мистер Пицелес будет ее шамесом.

Когда немчики бунтовали против венгерского шамеса, он за него заступался. В их презрении к мистеру Пицелесу он ощущал презрение ко всем таким, как он, Соломон Бурак. Но однажды субботним утром в синагоге неожиданно появился Довид Карновский с Ораниенбургер-штрассе. Он держал под мышкой старый мешок с талесом. Этот бархатный мешок был у него со свадьбы, Лея

вышла на нем его имя, имя его отца, год рождения и щит Довида. Едва увидев Карновского, Соломон Бурак почувствовал неладное.

На секунду он растерялся. Еще там, в Берлине, при виде образованного и спесивого Довида Карновского он чувствовал себя не в своей тарелке. Соломон прекрасно помнил, как этот надутый индюк воротил от него нос. И еще лучше помнил, как пришел к нему сватать дочь за его сына, а Карновский сказал ему в лицо, что не считает его достойным. С тех пор прошли годы, но такие обиды не забываются. Соломон притворился, что сильно занят, засуетился, стал давать мистеру Пицелесу приказы, в которых не было никакой нужды, лишь бы не встретиться взглядом с новым прихожанином.

Однако растерянность быстро прошла. Соломон взял себя в руки. Он никогда не робел перед немчиками, а Карновский и немчиком-то только прикидывался. Наблюдая из угла, как Карновский, сильно поседевший, сутулый, озирается по сторонам, Бурак почувствовал себя крепче и моложе своих лет. «Ничего, есть Бог на свете, — подумал он, хотя никогда в этом и не сомневался. — Есть Бог, который все видит, все слышит и каждому воздает по заслугам».

Соломон Бурак встряхнул головой, провел ладонью по свежему, гладко выбритому лицу и, выпятив грудь, хозяйским шагом направился через синагогу. Шамес следовал за ним. На секун-

ду у Соломона мелькнула мысль, что он, пожалуй, и не посмотрит на Карновского, сделает вид, что его не заметил. Карновский не признал его тогда, он не признаёт его теперь. Однако тут же решил, что лучше будет показать: Соломон Бурак нимало не зазнался и рад приветствовать Карновского в своей синагоге. В своем положении Соломон мог проявить снисходительность.

— Здравствуйте, земляк, — громко сказал он, подавая руку. — Как поживает Лееле?

В Берлине Соломону приходилось разговаривать с Карновским по-немецки, но сейчас он заговорил на родном еврейском языке, чтобы показать Карновскому, что считает его своим, земляком из Мелеца, нравится это ему или нет. И сразу спросил о жене, чтобы Карновский не подумал, что он, Соломон Бурак, благоговеет перед ним, а знал, что он согласен иметь с ним дело только из-за того, что он муж Леи, ведь Бураки всегда считали ее близким человеком. И потом, если Карновский вдруг опять попытается сделать вид, что Бурака не знает и знать не хочет, так у него не получится. Он из Мелеца, муж Леи, а Соломон Бурак теперь не из тех, кого можно в упор не замечать. Но Довид Карновский не только узнал земляка, а даже обрадовался.

— Герр Бурак! — воскликнул он, обеими руками пожимая ладонь Соломона. — Здравствуйте, реб Шлойме!

Соломону было приятно, что его называли домашним именем, к тому же с добавлением «реб». На секунду в нем появилось подозрение, что Карновский не иначе как попал в беду и пришел за помощью. Но глаза Довида, черные и такие же блестящие, как много лет назад, светились искренней радостью. Горячая, смуглая рука крепко пожимала пальцы Соломона, и он отбросил дурные мысли. Лед на сердце растаял. Довид Карновский опустил глаза.

— Гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда сойдутся, — процитировал он Талмуд, хотя раньше никогда этого не делал в разговоре с невеждой. — Надеюсь, реб Шлойме, вы на меня зла не держите.

Этого хватило, чтобы Бурак вмиг забыл все прежние обиды. Неприязнь, отчужденность и подозрения окончательно испарились. Соломон не был злопамятен, к тому же по седым волосам и морщинам на лице Карновского было видно, что он хлебнул сполна, с лихвой расплатился за грехи уже на этом свете. Соломон еще раз крепко пожал руку Карновского, дескать, что было, то прошло, к чему старое вспоминать?

— О чем вы, реб Довид? — улыбнулся он. — Скажите-ка лучше, как имя вашего отца, чтоб вызвать вас к Торе.

Карновский не понял, к чему это.

— Я президент синагоги, — объяснил Бурак без гордости. — Хочу, чтоб вас вызвали шестым.

В его сердце не осталось ни капли обиды на человека, который когда-то его оскорбил. Его правила были просты: червонец туда, червонец сюда, лишь бы дело шло — в торговле, надо жить и людям помогать — в отношениях с людьми, а искренняя радость Карновского совсем его подкупила.

Впервые явившись в синагогу «Шаарей-Цедек», Карновский повел себя не так, как остальные прихожане. Первым делом он благословил Бога, за то что Он спас его и его семью из рук убийц. Потом, едва закончилась молитва, во весь голос принялся рассказывать о том, как за океаном амалекитяне уничтожают народ Израиля. Неподвижное лицо доктора Шпайера совсем окаменело, когда он услышал речь старого друга. Он только что закончил проповедь, полную пафоса и красивых слов, и ему очень не хотелось слушать о чем-либо грустном. К тому же он вообще избегал разговоров на эту тему, как избегают разговоров о физических мучениях, которые довелось испытать лично. Никто в синагоге не говорил об этом открыто.

— Слова мудрых спокойны, дорогой герр Карновский, — перебил он, поглаживая острую бородку. — Зачем об этом говорить, да еще в субботу?

— Я не о торговле говорю, ребе Шпайер, — возразил Довид, — а о спасении жизни, а это

можно даже в Йом-Кипур, который выпал на субботу.

И он с еще большим жаром заговорил о том, что прежде всего надо спасти старого Эфраима Вальдера и его книги.

— Все вы знаете, кто такой ребе Вальдер. Нужно во что бы то ни стало спасти мудреца от рук убийц.

Доктор Шпайер не разделял его чувств.

— Это очень хорошо с вашей стороны, герр Карновский, очень благородно, но Вальдер там не единственный. В Германии осталось множество ученых, в том числе и гораздо более великих, чем он, но мы не в состоянии им помочь.

— Неправда, — горячился Карновский. — Эфраим Вальдер — один такой, ему нет равных.

Последние слова особенно не понравились доктору Шпайеру. Они принижали его ученость перед всей синагогой. Однако он, как всегда, не стал отвечать грубостью на грубость, а попытался свести спор к шутке:

— Дорогой Карновский, что вы так кипятитесь? Сегодня же суббота, а по субботам ничего кипятить нельзя.

Прихожане засмеялись, но Довид Карновский не дал заговорить себе зубы.

— Вы шутите, ребе Шпайер, а там злодеи мучают мудреца, старого человека! — воскликнул он.

Увидев, что шутками с упрямцем Карновским не сладишь, доктор Шпайер пошел другим путем.

— Слово дорого, а молчание дороже вдвое, — привел он цитату из Талмуда. — Мудрый должен понимать, когда лучше молчать. Особенно в святом месте.

Карновский ничуть не смутился. На любую цитату доктора Шпайера он мог привести десять.

— Царь Соломон сказал: «Бывает время молчать и время говорить», — ответил он громко. — Сейчас время говорить, даже кричать, ребе Шпайер.

Доктор Шпайер не нашелся что ответить. Поняв, что с помощью Торы ему не одолеть упрямого Карновского, он попытался взять его политикой.

— Так или иначе, уважаемый герр Карновский, — сказал он тихо, — все это должно оставаться между нами. Посторонним незачем этого знать.

Доктор Шпайер хотел убить двух зайцев. Во-первых, показать прихожанам, что это их личное несчастье, их беда, и нечего рассказывать о ней таким, как, например, венгерский шамес. Во-вторых, он хотел перетянуть Карновского на свою сторону: он образованный человек, прекрасно говорит по-немецки, долго жил в Германии, значит, хоть и не совсем, но почти свой. А если так, пусть соблюдает местный обычай молчать о прошлой

жизни «там», как в семье молчат о пережитом позоре.

Довид Карновский, однако, ему не внял.

— Мы все здесь евреи, — сказал он резко, — хоть из Франкфурта, хоть из Тарнополя, не важно. Нам нечего скрывать друг от друга, ребе Шпайер.

Он так же решительно наступал на раввина синагоги «Шаарей-Цедек», как когда-то, в молодости, на раввина города Мелеца, когда тот плохо отозвался о Мендельсоне. Доктор Шпайер увидел, что терпит поражение, и поспешил уйти. Его сторонники ушли следом за ним. Соломон Бурак на радостях крепко обнял Довида Карновского:

— Чтоб вы были здоровы, реб Довид! Хорошо вы им показали...

И, махнув рукой на все дела, тут же пригласил Карновского к себе домой на кидуш. Довид отказался. Он был поражен, как легко Соломон его простил, но сам не мог забыть обиду, которую когда-то ему нанес. Довид Карновский не забывал с такой легкостью ни чужих грехов, ни своих. Ему не хватало мужества пойти домой к Шлойме Бураку. Он не мог посмотреть в глаза его жене, с которой даже не здоровался, когда она навещала Лею, и тем более дочери, которую не захотел видеть своей невесткой.

— Реб Шлойме, не сегодня, — попросил он. — Не могу я показаться вашим на глаза.

Соломон Бурак не стал слушать.

— Реб Довид, не сомневайтесь, Ита будет счастлива вас видеть.

Довид Карновский испробовал другую отговорку:

— Лея будет беспокоиться, если я не приду вовремя. Новая страна все-таки...

Но Соломон знал, что делать. Он пошлет шамеса, и тот скажет, что Довид зашел к Буракам. Да что он несет, какого шамеса? Он сам пойдет к Лее. Пусть Карновский только скажет, где они поселились, и они оба пойдут, причем прямо сейчас! Соломон так разошелся, что на секунду даже забыл о субботе. Он уже готов был бежать на угол, где оставил машину, чтобы отвезти Довида, но вовремя опомнился.

Как когда-то, на том берегу, Лея Карновская и Ита Бурак снова бросились друг другу в объятия, расплакались, а потом рассмеялись, как девушки, снова обнялись, расцеловались и всё говорили и говорили. Как когда-то, Ита поставила на стол угощение: варенье, душистый хлеб, штрудель, маковые коржики. А Соломон без устали наливал сливовицу, пасхальную сливовицу, которую пил целый год.

— Давайте, реб Довид, выпьем за то, чтоб весь наш народ был спасен, а враги уничтожены, — говорил он, перед каждым стаканчиком пожимая Карновскому руку. — Выпьем, реб Довид! Будьте как дома.

Довид Карновский не мог быть как дома, хоть и пытался. Он не мог забыть, как обидел этих людей. Больше всего он старался не встречаться взглядом с дочерью Соломона. Она подносила ему угощение, расспрашивала о его жизни, даже о сыне. Довид Карновский не знал, куда спрятать глаза.

— Спасибо, фрау, — бормотал он смущенно, будто хотел благодарностью искупить свою вину, — не беспокойтесь, прошу вас.

Женщины болтали, макая пряники в сладкую водку, и вдруг разрыдались, как на свадьбе.

— Какая же я старая, Лееле, — плакала Ита, глядя на подругу. Она видела на ее лице собственный возраст.

— Годы идут, Ителе, — отвечала Лея, вытирая глаза.

Соломон терпеть не мог женских слез.

— Что это за Тише-Бов* в субботу? — прикрикнул он. — Давайте-ка лучше выпьем за то, чтобы все евреи радовались и веселились.

Увидев, что бутылка почти пуста, Ита забеспокоилась.

— Шлоймеле, ты ведь уже не молодой, — напомнила она. — Что-то ты сегодня разошелся. Смотри, как бы тебе плохо не стало.

— Я никогда не был так молод, как в последние годы! — похвалился Соломон. — Чем стар-

* Пост в память о разрушении Храма, день скорби.

ше становлюсь, тем моложе себя чувствую. Запросто мог бы ходить с чемоданами, столько сил в руках...

— Прикуси язык! — перебила Ита. — Пусть наши враги торгуют вразнос. Ты свое отходил.

— Да я и не собираюсь, это я так, для примера, — успокоил жену Соломон.

— Лучше даже не говори такого.

Но Соломон не хотел молчать. Чем меньше сливовицы оставалось в бутылке, тем разговорчивее он становился. Под хмельком он начал высказывать все, что было на душе:

— Реб Довид, у меня праздник сегодня. Сам Довид Карновский снизошел до меня, явился в гости к Шлойме Бураку. Настоящий праздник.

Ита испугалась, как бы Шлойме не заварил кашу, и попыталась его остановить:

— Шлоймеле, не расходишь. Пойди лучше приляг.

— Ита, дай мне сказать, — не послушался Соломон. — Я должен сказать.

И он высказал все, что думал о давних обидах и спеси Довида Карновского. Он вспомнил, как пришел к нему сватать дочь, а Карновский его унижил. Рут выбежала из комнаты, Ита ладонью зажала мужу рот.

— Шлоймеле, перестань! — закричала она. — Замолчи сейчас же! Реб Довид, не слушайте его, он сам не понимает, что несет.

— Пусть говорит, фрау Бурак, так будет лучше, — сказал Довид.

Он хотел выслушать все до конца. Чем больше Соломон говорил, тем легче становилось Карновскому.

— Да, да, реб Шлойме, — повторял он, — все так.

Излив душу, Соломон опять развеселился:

— Я человек простой, говорю, что думаю. Не мог не высказаться, реб Довид. Зато теперь на душе легко.

— И мне тоже, реб Шлойме. Теперь смогу смотреть вам в глаза.

Тем же вечером Соломон Бурак пошел к мяснику Райхеру, созвал совет общины и заявил, что отныне Довид Карновский станет главным шамесом синагоги «Шаарей-Цедек», а мистер Пицелес будет выполнять работу сторожа Вальтера. Члены совета были недовольны. Мало им было венгерского шамеса, теперь им придется терпеть еще одного чужака, который так неуважительно обошелся с доктором Шпайером и прочими прихожанами. Есть и другие желающие занять это место, уважаемые люди, некоторые даже с титулами. И увольнять сторожа Вальтера им тоже не хотелось, он был им ближе, чем мистер Пицелес.

— Это слишком, уважаемый герр Бурак, — твердили они. — Надо во всем соблюдать меру.

Но Соломон Бурак не поддался.

— Положитесь на меня, — сказал он немцам. — Я знаю, что делаю. Червонец туда, червонец сюда, надо жить и людям помогать.

Так Довид Карновский стал шамесом синагоги «Шаарей-Цедек».

Лея расплакалась, когда Довид рассказал ей, что теперь он шамес в синагоге Шлойме Бурака. Ей-то ничего, она всегда хорошо относилась к Шлоймеле, даже хотела с ним породниться. Но ей было больно за Довида: он, ученый человек, на старости лет стал шамесом, да еще в синагоге, где заправляет Бурак.

— До чего мы дожили, Довид, — вытирала она слезы.

Довид Карновский не дал ей плакать.

— Радоваться надо, — сказал он, — Бога благодарить каждую минуту, за то что Он спас нас от убийц и привел сюда.

— Мне за тебя обидно, Довид, не за себя, — ответила Лея.

— Пусть это будет в искупление моих грехов, — смиренно сказал Довид. — За обиду, которую я нанес реб Шлоймеле, за мою гордыню, за то, что по глупости много лет идолам служил.

Лея не узнавала мужа. За всю жизнь ни разу не было, чтобы он в чем-нибудь раскаивался.

Как новые ботинки, которые кому-то оказываются впору и доставляют радость, а кому-то жмут, трут и приносят такие мучения, что хочется поскорее их снять и надеть старые, стоптанные, но привычные, так и новая страна.

Старшие в семье Карновских быстрее приспособились к новой жизни. Довиду пришлось на старости лет стать шамесом, платили ему мало, но Лея не была так счастлива даже в лучшие времена, когда они жили на Ораниенбургер-штрассе в богатстве и почете. После многолетнего одиночества в Берлине, к которому она так и не смогла привыкнуть, Лея снова жила полной жизнью. Она быстро познакомилась со всеми еврейскими женщинами, жившими по соседству. В основном они были из Великой Польши, Лея сразу распознавала их по выговору. Она не крутила носом, как другие из Германии, когда соседки пытались завязать разговор о том, что творится за океаном. Наоборот, она охотно поддерживала беседу и была благодарна за советы, как лучше устроиться в Америке. Соседки сразу увидели в ней своего человека и полюбили ее, как и она их. В Берлине она дрожала от страха, когда ей приходилось беседовать с дамами в синагоге, а теперь опять могла свободно говорить на родном языке, как в Мелеце, без боязни сделать ошибку или

сказать какую-нибудь глупость. Она снова могла посадить на колени чужого ребенка и ласкать его сколько душе угодно, молодые матери были этому только рады. От соседок Лея быстро нахваталась американских словечек. Она перезнакомилась со всеми мясниками, рыбниками, пекарями и бакалейщиками на улице, их речь и манеры были ей известны и близки. Они прекрасно понимали друг друга. Встречала она и земляков, их здесь оказалось больше, чем в самом Мелеце. Они жили повсюду: в Бруклине и Бронксе, на берегах Ист-Ривер и Гудзона. Лея всегда радовалась встречам с земляками. Они знали, что она дочь Лейба Мильнера, а она узнавала их. Английский язык был ей не нужен. На родном еврейском она всегда могла расспросить, как проехать и как пройти. Снова появилась связь с домом, Лея узнавала новости из Мелеца, получала и передавала приветы, нередко навещала брата Хаскла, которого здесь называли Гарри. Хоть он и был постоянно занят строительством или закупкой и расчисткой участков, он всегда был рад сестре и возил ее по городу на машине, забитой инструментом и банками с краской. При этом он не уставал расхваливать Нью-Йорк и дома, которые в нем построил:

— Ничего городишко, а, Лееши?

Иногда на новой машине приезжали Соломон и Ита Бурак и увозили Лею к себе, когда у них были на обед клецки и рыбный бульон. Только

одно мешало счастью Леи: с ней не было дочери. Даже любимая домашняя еда не лезла в рот, когда она вспоминала Ребекку, глупую девочку, которая из-за своего музыканта не захотела поехать с родителями.

Довид Карновский тоже нашел занятие по душе. Когда было свободное время, он заходил в какую-нибудь синагогу или ешиву, где можно было поучить Талмуд. Как Лея сдружилась с женщинами, так он сдружился с местными знаатоками Торы, раввинами и преподавателями семинарий. Они заводили споры, показывали друг другу свою ученость. Лея мечтала вывезти из Германии Ребекку с ее детьми, а Довид так же мечтал вывезти Эфраима Вальдера с его книгами и рукописями.

— Евреи, сокровища гибнут! — без устали повторял он знакомым ученым и просветителям. — Мудрец Израиля погибает от рук злодеев.

Молодым Карновским оказалось не так легко прижиться в новой стране.

Приехав и найдя жилье в западной части города, они навестили всех родственников и знакомых, а дальше потянулись унылые, серые будни. Праздник кончился. Чужой город вползал в окна и двери их тесного жилища. Карновские не могли привыкнуть к постоянному шуму. После тихого Грюнвальда их слух был особенно чувствителен к звуку проезжавших автомобилей, сигнала-

лам клаксонов и скрипу тормозов. Еще ужаснее были вопли детей на улице, скрежет роликовых коньков, на которых они катались по тротуарам, и стук мячей. Вечером детей загоняли домой, но тут из всех окон начинали греметь радиоприемники. Пламенные речи политиков, слащавая реклама, джаз, хохот комических актеров, пророчества всевозможных проповедников, призывавших вернуться к Богу и Его заповедям, репортажи с боксерских и бейсбольных матчей, заглушая друг друга, неслись изо всех окон и дверей. Тереза постоянно страдала от головной боли. Она не знала, куда деваться от непрерывного шума и тесноты нового жилья.

Перед отъездом доктор Карновский говорил ей, что не надо брать с собой так много вещей, но она не послушалась. С детства привыкшая хранить старое барахло, приученная бережливой матерью, что любая тряпка может пригодиться в хозяйстве, она не смогла с ними расстаться. Каждая вещь была ей дорога. Она не смогла оставить мебель, старинную резную мебель, стоившую целое состояние. Всегда послушная Тереза, на этот раз не согласилась с мужем, что надо выбросить «этот хлам», как он говорил. Рука не поднялась. Тайком она сумела упаковать все. Она привезла с собой фарфоровую и стеклянную посуду, ковры, белье, мебель, старые платья, давно вышедшие из моды, — все, что удалось приобрести в благопо-

лучные времена. За перевоз было заплачено немало, а теперь эти вещи не только ничего не стоили, так еще и заполнили всю квартиру. Тереза целый день была занята тем, что стирала с них пыль.

Медицинские инструменты и оборудование доктора Карновского тоже занимали полквартиры. Когда он продал клинику, он забрал оттуда, что смог: рентгеновские аппараты, осциллографы, лампы для освещения операционной, не говоря уже о скальпелях, ланцетах и зажимах. Доктор Карновский очень надеялся, что инструменты снова ему понадобятся, но пока они только загромождали дом и нагоняли своим видом тоску, как вещи, оставшиеся после покойника. Сколько их ни протирали, на них всегда лежал тонкий слой пыли. Терезе становилось грустно каждый раз, когда она видела их холодный блеск.

Ее пугали незнакомые улицы и чужой язык. Тереза была уверена, что никогда не сможет ни изучить город, ни овладеть английским языком, быстрым и невнятным. Даже кирха, в которую она заходила по дороге за покупками, чтобы в одиночестве преклонить колени и помолиться, была чужой и неудобной. Служба на английском языке была пресной и бессмысленной, Тереза сомневалась, что Богу угодны такие непонятные молитвы. Забрав корзинку для покупок, она покидала кирху с тяжелым сердцем. С еще более тяжелым сердцем она вынимала из кошелька доллары.

Питаться приходилось скудно, деньги, вырученные за имущество, таяли на глазах. Тереза дрожащей рукой доставала зеленые бумажки и долго мяла пальцами каждый банкнот, прежде чем отдать быстрому и небрежному продавцу. Тереза никак не могла привыкнуть к небрежности, с которой продавцы считали деньги и бросали товар на весы. Она не понимала небрежности и расточительности хозяек, которые запросто покупали продукты огромными пакетами и спокойно выкидывали на помойку хорошие вещи: одежду, обувь и даже мебель. Она все время экономила и считала. Тереза не могла допустить, чтобы лампочка в комнате горела лишнюю минуту, сама стирала белье, чтобы не тратиться на прачечную, ходила дома без чулок, без конца штопала и ставила заплаты. Но сколько она ни экономила, доллары испарялись из кошелька. Робко опустив глаза, она просила у мужа денег на неделю, словно была виновата в том, что семья должна есть.

— Георг, прости, мне опять надо денег, — вздыхала она. — Ты не будешь сердиться?

— Милая, да ты что? — улыбался Георг и выдавал ей порцию денег и ласки.

Его тоже угнетали теснота, уличный шум и особенно бесполезное медицинское оборудование. Протирая инструменты, в том числе и любимый скальпель, который когда-то принес ему славу, он чувствовал такую тоску по работе, что серд-

це начинало болеть. Он страдал от вынужденного безделья. Но доктор Карновский гнал от себя печаль и дурное настроение. Кроме кое-каких вещей, он привез из Германии тамошнюю мудрость: деньги потерять — ничего не потерять, мужество потерять — все потерять, и изо всех сил стремился сохранить присутствие духа. Он старался почаще уходить из дома, чтобы не вдыхать запаха нафталина и не видеть бесполезных инструментов.

В Германии Георг любил зайти в кафе, посидеть, покурить, поболтать со знакомыми, но в «Старом Берлине» появлялся редко. Его там прекрасно помнили, узнавали, обращались к нему «герр доктор», и все же он избегал это заведение. Посетители «Старого Берлина» жили воспоминаниями о покинутой родине и безвозвратно ушедших временах, жаловались на одиночество в чужой стране, по тысяче раз рассказывали друг другу об утраченном богатстве и почете и о том, как «там» было хорошо и какой «там» был порядок.

— *Erinnern Sie sich, Herr Doktor**, — с тоской говорили они Карновскому.

Доктор Карновский не хотел вспоминать прошлое. Он сразу понял этот огромный, каменный город, свободный, но суровый. Здесь нужны немалые силы, чтобы проложить себе дорогу, силы и мужество. И он делал все, чтобы его покорить.

* *Вспомните, господин доктор (нем.).*

Ранним утром, встав с постели и наскоро перекусив, он выходил на улицу. Он решительно шагнул вдоль Гудзона. Зеленел лес на противоположном холмистом берегу. Карновский выветривал из себя запахи пыли, постельного белья и нафталина, а вместе с ними тоску и сомнения. Он гулял здесь каждый день, но все не мог привыкнуть к доброте новой земли, где можно идти с высоко поднятой головой, даже если волосы черного цвета. Он часто приезжал на берег океана, там ему нравилось еще больше. В Германии его особенно угнетало то, что ему было запрещено ездить купаться на Ванзее. До запрета бодрящее, освежающее купание было для него величайшим удовольствием, и теперь он наверстывал упущенное. Он любил позагорать, сделать несколько гимнастических упражнений, поплавать и покувыркаться в воде. Лежа на горячем песке, выкапывая ракушки, вдыхая запахи солнца, воды, рыбы и водорослей, он чувствовал себя молодым, здоровым и сильным. Волны мерно бились о берег, выбрасывая просмоленные куски дерева, мусор с кораблей, мелких серебристых рыбок, крабов и моллюсков. Карновский с мальчишеским любопытством разжимал створки ракушек и смотрел на слизистые, белые, бесформенные, но живые тельца морских существ. Он чувствовал сильнейшую жажду жизни, когда рассматривал эти комочки слизи — предков всего живого на Земле.

Набравшись сил и нагуляв аппетит, он иногда заглядывал к дяде Гарри и с удовольствием ел все, что подавала на стол тетя Ройза. А она радовалась, что он так хорошо ест, ей всегда нравилось, когда люди едят и не заставляют себя упрашивать. А ее дочери Этл нравилось, что он такой свежий и загорелый и что от него пахнет солнцем, ветром и морем. Они часто ходили на пляж вместе, бегали и плавали наперегонки. В озорстве Георг ничуть не уступал кузине.

Он увлекся прогулками и купанием, но еще сильнее увлекся подготовкой к экзамену по английскому языку. Экзамен необходимо было сдать, чтобы получить право заниматься медицинской практикой.

Как когда-то в гимназии имени принцессы Софии, но с гораздо бóльшим усердием, он, сидя за партой, внимательными черными глазами смотрел, как учительница мисс Дулитл мелом выводит слова на доске. Как школьник, он тянул руку, когда мисс Дулитл задавала вопрос, а он знал ответ.

Ему было приятно, что он первый ученик в классе, среди толстых сонных женщин, и что мисс Дулитл им довольна. Старательно и серьезно аккуратным округлым почерком она вписывала ему хорошую оценку в тетрадь. Карновского забавляло, что учительница при этом всегда краснела.

Костлявая, высокая, плоскогрудая старая дева с синими венами, просвечивающими сквозь бледную кожу на тонкой шее, торчащими из-под верхней губы передними зубами и соломенными волосами, собранными в старомодный пучок, мисс Дулитл старалась быть в школе для взрослых только учительницей, но не женщиной. Однако у нее это плохо получалось, когда в классе появлялся высокий, загорелый доктор Карновский.

Всегда строго одетая и гладко причесанная, без тени женского кокетства, она стала наряжаться и краситься перед занятиями, когда он стал ее учеником. Теперь она меняла блузки, делала маникюр, даже стала оставлять расстегнутой верхнюю пуговку и слегка подкрашивать тонкие губы. Встретившись с доктором глазами, она краснела, как девушка, и он это замечал. И как врач, и как мужчина Карновский хорошо знал женщин. По его насмешливым глазам мисс Дулитл понимала, что его бесполезно дурачить, он видит ее насквозь, и терялась перед ним. Ее плоская грудь трепетала под его взглядом. Ей было неловко и в то же время приятно, давно забытая сладкая тоска снова поселилась в ее сердце. Она специально вызывала его к доске, чтобы постоять с ним рядом, и велела читать перед классом домашние сочинения, чтобы послушать его голос.

Стареющая костлявая учительница совершенно не интересовала Карновского. Сквозь блузки, ко-

торые она теперь так смело не застегивала до конца, он будто видел ее увядшее худое тело, такой тип женщин был ему прекрасно знаком из практики. Влюбленность мисс Дулитл забавляла его, и только.

Карновскому часто становилось тоскливо, когда он сидел в классе и повторял слова чужого языка. Пройти войну, сделать медицинскую карьеру, добиться известности, и все для того, чтобы вновь оказаться на школьной скамье.

Но он тут же прогонял невеселые мысли. Не поддаваться! Карновский вел войну сам с собой. Враги хотели сломать его, задушить, привести в отчаяние, но он не доставит им такого удовольствия.

— Не вешай нос, Терезхен, — утешал он жену, приподняв ее лицо за подбородок, — все будет хорошо, как раньше. Вот только сдам экзамены и начну практиковать.

Как в молодые годы, он сажал ее на колени и гладил по голове.

— Мучаешься из-за меня, любимая?

Тереза вспыхивала.

— Господи, да что ты говоришь! — обижалась она.

Ей хотелось побыть с мужем, но ждала работа по дому. Тогда Карновский просто брал жену и уводил на прогулку или в кино.

— Делай, как я сказал, глупыш, — приказывал он.

И Тереза тут же забывала о бедах и одиночестве. Он называл ее так в первые дни их любви, и она была счастлива после стольких лет опять услышать это слово. Что ей все несчастья, если она в чужой стране снова получила то, чего не имела «там», — любовь Георга. Тереза никогда не говорила об этом вслух, но она страдала, с тех пор как муж стал известен. Она беспокоилась, когда он уходил из дому, ревновала к каждой женщине, с которой он разговаривал, к его пациентам и сестрам в клинике. От ревности Тереза не спала ночей, она была уверена, что стала посмешищем в глазах женщин, с которыми он встречался. Теперь она опять доверяла мужу. Они снова гуляли, взявшись за руки, или ходили в театр, и он опять называл ее «Терезхен» и «глупыш». Это была достойная награда за ее страдания, одиночество и даже непреходящую головную боль. Она легко справлялась с работой по дому, потому что в соседней комнате сидел Георг и готовился к занятиям в школе.

Иногда доктор Карновский пытался помочь ей с уборкой, как принято в новой стране, но Тереза не позволяла. Она осталась настоящей берлинкой, для которой муж — хозяин и повелитель. Он не должен делать женской работы. Она чистила ему ботинки и костюм, помогала надевать пальто, когда он уходил, и снимать, когда возвращался. Оставшись дома одна, она даже напевала от

счастья, что он поцеловал ее перед уходом, и поцеловал не потому, что так положено, а потому, что любит ее.

Понемногу она привыкала к новому городу и потихоньку перенимала чужой образ жизни. Тереза стала ориентироваться на улицах, уже могла объясняться по-английски. Она даже стала видеть положительные стороны в том, что поначалу казалось ей совершенно диким.

Только младший в семье, Йоахим Георг Карновский, никак не мог прижиться в чужой стране.

37

Человек, укушенный бешеной собакой, мучается от жажды, но не может сделать ни глотка воды и умирает. Так и Егор мучился от желания сблизиться с людьми, но боялся их после перенесенных обид и страдал от одиночества.

Доктор Карновский, зная о страхе сына, изо всех сил старался свести его с людьми. Как опытный врач, он знал, что инфекционная болезнь часто излечивается тем, что в организм вводятся бактерии, которые ее вызывают, и пытался вылечить сына тем, что порождало в нем страх. Карновский упрямо подталкивал Егора к новой жизни, а Егор столь же упрямо сопротивлялся отцу и прятался в угол, как червяк в землю.

Сначала Карновский пытался добиться своего добром. Он расшибался, стараясь сделать все, чтобы сыну было хорошо в новой стране, чтобы он почувствовал вкус к жизни. Он водил его на аттракционы и в парки, гулял с ним по красивым улицам и берегам Гудзона, чтобы показать Егору, как прекрасен город, где они поселились. Ранним утром он поднимал сына с постели, не обращая внимания на его недовольство, и брал с собой на прогулку или увозил на побережье. Егор отворачивался к стене и натягивал одеяло на голову.

— Вставай, соня, посмотри, какой чудный день сегодня, — уговаривал отец.

— Мне-то что? Я плохо себя чувствую, — отвечал Егор из-под одеяла.

— Егор, мы лодку возьмем.

Егор на минуту задумывался. Он обожал кататься на лодке. Но удовольствие от препирательств с отцом, виновником его несчастий, было сильнее.

— Я всю ночь уснуть не мог, шумно в этом чертовом городе, — ворчал Егор. — Дай поспать.

Именно потому, что отец пытался привить ему любовь к Нью-Йорку, Егор называл его не иначе как чертовым городом и проклинал на чем свет стоит.

Он хуже, чем родители, переносил уличный шум и тесноту их жилища. Вместо того чтобы привыкать к новой жизни, он ненавидел ее с каж-

дым днем все сильнее. И чем больше он злился, тем больше мучился. По ночам он страдал от малейшего шума, малейшего шороха. Он просыпался от звука проехавшей машины, вставал, шел в спальню родителей и высказывал им все, что думал о городе, в который они его привезли.

— Черт бы его взял, — ругался он. — Я в этом проклятом городе с ума сойду.

Доктор Карновский пытался убедить сына:

— Послушай, город под тебя не переделается, значит, надо самому переделаться под него. Рассуждай логически.

Егор не собирался этого делать, отцовские призывы рассуждать логически выводили его из себя. Возразить отцу было нечего, но это-то как раз и злило больше всего.

— Вечно ты со своей логикой, — ворчал он.

Видя, что логика не помогает, Тереза пробовала мягко уговорить сына:

— Малыш, будь благоразумен. Мы ведь не по своей воле тут оказались. Ты же понимаешь.

— Не хочу я быть благоразумным, — злился Егор.

Он поздно засыпал и вставал за полдень, в пижаме бродил по квартире, растрепанный и вялый, или лежал в кровати и пытался поймать по радио новости из Германии. Оказалось, что он совершенно не понимает английского языка, который он так усердно изучал до отъезда. Поэтому

он не мог слушать ни американских дикторов, ни певцов, ни комических актеров. У всех у них была одна цель: вывести его из себя бессмысленными выкриками и дурацким хохотом. Он часами крутил колесико приемника, пока не удавалось поймать «оттуда» что-нибудь родное и понятное. Еще больше, чем английского языка, он боялся улицы. Егор мог целый день просидеть у окна, наблюдая, как мальчишки и девчонки носятся, орут, играют, но не решался к ним выйти. У матери сердце разрывалось, когда он так сидел, она уговаривала его пойти погулять с ними. Он ее не слушал. Отец твердил, что бояться нечего, мальчишки здесь не такие, как «там». Егор приходил в ярость.

— Кто боится? — кричал он. — Я боюсь?!

Но на самом деле он не мог избавиться от давнего страха, что над ним будут смеяться. Стоило Егору услышать чей-нибудь смех, как ему сразу казалось, что смеются над ним. А из-за страха, что его обидят, он заранее ненавидел тех, кто мог это сделать. Он видел врагов во всех подряд.

Поняв, что добром ничего не добьешься, доктор Карновский попытался применить строгость. Он чуть ли не силой выгнал сына на улицу. Егору пришлось подчиниться. Он ступал осторожно, будто впервые в жизни надел коньки и вышел на лед. Он не был уверен в своем английском и поэтому начинал шепелявить при первых же словах. Даже сыновья дяди Гарри понимали его ис-

кусственный язык с сильным немецким акцентом лучше, чем ребята на улице. В штопаных свитерах с номерами на спине, рубашках, выбившихся из штанов, и даже вообще без рубашек, они бросали мяч и орали во всю глотку, им некогда было слушать, что там бормочет этот чистюля, который потерянно ходит вокруг.

— Эй, хватай мячик, кидай сюда! — крикнули ему, когда мяч подкатился к его ногам.

Всего-то и надо было поднять мяч и бросить обратно, и Егора тут же приняли бы в игру. Но он не понял отрывистых, быстрых слов, которых не было в учебниках, и переспросил заученной фразой:

— I beg your pardon, sir?*

Услышав такое обращение, мальчишки схватились за животы от хохота.

— Кацен-Яммер! — крикнул один, вспомнив имя персонажа из комиксов. — Зауэркраут!**

Егор как ошпаренный бросился домой.

Случилось то, чего он больше всего боялся: его подняли на смех. После этого ему стало страшно даже просто пройти мимо мальчишек в штопаных свитерах. Он с завистью смотрел, как они играют, бегают за мячом, кричат и смеются. И, как всегда, убеждал себя, что это не зависть, а благородное презрение. Он радовался, когда кто-нибудь из

* Простите, сэра? (англ.)

** Похмелье, кислая капуста (нем.).

них вдруг падал на асфальт или промахивался в броске.

Когда приблизилось начало учебного года и доктор Карновский заговорил о школе, Егор и во все перепугался, ведь именно в школе он перенес величайшее унижение. Для него не было ничего страшнее школьных стен и коридоров, само слово «школа» вызывало в нем ужас. Егор с каждым днем терял аппетит, с криком просыпался по ночам. В то утро, когда он должен был впервые пойти в школу, у него поднялась температура. Напуганная Тереза позвала мужа. Доктор Карновский осмотрел сына и понял, что он не притворяется, у него и правда был жар. Но он знал, что это не из-за болезни, а от страха. Карновский велел сыну одеваться. Егор с ненавистью посмотрел на отца.

— Ну и ладно, — проворчал он. — Но если я свалюсь, ты будешь виноват.

Тереза умоляющими глазами посмотрела на мужа, но доктор Карновский не передумал. Он решил, что сыну необходимо горькое лекарство.

— Ничего, пусть привыкает к людям, — сказал он жене. — Ему же будет лучше.

Как Карновский и предвидел, температура прошла, но прижиться в школе Егор не смог. Его отправили в начальный класс, потому что он пропустил несколько лет и почти не знал языка. Самый старший и самый высокий в классе, на го-

лову выше остальных, Егор терялся под любопытными взглядами учеников. Когда его впервые вызвали к доске, он попытался правильно, чисто произносить английские слова, но чем больше он старался, тем смешнее звучала его речь. Точно с таким же немецким акцентом часто говорили артисты в комедиях. Один из мальчишек не выдержал и рассмеялся, за ним грохнул весь класс. Егор начал шепелявить, смех стал еще сильнее.

Однако мистер Барнет Леви, учитель английского, быстро восстановил порядок. Он постучал карандашом по столу, тщательно протер блестящие очки и, прервав урок, заговорил мягким, красивым баритоном. Голос был главным оружием мистера Леви. Казалось бы, у невысокого, полного учителя с огромным еврейским носом, курчавыми волосами и черными глазами за толстыми стеклами очков было немного шансов стать любимцем ирландских, еврейских, немецких, итальянских и негритянских мальчишек и девчонок. Но ему достаточно было сказать лишь несколько слов неожиданно глубоким, бархатным голосом, и его начинали слушать с интересом и вниманием. Благодаря голосу низенький, полный человечек даже казался выше, солиднее и красивее. Школьницы влюблялись в мистера Леви из-за его голоса. Учитель прекрасно знал свою сильную сторону.

— Тише, тише, тише, — сказал он мягко.

Мистер Леви никогда не злился, он всегда говорил спокойно и негромко. И в этот раз он не стал кричать на учеников, а объяснил, почему их новый товарищ вынужден был покинуть родину и перебраться в новую страну. Он пока еще плохо знает английский язык, поэтому он попал в младший класс.

Что говорить о девочках, если даже мальчики были растроганы речью учителя. А мистер Леви, довольный тем, что смог легко навести в классе порядок, через толстые стекла очков дружески посмотрел в глаза Егору. Что ж, закончил он шуткой, пока произношение у нового ученика не совсем американское, но со временем он улучшит его настолько, что сможет сам преподавать английский, как он, Барнет Леви, сын еврейского портного-иммигранта.

И он подмигнул Егору, чтобы показать, что прекрасно его понимает и сочувствует. Однако новый ученик не улыбнулся в ответ, как ожидал мистер Леви.

— Я не еврей, сэр, — ответил он с холодным презрением.

Пока учитель говорил, Егор Карновский испытывал к своему защитнику не благодарность, а только пренебрежение и гнев. Ему не нравились низкорослые, кучерявые, смуглые очкарики, у которых расовая принадлежность была написана на лице. Глядя на таких, он вспоминал, что сам один

из них. Они напоминали ему о карикатурах из немецких газет. Он был оскорблен тем, что носатый очкастый человечек с компрометирующей фамилией, которой он «там» стыдился бы и правильно бы делал, вдруг стал защищать его, Йоахима Георга Гольбека. И главное, мистер Леви представил его классу как еврея, своего соплеменника. Егор не хотел иметь с ним ничего общего и сказал ему об этом в глаза.

Мистер Барнет Леви на секунду растерялся, когда этот переросток, за которого он вступился, вдруг выставил его дураком. Как любой еврей сразу распознает своего, так и мистер Леви увидел соплеменника в этом долговязом парне. Но учитель знал, что класс — не место для дискуссий на эту тему, и поспешил закончить разговор:

— Оставим расовые вопросы специалистам из-за океана. Мы не занимаемся подобными исследованиями. А теперь продолжим урок.

С этого дня между учеником Егором Карновским и учителем Барнетом Леви установилась тихая неприязнь. Егор вообще давно не любил учителей и перенес свою ненависть на мистера Леви. При этом он хотел понравиться светловолосым одноклассникам. Его тянуло к ним, но в то же время он их побаивался. Егор разделил учеников на две группы. Одни — голубоглазые и светловолосые, с которыми он хотел сдружиться, хоть и опасался, что они не примут его из-за примеси еврей-

ской крови и будут относиться к нему так же, как «там». Другие — смуглые и черноглазые. Этих он не боялся, но презирал и сторонился их, потому что в душе чувствовал себя таким же, как они. Перед первыми он заискивал, на вторых смотрел свысока. Одноклассники быстро заметили и его трусость, и наглость. Свободные, веселые, шумные, они вместе играли на переменах, один мог обозвать другого «wor», «sheeny» или «nigger»*, но все обиды тут же забывались, когда они брались за мяч, и никто никого не презирал. Они невзлюбили робкого, заносчивого, подобострастного и наглого новичка со смешным акцентом.

Егор пытался мстить тем, что всячески унижал их страну и расхваливал ту, из которой приехал. Он и сам знал, что это ложь, но до небес превозносил все немецкое: немецких солдат, полицейских, моряков и спортсменов, которым американские и в подметки не годились. Неловкий и слабый, он боялся принимать участие в играх, но говорил, что просто не хочет, потому что местные игры — это чушь собачья. Рассерженные мальчишки вызвали его на драку, чтобы посмотреть, кто сильнее, Америка или Европа. Егор не принял вызова, и его стали в глаза называть трусом и зазнайкой. А он притворялся больным и нарочно опаздывал на уроки, чтобы поменьше видеться с однокласс-

* Презрительные прозвища итальянцев, евреев и негров.

никами и мистером Леви. Назло учителю он не делал домашних заданий. Доктор Карновский понимал, что сын прикидывается больным, и ругал его, а Егор злился на отца за его пронизательность. Ничто не могло укрыться от внимательных черных глаз Карновского, он видел Егора насквозь. Сын боялся отцовского взгляда. Но еще хуже были глаза деда, Довида Карновского, который стал часто заходить в гости.

Здесь Довид Карновский гораздо сильнее ощущал себя евреем. Он перестал подстригать бородку. По-еврейски он говорил теперь намного чаще, чем по-немецки, то и дело вспоминал о синагоге, заповедях, субботе и прочих подобных вещах. У него вдруг прорезалась певучая еврейская интонация, как у тех, кто жил на Драгонер-штрассе. Она ужасно бесила Егора. Но еще больше Драгонер-штрассе приносила в дом бабушка Карновская. Она заглядывала в кастрюли, интересовалась, кошерная ли еда, и совсем вернулась кговору Мелеца, ее уже и понять было невозможно. Дед и бабка не давали Егору покоя.

— Ну, как учеба? — спрашивал Довид Карновский.

— Никак, — грубо отвечал Егор.

Довид Карновский застывал в кресле.

— Плохо! — говорил он наконец. — Рабби Элиша бен-Абуя, величайший ученый и мысли-

тель, сказал: тот, кто начал учиться смолоду, пишет на новой бумаге, кто в старости — на ветхой, которая скоро рассыплется.

— Плевать мне, что он там сказал, — грубил Егор нарочно, чтобы старик отвязался.

Рассерженный Довид предсказывал, что внук ничего не добьется в жизни, если будет так себя вести. Пора бы одуматься, если он хочет стать приличным человеком, как его отец и все Карновские.

— Больно надо, — отвечал Егор.

Пока муж совсем не вышел из себя, Лея уводила его из комнаты Егора. Она пробовала повлиять на внука лаской, грозила ему пальцем, за то что он так некрасиво разговаривает с дедом, и угощала домашними маковыми коржиками.

— Ешь, мой хороший, чтоб ты был здоров, — уговаривала она Егора.

Егору не хотелось ни ее сладостей, ни ее ласки. Не хотелось ему и принимать друзей, которых для него подыскивали.

Лея была озабочена состоянием Егора не меньше, чем Георг или Тереза, и искала ему друзей, ровесников, которые тоже приехали из-за океана. Лучшим на эту роль ей представлялся Маркус Зелонек, сын Йонаса и Рут и внук Соломона Бурака.

Копия матери, полноватый, добродушный и сентиментальный, Маркус в свои семнадцать лет

был гордостью семьи Зелонек. Он был лучшим учеником в классе. Приехав в страну каких-то пару лет назад, он так усердно принялся за учебу, что стремительно перепрыгивал из одного класса в другой, еще и получая медали и грамоты. Учителя не могли на него нарадоваться. Однажды его фотографию даже напечатали в газете. Лея изо всех сил старалась свести Маркуса с внуком, чтобы Егору не было так одиноко. Кроме того, она надеялась, что умничка Маркус подаст внуку хороший пример и пробудит в нем мальчишеское честолюбие.

Конечно, Лея помнила, как нехорошо ее сын поступил когда-то с дочерью Соломона, и не была уверена, что Рут Зелонек отпустит Маркуса к Георгу. Она попыталась деликатно разведать, что и как, но Рут только расцеловала ее и сказала, что, напротив, она будет очень рада встретиться с молодыми Карновскими. Лея, не мешкая, принялась за дело. Обе семьи должны были встретиться у нее дома. И доктор Карновский, и Рут смутились, увидевшись впервые после стольких лет. Георг чересчур заинтересованно принялся расспрашивать Рут, продолжает ли она играть на пианино, а Рут чересчур крепко обняла Терезу Карновскую. Но вместе с неловкостью оба почувствовали искреннюю радость.

Карновские пригласили Зелонек к себе и попросили непременно привести Маркуса.

Доктор Карновский не знал, как его сын примет гостя, он даже сомневался, что Егор выйдет поздороваться, и взял все в свои руки. Он сам привел Маркуса в комнату Егора.

— Это Маркус, это Егор, — сказал он, улыбаясь. Ему было немного смешно смотреть на мальчишек, которые считают себя взрослыми. — Познакомьтесь.

И он вышел, закрыв за собой дверь: пускай дальше сами разбираются.

Маркус Зелонек протянул мягкую руку, полную тепла, доброты и дружелюбия. Он был совершенно не похож на деда, весь в мать, с такими же, как у нее, черными еврейскими глазами и густыми черными волосами, но в каждой черточке его круглого лица светилась такая же доброта, как у Соломона.

— Привет, Егор, — поздоровался он по-английски. — Приятно познакомиться.

— Йоахим Георг! — Щелкнув каблуками, Егор обдал его холодом голубых глаз.

Ему ничего не понравилось в этом парне, которого навязывали ему в друзья. Во-первых, что еще за Маркус Зелонек? Еврейское имя звучало для Егора смешно. Это имя часто попадалось на вывесках еврейских магазинов, открытых торговцами, приехавшими «оттуда», и еще чаще — в сатирических журналах, где высмеивали таких торговцев. Не лучше, чем какой-нибудь Мориц.

Одного имени было достаточно, чтобы Егор не захотел иметь дела с его обладателем. Во-вторых, внешность. Доброе, круглое лицо, большие, черные глаза, курчавые волосы. Маркус Зелонек на поминал Егору овцу, жирную, толстую овцу. Из-за очков он казался старше и серьезнее. И конечно, сразу заговорил о книгах, учителях и своих медалях и грамотах.

Егор с первого взгляда возненавидел Маркуса, потому что в нем было слишком много того, что он, Егор, ненавидел в самом себе. Но Маркус Зелонек этого даже не заметил. Как любой доброжелательный и доверчивый человек, у которого все прекрасно, который доволен всем на свете, он не видел ничего, кроме себя и своих успехов. Он любил всех и был уверен, что все любят его.

Хуже всего было то, что, несмотря на презрение, Егор чувствовал к Маркусу зависть. Он завидовал его радостям и достижениям. Родители Маркуса гордились сыном, без конца рассказывали о его успехах в учебе, а родители Егора, не только отец, но и мать, все время ставили Маркуса ему в пример. Егор слышать не мог, как они его нахваливают. Чем больше им восторгались, тем ничтожнее выглядел Егор в собственных глазах и тем больше ненавидел Маркуса Зелонка.

Как всегда, он попытался замаскировать зависть насмешкой. С серьезным видом он принял-

ся расспрашивать Маркуса, сколько у него медалей, хранит ли он их дома или носит с собой. Маркус расцвел и наивно ответил, что все медали у него здесь, в кармане, он может их показать. Егор с деланным восхищением пощелкал языком.

— И это все? — спросил он уже с явной издевкой.

— Я еще получу, — простодушно ответил Маркус.

Увидев, что его стрелы не попадают в цель, Егор начал открыто издеваться над еврейской любовью к учебе, книгам и медалям. Он заявил, что эти книжные черви, профессора и учителя, гроша ломаного не стоят, говорить о них — только время тратить. И Маркус, и его отец Йонас Зелонек, благоговеющий перед образованием, и Рут Зелонек, мать удачного ребенка, широко открыли рты. Доктор Карновский решил, что надо вмешаться, пока не поздно.

— Не воспринимайте всерьез, господа, — сказал он с горькой улыбкой. — Это так, мальчишеское бахвальство.

Он попал в больное место. Егор не переносил, когда его не воспринимают всерьез и считают его слова мальчишеской болтовней. Он думал, что они с отцом одинаково друг друга ненавидят и отец нарочно пытается его унижить. Он специально привел этого очкастого Маркуса, чтобы поиздеваться над Егором. Сидит и восхищается, какой

у Зелонеков замечательный сын. А он, Егор, — пустое место, только и может бахвалиться.

— Черт, я уже не маленький, знаю, что говорю, — скрипнул он зубами. — И нечего мне рот затыкать...

Он уже не мог остановиться. Будто оратор на берлинской улице, он вылил на отца и гостей всю ненависть к еврейским интеллектуалам, книжным червям, чертовым придуркам, которые носятся со своей ученостью, а она только давит, как горб на спине.

Гости окаменели. Тереза Карновская с ужасом смотрела на сына. Она, единственная нееврейка за столом, поняла, что должны чувствовать Зелонеки.

— О Господи! — тихо выдохнула она.

Доктор Карновский попытался спасти положение. Надо, чтобы гости поняли: ничего страшного, это глупости, мальчишка просто болтает сам не знает что. Он слегка обнял ребят за плечи и вытолкал из комнаты:

— Хватит политики. Идите лучше погуляйте.

У Маркуса язык чесался. Очень хотелось устроить дискуссию, он бы от речей Егора камня на камне не оставил. Но он послушался доктора Карновского: погулять, так погулять. Однако Егору совершенно не хотелось выходить на улицу в компании очкастого, кучерявого Маркуса. Увидят, что он дружит с еврейским парнем, будут

думать, что он и сам такой. Добродушный и наивный Маркус даже не заметил презрения Егора, зато его мать прекрасно все поняла. Вдруг вспомнилась старая обида. Рут поднялась.

— Пойдем, Маркус, — сказала она. — Нам не очень-то рады в этом доме.

Тереза схватила ее за руку:

— Ради Бога, не уходите.

Но Рут Зелонек не позволила себя удержать.

— Йонас, — обратилась она к мужу, — подай мне пальто.

Доктор Карновский всегда помнил, что гнев — плохой советчик, и пытался держать себя в руках. Он загородил гостям дорогу.

— Быстро извинись! — сказал он сыну. — Сию минуту!

Егор был близок к истерике.

— Н-н-нет-т-т! — ответил он, запинаясь, и бросился вон из комнаты.

Он очень боялся шепелявить и запинаясь при посторонних. Дома, с матерью, он говорил чисто, свободно, но робел перед незнакомыми людьми, а чем больше он робел, тем сильнее у него заплетался язык. Особенно Егор терялся перед девушками. Этл, дочь дяди Гарри, была частым гостем Карновских. У избалованной девушки, отцовской любимицы, было много свободного времени, ведь всю работу по дому, даже женскую, делали братья. Она заглядывала к Карновским, что-

бы немного поболтать, посмеяться, и убегала так же неожиданно, как приходила. Ее любимым развлечением было пофлиртовать с Егором. Именно потому, что стеснительный, робкий парень говорил ей грубости, она обожала его подначивать. Она объяснялась ему в любви и даже целовала в щечку.

— Ну, Егор, я все еще тебе не нравлюсь? — спрашивала она наполовину в шутку, наполовину всерьез. Этл не забыла, как он сказал, что она ему не нравится, потому что он не любит черных.

Женственность была в ней ключом, у Егора кровь закипала от каждого прикосновения веселой, жизнерадостной девушки, но он продолжал демонстрировать ей свое пренебрежение. Он видел насмешку в ее озорных черных глазах. Но больше всего он боялся за свою речь, а чем больше боялся, тем больше она его подводила. Язык костенел во рту, горло сжималось. Он не мог выговорить ни слова. Егор неделями помнил горячие прикосновения кузины, по ночам мечтал о ней, обнимал и целовал ее в своих фантазиях, но терялся, когда она приходила. Она прижималась к нему, брала его за руку, а его ладони тут же начинали потеть, и он прятал руки в карманы. Этл смеялась. Она говорила, что у него прекрасные голубые глаза, они так нравятся ей, потому что у нее самой глаза черные, и еще говорила, что он надутый немчик, дурак и болван — слова, кото-

рые она слышала от матери. И вдруг опять хватала его за руку и тянула танцевать. Егор вырывался. Рядом с быстрой, проворной Этл он выглядел особенно неуклюжим. Ее ножки порхали по полу, а Егор боялся на них наступить, а то и вовсе упасть. Привычный страх, что над ним снова будут смеяться, сковывал его тело, на лбу выступал холодный пот.

— Отстань, — грубил он, чтобы скрыть замешательство.

Этл бросала Егора и подбегала к доктору Карновскому:

— Доктор, хоть вы-то мне не откажете?

— Что на тебя нашло? — улыбался Карновский, но вставал и начинал с ней вальсировать, как когда-то в салоне Мозеров.

Этл клала руку ему на плечо и старательно повторяла его движения.

— Вот, смотри на отца и учись, — наставляла она Егора.

А Егор завидовал отцовскому умению обращаться с женщинами. Но сильнее зависти была ревность, и он убегал к себе в комнату и запирали дверь, чтобы не видеть ту, к которой он тянулся и не решался приблизиться, чтобы не видеть отца, который превращал его в ничтожество одним своим видом. Егор думал о своих нелепых выходках и злился на себя. Он понимал, что сам выставляет себя дураком, мучился из-за этого и наслаж-

дался мучениями. Он потерял последнюю надежду найти себя в новой жизни.

Он знал, что сам в этом виноват. Он был худшим человеком в мире, потому что мучил себя и других. Ему было противно смотреться в зеркало, даже собственная внешность вызывала в нем отвращение. Он ругал себя последними словами. Мать заходила в комнату, гладила его по лицу, ерошила волосы, но он отказывался принимать ее ласки, хоть и желал их.

— Не надо, — просил он.

— Что с тобой, Егор? — не понимала Тереза. — Ты меня больше не любишь?

— Люблю. Но все равно не надо, — отвечал Егор и высказывал все, что думал о себе и своей пропащей жизни.

У Терезы слезы выступали на глазах.

— Глупенький мой, — утешала она его, — ты будешь счастлив, у тебя вся жизнь впереди.

Егор качал головой:

— Вы, кто старше, все так говорите, но быть молодым — не счастье, а мучение. Вы не понимаете меня, никто меня не понимает. Я как мышь в мышеловке, мне не вырваться, а никто этого не видит. Никто.

— Ну, скажи, что для тебя сделать?

— Никто ничего не может сделать, — отвечал Егор. — Только и осталось, что руки на себя наложить. Не хочу быть обузой ни для себя, ни для других.

Тереза больше не могла сдерживать слез, и они катились по щекам. Егор видел, но продолжал говорить, ему хотелось видеть, что мать его жалеет. Значит, он не одинок, есть человек, которому он дорог и нужен. Ему становилось жаль себя. Зачем же он себя мучает? Ведь он ни в чем не виноват, в его бедах виноваты другие. Особенно отец и его семья, все из-за них. Так говорил его наставник дядя Гуго, и газеты, и книги, и радио. Даже сами евреи об этом пишут.

Егор обожал читать, что пишут о себе еврейские самоненавистники, ему нравилось, как они описывают собственную ущербность. Читая их, он оправдывал себя и мстил отцу. Конечно, это все он, отец. Это он притащил его сюда, столкнул с людьми, которых Егор терпеть не может. Ему отвратительны их вид, и речь, и манеры, и вся их жизнь.

Мысль, что во всем виноваты отец и его раса, облегчала страдания Егора. Ненависть к себе сменялась жалостью. И мать тоже было жаль, она страдает ни за что. Отец влез в ее жизнь, влез в семью Гольбек, чистую и незапятнанную, оторвал мать от родных, от страны и языка и притащил сюда, к чужим, равнодушным людям.

— Мама, зачем ты это сделала? — спрашивал он неизвестно который раз. — Зачем ты вышла за него?

Тереза не могла этого слышать.

— Егор, не смей так говорить!

— Я ненавижу его, — повторял Егор. — И он меня тоже ненавидит.

Тереза зажимала ладонями уши:

— Не болтай глупостей. Папа любит тебя больше всего на свете.

— Он ненавидит меня, а я его, — стоял Егор на своем. — Так будет всегда, это в крови, ничего не поделаешь.

Он садился на пол у ног матери и целовал ее руки.

— Мамочка, любимая, — просил он, — поехали домой.

Терезе очень не хотелось напоминать Егору, какой позор он там перенес, но она была вынуждена это сделать.

— Как ты можешь просить об этом после того, что ты там пережил? — твердит она.

— Только мы с тобой поедem, — горячо убеждает Егор, — ты и я. Там бабушка и дядя Гуго, он придумает, как сделать, чтобы все было...

Желание бежать от действительности, от новой, не подходящей для него жизни порождало фантазии, в которые Егор сам начинал верить. Чем больше он погружался в мечты, тем сильнее убеждал себя, что они осуществимы, что все возможно. Только бы мать перешла на его сторону! Егор не сомневался: если бы она бросила отца,

отказалась от него, порвала все связи с ним и его родней и вернулась бы с Егором домой, в свой город, к своему народу и своей семье, то все их беды тут же забылись бы, как кошмарный сон. Дядя Гуго не раз говорил, что он, Егор, — Гольбек, и уж он-то позаботится о племяннике, устроит все так, что он станет таким же, как все. Эта мысль так захватила Егора, что он не расстался с ней ни днем, ни ночью. Ему снилось, что он снова «там», в доме бабушки Гольбек. По знакомым улицам маршируют люди в сапогах, реют флаги, играет музыка. И они тоже маршируют, дядя Гуго и Йоахим Георг Гольбек. А женщины смотрят на них и аплодируют, и прекрасные белокурые девушки бросают им под ноги цветы, а они всё идут, идут и идут.

Но мать будила его, и он должен был собираться в школу, в новую школу, которую ненавидел и боялся.

— Мама, — ныл Егор, хватая ее за руки, — мама, поехали домой. Ну скажи «да».

Тереза начинала сердиться:

— Не болтай глупостей. Ты знаешь, этого никогда не будет. Я запрещаю тебе говорить об этом.

— Да, я знаю, что я для тебя ничего не значу, — причитал Егор. — На меня тебе плевать, а он для тебя — это всё...

Он видел, как мать любит отца, и желал только одного — его смерти.

Люди в сапогах уже не знали, что придумать, чтобы старая Иоганна, служанка доктора Ландау, ушла от еврейского хозяина. Они зывали к ее разуму, оскорбляли и даже запугивали, убеждали, что арийка не должна служить еврейскому кровопийце, а Иоганна в ответ называла их сопляками и крысами. Она была слишком стара, чтобы заставить ее покинуть дом по закону. Доктор Ландау не мог давать ей мясной пищи, которую она любила, теперь ей тоже приходилось есть «траву», но она не хотела уходить. Ей никогда не нравилось, как доктор питается, что он собирает гонорар в тарелку и расхаживает по кухне в голом виде, но она не могла бросить его на произвол судьбы.

Доктор Ландау пытался ее выгнать.

— Глупая старуха, — твердил он, — чего тебе сидеть у меня и голодать? Шла бы к своим, там у тебя будет и мясо, и кофе.

— Что вы всё мелете? — сердилась Иоганна. — Лучше бы бороду причесали. Как фройляйн Эльзу забрали, так у вас вечно в бороде капуста.

Однажды старуха не поднялась ранним утром, как всегда. Доктор вышел на кухню, где стояла ее железная кровать.

— Иоганна, что с тобой? — спросил он.

— Я умираю, — спокойно ответила Иоганна.

Доктор Ландау собрал в кулак бороду, чтобы не мешала, и приложил ухо к груди служанки.

— Нечего стесняться, глупая гусыня! — прикрикнул он, когда Иоганна попыталась закрыть грудь руками. — Я не собираюсь надругаться над арийской женщиной. Послушаю сердце и дам лекарство. Дыши глубже.

— Что вы болтаете? — не послушалась его Иоганна. — Пришло мое время. Мне пастор нужен, а не врач.

Ее пульс был настолько слабым, что доктор Ландау еле его нащупал. Женщина говорила правду. Доктор отпустил ее руку и прикрыл залатанным одеялом.

— Хорошо, Иоганна, я приведу пастора.

Слабая улыбка осветила морщинистое лицо служанки.

— Идите скорее, доктор, — прошептала она. — А то поздно будет.

Убежденный атеист, на этот раз доктор Ландау не стал насмешничать, но пошел и привел пастора, а потом распорядился, чтобы консьержка, фрау Крупа, созвала соседок, которые смогут переступить порог еврейского дома и отдать умершей последний долг. У доктора еще оставалось немного денег, и он похоронил на них Иоганну. Он единственный проводил похоронные дроги на Фридгоф и даже дал могильщикам чаевые. Доктор отправился домой, где больше не было

ни одной живой души, чтобы убрать в комнатах и впервые в жизни самому приготовить скудный ужин. Однако в доме было прибрано. Кровати были застелены, стол вытерт, вымытые полы еще не успели высохнуть. Удивленный доктор подергал себя за бороду. И удивился еще больше, когда в старой корзинке, с которой Иоганна ходила на рынок, обнаружил свою любимую еду: морковь, свеклу, картошку и даже бутылку молока.

Доктор Ландау рассердился, увидев продукты. Такое случилось впервые, до сих пор он никогда ничего не брал, наоборот, всегда сам давал другим. Но он тут же устыдился своей гордыни. Как он мог разозлиться на человека, который сделал ему добро? Доктор сел ужинать.

С тех пор он часто находил дом прибранным, когда возвращался с долгой прогулки, а возле двери его поджидал пакет с продуктами. Иногда в нем было немного гороху, иногда кусок сыра или бутылка молока. Доктор страдал от одиночества, но видел, что Новый Кельн его не забыл. Люди тайком помогали ему, и это наполняло его сердце надеждой.

— Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, — отвечал он тем, кто решался поздороваться с ним на улице, когда он выходил погулять.

Чаще всех с ним здоровался почтальон герр Колеман. Иногда он приносил доктору письмо с тюремным штемпелем. Герр Колеман был зна-

ком со всеми жителями района и знал, от кого эти письма. Они приходили редко, но, встретив доктора на улице, почтальон всегда подолгу рылся в сумке, чтобы скрыть от посторонних глаз, что он остановился поздороваться.

— Письмо, герр Колеман? — нетерпеливо спрашивал доктор.

— К сожалению, в этот раз нет, герр доктор. Но непременно будут, — утешал старика герр Колеман. — Может, вместо письма сама фройляйн Эльза придет.

Доктор Ландау махал рукой:

— Я уже не надеюсь, герр Колеман.

— До свидания, герр доктор. Держитесь, не теряйте надежды, — тихо говорил почтальон, закидывая сумку на плечо.

Герр Колеман не ошибся. Однажды доктор Ландау стоял у закопченной железной плиты и готовил овощи на ужин. И вдруг открылась дверь, которую никто уже давно не открывал в столь поздний час, и в кухню вошла Эльза. Доктор застыл с ножом в руках, не веря собственным глазам. Перед ним стояла его дочь, ссутулившаяся, поседевшая, одетая в старенькое, поношенное пальто. Доктор бросился к ней. Эльза, как всегда, была спокойна.

— Отец, ради Бога, положи нож.

Она осторожно вынула нож из его дрожащей руки, как отбирают опасный предмет у ребенка, и вдруг бросилась ему на шею.

— Папка, милый мой папка, — повторяла она, пытаясь найти его губы в густых зарослях бороды и усов.

— Девочка моя. — Старик гладил ее по волосам, в которых появилось столько седины.

Эльза была очень осторожна, но на другой день у двери оказалась не одна, а две бутылки молока и крошечный букетик цветов. В нем был спрятан листок бумаги, на котором было написано: «С возвращением!» Эльза с трудом сдержала слезы. Она стала более практичной и хладнокровной, чем раньше. Чтобы раздобыть денег, она продала несколько вещей из дома, кое-что из одежды и мебели. С прежней энергией она принялась обходить консульства и посольства, чтобы получить визы для себя и для отца. Доктор Ландау говорил дочери, чтобы она думала в первую очередь о себе. Он уже стар, оставшиеся несколько лет сможет прожить и здесь. Новый Кельн поможет ему не умереть с голоду раньше времени. Эльза велела ему слушаться ее и не вмешиваться. Она обращалась с отцом, как с ребенком, жалела его, но могла и прикрикнуть. Прихватив тощие сумки с одеждой и бельем, медицинские инструменты, тарелку для гонорара и большой букет цветов, который Новый Кельн в последний момент положил у дверей, отец и дочь покинули рабочий квартал в Северном Берлине и отправились в Гамбург, чтобы попасть

на трансатлантический рейс. Всю дорогу Эльза проверяла, на месте ли два паспорта с буквой J, означающей, что они выданы евреям, и немного марок, оставшихся после получения виз и шифс-карт. Целых сорок марок, по двадцать на каждого, люди положили им на порог, чтобы они смогли выехать из страны.

В Берлине они привыкли к бедному району и в Нью-Йорке тоже остановились в бедной части Манхеттена, недалеко от Гарлема. Они сняли номер в дешевой гостинице. Поблизости оказался вегетарианский ресторанчик, где они могли питаться. Доктор Ландау, будто ребенок, совершенно терялся в шумном незнакомом Нью-Йорке, зато Эльза сразу находила нужную улицу, выбирала верное направление, чувствовала каждый нерв, каждую артерию огромного города. В тюрьме Эльза Ландау не теряла времени даром. Она подготовилась к жизни в новой стране, прочитала множество книг по ее истории, познакомилась с ее обычаями и порядками, географией и экономикой. Она выучила язык страны, в которую надеялась попасть. Страницу за страницей она вызубрила наизусть словарь и прочитала все английские книги, которые нашлись в тюремной библиотеке, от Библии до приключенческих и любовных романов. Доктор Ландау удивлялся, как легко его дочь общается с американцами, как быстро находит улицы, переулки и площа-

ди. Но он был окончательно поражен, когда через неделю после их приезда дочь привела его в огромный переполненный зал, в котором она, доктор Эльза Ландау, бывший депутат рейхстага, должна была выступить с докладом.

Опять свет, аплодисменты, репортеры с фотоаппаратами, приветствия и музыка. Доктор Ландау протер глаза, он не мог поверить в то, что видел. Эльза чувствовала себя как рыба в воде, будто вернулось время, когда она была на вершине славы. Сильным, звенящим голосом она уверенно призывала не прекращать борьбу, но вести ее до победного конца. Народ ликовал, Эльзу долго не отпускали со сцены. На другой день ее фотография была напечатана во всех газетах. Репортеры приходили в гостиницу, чтобы взять у нее интервью. Она бегло разговаривала с ними по-английски. Доктора Эльзу Ландау то и дело звали к телефону. Она стала заказывать себе и отцу не только овощи, но еще яйца, выпечку и всевозможные молочные блюда, потом нашла гостиницу попримичней и сняла две комнаты. Эльза по-прежнему выбирала из отцовской бороды крошки после еды в дорогих вегетарианских ресторанах.

— Что ты дуешься, мой милый, смешной папка? — укоряла она отца. — Ну, улыбнись своей маленькой Эльзе.

Доктор Ландау не улыбался.

Ему не нравилась шумиха, которую опять начали поднимать вокруг его дочери. Он не выносил толпы и бравурных речей. Эльза вечно пропадала на собраниях и конференциях, домой приходила поздно ночью. Она снова начала разъезжать с выступлениями по городам. Доктор Ландау не понимал английского и каждый раз терял дорогу, когда выходил на утреннюю прогулку. Он скучал по дочери, ему хотелось, чтобы она была рядом. Он надеялся, что она вернется к медицине и они будут работать вместе. Бродя по бедным улицам, населенным черными, латиноамериканцами, пуэрториканцами, он мечтал найти здесь жилье, достать инструменты, поставить на стол тарелку для гонораров и начать лечить грязных, оборванных ребятишек.

— Эльза, ты так и не поумнела, — повторял он. — Послушай меня, брось ты эту политику, займись медициной. Это же твое призвание.

— Нет, папа, — возражала Эльза. — Врачей тут полно, а борцов — единицы.

Убедившись, что от Эльзы он ничего не добьется, доктор Ландау принялся сам искать место. С дипломом в руке он ходил из одного бюро в другое и по-немецки рассказывал о своей многолетней практике за океаном. Но ему объясняли, что он должен сдать экзамены, в том числе по английскому языку. Доктор Ландау не знал, что делать. Чужой язык был для него настолько труден,

что без Эльзы он не мог даже сделать заказ в ресторане.

Эльза выговаривала ему. Он не должен думать о работе, дочь сама обеспечит его всем, чем надо. Пускай себе гуляет по утрам и отдыхает после стольких лет тяжелого труда. Если ему скучно, Эльза снимет для него комнату у семьи «оттуда», чтобы ему было с кем поговорить. Ему будут готовить его любимую еду и ухаживать за ним. Доктор сердился.

— Какой еще отдых! — кричал он. — Я пока из ума не выжил, чтобы только жрать и спать.

— Папа, не кипятись, — успокаивала его Эльза. — Тебе вредно волноваться.

— Яйца курицу не учат! Сам знаю, что мне вредно, что полезно.

Блуждая по незнакомому городу, расспрашивая дорогу на берлинском немецком, он обошел все бюро и комитеты. Доктор разворачивал перед служащими старый диплом и просил:

— Дайте хоть какую-нибудь работу. Не важно, сколько там платят, лишь бы что-то делать.

В одном из комитетов им заинтересовались.

— Доктор, а о курах вы что-нибудь знаете? — спросили его.

Доктор Ландау погладил бороду:

— Специально никогда ими не занимался. Но знаете, в Берлине приходилось лечить не только людей, но и животных. Бывало, собак приносили, кошек, кроликов, голубей.

Служащие переглянулись.

— Нужен человек на птицеферму. Вот только сможете ли вы в ваши годы?

Доктор Ландау терпеть не мог, когда ему напоминали о возрасте.

— Дайте-ка руку, — сказал он служащему.

— Руку? — удивился клерк. — Зачем?

— Да не бойтесь, просто пульс пощупаю. Дайте руку, и все.

Служащий осторожно протянул ладонь, будто перед ним сидел колдун, способный навести порчу.

Доктор Ландау так сжал его пальцы, что тот вскрикнул от боли.

— Ну что, старый я, по-вашему?

— Что ж, попробуем вас взять, — улыбнулся клерк и хлопнул доктора по плечу.

Пришлось Эльзе собрать отцовские вещи и отпустить его к курам. Доктор Ландау надел бархатные брюки, в которых годами выходил на прогулку, тяжелые дорожные башмаки, суконную рубашу и с мальчишеским нетерпением подошел к старенькой двухместной машинке, которую прислали за ним с фермы.

— Давай руку, дед, помогу, — сказал водитель в кожаной куртке.

— Не надо, молодой человек, — с досадой ответил доктор и легко забрался в машину.

— Ого! А у тебя еще сил хоть отбавляй! — заметил шофер.

Доктору приятно было услышать такой комплимент. Как только они выехали за город и ветерок начал играть его седой бородой, доктор почувствовал себя молодым и крепким. Новая страна больше не казалась чужой. Мычание пасущихся коров, блеяние овец, ржание лошадей на лугах было родным и знакомым. Холмы и скалы дышали вечностью и покоем. Доктор чувствовал их молчаливое величие. Он принялся напевать старую дорожную песенку, которую помнил еще со студенческих лет.

На другой день с первыми лучами солнца он приступил к работе. Осторожно и ловко он ходил среди кур, белых, как его седина, и высматривал, нет ли среди них больных.

После работы он с аппетитом обедал зеленью и овощами, запивая их водой из родника. По вечерам он лежал в своей комнатке у гаража и читал книги по птицеводству, которые нашла для него Эльза. Доктор занимался с таким усердием, будто у него была целая жизнь впереди. С каждым днем он все больше узнавал о птичьих повадках и заболеваниях. Доктор полюбил кур, как раньше любил пациентов. Он научился с первого взгляда распознавать больных и заботливо их выхаживал, отделив от здоровых.

— Не клюйтесь, дуры, — ругал он своих подопечных. — Зерна на всех хватит.

Доктор Ландау лютой ненавистью возненавидел торговцев, которые приезжали скупать птицу

на убой для летних отелей. У него сердце разрывалось, когда он слушал испуганное кудахтанье. По воскресеньям Эльза приезжала его навестить. Они гуляли по окрестностям, как в давние времена, когда она была студенткой.

— Папа, не спеши, — предупреждала Эльза, когда они поднимались в гору.

— Молчи, глупая гусыня, — сердился старик. — И не ртом дыши, а носом, носом, понятно?

Эльза вспоминает, как они гуляли втроем, когда с ними был Георг Карновский, и вздыхает.

— Что такое? — спрашивает отец.

— Ничего, ничего, — отмахивается Эльза и, чтобы скрыть свои мысли, начинает рассказывать о поездках по городам, лекциях и конференциях.

Доктор Ландау не хочет слушать.

— Лучше бы ты поселилась тут, на ферме, — говорит он.

— С курами? — смеется Эльза.

— С курами, ну и что? — отвечает старик. — Куры, между прочим, далеко не так примитивны, как мы думаем. С ними гораздо интересней, чем с людьми...

Эльза выбирает крошки из отцовской бороды:

— Когда ты научишься держать бороду в чистоте?

Вражда между учеником Егором Карновским и учителем Барнетом Леви усиливалась день ото дня.

Мистер Барнет Леви, опытный педагог, всеми силами старался побороть неприязнь к долговязому парню, который его ненавидел. Егор Карновский показывал свою неприязнь при каждом удобном случае. Он никогда не отвечал на вопросы мистера Леви спокойно, но обязательно с насмешкой, не смотрел в глаза, когда учитель к нему обращался, а демонстративно отворачивался. Домашних заданий он почти не готовил. В конце концов терпение учителя иссякло, и между ними произошло открытое столкновение.

Мистер Леви рассказывал на уроке о Мёз-Арденнском наступлении*. Он с пафосом говорил о том, как американские батальоны гнали солдат кайзера. Учитель любил рассказывать об этой битве, ведь он сам принимал в ней участие и очень этим гордился. На встречах ветеранов, куда он приходил в маленькой шапочке и солдатской форме, которая теперь с трудом налезала на его невысокую, полную фигуру, они с боевыми

* Мёз-Арденнское наступление (29.09.1918 — 13.10.1918) — одно из крупнейших сражений Первой мировой войны, в котором германские войска были разбиты объединенными силами англичан, французов и американцев.

товарищами каждый раз вспоминали это сражение во всех подробностях. С не меньшим удовольствием он рассказывал о нем гостям у себя дома. С каждым годом он все меньше походил на героя войны, и все красочней становились его рассказы. Мягким, бархатным голосом он описывал ученикам великое сражение и славил батальоны, в одном из которых он был, когда американские войска разбили немцев. Голос учителя раздражал Егора, как скрип тупой пилы. От дяди Гуго он слышал об этой битве другое. Обер-лейтенанту Гуго Гольбеку, который тоже в ней участвовал и спасся бегством, эта битва была как кость в горле: ни проглотить, ни выплюнуть. У него было только одно оправдание: нож, который тыловики воткнули в спину доблестной армии. Егор захотел высказать эту точку зрения низкорослому, курчавому Леви.

— Сэр, — перебил он учителя, — если бы гражданские предатели не воткнули немецкой армии ножа в спину, она никогда бы не отступила.

Обычно Барнет Леви не сердился, когда ученики его перебивали, он любил дискуссии. Но в этот раз он не смог сохранить спокойствие: с ним начали спорить о битве в Арденнском лесу, о его битве. Меньше всего ему хотелось слушать историю о ноже в спину.

— И кто же эти гражданские предатели, а, Карновский? — спросил он с насмешкой.

— О, всякие враги армии, — ответил Егор. — Если бы не они, немецкие войска выиграли бы сражение.

— А если бы у козла было вымя, он давал бы молоко, — заметил мистер Леви.

Мальчишки засмеялись. Обычно школьникам нравится, когда один из них начинает спорить с учителем, но в этот раз класс оказался целиком на стороне мистера Леви, ведь он рассказывал о том, как свои победили врагов. Егор растерялся.

— Сэр, я говорю серьезно, а вы шутите! — крикнул он, с ненавистью глядя на учителя холодными голубыми глазами.

Мистер Леви попытался говорить серьезно. Он привел пример из спорта. Проиграв матч, плохой боксер утверждает, что противник использовал запрещенный прием, подножку или удар ниже пояса, или что его засудили, или что помешали враги. Но важен результат, а не объяснения. Разве не так?

— Да, сэр! — грохнул класс, с торжеством глядя на разбитого защитника немцев.

Мистер Леви постучал карандашом по столу, чтобы стало тихо, и продолжил урок. Его слушали все, кроме Егора Карновского.

Он понимал, что с его слабым английским, над которым смеется вся школа, и неуверенностью, из-за которой он даже начинает шепеля-

вить, у него нет шансов выиграть войну с мистером Леви, однако сдаваться не хотел. Егор знал, что сделает себе только хуже, но его тянуло на ссору. Так чумной не может удержаться и расцарапывает свои болячки. Егору нравилось доставлять себе мучения, назло себе он отворачивался от хорошего и стремился к плохому.

Рассказав о победе над немецкой армией, мистер Леви заговорил о тех, кто теперь стоял у власти в Германии, о ее новых повелителях и законодателях. Егор знал, что это правда, он испытал на своей шкуре, что это за люди, но его вывело из себя то, что об этом говорил мистер Леви. Егор как с цепи сорвался.

— Сэр, — перебил он снова, — вы не должны так говорить о моей стране.

Учитель вспыхнул.

— Карновский, — ответил он резко, — вы в Америке.

Егор понимал, что лучше молчать, и не мог.

— Немец всегда остается немцем! — выкрикнул он слова, которые много раз слышал «там».

Мистер Барнет Леви, как любой еврей, всегда распознавал своих, как бы они ни маскировались. Лозунг Егора его не вдохновил.

— Думаю, те, кто стоит в Германии у власти, были о вас другого мнения, Карновский, — сказал он под смех класса, — иначе бы вас оттуда не выгнали.

— Я не еврей, мистер Леви! — сказал Егор со злостью. Он хотел оскорбить учителя, подчеркнув его еврейское происхождение.

— Нас это не интересует, — перебил мистер Леви. — Нас интересует только успеваемость и поведение учеников. Сядьте на место.

Егор попытался нагрубить, но учитель ему не дал.

— Вон из класса, — приказал он. — И завтра утром к директору.

Егор не спал всю ночь.

С одной стороны, он боялся предстоящей встречи, с другой стороны, многого от нее ждал. Он никогда не разговаривал с директором, только видел его несколько раз, но испытывал к нему уважение и симпатию. Высокий, плечистый, голубоглазый, с красным от солнца и ветра лицом и соломенными волосами, очень густыми для человека, которому уже под пятьдесят, мистер Ван Лобен походил скорее на капитана корабля, старого морского волка, чем на директора школы. Его внешность, имя и даже трубка, которую он не вынимал изо рта, будто она приросла к нижней губе, — все вызывало у Егора Карновского восхищение. Это не то что черный, кучерявый мистер Леви. Именно таких, как мистер Ван Лобен, рисовали на плакатах, когда надо было изобразить истинного арийца, чистокровного представителя нордической расы. Егор даже не сомневался, что

их симпатия окажется взаимной и мистер Ван Лобен его поймет. Он хотел произвести на директора лучшее впечатление.

Открыв дверь кабинета, он громко щелкнул каблуками и вытянулся по струнке. Так Егор хотел показать: если он плохо ведет себя в школе, то лишь потому, что там он находится среди всяких Леви. Другое дело, когда встречаются два достойных человека, которые понимают друг друга. В этом случае он готов проявить уважение.

— Йоахим Георг Гольбек-Карновский, — отчеканил он, вставив фамилию матери. — Позвольте войти, сэр!

Мистер Ван Лобен поднял ладонь.

— Ладно, ладно, — сказал он с легкой усмешкой. — Нам эти штучки ни к чему, молодой человек. Садись и назовись еще раз, одним именем, чтоб я запомнил.

Растерянный Егор остался стоять. Мистер Ван Лобен приобнял его за плечи и усадил на стул.

— Ну вот, — добродушно сказал он и опустился в кресло, жалобно заскрипевшее под его мощным телом. Вытянув ноги так, что из-под брюк показались лодыжки, он заглянул в лист бумаги, лежавший на столе, и раскурил погасшую трубку. — Что это за великая война с мистером Леви, а, молодой человек? — спросил он с напускной суровостью.

Егор откашлялся и заговорил. Нескладными, длинными фразами, которые он мысленно переводил с немецкого, то и дело вставляя слово «сэр», он начал рассказывать о своих бедах и страданиях, которых никто не понимает. Разве кто-нибудь сможет понять глубокие личные переживания? Мистер Ван Лобен глубоко затягивался, чтобы побороть зевоту. Ему было скучно. Опытный педагог, директор известной школы, он все же терпеть не мог разбираться с проблемными учениками. С озорниками он знал, что делать, сам был таким. Он умел сладить с мальчишкой, который плюнул в учителя жеваной бумагой или еще что-нибудь натворил. Директор не злился и не ругался. Подзатыльник, щелчок по носу, тычок в бок, и школьник тут же понимал, что был не прав. Мистер Ван Лобен умел перевоспитывать даже драчунов и воришек. Великан и силач, любитель крепких уличных словечек, директор Ван Лобен мог быть очень убедительным, с ним трудно было спорить.

С проблемными учениками было гораздо сложнее.

Сын бедного фермера, прижившего кучу детишек и похоронившего несколько жен, мистер Ван Лобен должен был всего добиваться своими руками. Он был грузчиком в бакалейной лавке, служил юнгой на пароходе, летом ездил по стране и нанимался к фермерам заготовливать сено,

работал на гектографе в профсоюзе портовых рабочих. Днем зарабатывал на хлеб, по вечерам занимался самообразованием, потом окончил колледж, стал учителем, что совершенно не соответствовало ни его внешности, ни воспитанию, и дослужился до директора школы. Веселый и добродушный человек, он повидал в жизни разных людей, узнал и хорошие, и плохие времена, испробовал разные профессии, в общем, прошел огонь и воду. Мистер Ван Лобен знал, что всего надо добиваться самому, а не винить других в своих неудачах, и его бесило, когда мальчишки плакали, что им плохо и их не понимают.

— Ну, дальше, дальше, — выдыхал он слова вместе с трубочным дымом.

Но Егор уже не знал, о чем говорить, и повторял одно и то же. Он выказал обиду на маленького, толстого, кучерявого, черного мистера Леви. Мистер Леви неприятен ему не как учитель, а как человек. Его вид и манеры раздражают Егора, вызывают смех и отвращение. Это из-за него у Егора пропадает всякое желание учиться.

Он на секунду замолчал и посмотрел в глаза мистера Ван Лобена, голубые глаза моряка, надеясь увидеть в них сочувствие. Однако взгляд мистера Ван Лобена был отчужденным и холодным. Егор заговорил с большим жаром. Он не знает, как это объяснить, говорил он, это глубоко внутри, это передается из поколения в поколение.

Короче, такому, как мистер Леви, этого не постичь, но мистер Ван Лобен, конечно, его понимает, как понимают друг друга люди одной крови.

— Да, сэр, одной крови! — Под конец Егор неожиданно взвизгнул, будто голос у него еще не поломался. — Надеюсь, вы поняли, о чем я.

Мистер Ван Лобен энергично выколотил трубку о стол и ответил на длинную речь Егора одним словом:

— Чушь!

Егор открыл рот. Чего-чего, но такого он не ожидал.

Мистер Ван Лобен опять набил трубку и закурил.

— Да, сэр, — сказал он с явной издевкой. — Чушь собачья. С этим не ко мне.

Он выдвинул ногой из-под стола мусорную корзину, вытащил из нее кипу бумаг и показал Егору:

— Видишь, молодой человек, такой бред мне каждый день присылают. А я выкидываю.

Егор опустил глаза. Мистер Ван Лобен швырнул бумаги обратно в корзину.

— Вот так-то, сэр, — добавил он. — Потому что я терпеть не могу, когда жалуются, причитают и размазывают сопли.

Егор попытался что-то сказать, но директор не позволил.

— Терпеть не могу! — продолжил он раздраженно. — Тебе плохо — борись руками, а не язы-

ком. Это женщина может жаловаться и плакать, а не мужчина.

Егор молчал и только все ниже опускал голову под неожиданными ударами, которыми осыпал его высокий, светловолосый человек. Вдруг мистер Ван Лобен улыбнулся ему, как ребенку.

— Послушай, сынок, — заговорил он совершенно другим тоном, — я хочу поговорить с тобой, но я люблю, когда мне смотрят в глаза. Подними голову.

Егор решил, что директор затеет с ним спор, но мистер Ван Лобен начал расспрашивать его не как учитель, а как врач:

— Сколько тебе лет?

— Восемнадцать, сэр.

— Покажи руку.

Егор не понял, чего хочет директор. Тогда мистер Ван Лобен сам поднял его руку и пощупал мышцы.

— Это рука девушки, а не парня, — сказал он. — Вот, смотри.

Он закатал рукав, и Егор увидел бугристые мускулы и татуировку орла, память о годах, когда мистер Ван Лобен служил на пароходе. Неожиданно директор наклонился к Егору и тихо спросил:

— Онанизмом часто занимаешься?

Егор покраснел. Мистер Ван Лобен стукнул трубкой по столу:

— Что молчишь? Все занимаются, и я в твоём возрасте занимался. Стыдиться нечего.

Егор снова опустил голову, но мистер Ван Лобен приподнял его лицо за подбородок:

— Сынок, я мог бы перевести тебя в другую школу, но я этого делать не буду.

— Почему, сэр? — тихо спросил Егор.

— Во-первых, потому, что мистер Леви — прекрасный учитель, — ответил Ван Лобен. — Во-вторых, что гораздо важнее, потому что ты его ненавидишь. Я хочу, чтобы ты учился у него. Тогда ты сможешь избавиться от глупостей, которые вбили тебе в голову.

Егор хотел возразить, но мистер Ван Лобен посмотрел на часы и заторопился:

— Ладно, сынок, я поговорю с мистером Леви, и все забудется. Сейчас напишу письмо твоему отцу, надо бы с ним увидеться.

Егор, запинаясь, попросил директора не вызывать отца:

— Сэр, с ним не о чем говорить. Абсолютно не о чем.

— Еще как есть о чем, — не согласился мистер Ван Лобен. — Я очень люблю побеседовать с родителями.

Проводив Егора до двери, директор хлопнул его по плечу:

— Улыбнись, парень. И чтоб завтра был на занятиях.

Егор покинул кабинет в полном смятении. Высокий, светловолосый человек с глазами моряка не понял его, обошелся с ним, как с ребенком, еще и смутил своими секретами. Все осталось по-прежнему. Та же школа и тот же мистер Леви. Отец обо всем узнает. На ватных ногах Егор спустился в собвей.

В вагоне ехала шумная команда мальчишек-футболистов в свитерах с номерами. Мальчишки висли на поручнях, ложились на скамейки, выставляли ноги в проход. Сонные пассажиры жевали жвачку. Продавец старых уцененных журналов хрипло расхваливал свой товар. Улыбающиеся красавицы на рекламных плакатах призывали покупать мыло, сигареты, бензин, зубной порошок, пирожные, бритвенные лезвия. Егор ничего не замечал, он был погружен в себя. Поезд подошел к его станции, но возвращаться домой не было ни малейшего желания, и он поехал дальше. По входившим и выходящим пассажирам было видно, какой район он проезжает. Вот заходят кареглазые, курчавые евреи. Потом белокурые, бледные мужчины и женщины в рабочей одежде. На следующей остановке вагон заполнили черные: толстые пожилые и стройные молодые негритянки, негры с угольно-черной и мулаты с шоколадной кожей, солидные мужчины в очках, мальчишки в слишком больших материнских туфлях и девочки с красными

лентами в тугих косичках. Пьяный негр в разорванной на груди красной рубашке вращал глазами, хохотал, пел и приставал к пассажирам. Седой священник в белом воротничке на черной шее пытался его утихомирить, чтобы он не позорил своей расы, но веселый пьяница продолжал заговаривать с белыми.

— Пожмем друг другу руки, мой белый друг, — подошел он к Егору и протянул огромную коричневую ладонь.

Егор отодвинулся. Когда черный выбрал его, ему стало страшно. Значит, в нем проглядывает кровь, которую он хотел бы скрыть. Вскоре вагон снова стал наполняться белокурыми, голубоглазыми людьми. Женщины с корзинками, аккуратно одетые, коротко подстриженные мальчишки, полные мужчины в костюмах и котелках. Послышалась немецкая речь. Мать тянула расшалившуюся дочь за косичку и наставляла на чистом берлинском немецком:

— Прекрати, Трудель!

Егору показалось, что он дома. Ему будто плеснули в разгоряченное лицо прохладной родниковой водой. Делать в Йорквиле было нечего, но он вышел.

На крылечках старинных домов сидели женщины и беседовали по-немецки, вставляя английские слова. То одна, то другая кричала игравшим на улице детям:

— Ганс, Лизхен, Фриц, Карл, Клара, Губерт, Фриц, Фриц!

В закусных и ресторанах подавали пироги и пиво. На окнах пестрели немецкие объявления о сдаче комнат. Между кондитерской и мясной лавкой висела реклама похоронного бюро, готические буквы сообщали, что оно существует уже сто лет и славится образцовым обслуживанием и умеренными ценами. Стены и пустые витрины ликвидированных магазинов были разрисованы свастиками, среди которых изредка попадались серп и молот. Через открытую дверь клуба было видно, как люди с закатанными рукавами играют на бильярде. За клубом шли учреждения с длинными немецкими названиями: почтовые конторы, которые перевозят письма и посылки в Германию, бюро по найму на работу, комиссионные агентства. Сверкали вывески врачей, дантистов, адвокатов, агентов по торговле недвижимостью. На витринах книжных магазинов были выставлены всевозможные книги «оттуда», плакаты, картины и портреты. Из окна доносился звук саксофона, выводившего немецкий военный марш.

Егор словно вернулся домой. Проснулось желание жить. Он смотрел по сторонам и прислушивался. На углу возвышалась кирха с готической надписью «Бог — наша крепость». Егор вспомнил бабушку Гольбек. Афиша перед кинотеатром приглашала посмотреть новый фильм

«оттуда». Егор вынул кошелек и пересчитал деньги, которые мать дала ему, чтобы он заплатил за газ и электричество. Пять долларов с мелочью. Он подошел к кассе и на образцовом немецком спросил румяную и белокурую, будто с плаката, девушку, не затруднит ли ее отсчитать ему сдачу с пяти долларов. Билет стоил пятнадцать центов.

— К сожалению, нет мелочи, фройляйн, — сказал Егор с таким видом, будто меньше пятидолларовой бумажки никогда в руках не держал.

— Ах, Боже мой, с удовольствием, — расплылась в улыбке кассирша, не привыкшая к таким любезностям.

Отсчитывая сдачу, она похвалила его чистый немецкий, который нечасто услышишь в этой стране.

— Недавно из Берлина, — соврал Егор. — Приехал отдохнуть.

— Я так и подумала, — улыбнулась красавица кассирша.

С высоко поднятой головой Егор вошел в освещенный кинотеатр. То, что девушка приняла его за человека, который совершает увеселительную поездку, придало ему уверенности. Значит, в нем нет ничего от отца, как он считал. Он сидел в темном зале. Перед глазами плыли знакомые картины «оттуда»: знамена, самолеты, солдаты и марши, марши, марши. По мостовым грохочут вы-

сокие подкованные сапоги. Егор узнавал улицы, площади, здания. Зрители громко аплодировали. Егор аплодировал дольше всех.

Когда он вышел из кинотеатра, на улице уже стемнело. Егор знал, что опоздал домой, родители волнуются, но не торопился. Из ресторана с вывеской, на которой был изображен толстяк верхом на пивной кружке, доносился запах жареного мяса. Егор почувствовал голод, ведь он целый день ничего не ел. Он решил, что возьмет что-нибудь в буфете и поедет домой. Пока он потратил всего пятнадцать центов. Но красавица в баварском платье встретила его у дверей так радушно, как женщина встречает мужчину, только если ей что-нибудь от него надо. Улыбаясь, она приняла его старый дождевик, который он привез «оттуда». Егор протянул девушке четвертак.

— Danke, — поблагодарила она, — очень любезно с вашей стороны.

— Не за что, — ответил Егор, будто раздавать чаевые было для него привычным занятием.

Пожилая степенная дама отвела его за столик, украшенный букетом цветов.

— Надеюсь, вам тут будет удобно, — сказала она с достоинством. — Прислать официанта или господин кого-нибудь ждет?

— Нет, сегодня я один, — сказал Егор тоном человека, который привык к женскому обществу, но решил побыть в одиночестве.

— Иоганн, прими заказ, — приказала дама коренастому, лысому официанту в коротких кожаных штанах и вышитой жилетке.

Егор понимал, что совершает преступление. Он тратил деньги, которыми должен был заплатить за жилье, и сильно опаздывал домой. Но он не мог остановиться. Вместе с беспокойством он испытывал радость от своего проступка.

— Пиво и закуску, господин, верно? — скорее посоветовал, чем спросил официант.

— Разумеется, — сказал Егор, как большой любитель пива, который не разменивается на мелочи, а сразу берет большую кружку.

Официант проворно, но с достоинством принес фарфоровую кружку и несколько тарелок с различными закусками, которые Егор заказал, поддавшись на его уговоры.

Потом Егор купил у лоточницы сигару, хотя не переносил дыма, и не взял сдачи. Девушка мило улыбнулась:

— Почему вы один?

— Хочешь составить компанию, красавица? — Егор обратился к ней на «ты», как положено мужчине, который пьет пиво большими кружками и курит сигары.

— Не могу, я на работе, — ответила лоточница.

— Ну, кружечку пива-то ты можешь выпить?

— Если так, лучше рюмку коньяку, — сказала девушка. Она знала, что за коньяк получит с ресторана больший процент.

К столику подскочил скрипач из оркестра и заиграл нежную мелодию для Егора и его дамы. Егор даже прослезился, ему никогда не оказывали таких почестей.

Иногда он вспоминал, что растранижил деньги и что уже поздно, родители волнуются, но ему было все равно. Он даже не заметил, как оказался в окружении незнакомых людей, они сидели за его столиком, пили пиво, стучали кружками, заказывали музыку и пели. Егор тоже подпевал.

Он ушел из ресторана последним, когда уже запирали двери. Егор даже запел на улице. Но тут же сунул руку в карман и вытащил оставшуюся мелочь. У него было три никеля* и один цент. Это его протрезвило. Голова была тяжелой, будто налилась свинцом, и такими же тяжелыми были мысли. Он спустился в собвей. Красавица на гигантском плакате уговаривала покупать зубной порошок. Оборванец карандашом закрашивал ей зуб прямо посередине улыбающегося рта.

— Nice job, isn't it? ** — подмигнул он Егору.

— Угу...

— Дай десять центов на ночлежку, — протянул руку оборванец.

* Никель — пятицентовая монета.

** Ничего получилось, а? (англ.)

Егор отдал ему последние два никеля и позавидовал, что попрошайка пойдет ночевать, куда хочет, и не перед кем не будет отчитываться. Стрелки на станционных часах показывали далеко за полночь, когда Егор вышел из поезда. Чем ближе к дому, тем медленнее он переставлял ноги. Он останавливался перед магазинами, поглазел на дорожников, взламывавших асфальт, любовался голыми манекенами в витрине, с которых на ночь сняли одежду. Подойдя к дому, он посмотрел на окна своей квартиры. Они светились, во всех комнатах. Егор понял, как сильно мать волнуется, раз она даже забыла выключить свет. Он подумал, что, может, лучше не входить, но в ту же секунду распахнулось окно, и голос матери разнесся по пустой улице:

— Егор, Егор!

Он поднялся по лестнице. Мать стояла в дверях. На ней было отцовское пальто, накинутое поверх ночной рубашки. В этом пальто она казалась совсем маленькой.

— Егор, ты цел? — спросила она тихо.

Егору стало ее жаль, но он решил этого не показывать. Чтобы скрыть растерянность, он спросил с нарочитой грубостью:

— Чего ты не спишь?

Тереза пригладила волосы:

— Отец пошел в полицию. Мы подумали, ты под машину попал или еще что стряслось.

Тут она почувствовала запах алкоголя.

— Где ты был?! — крикнула она с ужасом.

Егор проскользнул в свою комнату и запер дверь. Он хотел спрятаться от отца, который мог прийти с минуты на минуту. Егор боялся его пронизательного взгляда и справедливых упреков. Не раздеваясь, он упал на кровать. Всю ночь он просыпался, засыпал и просыпался снова. Отец в одно и то же время стучался в дверь, когда пора было вставать и собираться в школу. Проснувшись утром, Егор лежал и ждал стука, но отец не пришел его будить.

С утренней почтой доктор Карновский получил письмо от директора и сразу отправился в школу. Он почти не спал, но поднялся рано, принял холодный душ, сделал зарядку и пошел в школу пешком, хотя путь был не близкий. Карновский широко шагал, наслаждаясь утренней свежестью. В отличие от Терезы он не сильно беспокоился поздним возвращением сына. Карновский помнил себя в этом возрасте, он тоже часто гулял до поздней ночи. Понятно, что сыну нужна какая-то свобода. В том, что от «ребенка» пахло спиртным, он тоже не увидел ничего страшного. Карновский в молодости совершал грехи посерьезнее. Как врач, он даже думал, что, может, в этом есть и хорошая сторона. Пусть сын забудет о своих переживаниях и почувствует себя взрослым мужчиной.

Также его не беспокоило и письмо о плохом поведении сына. Карновский вспомнил, как много лет назад его отца вызвал в гимназию профессор Кнейтель. Он даже улыбнулся, подумав, какие они разные: он, его отец и Егор. Потом подумал, как быстро летит время. Ведь совсем недавно он выслушивал родительские упреки в плохом поведении, а теперь он сам отец взрослого сына, который что-то натворил. Все меняется, пришел он к философскому выводу.

В школе, однако, на смену беззаботности пришло волнение.

Мистер Ван Лобен тепло встретил Карновского, ему сразу понравилось его крепкое рукопожатие. Карновский тоже с первого взгляда почувствовал симпатию к директору. Сильная рука и открытый, мужественный взгляд Карновского оказались для Ван Лобена полной неожиданностью, но еще больше он удивился его совершенно не немецкой внешности. Доктор был ничуть не похож на сына. Мистер Ван Лобен закурил трубку, чтобы прояснилось в голове, и угостил Карновского сигарой. Директор начал издали, ему было неловко задать вопрос напрямую. Но вскоре ему надоела дипломатия, и он заговорил открыто, как мужчина с мужчиной:

— Извините за вопрос, доктор. Не в моих привычках выяснять происхождение человека, мне до этого дела нет, но тут особый случай. Скажите, вы еврей?

— Конечно. Зачем же извиняться? — ответил Карновский. Все же он немного смутился. Евреи часто смущаются, услышав такой вопрос, даже те, кто гордится, что он еврей.

Мистер Ван Лобен глубоко затаился.

— И еще, доктор. Вы отец мальчика или отчим?

— А почему вы сомневаетесь, мистер Ван Лобен? — спросил Карновский, предчувствуя недоброе.

Директор виновато улыбнулся:

— Понимаете ли... У вашего сына очень своеобразные идеи, не очень-то подходящие американской школе. Поэтому я и попросил вас прийти, доктор, и очень рад вас видеть.

Он поднес спичку к потухшей сигаре Карновского, опять глубоко затаился и начал рассказывать о конфликте между Егором и учителем Леви, об исповеди Егора и его странном поведении. Чем больше рассказывал мистер Ван Лобен, тем ниже доктор Карновский опускал голову. Ему было стыдно.

— Поверить не могу, — сказал он тихо.

Мистер Ван Лобен увидел, что невольно нанес Карновскому слишком сильный удар, и попытался сгладить ситуацию. Он засмеялся, хлопнул растерянного отца по плечу, снова поднес ему огня. Пусть доктор не принимает близко к сердцу, это же всего лишь мальчишеские глупости. Какие-то

идиоты задурили парню голову, лучше над этим просто посмеяться, да и все. Идиотизм, глупость, чушь собачья. А вот физическое состояние парня не очень, слабый, болезненный. Надо бы, чтобы отец как врач больше внимания уделял здоровью сына, и все будет хорошо.

— Ничего, доктор, не беспокойтесь. Я сам отец, знаю, что такое родительские заботы, — весело закончил мистер Ван Лобен. — Очень рад был познакомиться. Итак, ждем вашего сына на уроках.

Легко сказать — не беспокойтесь. У доктора Карновского так дрожали колени, что он еле спустился по широкой школьной лестнице. Всю дорогу он думал об одном: держаться, владеть собой, сохранять спокойствие, как посоветовал мистер Ван Лобен. Но, едва переступив порог дома, он не выдержал.

Егор услышал отцовские шаги. Они не предвещали ничего хорошего. Как всегда, он попытался побороть страх с помощью наглости.

— Мама пять долларов дала, чтобы я за квартиру заплатил, так я их потратил, — заявил он.

Доктор Карновский не ответил. Егор был разочарован, что не смог разозлить отца, и продолжил:

— Я их пропил. Все.

Доктор Карновский по-прежнему хранил молчание. Егор посмотрел на него ненавидящим

взглядом. Тереза перевела дух, она уже решила, что все закончится мирно. Но вдруг она увидела, что у мужа покраснели белки глаз. Она знала, что это значит.

— Я был в школе, — сказал Карновский, сдерживая ярость. Это было затишье перед бурей.

На этот раз не ответил Егор.

— Ты осмелился защищать наших врагов? — спросил Карновский, хотя прекрасно знал, что так и было. — Ты оскорбил учителя, за то что он сказал правду? — продолжил допрос Карновский.

Егор молчал.

— Ты осмелился говорить с директором о расе и крови? — спросил отец, на шаг приблизившись к сыну.

Егор молчал. Его молчание, в котором не было раскаяния, но только нахальство, так разозлило Карновского, что он схватил сына за грудки и встряхнул что было сил.

— Я с тобой разговариваю! — рявкнул он.

Но Егор продолжал молчать и с ненавистью смотреть на отца. Карновский отпустил сына и вдруг ударил по лицу. Второй раз в жизни.

Егор захлопал глазами, он такого не ожидал. Но он быстро пришел в себя.

— Еврей! — крикнул он визгливо. — Еврей! Еврей!

Перепуганная Тереза даже не решалась вмешаться, только тихо повторяла:

— Господи, Господи...

Егор убежал в комнату, заперся и бросился на кровать, с которой только недавно встал. Было темно, но он не зажег света. Мать принесла поесть, постучалась, но он не открыл. Егор несколько часов размышлял, как отомстить отцу. Никогда еще его ненависть не была такой сильной. Он лежал, зарывшись лицом в подушку, и чувствовал горячее желание сделать что-нибудь ужасное тому, кто был причиной его бед и поднял на него руку. От бессилия он становился все злее. Он хотел убить отца, но потом стал думать, что лучше убить себя. Эта мысль его захватила. Егор окончательно потерял надежду, что кто-нибудь его поймет. Он чужой для всех, слабый, нелепый заика. Он не переносит людей, а они не переносят его. Он обречен на муки с рождения, потому что он несчастная помесь двух враждебных рас, двух несовместимых кровей. Он страдал из-за этого там, страдает здесь, и так будет всегда. Такой проклятый человек не имеет права жить, он обречен на страдания и одиночество. Так не лучше ли сразу покончить с собой? Это будет мужественнее. И хорошая месть отцу. Пусть всю оставшуюся жизнь мучается, потому что Егор умер из-за него.

Закрыв глаза, он представлял себе, как отец утром войдет в комнату и увидит, что он с высунутым языком висит на ремне. Как отец перепугается! Потом он представил похороны, отец

стоит, виновато опустив глаза... Егор сел за стол и в слабом свете уличных фонарей, падавшем в окно, принялся писать письма, в которых объяснял причины своего смелого поступка. Он писал их одно за другим, рвал и писал снова. Чем дольше он сидел за столом, тем меньше оставалось желания сделать себе что-нибудь плохое. Он начал себя жалеть, опять вообразил свой труп с высунутым языком, и ему стало страшно. Он отшвырнул ремень, на который только что смотрел с таким удовольствием, и отвернулся к стене, чтобы не видеть крюка над окном. Нет, только не это. Вдруг Егор почувствовал тепло своего тела и мягкость постели. Ему захотелось есть. И еще видеть, слышать, двигаться и жить. Он уже готов был встать, зажечь свет, выйти из комнаты и попросить у матери поужинать. Но он устыдился своей слабости. Он трус, думал Егор о себе, жалкий, ничтожный, ни на что не способный трус. Ни жить не может, ни умереть, ни сблизиться с людьми, с которыми свела его судьба, ни уйти от них. Он только путается у других под ногами, мешает им и доставляет горе им и себе. Потому-то с ним никто не считается, все его обижают и ненавидят. Даже директор школы над ним посмеялся. Он говорил с ним не как со взрослым парнем, а как с маленьким, глупым ребенком. Потому-то и отец осмелился поднять на него руку.

Мать снова постучала в дверь.

— Егор! — позвала она. — Егор, открой на секундочку. Я тебе стакан молока принесла. И постель тебе расстелю.

Егор не ответил. Скрючившись под одеялом, он слушал, как родители переговариваются за дверью.

— Георг, я боюсь за него, — прошептала мать.

— Глупости! — громко ответил отец. — Пусть денек поголодает, это ему полезно. И нечего его упрашивать.

Он видел сына насквозь, и Егор ненавидел отца за то, что он знает о его трусости и беспомощности. Злоба подстегнула Егора. Ничего, он покажет, что у него есть мужество, он не мальчик, которого можно побить. Он проучит отца за это, но не так, как хотел поначалу. Отец — его враг, он бы не расстроился, если бы Егор сделал такую глупость. Даже обрадовался бы. Егор поступит иначе: он уйдет из дома, уйдет навсегда, освободится от семьи, даже поменяет имя, с корнем вырвет все, что досталось ему от отца.

С новыми силами он поднялся с кровати, прогнал усталость, потянувшись, помахав руками. Взглянул на часы. Была поздняя ночь. Егор осторожно приоткрыл дверь, прислушался. Ни звука. Родители спали. Он на цыпочках прокрался в ванную, умылся холодной водой. Она освежила его, и чувство голода стало сильнее. Егор пошел на кухню, заглянул в холодильник. Подкрепившись, он

начал готовиться к первому в жизни смелому поступку.

Он уложил в чемодан немного белья и костюм на смену. Взял фотоаппарат. Этот дорогой аппарат, «лейку», отец подарил ему еще «там». Собрал все фотографии «оттуда». Среди них было несколько карточек дяди Гуго в военной форме. Надел дождевик с нашивками на плечах, похожими на эполеты. В кармане он нашел только оборванный билет в кино, пуговицу и один цент. Даже на собвей не хватит. Егор прокрался в отцовский кабинет, он знал, что отец хранит деньги в ящичке стола. Он думал взять только никель, но увидел в столе конверт. В нем лежало несколько банкнотов. Егор пересчитал деньги. Десять долларов. На секунду ему стало стыдно, но он вспомнил все зло, которое отец ему причинил, и забрал конверт. Потом выгреб из ящичка мелочь. На столе стояла фотография матери. Егор вынул ее из рамки и спрятал во внутренний карман. Быстро написал письмо, в котором попросился с матерью, но ни словом не упомянул отца, как сирота.

В письме он написал о себе много плохого, попросил прощения за горе, которое причинил матери, и за кражу денег, но на самом деле он совершенно не чувствовал себя виноватым. Наоборот, он был горд первым в своей жизни смелым поступком. Поставил подпись: Йоахим Георг Гольбек. Пусть отец знает, что у них нет ничего общего.

Егор тихо вышел из квартиры и спустился по лестнице, а не на лифте. На углу дремал в машине таксист. Егор разбудил его. Он мог бы поехать на собвее, но на радостях решил взять такси.

— Куда едем, сэр? — спросил шофер.

— В Йорквиль, в гостиницу, — ответил Егор, довольный, что к нему обратились «сэр».

В окно машины дул легкий ветерок. Егор вынул из кармана жилетки ключ от квартиры и выбросил на мостовую. Он порвал последнюю ниточку, которая связывала его с домом.

Он снял в гостинице маленькую комнатку, заплатив вперед доллар. Постель была постелена, угол одеяла откинут, но Егор был слишком возбужден, чтобы лечь спать. На стене среди пожелтевших картинок, изображавших германских императоров и древние битвы, висело объявление, что прием в немецком консульстве осуществляется с десяти до двух часов. Оно было написано по-немецки готическим шрифтом. Остроконечные буквы впились в мозг Егора, как копыя. Теперь он знал, что делать дальше.

Еще не рассвело, но он сел за стол и в тусклом, красноватом свете лампы принялся писать письмо в консульство. В первых строчках он с изысканной немецкой вежливостью, как учили в гимназии, выразил надежду, что господин консул прочтет его письмо, и попросил прощения за то,

что отнимает драгоценное время у его превосходительства.

Закончив с извинениями, он перешел к сути. Следующие фразы были не столь витиеваты. То, что он написал, больше было похоже на исповедь, чем на деловое письмо. Егор излил на листке бумаги всю свою горечь, рассказал обо всех бедах и обидах, о том, как поссорился с мистром Леви, когда встал на защиту своей страны, и о том, что в Америке ему нет ни счастья, ни покоя. Перечислив все заслуги семейства Гольбеков и особенно обер-лейтенанта Гуго Гольбека, которому он имеет честь приходиться родственником, Егор попросил у его превосходительства разрешения вернуться домой. Он написал, что готов выполнять тяжелейшую работу, готов служить верой и правдой родине своих предков, лишь бы ему позволили быть вместе с его народом и страной. Он переписывал письмо снова и снова, наконец переписал его набело в последний раз, подписался как Йоахим Георг Гольбек и добавил адрес гостиницы, в которой остановился. Красивейшим почерком вывел адрес консульства и пошел на улицу разыскивать почтовый ящик.

Опустив письмо, он приподнял крышку ящика и заглянул внутрь, будто хотел убедиться, что конверт действительно там.

Егор стоял на пустынной утренней улице. Он знал: его ожидают великие дела.

Доктор Зигфрид Цербе, пресс-секретарь дипломатической службы, сидел за огромным письменным столом усталый и апатичный, хотя день только начался. Его водянистые глаза, всегда мутные и влажные, будто полные слез, покраснели после бессонной ночи. Глубокие морщины от носа до подбородка темнели на бледном, гладко выбритом лице. Дрожали тоненькие, голубоватые жилки на висках. Так бывало, когда у него сильно болела голова. Он принял две таблетки аспирина, но это не помогло. Он нажимал пальцами на виски, будто пытался вдавить боль внутрь, и мутным взглядом смотрел в окно офиса на Манхеттен, на небоскребы, шпили церквей, фабричные трубы и телеграфные провода. Город застыл, как необъятное кладбище, уставленное надгробиями. Так кажется всегда, если смотреть с высоты. Только легкий шум поднимался вверх, будто жужжание пчел. От каменного спокойствия стало немного легче, боль отступила. Но доктору Цербе не давали спокойно поглазеть в окно. То и дело звонил телефон. Пронзительные звонки отдавались в мозгу, но гораздо больше раздражал стук каблучков и выкрики «Хайль!», когда подчиненные входили в кабинет. Доктор Цербе каждый раз испытывал приступ головной боли.

— Хайль! — отвечал он негромко, хотя это словечко стояло у него поперек горла.

Дело было не в том, что доктор Цербе имел что-нибудь против нового приветствия или новой власти. Напротив, он поддержал ее одним из первых. Но ему было досадно, что она не оценила его по заслугам, не наградила, как должно.

В первые дни, когда все были опьянены начавшимися переменами, доктор Зигфрид Цербе был вознагражден. Он получил кабинет Рудольфа Мозера, а заодно и его газету, самую солидную газету в столице, и мог сколько душе угодно печатать в ней свои патетические статьи и непонятные, мистические стихотворения. В театрах начали ставить его пьесы, годами лежавшие в столе. Раньше директора театров и режиссеры не хотели их покупать. Эта еврейская банда не понимала глубины и национального духа его произведений.

Для доктора Цербе настали счастливые времена. Критики писали восторженные статьи, актрисы улыбались ему и говорили комплименты. Ему, Зигфриду Цербе, который всегда был обделен женским вниманием. Правда, он не придавал их улыбкам большого значения. Верный ученик античных философов, настоящий грек в душе, он считал недостойной связь с женским полом, предпочитая мужской. Тем не менее ему нравилось находиться в окружении женщин, которые восхищались его эрудицией и, главное, его поэтическим даром. Доктор Цербе был искренне благодарен и предан новой власти, которая его вознесла.

Он терпеть не мог грубых, вульгарных людей, ставил их на одну ступень со скотиной, но писал восторженные поэмы о вождях, сравнивал их с великанами, скалами и богами. Слабый, маленький, невзрачный книжный червь, он восхищался правителями и героями, воспевал мечи и копья, убийство, месть и жестокость. Прекраснейшими словами, позаимствованными из греческой мифологии и германского эпоса, он превозносил новых богов в сапогах. В фантастических драмах, где полуголые русобородые германцы, одетые в звериные шкуры, с копьями в руках разгуливали по горам и лесам и произносили рифмованные монологи, доктор Цербе намекал на новые времена. В его пьесах, как в греческих трагедиях, из которых он немало почерпнул, хоры воспевали героев. Критики объявили Зигфрида Цербе восходящей звездой национальной драматургии. Но его процветание оказалось недолгим.

Никто не решался покинуть театр, не досмотрев до конца драму доктора Цербе, но публика не могла удержаться от зевоты, когда полуголый герой произносил непонятный монолог. Когда вступал хор, из зала иногда даже доносился храп уснувшего зрителя. Пьесы доктора Цербе недолго оставались в репертуаре. Подписчики его газеты не хотели читать ни длинных статей, насыщенных латинскими словами и древненемецкими оборотами, ни туманных символистских поэм. У

доктора Цербе отобрали кабинет, прежде чем он успел в нем прижиться. За редакторским столом оказался бывший репортер, зеленый юнец, у которого не было не то что докторской степени, но даже диплома.

В театрах шли другие пьесы. Их авторы, как видел доктор Цербе, не имели ни малейшего представления об античной драме, не знали законов стихосложения и не обладали чувством языка. Зато они широко использовали непристойности и грубые, уличные выражения. И, что самое ужасное, публика обожала пошлость и ржала во всю глотку. Раньше критики превозносили доктора Цербе, который спас национальное искусство от местечковых директоров, а теперь расхваливали новых драматургов, вульгарных и невежественных.

Доктор Цербе не жалел сил, чтобы снова оказаться на вершине, на которую он так быстро забрался и с которой еще быстрее упал.

Ему было отвратительно все вульгарное и примитивное, но он стал писать для простонародья, лишь бы его пьесы шли. Он даже превзошел конкурентов в пошлости. Поэт, мистик и философ, доктор Цербе становился практичным человеком, как только садился за письменный стол. Он честно служил тем, кто платит. Он преклонялся перед греческими мыслителями, восхищался Сократом, его мужеством и глубокими мысля-

ми, которые он излагал ученикам, до того как выпил чашу с ядом. Доктор Цербе наслаждался красотой, мудростью и стилем античных философов, но ему и в голову не приходило сделать их образцом для подражания.

У доктора Цербе не было ни сил, ни желания переделывать мир. Он смотрел на чернь, как на огромного, страшного и отвратительного зверя, сражаться с которым — себе дороже.

Когда-то он воевал с конкурентами из местечек, но не он начал эту войну. Доктор Цербе из всех сил старался подделаться под них, стать таким же, но они не принимали его в свою компанию. Он вынужден был воевать. Вести же войну с новыми хозяевами было нельзя. Нужно было лизать им сапоги, если не хочешь, чтобы тебя растоптали. Доктор Цербе смирился. Поначалу он думал, что новые хозяева поймут его, позволят расцвести его таланту, но им больше нравились грубость и пошлость. Что ж, если так, доктор Цербе будет вволю давать им то, чего они хотят, пусть подавятся. Свиньи не хотят изысканной пищи, они любят помои, значит, доктор Цербе будет кормить их помоями. С усердием и отвращением одновременно он принялся писать бульварные пьески и похабные поэмы. Он опустил до черни, заговорил с ней на ее языке. Доктор Цербе из кожи лез, чтобы угодить людям в сапогах, но все равно оставался для них чужим, посторонним.

Хилый, нескладный, с большой головой и щедушным телом, интеллекулал до мозга костей, в котором сразу узнавался сын пастора, он не мог добиться любви этих людей. У него не хватало сил участвовать в их пирушках, он не мог столько жрать, пить и курить, ему нечего было рассказать о войнах и оружии. А им было с ним скучно, в нем все, от эрудиции до внешности, нагоняло на них тоску. Увидев, что люди в сапогах не жалуют интеллекулалов, доктор Цербе попытался высмеивать таких, каким был сам. Но сколько бы он ни разносил интеллекулалов в пух и прах, он все равно оставался одним из них. Ему было не перегнуть новых авторов в пошлости и отсутствии вкуса. Представители власти начали его избегать, дамы в салонах перестали обращать на него внимание. Доктор Цербе часто вспоминал салон Рудольфа Мозера и людей, с которыми там встречался. Получилось, доктор Клейн был прав, но обратной дороги для доктора Цербе уже не было.

Не сумев удержаться на вершине, он соскальзывал все ниже и ниже. Сначала он с должности редактора опустился до секретаря. Новый редактор, бывший репортеришка, командовал им, давал приказы и даже не всегда принимал его статьи. Потом у него отобрали и эту унизительную должность. Ему дали другую работу: описывать манифестации, демонстрации и празднования.

Понемногу он перешел к разведслужбе за границей.

Доктор Цербе себя не обманывал. Официально он был пресс-секретарем дипломатической службы, но на самом деле — агентом разведки. Доктор Цербе, поэт и мыслитель, стал шпионом! И не руководителем, а слугой тех, кто стоял над ним. Ему давали приказы и следили за ним, как за тем, кто не вызывает доверия.

Ни дома, ни здесь он не мог добиться любви сотрудииков. Новички, получившие назначение от партии, не ценили ни учености доктора Цербе, ни его поэтического дара. Они видели перед собой всего лишь смешного, старомодного человечка, занудного и придирчивого. А он не переносил их манер, его раздражали выкрики «Хайль!», щелканье каблуков отдавалось в мозгу, он видеть не мог, как они выбрасывают руку в приветствии. Он был разочарован и измучен. Его большие, водянистые глаза покраснели от бессонницы. Головные боли не прекращались, сколько бы аспирина он ни принимал.

В то утро ему было особенно нехорошо. Доктор Цербе просматривал почту со всех концов страны. Что-нибудь стоящее попадалось очень редко. В основном приходили письма, восхвалявшие новую власть за океаном, поэтические изливания старых дев, угрозы в адрес врагов, важные новости, которые давно не были новостями, сове-

ты, пожелания и благословения в прозе и даже в стихах. Доктора Цербе тошнило от пропагандистского жаргона, патриотической галиматьи и пошлости, когда секретарша горой вываливала корреспонденцию ему на стол. Мутными глазами он быстро просматривал письма, рвал и кидал в корзину. Он заранее знал, что в них написано, они ничем не отличались друг от друга.

С таким же отвращением он взял в руки письмо, написанное каким-то Йоахимом Георгом Гольбеком, — несколько страниц готическими буквами. Пробежав начало, банальное учтливое приветствие с извинениями, доктор Цербе уже собрался отправить письмо в корзину, но вдруг его наметанный глаз зацепился за необычные строки. Такого доктору Цербе еще не попадалось. Чем дальше он читал, тем интереснее ему становилось. Это было не просто письмо, но крик души, исповедь, написанная не чернилами, а кровью. В письме хватало мальчишеской глупости и бессвязных фраз, но в нем были также глубокие переживания, боль и тоска. Доктор Цербе внимательно перечитал письмо несколько раз.

Автор письма не заинтересовал доктора Зигфрида Цербе. Какое ему дело до чьих-то переживаний? Единственным человеком, который был важен для доктора Цербе, был он сам. Остальные интересовали его лишь настолько, насколько они могли быть ему полезны или вред-

ны, приятны или неприятны. Ученых, художников или поэтов он ценил не за их талант, а за то, что с ними интересно поговорить. Чернь была ему отвратительна не своим поведением, а потому, что с ней скучно. Доктор Цербе совершенно не скрывал своего отношения к людям, наоборот, он им гордился. Философ по призванию, знаток истории и физики, он знал, что жестокость и мучения существуют столько, сколько стоит мир. Сильный всегда будет преследовать слабого, как волки всегда будут жрать овец. Доктор Цербе не верил еврейским пророчествам, что лев возляжет рядом с ягненком, он был согласен с римлянами, что человек человеку — волк. Овца всегда будет испуганно блеять, пока волк будет рвать ее зубами. Философу глупо думать, что волчья природа может измениться. Мир принадлежит сильным, происходит естественный отбор. Пусть наивные моралисты и проповедники льют из-за этого слезы. Философ должен мыслить, а не плакать.

Судя о людях по себе, доктор Цербе был уверен, что все равнодушны к нему так же, как он равнодушен ко всем. Он один на целом свете. Когда он не может ночью сомкнуть глаз, это только его беда, когда ему плохо, это его горе и больше ничье. Никто не заплачет, когда он умрет. Было бы странно, если бы доктора Цербе заинтересовал человек по имени Йоахим Георг Гольбек. До его расовой принадлежности доктору Цербе тоже

не было дела. Как философ и физик, он понимал, что разговоры о расовом превосходстве — полная чушь. Ему было смешно, когда юнцы в сапогах пытались его убедить, что они избранные, что они чем-то лучше еврейских интеллектуалов из салона Рудольфа Мозера, с которыми он любил побеседовать. Доктор Цербе делил людей иначе: на сильных и слабых, на тех, кто приносит ему пользу, и тех, кто приносит вред. Единственное, что его заинтересовало, это то, насколько Йоахим Георг Гольбек сможет ему пригодиться.

Наметанным глазом доктор Цербе сразу увидел, что человек, приславший ему исповедь, — личность неординарная. Одно из двух. Может быть, это фанатик, за идею готовый пойти в огонь и воду. В таком случае доктор Цербе мог бы его использовать. Или же это подосланный агент, который разыгрывает фанатика, чтобы втереться к доктору Цербе в доверие. В любом случае надо бы с ним встретиться. Еще раз перечитав письмо, он отбросил подозрения и убедился, что имеет дело с фанатиком и мечтателем, с одним из еврейских изгнанных фанатиков, попавших в мясорубку времени.

Доктор Цербе давно искал человека из вражеского лагеря, желательно еврея, которого он мог бы завербовать на службу.

Во-первых, одной из его обязанностей было наблюдать за эмигрантами и изгнанниками, следить за каждым их шагом в чужой стране. В основ-

ном они вели себя тихо и осторожно, ничего не говорили о тех, кто вынудил их уехать. Чтобы получить разрешение на выезд, они давали слово молчать, и надо было следить, держат ли они его. Если нет, их близких, оставшихся за океаном, ожидало возмездие. У доктора Цербе были осведомители, но лучше было найти на эту роль еврея, которому эмигранты доверяли бы. Во-вторых, не все изгнанники молчали. Были и те, кто открыто сражался с германской властью. Одним из самых опасных врагов была доктор Эльза Ландау.

Из-за нее доктор Цербе хлебнул немало неприятностей. Она тоже пообещала, что будет молчать, но не сдержала слова. Едва ступив на американскую землю, она всеми способами письменно и устно, принялась порочить правительство своей страны. Как на родине, когда она была депутатом рейхстага, так и здесь она разъезжала по городам, выдавала секреты и говорила все, что думала о новых правителях Германии. Эльза Ландау издавала еженедельную газету, небольшую, но насыщенную новостями «оттуда». Доктор Цербе не мог взять в толк, как она их добывает. Она не только распространяла свой еженедельник по всей Америке, но умудрялась пересылать по несколько сотен экземпляров за океан.

Мало того, в своей газетке она порочила доктора Цербе лично, создавая ему очень плохую репутацию в чужой стране.

Доктор Цербе потратил немало сил, чтобы установить связи с местным интеллектуальным миром, сойтись с людьми своего круга. Он рассылал статьи в американские газеты, хотя в них очень подозрительно относились к его материалам. С мастерством дипломата он налаживал отношения с преподавателями, священниками, писателями и общественными деятелями. Он терпеливо добивался расположения людей, к которым не испытывал ничего, кроме отвращения. Доктор Цербе использовал философию, поэзию, латинские изречения, исторические примеры и библейские цитаты, чтобы обелить своих хозяев. Знаток всех философских течений, вплоть до новейших, мастер вести дискуссию еще с тех времен, когда он по настоянию отца изучал теологию, доктор Цербе умел оправдать любую несправедливость, доказать, что черное — это белое, а белое — это черное. Иногда, только иногда ему приходилось выдерживать яростные атаки, зато он снова встречался с людьми своего круга и беседовал с ними о философии, религии и литературе. Он мог поупражнять мозги в спорах, показать свою великолепную память, блеснуть многогранной эрудицией, как в салоне Рудольфа Мозера. Но доктор Эльза Ландау закрыла перед ним двери в интеллектуальные круги. Если он печатал в газете статью, она тут же посылала туда письмо и уличала его во лжи и фальши. Она называла его

шпионом и доносчиком. Доктор Цербе вздрагивал, увидев свое имя в листке Эльзы Ландау. Она выставляла его во всей красе, причем настолько остроумно и убедительно, что доктору Цербе, который никогда не был высокого мнения о женском уме, оставалось только удивляться. Он синел от злости, когда Эльза смеялась над его внешностью. Она называла его нравственным и физическим уродом. Доктор Цербе не спал ночей, потому что оскорбления попадали точно в цель. Даже коллеги по дипломатической службе стали над ним смеяться. Доктор Цербе всей душой ненавидел Эльзу Ландау. Он подсылал к ней своих людей, чтобы они не спускали с нее глаз, но без особого успеха. Она чуяла их за милю. Доктору Цербе нужен был человек, желательно еврей, который смог бы втереться к ней в доверие, стать своим во вражеском лагере. Он сразу смекнул, что Йоахим Георг Гольбек — это подарок судьбы.

На всякий случай он порывлся в архиве, нет ли там чего-нибудь об авторе письма, и отправил подчиненных понаблюдать за ним. Ничего подозрительного не обнаружилось, и доктор Цербе написал в ответ, что согласен встретиться с Йоахимом Георгом Гольбеком.

У Егора Карновского дрожали руки, когда он вскрывал конверт, доставленный ему в йорквильскую гостиницу. Письмо было короткое, всего несколько строчек, и он перечитывал его, пока не

запомнил наизусть. От волнения он не спал всю ночь, утром долго умывался, одевался и прихорашивался перед мутным гостиничным зеркалом. Его внешность никогда не доставляла ему столько беспокойства. Сперва ему казалось, что от отца в нем нет совершенно ничего, он Гольбек с головы до ног. Но через минуту уверенность пропадала, он опять находил в себе ненавистные черты, и чем дольше смотрелся в зеркало, тем отчетливее их различал. Особенно беспокоили волосы. Накануне он пошел в парикмахерскую и велел постричь их как можно короче, особенно на висках и затылке. Такая прическа была в моде в Германии, и черный цвет волос теперь меньше бросался в глаза.

Он вышел заранее, чтобы не опоздать. Егор не знал, можно ли ему поприветствовать доктора Цербе вытянутой рукой или это запрещено ему из-за его расовой принадлежности, зато постарался щелкнуть каблуками как можно громче.

— Йоахим Георг Гольбек, ваше превосходительство! — гаркнул он с порога.

Доктор Цербе вздрогнул от такого приветствия, но не показал недовольства. Он внимательно осмотрел молодого человека.

— Очень приятно, герр Гольбек, — сказал он, подавая руку. — Садитесь, пожалуйста.

Егор продолжал стоять, вытянувшись по струнке.

— Это я написал письмо вашему превосходительству, — доложил он. — Вы изволили вызвать меня к себе.

Доктор Цербе просиял. До сих пор никто не называл его «ваше превосходительство». Он указал на стул жестом генерала, который позволяет офицеру забыть о чинах и церемониях.

— Садитесь, герр Гольбек, — повторил он. — И не называйте меня «ваше превосходительство», просто герр доктор.

— Слушаюсь, герр доктор! — Егор присел на краешек стула.

С минуту оба молчали. Егор не решался заговорить. Это был не класс мистера Леви и не кабинет директора Ван Лобена, где с ним обращались, как с мальчишкой, называли «сынок» и задавали бестактные вопросы. Тут нужно было показать уважение и дисциплинированность. Доктор Цербе разглядывал нервного молодого человека. Он больше не сомневался в его искренности. Перед ним сидел растерянный мальчишка, стеснительный и обидчивый. Доктор Цербе решил показать свое расположение.

— Вы выглядите очень молодо, герр Гольбек.

— О, я уже не так молод, герр доктор, мне восемнадцать, — ответил Егор.

Доктор Цербе улыбнулся отеческой улыбкой.

— Боже мой, восемнадцать лет, — сказал он с завистью. — По вашему серьезному письму я по-

думал, что вы старше. Я был очень тронут вашим письмом, герр Гольбек. Очень.

Егор покраснел от комплимента и отважился заговорить, не дождавшись вопроса.

— Могу ли я занять немного вашего драгоценного времени, герр доктор? — начал он с жаром.

— Ценю ваше доверие, герр Гольбек, — добродушно ответил Цербе. — Я готов вас выслушать.

Егор говорил долго и бестолково. Он рассказывал о своих страданиях, и об одиночестве, и о проклятии, которое тяготеет над ним из-за греха родителей. Чем больше он говорил, тем больше путался, повторялся, перепрыгивал с пятого на десятое. Пот струился по лбу, но он не останавливался. Слишком много было у него на сердце. Доктор Цербе не перебивал. Ему было скучно. Все, что он слышал, он уже знал из письма, но сохранял на лице заинтересованное выражение. Уткнувшись подбородком в ладонь, он без тени нетерпения смотрел на Егора.

— Пожалуйста, продолжайте, герр Гольбек, — подбадривал он каждый раз, когда Егор замолкал и вопросительно смотрел на него голубыми глазами.

Доктор Цербе знал: чтобы найти драгоценный камень, надо просеять тонны земли, чтобы вытащить из человека то, что нужно, надо позволить ему высказать все глупости. Когда Егор признал-

ся, что Гольбек — фамилия его матери, а по отцу он Карновский, доктор Цербе навострил уши. Фамилия давно была ему знакома.

— Карновский, Карновский, — пробормотал он. — Ваш отец врач?

— Так точно. У него была клиника на Кайзераллее, мы жили в Грюнвальде.

Доктор Цербе уже не сомневался, что сможет использовать парня, и радовался про себя, что не выкинул письмо в корзину. Наконец усталый Егор замолчал и вопросительно посмотрел в водянистые глаза доктора. Цербе пригладил остатки седых волос и задумался. Так профессор медицины, выслушав тяжелобольного, размышляет, как его спасти. Подумав, он заговорил неторопливо и осторожно, взвешивая каждое слово.

Он грамотно построил речь. Сначала он выразил молодому человеку сочувствие. Несчастный парень! Он, доктор Цербе, знает, какие страдания доводится испытать в молодости. Такова немецкая молодежь, он прекрасно помнит, каким был сам в годы Егора. Такое настроение прекрасно описано в немецкой литературе. Он сам, как поэт, не раз воспевал в стихах душевные терзания и всем сердцем сочувствует молодому человеку. Ему понятна трагедия цветка, вырванного из родной земли и пересаженного на чужую почву, где он обречен зачахнуть. У Егора слезы выступили на глазах.

— Какое верное и поэтичное сравнение! — воскликнул он растроганно.

Доктор Цербе слегка кивнул головой в благодарность за комплимент и тут же снова стал серьезен, как профессор у постели больного. Покончив с поэзией, доктор перешел к истории.

Конечно, как поэт он способен понять боль цветка, вырванного из родной земли, но как ученый он знает, что в истории бывают времена, когда отдельные растения нужно вырывать с корнем. Они вредят саду, вносят беспорядок, нарушают гармонию и даже портят плоды других растений. Конечно, он нимало не сомневается в достоинствах благородного молодого человека, который ему доверился. Конечно, в душе он на его стороне. Но есть такая вещь, как историческая справедливость. Грехи родителей переходят на детей. Нужно очистить сад от сорной травы. Как сын хирурга он должен знать: опухоль удаляют, чтобы спасти тело.

Егор был тронут, когда его сравнили с цветком. Теперь, когда его сравнили с опухолью, он опустил глаза.

— Ах, герр доктор... — вздохнул он.

Доктор Цербе погладил его по плечу. Пусть молодой человек не воспринимает его слова как личную обиду, ведь он использовал их не в прямом смысле, а символически. Только дураки все понимают буквально. Он, доктор Цербе, далек

от примитивного подхода к проблеме. Он видит в ней высший смысл, историческую необходимость, пробуждение национального духа, которому необходима чистота крови. Но на историческую справедливость нельзя сослаться во всех случаях без исключения, она только создает общие законы. В том-то и заключается трагедия индивида, который становится жертвой высшей исторической справедливости. В жизни часто бывает, что дети расплачиваются за грехи отцов. Случай молодого человека, к сожалению, очень тяжелый. Он сын еврея, отцовская кровь доминирует в нем над материнской. Другими словами, он попадает в категорию стопроцентных евреев. Молодой человек и сам знает, как строги законы пробуждающейся страны в отношении легализации таких, как он.

— Значит, герр доктор, для меня нет выхода? — с отчаянием спросил Егор.

Доктор Цербе облокотился на стол и посмотрел на Егора, как профессор, который знает, как спасти тяжело больного.

— Если бы это было так, мой юный друг, я бы вас не вызвал. Я пригласил вас, потому что ваше письмо меня заинтересовало. Когда я вас увидел, мой интерес к вам стал еще сильнее. Скажу вам прямо. Вы производите на меня впечатление страдающего, глубокого и тонко чувствующего человека.

Егор зарделся от похвалы, которую ему нечасто доводилось услышать. Доктор Цербе пронзил его взглядом влажных глаз. Пусть молодой человек не отчаивается, выход можно найти. Есть прекрасный выход, но он требует терпения, труда и полного подчинения.

— О, я готов на все, герр доктор! — воскликнул Егор.

Доктор Цербе дал Егору знак, чтобы тот не перебивал, и заговорил с теплом и даже некоторым воодушевлением в усталом голосе. Законы возрождающегося отечества по отношению к врагам суровы, как скала, но мягки к тем, кто предан ему всем своим существом. Более того, можно искупить вину перед отечеством, если принести себя в жертву. Оно дает такую возможность. Отечество знает, что кровь сильнее чернил, и находит способ смыть чернила, которыми написаны законы, кровью того, кто готов взойти на жертвенник.

Егор вскочил:

— Герр доктор, я готов защищать отечество, проливать кровь в борьбе с врагами, лишь бы вернуться домой.

Доктор Цербе охладил его пыл. Конечно, это очень благородно с его стороны. Однако сражаться за отечество — не жертва, а привилегия, которой достоин не каждый. Но ничего, есть и другие поля сражений, не с явным, а со скрытым врагом. Есть солдаты, которые сражаются на невидимом

фронте. Они не так заметны, у них нет шлемов и мечей, но их героические сражения зачастую не менее важны. И отечество не забывает о своих невидимых солдатах.

Егор вопросительно посмотрел на доктора Цербе. Доктор объяснил.

Мир полон врагов, они повсюду, в кабинетах, редакциях и салонах, где собираются либеральные интеллектуалы, в рабочих клубах и церквях, в банках, синагогах и домах эмигрантов. Солдаты невидимого фронта должны следить за каждым шагом врагов, выведывать их планы и действия. Тысячи незаметных героев служат отечеству. Готов ли молодой человек стать одним из них?

Пламенная речь доктора Цербе озадачила Егора. Он не знал, что ответить. В том, что предлагал доктор Цербе, он не видел ничего героического, его душа с детства стремилась к другому. Солдатами были для него такие, как дядя Гуго. Кроме того, доносительство всегда ему претило. Даже когда доктор Кирхенмайер жестоко унизил его в гимназии, он дома не сказал об этом ни слова. Егор сидел, опустив голову, и молчал. Доктор Цербе прикинулся обиженным. Конечно, гораздо романтичнее, звеня шпорами, маршировать по улицам в мундире на восхищение юным дамам. Конечно, приятнее жить в своей стране, чем на чужбине. Неужели молодой человек думает, что он, доктор Цербе, не хотел бы жить на родине, на

что он, истинный ариец и патриот, имеет полное право? Однако он служит отечеству здесь. Или господин Карновский считает, что он чем-то лучше доктора Цербе?

Он искусно разыграл досаду и нарочно назвал молодого человека Карновским, чтобы напомнить, кто здесь кто.

Егор был напуган гневом доктора Цербе.

— Тысяча извинений, герр доктор, но я такого не говорил, — промямлил он.

Доктор Цербе с удовлетворением отметил, что метод сработал, и продолжил тем же тоном. Молодому человеку не мешало бы подумать о том, что его вызвали сюда не просто так. Время доктора Цербе дорого, очень дорого. Если он уделит Егору так много времени, то лишь потому, что захотел ему помочь. Он хотел дать ему шанс искупить грех матери и заслужить прощение. За верную службу отечество признает его истинным арийцем, и тогда он получит право вернуться домой, в страну своих предков. Не каждый удостоивается такой привилегии. У молодого человека есть возможность начать жизнь с чистого листа.

Высказавшись, доктор Цербе принялся рыться в бумагах, чтобы показать, как дорого его время.

— В любом случае приятно было с вами познакомиться, — сказал он. — Надеюсь, вы достаточно благоразумны, чтобы понимать: все, о чем мы говорили, должно остаться между нами.

При этом он незаметно бросил взгляд на молодого человека, чтобы посмотреть, какое впечатление произвели его слова, и вовремя удержать его, если он и правда решит уйти. Но Егор не двинулся с места. Его ноги будто налились свинцом, как у больного, которому врач только что вынес смертный приговор. Доктор Цербе отбросил обиду и суровость и снова заговорил, хоть его время и было очень дорого. В его голосе зазвучали добродушные нотки.

— Вы все принимаете очень близко к сердцу, герр Гольбек. — Он снова назвал Егора по фамилии матери. — Относитесь к жизни проще, мой юный друг.

Егор попытался оправдаться:

— Пусть герр доктор не обижается на меня. Герр доктор должен понять, что не так легко сразу согласиться на...

Он запнулся, испугавшись, что обидит доктора. Цербе ему помог:

— Вы хотите сказать, на секретную службу?

Егор покраснел и кивнул.

Доктор Цербе расхохотался:

— Вообще-то мы называем это проще: информация.

И, резко прервав смех, объяснил. Видимо, молодой человек неверно понял. Со свойственной юности фантазией он представил себе гору, хотя на самом деле это мышь, всего лишь маленькая

мышка. Молодой человек ошибается, если думает, что доктор Цербе занимается такими вещами. Он должен усвоить: доктор Цербе — поэт и ученый, его задача — пропагандировать культуру своей страны, находить друзей возрождающегося отечества. Но к сожалению, он окружен здесь врагами, которые распространяют ложь и клевету. Самая опасная в этой банде — доктор Эльза Ландау, есть такая. Эта проклятая еврейка носится по всей стране, как бес, от Атлантического до Тихого океана, брызжет ядом, объединяет врагов, клеветает на отечество и лично на него, доктора Цербе. Называет его шпионом и другими гнусными словами. Вот почему доктору Цербе необходимо знать, что происходит во вражеском лагере. Как говорится, кто хочет понять поэта, тот должен побывать у него на родине. Он не имеет в виду ничего плохого, только информацию, совершенно безобидную информацию. Ведь Егору так легко ее раздобыть, а для доктора Цербе она очень важна.

Егор попытался возразить:

— Но ведь я не бываю в таких кругах! Я не знаю таких людей и знать не хочу! Они отвратительны мне, потому я и пришел к господину доктору просить, чтобы он помог мне вырваться отсюда...

Доктор Цербе снова засмеялся:

— Глупости, молодой человек. Глупости.

Именно потому, что он хочет вырваться отсюда, он должен остаться тут еще ненадолго. Настоящий солдат не бежит от врага, но остается на своей позиции и добывает информацию о вражеском лагере. Отечество знает, как наградить своих храбрых солдат.

Егор молчал, мучительно размышляя. Доктор Цербе дал ему подумать. Вдруг он хлопнул крышкой стола, пригладил остатки седых волос и неожиданно спросил:

— Могу ли я пригласить вас на обед, герр Гольбек?

Егор не ожидал столь резкого перехода.

— О, это... Это большая честь для меня, герр доктор...

Доктор Цербе не спеша сложил бумаги в дорогой портфель из желтой кожи, закрыл его на замок. Надел элегантную твердую шляпу, которая плохо сидела на слишком большой голове. Повязал шею белым шелковым шарфом, снял с вешалки солидное черное пальто. Егор помог ему одеться.

— Благодарю! — улыбнулся доктор Цербе, взял в одну руку портфель, в другую — палку черного дерева. В широком пальто с бархатным воротником и белых гетрах на лакированных ботинках он казался еще более тщедушным. Бледностью он напоминал мертвеца, которого слишком шикарно обрядили на похороны. На

улице доктор Цербе взял такси и приказал тихому молодому человеку садиться. Больше он не возвращался к предыдущему разговору, но говорил о погоде и ярком солнце.

По опыту доктор Цербе знал: того, чего трудно добиться в неуютном кабинете, гораздо легче добиться в домашней обстановке, за накрытым столом, за стаканчиком вина. Возле цветочного магазина доктор Цербе остановил такси и купил букет роз.

— Моя старая служанка никогда не ставит цветов на стол, — пожаловался он Егору, как близкому человеку. — Приходится самому заботиться.

Долгая поездка завершилась в тихом районе, застроенном одноэтажными домами. Перед ними зеленели небольшие садики. По вывескам на заправочных станциях и аптеках Егор сообразил, что это Лонг-Айленд. Район напомнил ему Грюнвальд. В конце улицы, отдельно от других зданий, стоял дом с опущенными шторами на венецианских окнах. Такси остановилось перед железным забором. Доктор Цербе попросил Егора подержать портфель и палку и отпер дверь.

— Нет, вы мой гость, заходите первым, — подбодрил он Егора, который не решался войти.

В доме было темно. После яркого солнца Егор ничего не мог разглядеть. Вдруг из темноты раздался скрипучий голос:

— Пр-р-приятного аппетита, гер-р-р-р доктор-р-р-р!

Егор обернулся и увидел попугая, зеленые перья мерцали в темноте. Вокруг начали проявляться другие цвета: красный ковер, черное пианино, пестрые картины на стенах. Егора охватило беспокойство вместе с любопытством. Попугай не умолкал. Бесшумно вошла старуха и подняла шторы.

— Здравствуйте, — слегка поклонился Егор.

— Здравствуйте, — зло проворчала старуха и тихо удалилась.

При свете Егор увидел картину, на которой была изображена обнаженная женщина, и густо покраснел. Это была настоящая картина, но она больше походила на порнографическую открытку, чем на произведение искусства. Никто не появлялся, и Егор принялся осматривать комнату. Резная мебель, кувшины, вазы, на стенах — бронзовые тарелки, японские рисунки и гравюры на меди. В резных шкафах стояли книги на разных языках. Поблескивали золотые корешки. Рядом с философскими сочинениями и произведениями классиков расположились иллюстрированные книжки сомнительного содержания. В углу, где стояла клетка с попугаем, находилось несколько примитивных фигур, вырезанных из черного дерева: африканские божки и голые мужчины и женщины в непристойных позах. Егор снова покраснел. Рука доктора Цербе легла ему на плечо.

— Нравится, молодой человек?

Хилое тело доктора было облачено в шелковый халат, на ногах были домашние туфли. Он обнял Егора за талию, на немецкий манер, и подвел к столу, уставленному винами, коньяками и ликерами.

— Что предпочитаете? Шнапс?

— Все равно, герр доктор, — нерешительно ответил Егор.

— Тогда выпьем вина. — И доктор принялся за еду, поданную старой служанкой.

Кривыми пальцами он чистил омара, выковыривал мясо из панциря и причмокивал, как беззубый старик. Будто одно слабое, больное животное поедало другое, еще более слабое. Егор стеснялся есть. Доктор Цербе угощал его. Сам он ел медленно, зато говорил очень быстро, не умолкая ни на секунду.

— Закрой клюв, болтун, — сердился он на попугая, когда тот желал ему приятного аппетита, — дай сказать господину доктору.

Он наполнил вином два бокала, любовался игрой пурпурного напитка. Его лицо улыбалось каждой морщинкой.

— Можно называть вас по имени, мой юный друг?

— Это большая честь для меня, герр доктор. Меня зовут Георг.

— Почему вы не пьете, Георг?

— Я не привык к вину, герр доктор, — ответил Егор.

— Вино — благородный напиток, напиток мыслителей. — Доктор Цербе чокнулся с Егором. — А пиво — напиток черни. Согласны?

— Не знаю. Но если герр доктор говорит, значит, это так, — ответил Егор тихо.

Доктор Цербе объяснил, что говорит неспроста. Он может привести в доказательство исторические факты. Все древнейшие культуры возникли у народов, которые употребляли вино. Возьмите Грецию, Рим, Вавилон, Египет, Израиль. Уже древние евреи утверждали, что вино веселит сердце. Не так ли?

— Не знаю. — Егору не понравилось, что разговор переключился на евреев. — Я этим не интересуюсь.

— Очень жаль, Георг, очень жаль, — укорил его доктор Цербе. — Еврейская культура — одна из величайших в мире. Я хоть и поклонник Афин и Рима, но не могу игнорировать Иерусалим, как делают по незнанию некоторые невежды.

Он беспрестанно подливал вино. У Егора кружилась голова, но на душе было легко, заботы позабылись. А доктор Цербе все говорил, демонстрируя свою ученость. Он переместился на диван и предложил Егору сесть рядом. Служанка принесла кофе. Доктор Цербе велел поставить чашки на маленький столик возле дивана и вдруг начал декламировать собственные стихи.

— Ну как, мой юный друг? — спросил он, прочитав несколько стихотворений.

— Я не из тех, кто может судить, — ответил польщенный Егор, — но мне кажется, это прекрасно.

Лицо доктора Цербе порозовело, глаза заблестели.

— Спасибо, милый, — пробормотал он и вдруг, наклонившись, поцеловал Егора в щеку.

Егор быстро стер ладонью слюну, оставленную на щеке вялыми старческими губами. Доктор Цербе заметил его отвращение и побледнел.

— Это чувство отца к сыну, — начал он оправдываться. — Чувство одинокого человека, которого судьба лишила семейного счастья. Надеюсь, мой друг, вы не подумали ничего плохого.

Егор убрал руку от лица.

Доктор Цербе сунул ему в жилетный карман несколько бумажек. Егор попытался протестовать:

— Герр доктор, нет!

— Ни слова! — перебил доктор Цербе. — Я же понимаю, что у вас плохо с деньгами. Вы обидите меня, если не возьмете, мой друг.

Егор действительно был без денег, у него осталось только несколько центов, и он не стал сопротивляться. Доктор Цербе проводил его до двери и попросил заглядывать, если Егору станет одиноко. Он всегда готов поддержать юного друга и морально, и материально.

Одиноко Егору стало очень скоро, и он явился к доктору Цербе за моральной и материальной поддержкой. Он и сам не заметил, как оказался у доктора в услужении.

41

Доктор Карновский волновался только из-за одного экзамена — по английскому языку. Об экзамене по медицине он даже не думал. Ему было смешно, что он, опытный врач, должен сдавать экзамен, как какой-то студент. Он был даже несколько обижен. Как большинство европейских врачей, он был об американской медицине невысокого мнения и досадовал, что ему, знаменитости из-за океана, надо начинать с нуля. Он не знал никого из будущих экзаменаторов, но был уверен, что как врачи они ему в подметки не годятся. Карновский заранее их ненавидел, потому что оказался у них в руках.

А будущие экзаменаторы ненавидели Карновского и вообще всех, кто собирался заниматься медицинской практикой в новой стране.

На трансатлантических рейсах прибывало множество врачей. Поначалу местные медики встречали их с распростертыми объятьями, особенно тех, кто пользовался известностью в своей области. Но когда врачей стало слишком много, отношение к иммигрантам изменилось, и не в лучшую сторону.

Во-первых, новоприбывшие врачи часто смотрели на местных свысока. Во-вторых, они переманивали пациентов. Нередко иммигранты выдавали себя за светил, хотя на самом деле были посредственностями. Взаимная неприязнь росла день ото дня. В клубах, за игрой в бридж или гольф, старожилы изливали друг другу свой гнев на конкурентов. Вперемежку с правдивыми случаями рассказывали всякие небылицы. Особенно этим славился доктор Альберти. У него была репутация лжеца и сплетника, но слушали его охотно, потому что хотели верить его рассказам.

Доктор Альберти вел с конкурентами войну не на жизнь, а на смерть.

Высокий, жилистый, неопределенного возраста, казавшийся то пожилым, то довольно молодым, с редкими волосами, в которых перемешались всевозможные цвета и оттенки, и лицом, в котором можно было разглядеть славянские, германские, латинские и семитские черты, доктор Альберти был заметной фигурой в медицинском мире Манхеттена, хотя никто не знал, кто он такой, когда и откуда приехал. Только старики помнили, что он появился в конце девяностых в самом центре Бауэри и сразу произвел сенсацию. В мужских туалетах ресторанов и баров он развесил объявления со своим портретом — эспаньолка и пенсне на шнурке, — в которых говорилось, что он излечивает венерические болез-

ни за считанные недели, к тому же по очень низкой цене. Его объявления висели даже в туалетах собвея. Пьяницы и бездельники, разрисовывая стены всякой похабщиной, не щадили и портретов доктора Альберти, но толпами шли к бородатому, очкастому врачу, который излечивал венерические болезни за считанные недели. Бродяги, проститутки, матросы, итальянцы, евреи, немцы, ирландцы, китайцы из Чайна-Тауна толкались в грязной приемной. Доктор Альберти так спешил, что даже не стерилизовал инструментов и не мыл рук. Измазанными йодом пальцами он быстро принимал доллары и рассовывал по карманам замызганного халата.

Когда ему надоело в Бауэри, он снял приличное жилье в другом районе и стал помещать объявления не на стенах общественных сортиров, а в прессе, но все с тем же портретом. Он с гарантией лечил всё подряд, все болезни, но с наибольшей охотой брался за женские. Поговаривали, что он нелегально делает аборты и совращает пациентов, но его ни разу не поймали за руку, он знал, как спасти свою шкуру. По вечерам он выпивал в барах с полицейскими, и они отказывались принимать на него заявления.

Однажды, когда пациентка умерла после аборта прямо в кабинете, доктора Альберти все же арестовали. Его друзья по барам и клубам ничего не могли поделать. Впервые газеты напечатали его

фотографию бесплатно, и не в колонке объявлений, а на первой полосе. После этого его портрет надолго исчез из прессы. Но доктор Альберти не пропал. Он вышел, не досидев срока до конца, и вернулся к практике. Какое-то время он был врачом на пароходах, нелегально перевозивших в Америку китайцев. Потом друзья по барам выбрали для него должность портового врача. Прошли годы, скандал забылся. Доктор Альберти оставил государственную службу, на которой особо не разжиреешь, и открыл кабинет в аристократической части города. Он сбрил бородку, которую многие помнили по процессу, и стал носить высокие накрахмаленные воротнички. Таких, кроме него, не носил никто. В будни он одевался, как на свадьбу: брюки со складкой, белый галстук и ярко-красная роза в петлице. Волосы до плеч делали его похожим на музыканта. Он больше не брался лечить молодых женщин, от них одни неприятности. Теперь он предпочитал богатых старых дев, у которых проблема не в том, чтобы избавиться от беременности, а в том, чтобы забеременеть. Он перестал ходить по барам, но стал частым гостем в богатых домах, занялся общественной деятельностью, начал выступать в женских комитетах с лекциями о современной медицине и лечить истеричных дам не обычными методами, а массажем, таблетками и микстурами, которые готовил сам. Когда-то он производил впечатление на

модисток и мелких бизнесменов эспаньолкой и пенсне, теперь же он производил впечатление на богатых вдов и старых дев элегантностью, новыми методами лечения и внезапно появившимся британским акцентом.

После войны заговорили о психоанализе, и доктор Альберти одним из первых поехал в Европу разнюхать, что это такое. Погуляв несколько недель по самым шикарным борделям, он первым привез в Америку новое учение и начал успешно его применять. Богатые истеричные пациентки осаждали приемную. Гонорары были просто фантастические. Благодаря его известности и богатству именитые коллеги позабыли о его давнем грехе и приняли его в свой круг. Он стал видным человеком в обществе. Его приглашали на судебные экспертизы и заседания городского совета. Некоторые дамы называли его профессором, против чего доктор Альберти не сильно возражал. Даже старые врачи, которые раньше считали его шарлатаном, позорящим профессию, теперь его терпели и даже проявляли к нему расположение. Враждовать с ним не решались, потому что опасались его злого языка.

Самые злые сплетни доктор Альберти распространял о врачах, которые недавно приехали из-за океана, особенно о знаменитостях. С тех пор как его пригласили их экзаменовывать, он не давал им спуску.

И многие другие экзаменаторы поступали точно так же.

Не сговариваясь, они заваливали конкурентов, посягнувших на их хлеб. Мало кому удавалось успешно пройти испытание. Американцы знали, что принимают экзамен у иммигранта, хотя его в глаза не видели. Об этом можно было догадаться по письменным ответам: и по почерку, который отличался от местного, и по английскому языку. Как бы хорошо приезжий его ни выучил, чувствовалось, что язык для него не родной. Их срезали за малейшую неточность. Проваливались не только рядовые врачи, но также светила и профессора. Они проваливались даже чаще, потому что меньше готовились. Доктор Альберти ликовал, когда ему удавалось срезать старого профессора. Он хвалился этим перед коллегами, и они радовались, хотя не все решались в этом признаться. Они испытывали приятное чувство защищенности от тех, кто был более талантлив.

Знаменитости злились и проклинали экзаменаторов, но это не помогало. Оставалось либо бросить медицину и заняться чем-нибудь другим, либо снова сесть на студенческую скамью.

Доктору Карновскому злость тоже не помогла, когда он пришел сдавать экзамен и увидел перед собой листок с двенадцатью вопросами.

Вопросы были по предметам, которые Карновский знал назубок. Он уже несколько лет не прак-

тиковал, но ничего не забыл. Это были элементарные вопросы для студентов. Карновский прекрасно помнил нормальную и патологическую анатомию, неорганическую и органическую химию, гигиену, не говоря уже о хирургии. Вопросы оказались слишком легкими, и это раздражало. Приличному врачу тут делать было нечего. И вдруг оказалось, что он знает не все ответы. Сколько он ни напрягал память, он не мог вспомнить процентное содержание протеина и сахара в спинномозговой жидкости.

Доктор Карновский был вне себя. Он, лучший хирург в клинике профессора Галеви, который на фронте провел сотни операций на позвоночнике, не мог ответить на простой вопрос. Но злился он не на себя. Карновский знал, что медицинская квалификация тут ни при чем. Нужна память, которая у молодого студента зачастую лучше, чем у старого опытного врача. Он был уверен, что даже профессор Галеви засмеялся бы, если бы ему ни с того ни с сего задали этот вопрос. Он взял бы справочник и посмотрел или спросил бы у молодого медика, только что закончившего университет. Однако здесь не было ни справочника, ни молодого коллеги. Некуда было посмотреть, не у кого спросить, но нужно было отвечать.

Доктор Карновский проклинал того, кто придумал этот вопрос. Он плюнул бы ему в рожу за такую глупость. Но он даже не знал, на кого злить-

ся, кого проклинать и с кем спорить. Перед ним лежал листок бумаги с дурацкими вопросами, от которых зависела его судьба.

Время шло. Беспокойство Карновского росло с каждой минутой. Он начал путаться в том, что прекрасно знал, и делать грамматические ошибки. Спихватился, исправил, но тут же наделал новых. Он нервничал, как в студенческие годы, когда сдавал экзамен советнику Ленцбаху. Ладони вспотели, перо дрожало в пальцах. Он был заранее уверен, что где-нибудь ошибется, и эта уверенность окончательно его добила. Стрелки на часах неумолимо двигались. Скоро истекут два часа, которые отведены ему для ответов. Терять было нечего. Карновский махнул рукой и стал писать первое, что приходило в голову, лишь бы успеть вовремя. Он уже знал, что провалился.

Так и случилось. Теперь он должен был заново начать готовиться к новому экзамену.

Карновский знал, что это не его вина, и все же ему было стыдно. Ему было стыдно перед Терезой, перед учительницей мисс Дулитл, которая так много занималась с ним английским, перед знакомыми и друзьями и перед самим собой. А ведь многие молодые, неизвестные врачи сдавали экзамен и получали разрешение открыть кабинет. Карновский обо всем рассказал Терезе. Она попыталась его утешить, но не смогла.

Он трудился, сидел на школьной скамье, зубрил слова, готовился, и все коту под хвост. Опять надо начинать сначала. И может, вторая попытка будет не лучше первой. Кто знает, какие вопросы будут в следующий раз. Это лотерея, игра на удачу.

Как Тереза ни экономила, вывезенные из дома сбережения подошли к концу. Доктор Карновский начал закладывать вещи. Сначала он заложил золотые часы, потом перстень, подаренный Терезой. Она тоже заложила свои украшения, потом понесла в антикварные магазины хрустальные и керамические вазы, брюссельские кружева и дрезденский фарфор. Антиквары давали гроши.

Когда продать было больше нечего, доктор Карновский стал искать покупателя на рентгеновский аппарат.

— Георг, не надо, — умоляла Тереза. — Я найду работу, пойду в служанки или в прачки, только не продавай.

Но доктор Карновский так на нее посмотрел, что она тут же замолчала. Он не допустит, чтобы жена его кормила. Когда аппарат забрали, он почувствовал пустоту на сердце, будто из дома унесли покойника. Тереза плакала. Доктор Карновский рассердился, чтобы сдержать слезы, которые стояли у него в горле.

— А ну, не плакать, глупыш! — прикрикнул он на нее.

Какое-то время жили на деньги, вырученные за рентгеновский аппарат. Экономили на всем, сняли жилье подешевле. Доктор Карновский, как прежде, занимался, учил английские слова по словарю, читал вслух, чтобы привыкнуть к произношению, готовился к экзамену. Он ходил на прогулки и делал гимнастические упражнения, чтобы убить время. Когда от денег почти ничего не осталось, он вдруг ощутил бессмысленность своих мальчишеских занятий и оставил книги. Впервые за много лет он не сделал зарядку, не пошел гулять, а с утра пораньше поехал в собвее к дяде Гарри. Он держался за поручень в переполненном качающемся вагоне. Сонные пассажиры ехали на работу. Доктор Карновский был готов взяться за что угодно, лишь бы заработать на хлеб для себя и семьи.

Когда Карновский вошел, дядя Гарри стремительно поглощал завтрак. Услышав, что племянник хочет работать у него на стройке, Гарри расхохотался. Он знал, что Карновский — веселый человек, который любит подурачиться, поплавать в море и поваляться на пляже. Дядя Гарри был уверен, что Карновский пришел к его дочери, чтобы пригласить ее купаться, а заодно решил его разыграть. Но ему некогда было болтать с племянником, он торопился на работу. Пусть дочь развлекает гостя, это ей делать нечего.

— Этл! — позвал он. — Надевай штаны. Кузен явился совершить омовение перед утренней молитвой...

Но Карновскому было не до шуток. Он серьезно повторил, что готов выполнять любую работу, красить стены, носить доски. Ему надо кормить семью. Дядя Гарри чуть не подавился куском булика.

— Ты? — уставился он на родственника. — Ты же врач. Не дури...

Доктор Карновский начал терпеливо объяснять, что с ним случилось. Дядя Гарри наморщил лоб.

— Легко сказать красить стены, — проворчал он озабоченно. — Мне все печенки переедят, если я возьму на работу чужого...

Карновский не понял:

— Но я же не чужой!

— Да если б мой отец, благословенной памяти, встал из гроба и захотел красить у меня стены, они б его с кашей съели. — Дядя Гарри даже рассердился, что было совсем не в его характере.

Чтобы родственник не обиделся, он попробовал задобрить его булочкой и чашкой кофе, но Карновский отказался.

Он в жизни бы не подумал, что пойдет за помощью к Соломону Бураку, и вот пошел. Карновский сказал, что хотел бы заняться торговлей вразнос. Хоть Соломон Бурак давно привык, что всякие

гордецы «оттуда» обращаются к нему с такими просьбами, хоть он не забыл, как Карновский задирал нос и унижал его дочь, он смутился, когда известный врач пришел к нему просить в долг товара.

— Герр доктор, это не для вас, — попытался он отговорить Карновского. — Неблагодарное занятие. Вам не потянуть.

— Придется потянуть, герр Бурак, — грустно улыбнулся Карновский.

Соломон стоял на своем:

— Герр доктор, я буду давать вам в долг денег, пока не начнете практиковать. Куда вам ходить по улицам с чемоданом.

— Нет, герр Бурак. Мне нужен товар, а не деньги, — убеждал Карновский.

Соломон Бурак достал с верхней полки чемодан, который когда-то принес ему удачу. Он набил его чулками, галстуками, рубашками и блузками и начал посвящать Карновского в тайны ремесла:

— Главное, мой друг, ничего не бояться. Не хотят покупать, а ты продавай. Открыли дверь — подставляй ногу, чтобы не захлопнули перед носом.

Он посмотрел на ученика и осекся. В облике Карновского было столько гордости и благородства, что Соломон почувствовал нелепость своих наставлений.

— Герр доктор, прошу вас, не надо, — принял он еще одну попытку. — Не такой вы человек. Я знаю, что говорю.

— Это наша национальная профессия, наша судьба, — с горечью сказал Карновский. — А от судьбы не уйдешь.

42

Новая, вольная жизнь началась у Егора Карновского, который теперь называл себя только Гольбеком.

Он несколько раз переночевал в гостинице, где платил вперед, но потом снял комнату на месяц за десять долларов. Она была тесной и темной и находилась в полуподвале, но Егор был счастлив, что у него есть собственное жилье.

Теперь не надо было рано вставать и идти в школу, и он отсыпался в свое удовольствие. Никто его не будил, не торопил, не спрашивал, сделал ли он уроки. Консьержка госпожа Кайзер, у которой он снял комнату, относилась к нему с почтением, интересовалась, хорошо ли он спал, и каждый раз, когда он чихал, желала ему здоровья.

В баварском ресторане, куда он заходил перекусить, белокурые официантки стали его узнавать и здороваться. Их «Danke schön, Herr», когда он давал чаевые, было таким же сладким, как пирожные, которые приносили ему к кофе. Но еще

слаще была свобода от учителей, директоров и всяких советчиков.

Егор наслаждался каждой минутой. Он не забивал себе голову историей, гражданским правом и физикой, но каждый день ходил на немецкие фильмы. Еще он пристрастился к театру бурлеска, где девушки раздевались перед зрителями и хриплыми голосами распевали непристойные песенки. Поначалу он стеснялся ходить в такие места, это было почти то же самое, что зайти в публичный дом. Но стыд быстро исчезал в грохоте музыки, выкриках мороженщиков, хохоте матросов и запахе потных человеческих тел. Егор громко аплодировал вместе со всеми, когда девушки на сцене скидывали платья. Он не решался орать девушкам «baby»* и делать намеки, что был бы не прочь встретиться. Он только думал об этом, но хохотал во всю глотку. Впервые за много лет.

Еще веселее было в клубе «Молодая Германия», куда он ходил по вечерам с новым другом, сыном своей хозяйки.

В первый же день, как только он поселился у госпожи Кайзер, чья-то рука уверенно постучала в дверь, и не успел он ответить, как в комнату ввалился парень в расстегнутой рубахе.

— Эрнст Кайзер! — Тряхнув льняным чубом, он неожиданно крепко пожал руку Егора.

* Малышка (англ.).

Его твердая ладонь не подходила к круглому мальчишескому лицу, и такой же неподходящей казалась слишком широкая грудь. То, что было на нем надето, можно было принять и за скаутскую или солдатскую гимнастерку, и за коричневую рубашку. Егор щелкнул каблуками:

— Йоахим Георг Гольбек. Приятно познакомиться, герр Кайзер.

— Называй меня камрад Эрнст, — ответил парень в рубашке непонятного цвета. — Не против, если я буду звать тебя камрад Георг?

— Конечно, — зарделся Егор.

— Отлично. Будем друзьями.

Он вытащил из кармана пачку дешевых сигарет и угостил Егора, чтобы скрепить дружбу. Егор с видом заядлого курильщика выпустил едкий дым из ноздрей и с радостью посмотрел на нового друга. Одиночество закончилось. Ему понравился Кайзер: и льняной чуб, падавший на глаза, и сильные руки, и широкие плечи, и расстегнутая рубашка, напоминавшая военную гимнастерку.

— Ну что, выпьем пива? — Егор хотел показаться новому знакомому взрослым.

— С удовольствием. Пойдем, приятель.

Парень говорил, мешая английские и немецкие слова.

Фрау Кайзер пыталась повесить огромный мешок с мусором на железный забор перед домом.

— Эрнст, помоги!

— Отстань. Мы идем пиво пить, — ответил парень.

Госпожа Кайзер сложила руки на животе.

— Герр Гольбек, не связывайтесь с ним. Он сам балбес и вас таким же сделает.

— Shut up!* — Эрнст выплюнул окурок ей под ноги.

В баре висели плакаты, на которых веселые румяные толстяки держали в руках полные пивные кружки. Объявление на стене предупреждало, что напитки в кредит не отпускаются.

— Прозит! — чокались посетители.

— Прозит! — повторял парень в расстегнутой рубашке, чокаясь с Егором.

— Прозит! — радостно отвечал Егор и снова заказывал, хотя его уже мутило.

Он курил сигарету за сигаретой, чтобы не отставать от нового друга, и платил за пиво. Из бара они пошли в клуб «Молодая Германия».

Они спустились в подвал и долго шли по коридору. Стены были испещрены свастиками, похабными рисунками, непечатными словами, пронзенными стрелой сердечками и сообщениями, что Карл любит Митци, а Фриц любит Гретхен. На полу стояли какие-то сломанные электроприборы, ржавые котлы и прочий хлам. Наконец они добрались до двери, на которой кривыми готическими буквами было написано: «Молодая

* Заткнись! (англ.)

Германия». В просторном подвальном помещении стояли старые стулья, видимо собранные по помойкам, бильярд с дырявым зеленым сукном, хромоногий теннисный стол и несколько одинаковых диванчиков, продавленных, с торчащими пружинами. Под электрическими лампочками висели бумажные гирлянды и фонарики, оставшиеся после какого-то праздника. На стенах — лозунги и фотографии генералов, марширующих солдат и штурмовиков, портреты боксеров, футболистов, актрис и танцовщиц. За расстроенным пианино сидела девушка и выколачивала из клавишей вальс. Эрнст Кайзер тронул ее за круглое плечо.

— Камрад Георг, — указал он на Егора.

Девушка встала и улыбнулась, показав крепкие, белые зубы. Вздернутый веснушчатый носик, белокурые локоны, канареечный свитер туго облегал великоватую, соблазнительную грудь. Егор щелкнул каблуками и слишком громко, чтобы скрыть смущение, выкрикнул полное имя. Девушка в желтом свитере была само спокойствие.

— Лотта, — назвалась она, снова показав белые зубы.

Эрнст Кайзер сел за пианино и заиграл вальс. Лотта начала двигать бедрами в такт.

— Может, потанцуете? — спросил парень, не прекращая играть.

Егор даже не успел пригласить девушку, она сама положила руку ему на плечо. Он ощутил прикосновение ее груди. Егору стало жарко. Эрнст изо всех сил колотил по клавишам.

— Эй, эгей! — подпевал он.

Лотта вся была захвачена танцем, танцевали светлые локоны, широко открытый рот, белые зубы, бедра, дразнящие груди. В подвале становилось все больше народу, приходили парни и девушки. Все девушки были напудрены и накрашены, парни были одеты в штопаные свитера, рубашки и даже рабочие комбинезоны. Эрнст Кайзер, не выпуская изо рта сигарету, представлял всем входившим камрада Георга. Егор щелкал каблуками. Все смешалось: разговоры, смех, пение, сигаретный дым. Одни катали шары по дырявому сукну, другие играли в карты, третьи мерились силой, чтобы покрасоваться перед девушками. Самым сильным оказался Эрнст Кайзер. Кто-то опять сел за пианино, начались танцы. Лотта танцевала с Егором, он чувствовал через одежду ее горячее тело. Она смеялась, не переставая, и он тоже смеялся. Ему давно не было так весело. Танцы кончились, и парни захотели пострелять из винтовки. Нужно было попасть в рот деревянной фигуре, черту с кучерявыми волосами, толстыми губами и горбатым носом. Его называли дядя Мо. При каждом удачном выстреле толпа дружно ржала:

— Так ему! Прямо в глотку!

Лотта смеялась громче всех. Она держала Егора за руку, и его ладонь потела в ее ладони.

— Здорово, да? — спрашивала девушка.

— Да, очень смешно, — отвечал Егор, но каждый раз, когда дядя Мо вздрагивал от меткого попадания, Егор вздрагивал вместе с ним. Неожиданно ему стало жаль деревянного черта. Он чем-то напоминал дядю Гарри, близкого человека, с которым Егор не хотел быть близким. Ему стало не по себе среди веселящейся толпы. Беспокойство росло, и, чтобы его скрыть, он громче всех, до визга, смеялся над деревянным дядей Мо. Егор успокоился, только когда стрельба прекратилась. Из карманов появились бутылочки водки. Эрнст угостил Егора и Лотту. Лотта пила не хуже любого парня, но Егор старался не отставать. Вдруг кто-то выключил свет, оставив одну лампочку под красным бумажным абажуром. Парочки уединялись по углам, на продавленных диванах, шатких стульях и даже на полу. Слышался тихий смех, шепот, звуки поцелуев. Егор оказался в углу вместе с Лоттой. Неопытный, смущенный и счастливый, он держал ее за руку, не зная, что делать дальше. Девушка прижалась к нему.

— Милый, — шептала она, — мальчик мой...

Егор видел такое только в кино и во сне. Он не мог поверить, что это происходит с ним. С ним,

которого до сих пор все только обижали и никто не воспринимал всерьез. Он так мечтал о любви, что теперь не решался ей насладиться. Тот, кто слишком долго голодал, не может есть, когда ему дают кусок хлеба. Лотта вела себя куда смелее.

— Поцелуй меня, — приказала она, прижавшись к нему еще крепче.

С каждым поцелуем Егор становился увереннее в себе. Впервые в жизни он гордился собой. Лотта называла его ласковыми и непристойными именами. Это любовь, думал он в ее объятиях. Вдруг заиграло пианино и загорелся свет. Егор резко отодвинулся от девушки. Он был влюблен по-настоящему. Его охватила равность, когда Лотта пошла танцевать с другим.

С того дня он не расставался с парнем в расстегнутой рубашке. Они пили пиво, играли на бильярде, ходили в кино и в подвальный клуб «Молодая Германия». Обычно к ним присоединялась Лотта. Егор платил за всех.

Не так хорошо было на службе у доктора Цербе. Хоть он и объяснял Егору, как втираться в доверие, проникать на собрания, выведывать, что творится в комитетах и синагогах, Егор не любил новую работу. Как увечный, который старается не смотреть на другого, похожего на него калеку, чтобы не увидеть в нем самого себя, Егор избегал встреч с представителями вражеской стороны. В «Молодой Германии» или баварском ре-

сторане он был Гольбеком с головы до ног. Иногда при первом знакомстве на него смотрели с подозрением, но это бывало очень редко. Если же он был в компании белокурого Эрнста Кайзера или Лотты, сомнений вообще не возникало. А среди смуглых и черноволосых Егор сразу вспоминал о своем изъяне. Они расспрашивали, кто он, откуда приехал, чем занимается и чем собирается заниматься. Приходилось выкручиваться, врать, выдумывать небылицы. Егор этого не умел и расспрашивать других тоже был не мастер. Ему было стыдно перед господином доктором, что он не может разузнать ничего важного. Однако герр доктор его не упрекал, а, наоборот, подбадривал, велел продолжать работу и утешал, что все получится. И при каждой встрече давал несколько долларов.

Теперь Егор не отказывался от денег, он вошел во вкус. Когда не удавалось добыть информацию, он что-нибудь придумывал. Сначала он краснел и дрожал, как бы его не разоблачили, но герр доктор ни о чем не догадывался. Более того, ложь устраивала его больше, чем правдивые сведения, а Егор со временем даже полюбил лгать. Ему нравилось чувство опасности, которое он испытывал, когда водил доктора за нос. Вскоре он стал врать всем подряд. Он врал госпоже Кайзер, когда она спрашивала, чем он занимается, врал другу Эрнсту, врал Лотте. А больше всего он врал матери.

Отца он больше не видел, не хотел видеть, после того как тот поднял на него руку. Но матери он иногда писал и даже изредка встречался с ней на улице. Тереза каждый раз дрожала, как девушка на запретном свидании с любимым. Она гладила сына по лицу, брала его за руки, даже ощупывала его мышцы, чтоб увидеть, не похудел ли он.

— Маленький мой, — шептала она, — глупый...

— Мама, перестань, ради Бога. Я уже не ребенок, — предупреждал Егор и начинал кормить ее небылицами. Сначала он говорил, что работает переводчиком с немецкого в торговой фирме, потом — что служит в пароходной компании. Тереза не ловила его на противоречиях, но видела, что все у него не так гладко, как он рассказывал, и уговаривала вернуться домой. Если не хочет ходить в школу, то и не надо, пусть работает, она не будет вмешиваться в его дела и отцу не позволит, лишь бы сын вернулся.

— Егорхен, ради меня, — просила она.

Егор не слушал и продолжал рассказывать байки. Чтобы показать, как здорово он живет и какой он молодец, Егор даже совал матери в руку несколько долларов.

— На, мама, купи себе что-нибудь, — говорил он, гордый собой.

Тереза отказывалась от денег и приходила домой огорченная и обеспокоенная.

Она едва доставала Егору до плеча, но он все равно остался для нее ребенком. Это был ее маленький Егорхен, которого она воспитывала по всем правилам, изложенным в специальной литературе. Ее материнское сердце болело за него. Когда она стелила вечером постель, она думала, удобная ли кровать там, где он спит сейчас. За обедом она думала, ест ли он вовремя, свежие ли у него продукты. Когда шел дождь, она беспокоилась, что сын промочит ноги и простудится. Бессонными ночами она волновалась, не ходит ли он по нехорошим местам, где можно подхватить болезнь.

По ночам было хуже всего. Теперь она стелила только две постели. Тереза лежала без сна, на соседней кровати лежал муж. Они молчали, говорить не хотелось.

— Господи, — вздыхала Тереза тихонько, чтобы муж не услышал.

Доктор Карновский тоже не мог уснуть. Он беспокоился не из-за еды или постели Егора, его не сильно волновало, где и с кем Егор проводит время. Он знал, что это не самое ужасное. Но его тревожила судьба сына. Карновский совершенно не верил ни в приметы, ни в предчувствия, но ему было страшно. Впервые он почувствовал страх за сына, когда тому стали сниться в детстве дурные сны. Потом он опять почувствовал этот страх, когда заметил, что сын

растет слабым, болезненным и замкнутым. Но страшнее всего стало тогда, когда Егор получил первый тяжелый удар. Вокруг царили жестокость и безумие. Карновский видел, что на сына, словно туча, надвигается что-то злое. И видел, что Егор идет навстречу злу, как приговоренный.

Из врачебного опыта он знал, что в человеке есть как стремление к жизни и удовольствиям, так и стремление к смерти и мучениям. На войне он не раз видел, как солдаты шли под пули, и не из патриотизма и храбрости, как это объясняли генералы и капелланы, а из стремления к самоуничтожению. То же самое бывало и с пациентками: они не давали себя спасти и стремились к смерти. Коллеги называли таких пациенток сумасшедшими, но Карновский знал, что это не верно. Их толкала к смерти какая-то дикая сила. Со временем он даже стал распознавать этих людей. По взгляду, манерам, движениям он видел заранее, что его старания вылечить такого человека пропадут даром, пациент был обречен. В Егоре он тоже это замечал и постоянно боялся за него. Когда Карновский возвращался домой, он каждый раз задерживался у двери и собирался с духом, прежде чем войти.

Он ругал себя за дурные предчувствия, в которых не было никакой логики, но не мог освободиться от вечного страха и постоянно ждал

плохой новости. С тех пор как сын ушел из дома, беспокойство Карновского становилось сильнее день ото дня. Услышав шаги прохожего на ночной улице, он пугался, что ему несут дурную весть. Но при этом он не мог послушаться Терезы, что надо быть умнее и мягче и простить того, кто был причиной его страхов. Понимая бессмысленность своего упрямства, он не мог себя переломить, как не мог этого сделать никто у него в роду. Возражая Терезе, он повторял то, во что не верил сам:

— Нечего его упрашивать! Нагуляется, захочет есть, прибежит как миленький.

Егор не возвращался. Наоборот, с каждым днем он все больше привыкал к свободе. Вскоре он забыл не только отца, но и мать. Теперь у него была другая женщина — Лотта.

Однажды вечером, когда в «Молодой Германии» собралось слишком много народу и было так душно, что даже Лотта не хотела танцевать, Эрнсту Кайзеру пришла в голову мысль, что, черт возьми, неплохо было бы сходить в поход, если бы нашлось несколько лишних долларов. Лотта хлопала в ладоши.

— Милый, а ты пойдешь? — спросила она Егора.

— Я возьму Розалин, — сказал Эрнст. — Отлично проведем пару дней. Переночуем в кемпе.

Лотта засмеялась. За ее смех Егор готов был идти хоть на край света. На следующее утро они отправились в путешествие. Эрнст широко шагал по дороге, за ним семенила его Розалин, худенькая, высокая и очень бледная девушка.

— Эрнст, не беги так быстро, — упрашивала она писклявым голоском, — мне за тобой не угнаться.

— Шевели ногами, — отвечал Эрнст.

Розалин злилась, но старалась не отставать. Лотта без умолку смеялась, как всегда. Целый день они сначала шли, потом ехали на попутке, потом опять шли пешком. Почувствовав голод, заворачивали в придорожные ресторанчики, ели сосиски с горчицей и запивали их пивом. Егор платил за всю компанию. К вечеру добрались до кемпа.

Окруженный колючей проволокой участок напоминал родину даже сильнее, чем клуб «Молодая Германия». На домиках, палатках и гаражах висели написанные готическими буквами предупреждения, что все запрещено. Дорожки и аллеи носили имена старых императоров, генералов и адмиралов, но также и современных вождей. Возле армейских палаток сутились ребята в форме штурмовиков, спешили с посланиями, приветствовали друг друга, вскидывая руку, и маршировали строевым шагом. У некоторых зданий стояла навтытяжку охрана, будто там

было что охранять. Из бунгало важно выходили на прогулку жирные бургеры с сигарами в зубах и их дородные жены, другие сидели за столиками под открытым небом и тянули из кружек пиво, которое разносили официантки в баварских платьях. Мужчины довольно смеялись, женщины вязали на спицах. Газетчики продавали прессу «оттуда». Эрнст Кайзер здоровался со знакомыми и представлял им Егора. Егор едва успевал выкрикивать полное имя и щелкать каблуками. Хотя посреди двора и развевался звездно-полосатый флаг, в кемпе за колючей проволокой было спокойно и по-домашнему уютно.

Когда мальчик в униформе протрубил зорю, а второй, постарше, поднял другой флаг, со свастикой, Егор почувствовал привычное легкое беспокойство. Ведь он наполовину тот, кто не имеет права стоять под этим флагом. Но он вскинул руку и запел, как все, кто столпился вокруг флажштока. На словах о том, что сверкнет сталь и польется еврейская кровь, Егор слегка запнулся, ему стало неприятно, будто в чашке чая попалась дохлая муха. Однако он справился с собой. Никто не видел в нем чужого, он был здесь Гольбеком с головы до ног. Он годами тосковал по тем, кто гнал его, как прокаженного, и вот он с ними. Было радостно и страшно. Церемония закончилась, и он вместе со всеми по сигналу трубы отправился на ужин. Мясо было жирным, пиво холодным, улыб-

ки официанток сладкими. Егор ни разу в жизни так много не ел, не пил и не смеялся, как в тот вечер, в приятной компании Эрнста Кайзера и Лотты. Даже чопорная Розалин заразилась общим весельем. После ужина были танцы. Лотта прижималась к Егору.

— Красивый мой, сладкий мой, — щебетала она ему на ухо.

Егор не мог поверить, что она говорит эти слова ему, ведь он всегда считал себя отвратительным уродом. Жизнь обрела смысл. Величайший смысл жизни он познал чуть позже, когда весь кемп отправился спать.

Черная и мягкая, словно бархат, ночь укрыла горы, только светлячки мерцали в темноте. Едва вырисовывались силуэты домов, палаток и горных вершин. Эхо повторяло пение, смех, женский визг, стрекот цикад и собачий лай. Парочки шныряли по лагерю в поисках укромного местечка. Из бунгало и палаток, из кустов и высокой травы доносился нежный шепот. Эрнст Кайзер повел Егора и девушек подальше.

— Не беги, Эрнст, — пискнула Розалин, — я ничего не вижу.

— Не наступи на кого-нибудь, тут парочки повсюду, — отозвался Эрнст.

Лотта согнулась пополам от хохота. Ей все казалось смешным: и наступить на кого-нибудь, и зацепиться за куст, и наткнуться на камень, и даже

то, что им негде было сегодня ночевать. В кем-пе не нашлось места не только в бунгало или палатке, но даже в гараже. За два доллара, которые заплатил Егор, им выдали несколько солдатских одеял, дырявый кусок брезента и четыре штанги, чтобы они соорудили навес. Нагруженный этим брезентом и одеялами, Эрнст Кайзер шагал и шагал во тьму.

— Куда мы идем? — озабоченно спрашивала Розалин.

— Какая тебе разница? — отвечал Эрнст и шел дальше.

Вдруг он остановился и сбросил поклажу.

— Вот тут будет хорошо, — сказал он, не заинтересовавшись, что думают другие.

Быстро и ловко он воткнул штанги и растянул на них брезент.

— Розалин, отбрось камни и залезай под одеяло, — велел он своей девушке.

Она молча выполнила приказ. Лотта забралась под другое одеяло и расхохоталась во все горло.

— Ты чего? — встревоженно спросил Егор.

— Ничего, милый. Сними мне ботинки, — попросила она.

Вдруг она перестала смеяться и прошептала ему на ухо:

— Укрой меня, мне холодно.

Стрекотали цикады в безлюдных горах. Ухнула сова.

— Что ты молчишь, милый? Разве ты не счастлив? — прошептала Лотта.

Егору давно так сильно не хотелось жить. Он не мог говорить от величайшего счастья, которое выпало на его долю.

Сквозь дыры в брезенте смотрели огромные, ясные звезды.

43

Доктор Зигфрид Цербе рассчитывался с Егором Карновским далеко не так щедро, как обещал вначале.

Он совершенно не стремился сделать Егора истинным арийцем, чтобы он мог вернуться в клан Гольбеков, и даже больше не обещал ему такого подарка. Доктор Цербе перестал снабжать Егора деньгами. Теперь он платил только за доставленные сведения, причем мало платил.

Во-первых, таков был его метод: не церемониться с информаторами, особенно с мелкой шушерой. Доктор Цербе знал: агенты секретной службы как падшие женщины. Сбить их с пути трудно, нужно много времени, денег и красивых слов. Зато когда у них уже нет обратной дороги, они опускаются все ниже и стоят все дешевле. Чем строже, жестче и требовательнее их хозяин, тем они покорнее. Доктор Цербе уже не раз успешно применял этот метод, применил он его

и к Егору Карновскому. В первый месяц он был с ним ласков, улыбался, обещал всяческие блага, щедрой рукой давал денег. Но медовый месяц миновал, и доктор Цербе стал требователен, суров и скуп.

Во-вторых, доктор Цербе разочаровался в новом агенте, от которого ожидал очень многого, особенно из-за его еврейской крови.

Доктор Цербе всегда был высокого мнения об этой расе, он не любил ее, но восхищался ею. В университете он не связывался с теми, кто хлещет пиво, фехтует на шпагах и гоняется за женщинами, но дружил с еврейскими студентами, среди которых было немало книжных червей и одаренных начинающих литераторов. Позже он отирался в еврейских салонах. Правда, он завидовал представителям этой расы, даже ненавидел их, потому что самые видные из них не ценили его стихов и драм. Но, несмотря на ненависть, не переставал удивляться еврейским талантам, амбициям и энергии. Чем сильнее он завидовал и ненавидел, тем выше становилось его мнение. Со временем он стал переоценивать их силы и способности, как верят в сверхъестественную силу колдуна. Образованный человек, доктор Цербе, однако, был не чужд суеверий и скрытых страхов. Недаром он рос в семье сельского пастора. Страх перед черноглазыми и черноволосыми сыновьями Израиля сохранился

в нем с детских лет. Убежденный эллинист, доктор Цербе считал мыслителями и философами только древних греков, а в древних евреях видел лишь пророков и проповедников, которые ничего не привнесли в мир чистого разума. Однако в душе он побаивался этих людей, ведь это они, а не греки заразили своей религией все народы, зажгли их жарким учением пустыни. В каждом еврее он видел наследника патриархов и потомка пророков, вечного странника Агасфера, который несет в дорожной суме древнее еврейское знание и обман, золото и предсказания, магическую силу, захваченную в Египте, и житейскую мудрость, накопленную многими поколениями. Вращаясь среди современных евреев, которые ничуть не походили на праотцев и даже стремились стать стопроцентными немцами, доктор Цербе все равно видел в каждом из них потомка древних иудеев. Доктор Цербе видел его в любом профессоре и банкире, театральном директоре и актере, даже в сатирике докторе Клейне и крещеном издателе Рудольфе Мозере, образце европейского человека. Чем больше доктор Цербе воевал с евреями, тем сильнее становились его восхищение, боязнь и... тоска. Ему нравились эти сыновья Востока. Несмотря на страх, его тянуло к ним.

Поэтому он и вцепился с такой силой в хилого еврейского паренька, приславшего ему столь от-

кровенную исповедь. Доктор Цербе полагал, что умеет читать между строк. У него была привычка по-своему истолковывать чужие мысли, читал ли он книгу, древнюю рукопись или обычное письмо. Письму Йоахима Георга Гольбека он тоже придал собственный смысл. Ему хватило того, что в человеке была еврейская кровь.

Доктор Цербе знал, что эти люди во все времена честно трудились на своего хозяина. Будь это бородатый Ицик в длиннополом кафтане на службе у помещика, или бритый Мориц во фраке, коммерции советник при дворе императора, или даже выкрестившийся театральный директор, адвокат или агент, они всегда вносили энергию и инициативу во все, за что брались. И самыми деятельными были те, кто предал своих братьев. Вот почему доктору Цербе так хотелось иметь на службе еврея.

Он возлагал на Егора Карновского очень большие надежды, и таким же большим оказалось разочарование.

Егор Карновский совершенно не проявлял инициативы на службе. Он был всего лишь солдатом, как его дядя Гуго, он только выполнял приказы. Но доктору Цербе нужен был человек, способный на выдумки, послушных солдат ему и так хватало.

— Нет, мальчик, — сказал он ледяным тоном, — я ожидал от тебя большего.

Егор Карновский не понял, почему доброе лицо господина доктора стало холодным и неподвижным.

— Но ведь герр доктор всегда был мной доволен! — удивился он. — Герр доктор меня хвалил!

Доктор Цербе не захотел слушать всякую ерунду.

— Ты слишком наивен, мальчик, — процедил он. — Или, лучше сказать, глуп.

Егор не поверил своим ушам. До сих пор он слышал только похвалу. От обиды он хотел что-то возразить, но доктор Цербе велел ему помолчать. Он очень глуп, если думает, что доктор Цербе купил кота в мешке. Он был с ним ласков и давал ему денег не потому, что обманывался на его счет, но потому, что хотел его приободрить, придать мужества. Но больше доктор Цербе не будет швырять государственные деньги на ветер. Он не собирается платить молодому человеку за то, что он шляется по пивным и гуляет с девушками.

Егор Карновский сделал попытку оправдаться, но доктор Цербе снова не дал ему говорить.

— Не пытайтесь отрицать, молодой человек. Я все знаю, меня не обманешь, — сказал он, холодно глядя мутными глазами, влажными, будто он только что плакал.

Егор опустил голову. Внезапно до него дошло, что он попал в сети к этому маленькому,

бледному человечку, который все знает и видит его насквозь. Ему стало страшно. То, что он даже не мог отвечать, но только молчать и слушать, сломило его гордость и упрямство. Он понял, как он ничтожен. Он опустил на самое дно. Терять было нечего, и Егор пообещал господину доктору, что будет стараться и все сделает. Только пусть герр доктор еще раз проявит свою доброту и даст немного денег, а он их непременно отработает.

— Герр доктор, я приболел, — промямлил он.

Доктор Цербе не шелохнулся. Он не дал молодому человеку денег, но рассказал случай из своей жизни. Когда он был молод и наивен, он писал стихи и однажды попросил у редактора аванс. Но умный редактор, разумеется еврей, ответил, что лучшая помощь для художника — никогда не платить ему наперед. Это очень правильный принцип в любой работе.

Увидев, что обещаниями и просьбами от доктора ничего не добьешься, Егор стал поставлять ему информацию. Он снова начал выдумывать. Если правда не радовала господина доктора, была слишком скучной, неинтересной, Егор сочинял красочную ложь. Но герр доктор не давал себя обмануть.

— Нет, молодой человек, этот номер больше не пройдет, — говорил он насмешливо. — Хватит врать.

Егор краснел:

— Я никогда вам не врал, господин доктор.

— А вот это как раз самая большая ложь, — смеялся Цербе.

— Герр доктор, что же мне делать? Пусть герр доктор только скажет, я выполню любой приказ.

— Мне этого не надо. На нашей службе не надо выполнять приказы, она требует творческих способностей, как поэзия, например. Ясно?

— Так точно, герр доктор! — Егор вытягивался по струнке, чтобы произвести на шефа хорошее впечатление. Но доктор Цербе не смягчался, а, наоборот, хмурился. Ему не нравились эти солдафонские штучки. Еще не хватало терпеть их от еврейского парня.

— Ты это брось, — говорил он. — Мне мозги нужны... Еврейские мозги.

Егору неприятно было слышать то, о чем он мечтал забыть.

— Я не еврей, герр доктор, — возражал он, — и не хочу быть евреем.

— Было бы лучше, если бы хотел, — с едкой улыбкой отвечал доктор Цербе.

Егор не знал, как вернуть расположение господина доктора. Как любой неудачник, он винил не себя, а обстоятельства, свою несчастную судьбу и, конечно, низкую плату. Он был уверен, что герр доктор придирается, и пытался дознаться, в чем дело, но ничего не мог понять. Егор раз-

мышлял об этом днем и ночью. Лицо господина доктора стояло у него перед глазами, в ушах звучал издевательский смех. И ни с кем нельзя было поделиться своим горем. От отчаяния он даже подумал, не разыграть ли перед господином доктором мученика. Егор боялся ареста. Иногда ему казалось, что за ним следят. Он в этом даже не сомневался и решил, что не помешало бы рассказать об этом господину доктору. Ведь господин доктор не раз говорил, что Егор должен принести себя в жертву пробуждающемуся отечеству. Если бы Егор рассказал, что его выследили или даже арестовали и допрашивали, он показал бы свою преданность. Он скажет, что не выдал господина доктора, и герр доктор снова станет с ним добр. Эта идея очень ему понравилась. Он начал выдумывать подробности. Егор так увлекся, что даже сам поверил собственной фантазии. С гордо поднятой головой он явился к господину доктору и выложил ему придуманную историю. Однако доктор Цербе не восхитился его преданностью и мужеством, не пожалел его, но учинил допрос с пристрастием. Он захотел узнать каждую мелочь. И, допросив Егора, сказал, что не верит ни единому слову. Мало того, он разозлился и сказал, что ему придется отказаться от услуг Егора. Это против его принципов — держать на службе людей, которые вызывают у местных властей подозрение.

Егор понял, что сделал себе хуже, и попытался дать задний ход, но доктор Цербе стоял на своем:

— Мне очень жаль, но мой принцип — осторожность, полная осторожность.

Егор заговорил об отъезде. Если герр доктор больше в нем не нуждается, пусть отправит его домой, как обещал. Егор будет верой и правдой служить отечеству. Он готов отдать жизнь за родину предков, лишь бы его признали истинным арийцем. Доктор Цербе зевнул. Каким еще арийцем, что за чушь? Во-первых, он ничего не мог для этого сделать, во-вторых, если бы и мог, палец о палец бы не ударил. Но он решил, что пока не стоит говорить об этом смешному еврейскому парню.

— Посмотрим, — сказал он нахально. — Терпение, молодой человек.

Но Егор не хотел ждать. Он начал требовать, чтобы доктор Цербе выполнил обещание. Доктор почувствовал досаду. Черт бы взял этого парня, который так серьезно все воспринимает. Как философ, доктор Цербе знал, что ничто в мире не постоянно. Все проходит, все меняется, даже материя, не говоря уже о человеческом слове, гибком и эластичном. Только дураки считают, что оно вечно.

— Ты слишком серьезно ко всему относишься, мальчик, — сказал он. — Смотри на вещи проще.

Нет, Егор не хотел смотреть проще. У него не осталось ничего, кроме обещания доктора Цербе сделать его арийцем, и он стал требовать награды. Он требовал грубо, нагло и упрямо, даже отшвырнул несколько долларов, которые доктор дал ему, чтобы отделаться от него раз и навсегда. Доктору Цербе стало не по себе, его встревожил фанатизм парня. Он думал, как бы избавиться от Егора, а Егор приходил, требовал, писал длинные, полные упреков письма. Доктор Цербе на письма не отвечал и приказал секретарше не пускать Егора на порог.

Егор остался один в огромном чужом городе, без дома, без денег и без надежды начать новую жизнь, о которой он мечтал. Он так красиво расписывал Лотте, как они вместе поедут на родину, и вот планы рухнули. Не осталось ничего, кроме стыда, одиночества и ненависти к господину доктору, который так жестоко его обманул. Егор бродил по улицам, заходил в агентства по найму рабочих.

— Йоахим Георг Гольбек, протестант, — говорил он, подойдя к окошку.

От людей в очереди он уже знал, что имя и вера имеют большое значение, хоть это и отрицают. Он видел это по сверлящим взглядам белокурых девушек из агентств и по потухшим глазам черноволосых безработных, которые тихо называли свои еврейские имена, зная наперед, что

ничего не выйдет. Девушки говорили, что ему сообщат, как только что-нибудь появится, но никто ничего не сообщал. Егор избегал людей, не хотелось видеть ни мать, ни приятелей из клуба, ни Эрнста Кайзера, ни Лотту. Однажды поздним утром, когда Егор еще спал, Эрнст ввалился к нему в комнату:

— Пойдем пиво пить?

Егор показал пустой кошелек.

Эрнст засмеялся. Он закурил дешевую сигарету, глубоко затянулся вонючим дымом и вдруг сказал, что неплохо было бы проехаться в поисках работы по стране. В этом чертовом городе искать без толку. Идея понравилась Егору. В широкоплечем, мускулистом Эрнсте были сила и уверенность, и рядом с ним Егор почувствовал себя смелее, будто под материнской защитой. Эрнст отбросил льняной чуб со лба.

— Раздобыть бы где-нибудь машинку, и в путь, — продолжил он свою мысль. — Страна большая, работы полно, что-нибудь бы нашли.

Егор потряс кошелек, на стол выпало несколько центов. Но Эрнст не смутился.

— А что с твоим фотоаппаратом? — спросил он.

— Мне бы не хотелось его продавать.

— И не надо. Можно заложить в ломбарде. Как только немного заработаем, сразу купишь.

Егор молчал, а Эрнст продолжал его убеждать.

— Машину можно купить за пятнадцать долларов, даже дешевле, — говорил он, все больше воодушевляясь. — Наймемся к кому-нибудь на недельку, срубим несколько долларов на бензин и еду и поедем дальше. Ночевать у фермеров будем или в поле у костра. Девчонок тоже возьмем, я Розалин, ты Лотту.

— Думаешь, они захотят поехать? — спросил Егор с сомнением.

— Еще бы не захотели! — уверенно ответил Эрнст. — Девушки всегда смогут найти работу у кого-нибудь в доме.

Егор махнул рукой. Ему уже не то что фотоаппарата, последней рубахи было не жалко.

С неожиданной энергией бездельник Эрнст Кайзер начал осуществлять план. Повесив на плечо «лейку», как свою, он отправился с Егором в ближайший ломбард. Оценщик, старик со слуховым аппаратом и кожаными заплатами на локтях, предложил двадцать долларов. Эрнст ответил ему непечатной фразой, которую старик не расслышал. В другом ломбарде оценщик оказался молодым человеком с микроскопом в глазу.

— Это «лейка», — похвастался Егор.

— Вижу, — ответил оценщик. — Тридцать долларов.

— Сорок баксов, не меньше, — попробовал торговаться Эрнст.

— Нет, тридцать, — не уступил оценщик.

Вдруг он посмотрел на Эрнста, сверкнув стеклышком микроскопа.

— А это точно твой аппарат? А то мы краденое не берем.

— Это мой аппарат, — сказал Егор с обидой.

Оценщик отсчитал деньги.

Прямо из ломбарда Эрнст повел Егора туда, где продавались подержанные автомобили. Их были тысячи: подкрашенные, вымытые, с белыми цифрами на стеклах, любой модели и любого года выпуска.

На одном из авторынков рекламный плакат, написанный красными буквами, приглашал за выгоднейшей покупкой к веселому Джимми. Сам веселый Джимми тоже был нарисован: сияющий и нарядный, он продавал счастливой семейной паре вишневый автомобиль. Эрнсту Кайзеру понравился нарисованный Джимми, и он предложил пойти к нему.

— Чем могу помочь, друзья? — спросил мужчина, лицом и костюмом напомилавший актера кабаре. Он действительно походил на Джимми с рекламы, только был не такой сияющий и веселый.

Эрнст Кайзер выискивал самые дешевые машины и осматривал их одну за другой.

— Движок постукивает, — говорил он, — и воняет, как свинья.

— Брат, когда ты отбегаешь семьдесят — восемьдесят тысяч миль, ты будешь вонять не хуже, — заметил веселый Джимми.

Правда, он тут же спохватился, что шутка, пожалуй, грубовата, и хлопнул покупателя по плечу.

— Согласен, у нового «кадиллака» ход помягче, — сказал он серьезно, — но любая из этих машин пройдет еще не одну тысячу. Они стоят этих денег, поверьте.

Они долго торговались, с шутками, поговорками и смехом, и наконец приобрели за двадцать долларов открытый «фордик». Джимми сделал покупателям подарок: привязал на радиаторную решетку лисий хвост на счастье.

Следующим утром они пустились в путь. День выдался солнечный, на небе не было ни облачка. Эрнст, в своей вечной рубашке, вел машину, Егор сидел рядом, Лотта и Розалин расположились сзади. Ветер играл волосами ребят, пестрыми платками девушек и лисьим хвостом на радиаторе. Лотта взвизгивала и хохотала каждый раз, когда колесо попадало в выбоину и девушек подбрасывало на продавленном сиденье. Розалин заразилась ее весельем, хотя из-за жесткого сиденья испытывала гораздо больше неудобств, чем ее полнотелая подруга. Путешественники наслаждались погожим днем и быстрой ездой.

— Ах, Господи! — то и дело вскрикивали девушки.

Потом они пересели вперед. Эрнст держал руль левой рукой, а правой обнимал Розалин. Лотта уселась к Егору на колени. Эрнст обгонял машину за машиной. Каждый раз не хватало совсем чуть-чуть, чтобы он кого-нибудь не зацепил. Девушки вскрикивали от приятного чувства опасности.

Проголодавшись, они зашли в придорожный ресторанчик и перекусили сосисками, густо намазанными горчицей. Егор заплатил. Поехали дальше, и Эрнст предложил Егору сесть за руль. Егору было страшновато, но не хотелось опозориться перед девушками.

— У меня прав нет, — попытался он выкрутиться.

— У меня тоже, — засмеялся Эрнст. — Давай, брат.

Егор решился, была не была, но вел не так ловко, как Эрнст. Тогда тот снова сел за руль и поехал с такой скоростью, будто за ними черти гнались.

— Куда мы едем? — озабоченно спросил Егор, посмотрев на топливный датчик. Стрелка уже приближалась к нулю.

— Какая разница?

— А когда работу будем искать?

— Работу? — удивился Эрнст. — Ну да, конечно. Завтра поищем. Правда, девчонки?

Егор больше не спрашивал. Под вечер Эрнст остановил машину в горах у самого обрыва,

приложил ладонь козырьком ко лбу и осмотрел окрестности. Вершины полыхали в лучах заходящего солнца. Нависали скалы. Каменистая почва была густо усыпана сосновыми иголками. С дерева смотрела любопытными глазками потревоженная белка. Эрнст, словно пес, втянул ноздрями воздух. Ему удалось высмотреть небольшую площадку, укрытую выступом скалы, как навесом. На земле остались следы человеческого пребывания: консервные банки, окурки сигарет и пепел костра. На камнях лежали неиспользованные дрова. Под горой с шумом бил родник. Эрнст спустился вниз, зачерпнул ладонями ледяной воды и напился.

— Заночуем здесь, — распорядился он. — Девчонки, готовьте ужин. Сейчас разведу костер.

Сидя у огня, девушки только успевали открывать консервы. Еда тут же исчезала. Когда начало темнеть, Лотта и Розалин расчистили небольшой участок от камешков и расстелили дырявые одеяла. Лотта смеялась, не переставая.

— Чего ты даже не улыбнешься, ворчун? — спросила она Егора. — Ведь так весело.

Поездка началась замечательно, но на другой день, когда попробовали искать работу, дела пошли гораздо хуже.

Эрнст лихо подлетал к бензоколонке, резко тормозил, вылезал из машины, хлопал дверцей. Выбегали радостные заправщики, готовые на-

лить полный бак, и тут же остывали, когда он просил у них воды и спрашивал, нет ли какой работы для него и остальных пассажиров.

— Может, дальше, — нехотя отвечали заправщики. — Тут вроде ничего нет.

— Дальше, так дальше! — весело говорил Эрнст и отъезжал от бензоколонки с таким же шумом, как подъехал.

— Дальше, дальше, — бормотали заправщики вслед. Они радовались, что спровадили эту странную компанию. Особенно подозрительно выглядел широкоплечий парень в расстегнутой рубашке.

Фермеры смотрели на них с еще большим подозрением.

— Может, в гостиницах, — советовали они.

— Что ж, едем дальше, — не унывал Эрнст.

Егор доставал кошелек и платил за бензин, который машина жрала с бешеным аппетитом. Он платил за дешевые сигареты, которые Эрнст курил одну за другой, за горячие сосиски и консервы. Деньги таяли на глазах, и вместе с ними таяла вера в то, что удастся найти работу. Но Эрнст продолжал веселиться, и Лотта тоже. Их приключения казались ей очень смешными.

На третий день начались неприятности.

Вдруг сломалась машина. Двигатель ни с того ни с сего заглох и ни за что не хотел заводиться. Эрнст залез под машину, потом открыл капот, с

ног до головы перемазался маслом, но без толку. Оставили «фордик» на обочине и пешком дошли до места, которое Эрнст облюбовал для ночевки. Вечер выдался душный. Эрнст разделся и залез в речку, чтобы смыть пыль, пот и машинное масло.

— Эй, девчонки, айда купаться! — крикнул он.

Розалин смутилась, но Лотте было хоть бы что.

— Тут же никого, кроме нас. — И, сняв платье, она прыгнула в воду.

Тогда и Розалин последовала за ней. Егор не хотел раздеваться. Лотта звала его, и Розалин, и Эрнст, но он оставался на берегу. Эрнст начал над ним смеяться.

— Фройляйн Грета, у тебя что, месячные? — крикнул он из воды.

Девушки захихикали.

Егор молча сидел на камне и обиженно озираясь по сторонам. Эрнст и Лотта были уже далеко, Розалин боялась плыть за ними.

— Эрнст, куда ты?! — кричала она. — Эрнст!

Но он даже не обернулся. Лотта плыла следом. Розалин вылезла на берег, посиневшая от злости.

— Не смотри! — визгливо крикнула она Егору и убежала за скалу.

Егор сидел на камне и молчал. Эрнст и Лотта уже скрылись с глаз, до берега долетали только плеск воды и смех. Наконец они снова появились, первым плыл Эрнст, Лотта за ним. Егор встал и

ушел с берега. Он долго бродил по каменистым тропинкам, слышал, как Лотта его зовет, но не ответил. Когда он вернулся, растрепанная Розалин рыдала в голос.

— Да заткнись ты, дура, — говорил Эрнст. — Ну, подумаешь, сплавали до тех кустов.

Вдруг Розалин вскочила и рванулась к Лотте.

— Сука! — крикнула она в истерике.

Лотта расхохоталась. Ее смех царапнул Егора, как ржавая пила. Розалин попыталась вцепиться ногтями ей в лицо, и Лотта схватила ее за волосы. Эрнст с любопытством наблюдал за дракой.

— Вот так! А ну, еще! Поддай ей! — подначивал он девушек.

Егор смотрел на него с ненавистью.

На другой день пошел мелкий, нудный дождик. Продукты закончились, не осталось ни кофе, ни консервов, ни хлеба. Хмурый Эрнст собирал свои вчерашние окурки, чтобы высушить их и сделать самокрутку. Розалин ходила за ним по пятам, заглядывая ему в глаза с преданностью побитой собаки. Молча вернулись к машине. Эрнст опять залез под капот. Он гремел ключами, проклиная веселого Джимми на чем свет стоит, но автомобильчик не подавал признаков жизни. Эрнст в сердцах плюнул на двигатель.

— Надо возвращаться в город, — сказал он, вытирая руки о мокрую траву. — Тут ловить нечего. Розалин, сложи одеяла.

— Сейчас! — с готовностью отозвалась девушка.

С минуту Лотта смотрела на парней и вдруг расхохоталась.

— Плюнь ты на это дерьмо, — сказала она Егору. — Пойдем вместе, веселее будет.

— Пошла ты... — процедил Егор.

Она послушалась.

Егор смотрел, как они уходят. Их фигуры становились все меньше. В последний раз сверкнул цветастый платок Лотты. Егору не верилось, что эта чужая женщина еще вчера была его любимой, делила с ним ложе под нависшей скалой. Он стоял возле машины, безжизненной, мокрой и бесполезной, как он сам. Привязанный на счастье лисий хвост висел на радиаторе, как грязная тряпка. Проезжали машины, но Егор даже не пытался кого-нибудь остановить и попросить помощи. На обочине затормозил грузовик. Водитель, высокий, худощавый мужчина с трубкой в зубах, спрыгнул на дорогу.

— What's the trouble? — спросил он хрипло и, не дожидаясь ответа, засунул голову под капот.

Дождь припустил сильнее, но шофер не обращал на него внимания. Он не злился, не ругался, не плевался, но терпеливо осмотрел двигатель, что-то открутил, прочистил, поставил на место. Двигатель чихнул, фыркнул и заревел. Мужчина радостно улыбнулся.

* Что случилось? (англ.)

— Good luck!* — крикнул он из кабины грузовика.

Егор сел за руль. У него не было ни друзей, ни денег, ни водительских прав, ни дома, ни цели. По мокрой, извилистой горной дороге он ехал неизвестно куда.

44

Егор Карновский впервые остался один на один с суровой, беспощадной жизнью. Он чувствовал себя, как домашний пес, который, потеряв хозяйина, мечется по улицам и не может найти себе места среди свирепых и закаленных бродячих собак.

Денег не было даже на галлон бензина. На заправке он попробовал попросить несколько галлонов в долг. Заправщик в черной кожаной куртке, на которой было написано имя Джонни, надраивал свою машину, заляпанную грязью. Егор пообещал, что сразу расплатится, как только найдет заработок где-нибудь неподалеку, но заправщик только посмотрел на него, как на дурака, и вернулся к своему занятию. Обиднее всего было то, что он даже не посчитал нужным ответить. Егор в одну секунду возненавидел Джонни, и его кожаную куртку, и подстриженные усы над презрительно поджатыми губами.

* Удачи! (англ.)

Захотелось плюнуть и уехать, но ехать было не на чем. Егор проглотил комок слюны вместе с обидой.

— Я могу помыть вам машину, сэр, — сказал он.

Заправщик промолчал. Егор понял, что не добьется ничего, кроме унижения. Он вытащил из кармана ручку, подарок матери, и предложил поменять на бензин, но заправщик даже не взглянул. Лишь когда Егор предложил ему лысое запасное колесо, он кратко ответил:

— Два галлона.

Егор был так растерян, что даже не попросил наполнить бак, как собирался.

— Сэр, дайте хотя бы пять, — пробормотал он.

Заправщик отвернулся к своей машине. Пришлось согласиться.

— Снимай колесо и клади вон там, — показал Джонни.

Счетчик на бензоколонке звякнул два раза.

Дальше обиды и унижения пошли косяком. Пока бензин не кончился, Егор объезжал фермы и на очень вежливом английском просил любую работу. Но фермеры, как и заправщик, тоже были скупы на слова и даже не отвечали. Покуривая трубки, они глядели на долговязого, худого и слабого парня и молча качали головой. Только один фермер велел Егору показать ладони. Егор не понял. Тогда фермер сам взял его за руку, осмотрел

ее и отпустил осторожно, будто она была сделана из стекла.

— Мне нужен работник, — сказал он, — а не студент колледжа.

— Я не студент колледжа, сэр, — возразил Егор.

— А зря, — заметил фермер. — Для тебя там самое место.

Егор поехал дальше. Подаренная матерью ручка все-таки пригодилась. Хозяин придорожного ресторанчика «Хижина дяди Тома», смуглый грек с волосатыми руками, дал за нее два гамбургера и чашку кофе. Поев, Егор снова двинулся в путь, но никто не хотел его нанимать. На последней заправке, до которой он с трудом дотянул, Егор даже не решился завести речь о бензине в кредит. Снять с машины уже было нечего, и он предложил саму машину. Сперва хозяин и слушать не захотел. Его дело продавать бензин, а не покупать всякий хлам. Пускай парень идет к скупщикам металлолома. Но потом смягчился и согласился взять развалюху за пять долларов. Егор робко возразил, что заплатил за нее двадцать.

— Повезло же продавцу! — хохотнул заправщик.

Других доводов у Егора не было. Он расстался с машиной и лисьим хвостом, который должен был принести удачу. С сумкой в одной руке, дождевиком в другой и пятью долларами в карма-

не он останавливал на шоссе попутки и просил подвезти.

— Беженец? — спрашивали водители.

— Нет, сэр, — отвечал Егор с сильным немецким акцентом, досадуя, что в нем узнали изгнанника.

В еврейских летних лагерях, где он искал работу, Егор тоже себя не выдавал, когда его спрашивали, кто он и откуда. Он ехал и ехал, куда его соглашались подвезти. Ему было все равно. У него остались только одиночество и позор, позор человека, у которого ни денег в кармане, ни силы в руках.

Пока было тепло, он путешествовал, находя пропитание и унижения где попало. В летнем лагере он с утра до ночи мыл посуду на грязной, вонючей кухне, пока не нашли, что он слишком медлителен и бьет слишком много тарелок. Получив за работу обед и пару долларов, он двинулся дальше. Подрядился ворошить сено, но фермер быстро увидел, что он не умеет держать вилы, и предложил Егору убираться туда, откуда он пришел. Однако Егор переночевал в амбаре и успел три раза поесть. Однажды его наняли собирать в саду падалицу, на этой работе он продержался целую неделю. Болела спина, но зато платили доллар в день, кормили и можно было ночевать в сарае. Работники смеялись над его акцентом, городским видом и хилым сложени-

ем. Больше всех отравлял жизнь старый бродяга, картежник и пьяница. Он выпрашивал у Егора деньги на выпивку и при этом обращался с ним, как со слугой. Чтобы добиться его расположения, Егор согласился сыграть в карты и проиграл половину недельного заработка, но это не помогло, бродяга стал цепляться к нему еще больше. Однажды он заявил, что Егор его оскорбил, и вызвал его на драку. Рабочие, радуясь развлечению, собрались в круг, но Егор даже не решился приблизиться к рослому, опытному противнику и бежал под свист и насмешки. С двумя последними долларами в кармане он болтался по дорогам, питался в ресторанчиках самыми дешевыми сосисками и ночевал где придется. По ночам он вытаскивал из кармана фотографию матери, последнее, что у него осталось. Он думал, что, наверно, мать беспокоится, разыскивает его, надо бы написать ей пару слов. Но чем больше проходило времени, тем труднее было это сделать. Все сильнее становилось равнодушие ко всему и ко всем, а особенно к себе. Он привык к бродяжничеству. Его крышей стало небо, а стенами горы.

Зеленые леса стали красно-желто-золотыми, дни короткими, а ночи длинными и холодными. В воздухе летала паутина. Летние лагеря опустели. На бедных фермах, окруженных оградами из ржавой проволоки, стало тихо, будто хозяева их

покинули. Начались дожди. Ветер качал деревья, срывал с них листья. Казалось, Егор Карновский остался один в осенних горах. Ботинки почти развалились, грязная рубашка прилипла к телу, брюки истрепались. Он забыл, когда последний раз стригся и брился. Фермеры гнали его, когда он спрашивал, нет ли какой работы, их жены его пугались, собаки, вечные враги бродяг и оборванцев, бросались на него с лаем. Когда он брел по шоссе, водители притормаживали, сигналили и кричали:

— Эй, ты! Купил бы себе лимузин, на нем лучше, чем пешком!

Он хотел вернуться в Нью-Йорк. Хорошие машины проносились мимо, только шоферы грузовиков иногда немного подвозили его и даже угощали сигаретами. Один из них довез его до самого города и высадил недалеко от порта.

За несколько дней от прежнего Егора ничего не осталось. Сначала он продал часы за четверть доллара и тут же проел деньги в итальянской портовой забегаловке, куда заходили грузчики, матросы и безработные. Потом продал несколько грязных рубашек, которые еще оставались у него в сумке. Старьевщик дал за них никель. Теперь сумка была не нужна, и Егор отдал ее вместе с рубашками. Старьевщик добавил десять центов. В дождевике на голое тело Егор бродил среди грузчиков, матросов и шоферов, пропитываясь запа-

хами рыбы, гнилых овощей, бензина и дыма. Его манили гудки пароходов.

— Нет ли у вас на пароходе работы, сэр? — спрашивал он моряков.

Моряки курили трубки и даже не смотрели на него. Он отдал десять центов за постель в ночлежке. Теперь у него не осталось ничего, кроме изможденного тела и чувства одиночества. Он ушел из порта.

Осенний город шумел, улицы были полны народу. Женщины готовились к новому сезону. Белокурые и темноволосые, молодые и старые, в дорогих мехах и легких осенних куртках, на лимузинах с шоферами, в дешевых маленьких автомобильчиках и пешком, они носились по улицам и рассматривали витрины, пожирая глазами платья и украшения, шляпки и чулки, шелковое белье и корсеты — все, что создано, чтобы радовать женский пол. Мужчины из банков и контор, с заводов и фабрик торопились в рестораны и закусовые. Манекены в витринах улыбались неподвижной деревянной улыбкой. В кинотеатрах шли новые фильмы. Из окон гремели радиоприемники. Шагали демонстранты с плакатами. Полицейские расчищали дорогу, чтобы пропустить вереницу автомобилей, с которых ораторы через громкоговорители призывали голосовать за достойнейших отцов города Патрика Тейлора, Чарли Гольдберга и Энтони Росо. Все трое, при-

лизанные, слащавые и одинаковые, как братья, улыбались с портретов на стенах и полотнищах, натянутых поперек улиц. Газетчики звонко выкрикивали новости о распрях между народами за океаном. Финансовые сводки, вывешенные в окнах газетных редакций, сообщали о росте акций, уменьшении безработицы и увеличении национального дохода. У Егора не осталось ни цента. Франтоватые, нарядные манекены смеялись над ним из витрин. Из кофеен доносился аромат еды, дразнил пустой желудок. Егор все шел, не зная куда и зачем. Дома, прохожие, машины, уличные регулировщики казались ему чужими и ненастоящими, как манекены на витринах. Это ощущение росло с каждым часом, особенно сильным оно стало вечером, когда засветились окна, фонари и разноцветные огни реклам.

Люди торопились, мельтешили, как накануне войны. После долгих летних месяцев жары и лени началась борьба, схватка между двумя народными любимцами за право стать первым. Вокруг Медисон-сквера стояли в пробке автомобили. Пешеходы толкались на тротуарах. Пешая и конная полиция теснила толпу, стараясь сохранить порядок. Уличные торговцы продавали портреты кандидатов. Водители торопились домой, чтобы вовремя включить радиоприемники. Те, у кого не было радио в машине, старались держаться как можно ближе к тем, у кого было, чтобы не

пропустить ни единого слова из программы новостей. В ресторанах, закусочных, кафе, возле ларьков с мороженым люди спорили, кричали, махали руками и прислушивались к голосам дикторов. Даже полицейские забыли, что надо следить за улицей, когда начали транслировать первые дебаты. Молодежь вопила, прыгала и танцевала. Егору казалось, что перед ним кривляется толпа марионеток, ведомых невидимой гигантской рукой. Он не слышал чужого, шумного города, как город не слышал его.

Дебаты закончились, и город тотчас онемел, улицы опустели. Остались только мятые газеты, конфетные обертки и ореховая скорлупа на асфальте. Дождь смывал последние следы. Прохожие спешили домой, сверкали прорезиненные куртки полицейских. Даже собаки попрятались, а Егор все шел по мокрым улицам. Ноги в дырявых ботинках промокли, вода стекала по отросшим волосам, лилась за шиворот. Егор вспотел, его знобило, но он шел дальше, хотя мог спрятаться от дождя в подземном переходе собвея. Ходьба спасала от одиночества. Егору стало совсем плохо, когда от усталости он вынужден был остановиться. Ночь только началась и готовилась двенадцать часов царствовать над миром. Небо висело над головой, как огромная, черная тряпка, пропитанная водой. Ничего хорошего не обещала эта длинная осенняя ночь. Тишину разрывали

сирены «скорых». Они мчались туда, где столкнулись машины или произошло какое-нибудь другое несчастье, принесенное темнотой и дождем.

Егор уже готов был сдаться и пойти к родителям. Остановившись, он почувствовал усталость, одиночество и голод. Мокрая одежда прилипла к телу, холод пробирал до костей, убивая упрямство, гордость и даже ненависть. Не осталось ничего, кроме желания снять липкую одежду и мокрые ботинки, согреть простуженное горло стаканом горячего чая, броситься в постель, вытянуть усталые ноги и заснуть. Это желание было так велико, что Егор уже готов был протянуть руку и попросить у прохожего никель на транспорт. Он зашел в собвей и стал умолять кассира одолжить пять центов:

— Сэр, я потерял деньги. Мне очень далеко до дому.

— Ничем не могу помочь, — ответил кассир, считая монеты. Очень много монет.

— Я отдам, сэр, честное слово.

— Все бродяги так говорят, но никто не отдаст, — ответил кассир и стал быстрее кидать монеты в мешочек.

Егору стало жарко от гнева и стыда. Откуда-то появились силы. Он разозлился на себя, что уже готов был сдаться. Что угодно, только не домой, подумал он. Что угодно, лишь бы не явиться в таком виде, не показать своего унижения. Он дви-

нулся по переходу. Ему стало лучше. Увидев, что кассир на секунду отвернулся, Егор проскользнул через дверь, на которой было написано, что она предназначена только для выхода, входить запрещено. Он не боялся, что его задержат, ему было все равно, но никто не заметил. Маленькое преступление придало ему дерзости. Он вошел в поезд, но не в тот, на котором можно было приехать домой, а в другую сторону, в Лонг-Айленд. В его мутном одиночестве сверкнула последняя искра — доктор Цербе.

Ведь это он во всем виноват, он обманул Егора, использовал и выбросил, как ненужную тряпку. Даже видеть его не захотел, приказал, чтобы его не пускали в бюро. Это из-за него Егор порвал с родными, из-за него стал одиноким и никому не нужным. Егор делал то, что считал отвратительным, потому что доверял ему. Из-за него Егор сам поверил, что его арестовали и допрашивали. Теперь он придет к доктору Цербе, чтобы потребовать то, на что он имеет право. Раз ему некуда больше идти, он пойдет к тому, кому служил, но не получил причитающейся платы. Этот мелкий жулик решил, что Егора можно просто выкинуть, спрятаться от него, но он ошибся. Он узнает, что Йоахим Георг Гольбек — не из тех, кого легко обмануть. Ему придется заплатить сполна.

Егор не думал о том, что уже поздно, он не смотрел на часы на станциях. Его мутные голу-

бые глаза видели только одну, последнюю цель. Чем дальше он ехал, тем яснее она вырисовывалась перед ним.

На тихих, слабо освещенных улицах Лонг-Айленда дождь ненадолго его охладил. Из окон лился свет, напоминая о тепле и счастье. Пронесся автомобиль и обдал одинокого прохожего грязью. Сквозь монотонное завывание ветра пробился нежный звук фортепьяно. Чернокожая служанка вывела собаку и злилась, что животное не торопится сделать свое дело.

— Давай уже, зараза, чтоб тебя! — кричала она на пса, который рвался обратно в дом. — Долго я тут мокнуть должна?

Неожиданно увидев Егора, девушка вскрикнула и тут же рассмеялась.

Ее испуг и смех напомнили Егору, до чего он докатился. От него шарахаются даже черные. Однако через секунду он об этом забыл. Чтобы прогнать неуверенность, он начал насвистывать. Уверенным, твердым шагом он шел к стоящему в отдалении дому. Хотя было темно, Егор сразу узнал дом доктора Цербе. Он поднялся по ступеням, нажал на кнопку звонка, отпустил и нажал еще раз. Струйка воды с крыши попала за воротник, Егор вздрогнул. Ему захотелось повернуться и уйти, но он пересилил себя. Снова вдавил кнопку и услышал, как звонок прогремел с той стороны двери. Егор ждал. Несколько секунд показав-

лись ему вечностью, и вот он услышал знакомые шаркающие шаги и старческое покашливание. Дверь медленно отворилась, и на пороге предстал доктор Цербе в халате и домашних туфлях.

— Что, телеграмма, заказное? — спросил он с сильным акцентом.

— Нет, это я, — ответил Егор по-немецки. — Это я, герр доктор.

Доктор Цербе уставился в темноту. В первое мгновение он увидел только блестящую черную фигуру, но тут же узнал Егора. От злобы и возмущения у доктора перехватило дыхание, он даже не мог заговорить. Два человека, один в мокром дождевике, другой в шелковом халате, молча смотрели друг на друга. Наконец доктор пришел в себя.

— Это вы? — проскрипел он. — Вы?

— Мне очень надо было вас увидеть, герр доктор... — промямлил Егор. — Очень надо...

— Для этого есть бюро, — зло сказал доктор. — Мой дом — моя крепость.

Он хотел захлопнуть дверь перед носом того, кто отважился явиться к нему домой в столь поздний час, но Егор уже стоял на пороге. Стоял и не двигался с места. Он него веяло холодом, дождем и упрямством. Доктору Цербе стало не по себе, он почувствовал легкий испуг под немым ненавидящим взглядом ночного гостя. У него не было сил и смелости, чтобы оттолкнуть Егора.

— Дайте мне закрыть дверь, — проворчал он. — Дует.

Егор снял дождевик и бросил на крыльце, вошел и начал вытирать ноги о коврик с немецкой надписью «Добро пожаловать». Чем дольше он это делал, тем больше воды текло из дырявых ботинок и с промокших, изношенных брюк на красный кафельный пол веранды. Егор робко улыбнулся.

— Простите, я очень долго шел, — попытался он оправдаться. — Промок насквозь.

Он вытащил из кармана мятую газету, которую подобрал на улице, и начал вытирать мокрые следы. Но едва он вытирал один, как тут же оставлял другой. Егор с виноватой улыбкой посмотрел господину доктору в глаза, надеясь увидеть в них прощение за то, что развел грязь, но доктор глядел на него со злостью и отвращением, как на шелудивую собаку. Он не только не улыбнулся в ответ, но внимательно посмотрел, хорошо ли Егор убрал за собой. Рядом с чистеньким, опрятным человеком в сухой одежде Егор острее ощутил свое одиночество и ненависть. Он поднялся с пола. Доктор Цербе повернулся и двинулся в кабинет, Егор пошел за ним, хотя его не пригласили. В камине пылал огонь. На столике стояла тарелка с фруктами и несколько бутылок. Отблески пламени падали на картину с обнаженной женщиной.

— Пр-р-приятного аппетита, гер-р-р доктор-р-р-р! — гаркнул попугай в клетке.

— Закрой клюв, болтун! — прикрикнул доктор.

Он сел в кресло и внимательно, от растрепанных волос до рваных ботинок, осмотрел мокрого человека у двери.

— Зачем пришел? — спросил он резко, вдруг перейдя на «ты».

— Я пришел, чтобы герр доктор выполнил свое обещание, — ответил Егор голосом, хриплым от голода.

Доктор Цербе не собирался церемониться с незваным гостем, он был не на шутку разозлен вторжением. Кроме того, он испугался. Но доктор прекрасно знал, что нападение — лучшая защита, особенно от того, кто сильнее физически, но слабее характером.

— Такие вопросы я решаю в бюро! — крикнул он. — А это мой дом! Мой дом!

— Я много раз приходил в бюро, но меня не пустили к господину доктору, — ответил Егор, покачиваясь от усталости.

— Это не причина врываться ко мне среди ночи! — разбушевался доктор Цербе. — Это не оправдание! Сейчас я хочу побыть один.

Он ждал, что Егор повернется и уйдет, но Егор снова начал твердить об обещании господина доктора. Хрипло и бессвязно он говорил и гово-

рил о своей службе, гарантиях и правах. Доктор Цербе потерял терпение:

— Чушь! Я ничего не обещал! Не желаю слушать!

— Нет, господин доктор, обещали, — возразил Егор.

Доктор Цербе взял на тон выше.

— Слушай, ты! — взвизгнул он. — Если тебе негде ночевать, я дам несколько центов. А мой дом — не ночлежка!

Он стукнул кулаком по столу, чтобы показать, что разговор окончен. Но Егор только приблизился на шаг и замер, упрямо глядя перед собой холодными голубыми глазами. Доктору Цербе стало страшно по-настоящему. Он понял, что криком не сладит с мокрым оборванцем, которого он так неосторожно впустил к себе в дом. Доктор решил действовать иначе. Он встал, подошел к окну и выглянул на улицу.

— Что за проклятая погода, — запахнув шелковый халат, сказал он негромко. — Льет и льет.

Егор не ответил. Доктор Цербе подошел к камину, сел у огня и пальцем поманил Егора.

— Что ты стоишь? — спросил он неожиданно. — Садись сюда, погрейся.

Егор молча приблизился, но остался стоять. От мокрой одежды повалил пар. Доктор Цербе покачал головой:

— Что ж ты ходишь в такую погоду? Хозяин собаку не выгонит.

Егор по-прежнему молчал. Пар от одежды шел все сильнее. Доктор Цербе поднялся и принес со столика в углу две бутылки и бокалы.

— Чего ты выпьешь? Вино, шнапс? — улыбнулся он Егору.

Не дождавшись ответа, доктор наполнил бокалы дрожащей рукой.

— Я-то выпью вина, как всегда. А тебе, наверно, лучше водки, чтобы согреться.

Он сунул бокал в руку Егора.

— Ну, выпьем! — сказал он, с волнением глядя, примет ли Егор напиток. Так смотрят на злую собаку, которую пытаются задобрить подачкой.

Наконец Егор взял бокал и осушил одним глотком. Доктор Цербе перевел дух.

— Есть хочешь?

— Нет, — ответил Егор, хотя почти терял сознание от голода.

— Хочешь, я же вижу. — Доктор подвинул к нему тарелку с пирожными.

Егор не устоял. Он выпил на пустой желудок, и водка сразу ударила в голову. Грязной рукой он схватил пирожное, проглотил, почти не жуя, и тут же схватил второе. Он знал, что позорится перед доктором Цербе, но не мог остановиться и ел, пока на тарелке не осталось ни кусочка. Доктор Цербе совсем успокоился и опять смотрел

на Егора с отвращением, как на бродячую собаку, которая пожирает кинутую ей кость. Доктор не сомневался, что теперь-то этот оборванец у него в руках, но на всякий случай решил разоружить его до конца. Но не гневом, как поначалу, а презрением.

— Господи, до чего ж ты грязный, — сказал он, скривив губы.

— Несколько недель скитался.

— Что ж ты домой не пошел, дурак?

— Я не мог пойти домой, после того как поработал на господина доктора.

— Ты слишком серьезно все воспринимаешь, — заметил доктор, — слишком серьезно.

Егор снова заговорил об обещании господина доктора, о том, что у него больше ничего не осталось, ни дома, ни друзей, только надежда вернуться на родину.

— Подложи дров в камин, — перебил доктор Цербе.

Егор выполнил просьбу. Доктор с наслаждением прислушивался, как потрескивают поленья, и спокойно потягивал вино. Вдруг он встал и вынул из шкафа пару старых лакированных туфель.

— Служанка будет завтра мычать, как корова, если увидит после тебя грязь на коврах, — усмехнулся он. — Надень, если подойдут.

Он не положил, но швырнул туфли перед Егором. Очередное унижение. Егор снял мокрые

ботинки и натянул туфли доктора на грязные, стертые ноги.

— Не жмут?

— Нет, — сказал Егор, хотя туфли были малы.

Доктор приподнял бокал вина, посмотрел на свет и долил Егору водки.

— Нет, больше не хочу.

— Пей. Тебе пойдет на пользу, — приказал доктор Цербе.

Егор выпил, хотя знал, что лучше этого не делать.

Он согрелся, одежда почти высохла. Вдруг доктор Цербе потянул носом:

— Ты давно не мылся?

Егор покраснел от стыда и опять начал оправдываться, что долго скитался в поисках заработка, потому что герр доктор его прогнал.

— Иди в ванную и помойся, — перебил доктор Цербе. — Я найду тебе одежду.

Егор помнил, что пришел сюда не за милостыней. Он пришел потребовать то, на что имел право, но снова подчинился.

— Ванну после себя вымой хорошенько, — добил его в спину доктор Цербе. — Воды не жалей.

Когда Егор помылся и вернулся в кабинет, доктор и вовсе перестал скрывать презрение. Теперь он ничуть не боялся молодого человека, который ворвался к нему в дом. Лицо Егора раскрас-

нелось, взгляд стал ясным и невинным. Одежда, которую дал ему доктор, оказалась мала. В белой выглаженной рубашке, слишком коротких полосатых брюках и узких лаковых туфлях он выглядел смешно и нелепо. Доктор не посчитал нужным сдерживать смех.

— Герр доктор смеется надо мной? — спросил Егор, хотя даже не сомневался.

— Положи дров в камин, — сказал Цербе.

Егор выполнил приказ.

— Теперь налей мне вина. Себе тоже.

— Я больше не буду пить, — попробовал Егор отказаться.

— Пей, я сказал. Так надо.

Егор выпил. Вдруг доктор Цербе наклонился к нему и ущипнул за щеку.

— Ты красивый мальчик, — сказал он. — Но очень глупый.

Егору не понравилось ни такое обращение, ни прикосновение холодных, костяявых пальцев.

— Черт, я вам не мальчик. И я требую того, что вы мне обещали, — опять затынул он.

Доктор Цербе повторил, что он о нем думает: да, он красивый, но глупый. Доктор Цербе взял его на службу, потому что верил в него и в его расу, вот и наобещал ему с три короба. Но к сожалению, он переоценил его способности. Вот почему так получилось.

— Видишь ли, мальчик, ты ни на что не годен, говорю тебе прямо, — бросил доктор Цербе ему в лицо. — Что скажешь?

Егор удивленно посмотрел на доктора, а тот вдруг придвинул стул поближе и заговорил тихо и мягко, как отец с только что наказанным ребенком.

Егор не должен думать, что он, доктор Цербе, несправедлив с ним, что он ему враг. Чушь! Он всегда жалел бедного мальчика. Если он его прогнал, то лишь потому, что Егор говорил глупости, требовал невозможного. Естественно, у доктора кончилось терпение, но он готов все простить и даже помочь. На службу он его, конечно, больше не возьмет, для этого нужно проявлять инициативу, обладать энергией и даже фантазией. Одним словом, нужны способности, которых у Егора Карновского, к сожалению, нет. Доктор найдет для него что-нибудь попроще. Он давно хочет избавиться от старой служанки, эта чертова корова все время сует нос, куда не просят, высказывается, хотя ее ни о чем не спрашивают, и вообще умному человеку нечего связываться с женщинами. Доктор уже не раз об этом думал. Если Егор будет благоразумным, послушным мальчиком, он охотно возьмет его в услужение. За это он будет его кормить, одевать и даже давать карманные деньги. Ведь в таком возрасте они очень нужны, не так ли?

— Что ты об этом думаешь? — спросил доктор Цербе.

Егор не ответил. Доктор Цербе заговорил еще мягче.

Пусть Егор не думает, что в этом есть что-то унижительное. Надо смотреть на вещи философски, как он, доктор Цербе. Не стоит бунтовать против судьбы, лучше ей покориться. Егору пора бы знать: сколько существует мир, столько люди делятся на две категории, на господ и слуг. Только узколобые моралисты считают, что это можно изменить, но мыслителям ясно, что это вечный закон. Он, Егор, не способен стать господином, видимо, боги не были к нему столь милостивы. Лучше с этим смириться, и все будет хорошо.

— Что ты об этом думаешь? — повторил он вопрос.

Егор по-прежнему не отвечал. Цербе пошел дальше. Ему всегда казалось дурным тоном держать в доме женщин, этот обычай пошел от католических священников, но это не подобает человеку с тонким вкусом. Древние греки, мудрецы и философы, больше понимали в жизни. Они никогда не окружали себя женщинами, но брали в услужение мальчиков. Они выбирали их в лучших семьях побежденных народов. Взяв Иерусалим, они тоже угнали в плен мальчиков из благородных семейств и продали их богатым философам. Доктор Цербе в душе тоже грек, и он не прочь

иметь в доме красивого мальчика, благоразумного и послушного.

— Что ты об этом думаешь? — спросил он в третий раз.

Егор молча смотрел на него мутным взглядом голубых глаз. Посчитав, что вопрос решен, доктор Цербе наполнил бокалы.

— Давай выпьем на брудершафт. — И, залпом осушив бокал, он поцеловал Егора прямо в губы.

Егор быстро отодвинулся, но Цербе снова потянулся к нему.

— Милый, — шептал он.

Он тяжело дышал, а слабые руки с тонкими обезьяньими пальчиками уже срывали с Егора одежду.

Все поплыло у Егора перед глазами, он видел перед собой двух человек: это был то доктор Цербе, то доктор Кирхенмайер, который выставил его на позор перед всей гимназией имени Гете. То же бледное, морщинистое лицо, голый череп, глаза, похожие на грязное стекло, такой же скрипучий голос. Одновременно с отвращением и гневом Егор почувствовал силу в руках. Перед ним шевелилась гадкая, отвратительная тварь. С книжной полки на него смотрела статуэтка из эбенового дерева, африканская богиня с увеличенными половыми признаками. Егор схватил статуэтку и с размаху опустил на блестящий

лысый череп маленького человечка в шелковом халате.

Первым подал голос попугай:

— Пр-р-приятного аппетита, гер-р-р-р доктор-р-р-р! Пр-р-приятного аппетита! — И птица истерически расхохоталась, как сумасшедшая женщина.

Ее хохот прибавил Егору злости и сил. Он молотил и молотил статуэткой по лысой голове. Доктор сполз на пол. Егор наклонился и продолжал бить. Остановился он, только когда попугай замолк. На полу лежало скрюченное тело, на Егора уставились неподвижные, остекленевшие глаза. Он никогда не видел мертвых, но сразу понял, что перед ним труп. Егор прикрыл полой халата лицо мертвеца. Вдруг он заметил на себе чужую одежду. Егор быстро сбросил короткие полосатые брюки, белую накрахмаленную рубашку и узкие лаковые туфли. Второпях он натянул свои вещи, еще не просохшие, надел дырявые ботинки, выскочил из дома и подобрал мокрый дождевик, оставленный на крыльце. Дождь кончился, висел густой, тяжелый туман. Со стороны океана доносились тревожные гудки пароходов. Не было видно ни построек, ни деревьев, ни света, только в доме, из которого вышел Егор, тускло горело единственное окно. Егор вернулся, чтобы погасить свет. Он не знал, зачем это делает. Опять захохотал попугай. Егор стал выключать лампы

одну за другой. Когда он дошел до лампы под зеленым абажуром, стоявшей на письменном столе, он увидел, что ящик наполовину выдвинут. Егор заглянул. Внутри валялись письма, документы, почтовые марки, вставные зубы, золотые запонки, деньги и маленький револьвер с перламутровой рукояткой. Егор взял только один никель и положил в карман. В другой карман он положил револьвер. Он мечтал о таком еще в детстве, когда играл с револьвером дяди Гуго. Погасив последнюю лампу, он вышел на улицу и осторожно, будто боялся разбудить кого-нибудь в доме, закрыл за собой тяжелую дверь.

— Пр-р-приятного аппетита, гер-р-р доктор-р-р-р! — донесся до него крик попугая. — Пр-р-приятного аппетита!..

Егор быстро пошел прочь, чтобы больше не слышать скрипучего голоса. Его пугал звук собственных шагов, казалось, что кто-то идет следом. Егор бросился бежать, подгоняемый страхом.

45

Стояла глубокая ночь, когда сон самый сладкий и крепкий, но доктор Георг Карновский сразу услышал донесшийся из-за двери глухой звук выстрела.

За последние месяцы его слух обострился. Каждую минуту Карновский ждал недоброй ве-

сти, которая должна была прийти, не могла не прийти. Он был готов к ней, чтобы в любой момент начать действовать спокойно и быстро.

Когда он в одном белье выбежал из квартиры, Егор еще сжимал в руке перламутровую рукоятку револьвера. Он сидел, прислонившись спиной к стене, и виноватыми, огромными, голубыми глазами, улыбаясь, смотрел на высокого, смуглого человека, который склонился над ним.

Доктор Карновский отогнул пальцы Егора и вынул из них револьвер.

— Разожми кулак, сын, — сказал он тихо. — Вот так.

Егор все улыбался виноватой улыбкой.

— Отец, это я, — сказал он со стыдом неблагодарного сына, который убежал из дома и вот вернулся.

Говорил он хрипло, с трудом, но в голосе была такая любовь, которой Георг не слышал уже много лет. По прерывистому, короткому дыханию доктор Карновский предположил, что пуля задела сердце. Одной рукой он разорвал на груди сына одежду, другой взял его за запястье. Пульс был сильным.

— Сын, дыши, — сказал он.

— Не могу, отец, мне больно, — ответил Егор, хватая ртом воздух.

Доктор Карновский больше не сомневался. За несколько лет на фронте он повидал такое не раз.

Он быстро осмотрел тощую грудь сына. Возле розового соска чернело маленькое, обожженное по краям пятнышко. По входному отверстию Карновский определил, в каком направлении пошла пуля.

— Обхвати меня за шею, — сказал он, поднял Егора на руки и понес в кровать. — Вот так.

Егор дрожал, обнимая отцовскую шею обеими руками.

— Отец, я его убил... — говорил он, с трудом шевеля губами. — Забил... насмерть... Он оскорбил меня...

— Не дрожи, — предупредил доктор Карновский. — Спокойно, сын, спокойно.

Егор вцепился в него, как в детстве, когда просыпался, увидев дурной сон.

— Отец, мне страшно.

— Я с тобой, — отозвался Карновский. Эти же слова он говорил сыну много лет назад.

Тереза в ночной рубашке сидела на кровати. Когда муж вошел с сыном на руках, она спросонья не поняла, что случилось, но прерывистое дыхание Егора разбудило ее окончательно.

— Егорхен! — завопила она и бросилась к двери, чтобы звать на помощь.

Доктор Карновский ее остановил.

— Не орать, — приказал он. — Раздень его. Быстро!

Его спокойные, уверенные слова отрезвили ее, как в клинике профессора Галеви, когда она

была там медсестрой, а Георг начинал практиковать.

— Сынок, что ты наделал? — причитала она, снимая с Егора мокрую одежду.

А Егор хватал ртом воздух и все улыбался, улыбался смущенно и виновато.

— Мама, я должен был это сделать... Он оскорбил меня... Страшно оскорбил...

Доктор Карновский зажег в комнате весь свет и сдвинул столы.

— Воду и мыло! — приказал он жене. — Расстели на столе простыню, приготовь спирт, йод и эфир.

Тереза точно выполняла приказы, но страх не отпускал.

— Георг, я вызову «скорую», — сказала она, вдруг подумав, что муж не имеет права практиковать в этой стране.

— Делай, что говорю, — отрезал Карновский. — Каждая секунда дорога.

Тереза больше ничего не говорила, только выполняла приказы мужа, будто была не женой и матерью, а медсестрой Терезой в клинике профессора Галеви, когда она ассистировала точному и строгому врачу Карновскому. Инструменты были в полном порядке, каждый лежал в шкафчике на своем месте. Даже резиновые перчатки и белый халат будто ждали, когда они понадобятся. Но Карновский не стал их надевать. На это не было времени.

Быстро и уверенно, как на фронте, когда приходилось оперировать в амбаре или конюшне, на голой земле в поле или сыром окопе, Карновский делал свою работу. Чтобы не терять времени, он не позволил Терезе даже вскипятить воду и простерилизовать инструменты и бинты. Карновский опасался кровотечения. Он быстро вымыл грудь сына холодной водой с мылом, полил спиртом и смазал йодом.

— Держись, сынок, — сказал он.

Егор взял отцовскую руку и слабо прижал к губам. Это был первый сыновний поцелуй за много лет. В приступе нежности Карновский даже потерял секунду, чтобы наклониться к сыну и в ответ поцеловать его в щеку. И тут же снова стал спокоен, точен и быстр, хирург с головы до ног. Положив платок на мокрое от пота лицо раненого, он начал капать эфиром.

— Спи, мой мальчик, — сказал он, будто сын был маленьким и лежал в колыбели.

Потом быстро вымыл руки, велел Терезе полить на них спиртом и взглянул на спящего сына. На лице Егора была все та же виноватая улыбка, улыбка сына, который вернулся, чтобы просить у родителей прощения. Тереза, стоя посреди ярко освещенной комнаты, изо всех сил старалась сдерживать бурчание в животе. Ее белые руки дрожали, но смуглые, волосатые руки Карновского были сильны, надежны и спокойны, и так же спокойно

было его отцовское чувство. Его сын был тяжело ранен, но вылечен от унижения. Карновский был горд, что Егор победил и вернулся.

— Спокойно, аккуратно, — сказал он Терезе, готовой выполнить любой его приказ, и взял свой счастливый скальпель, подарок профессора Галеви.

Ночную тишину нарушил стук копыт по мостовой. Прозвучал знакомый голос молочника:

— Тпру, Мэри, стой!

Сквозь густой туман пробивались первые лучи рассвета.

1940—1941

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

5

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

182

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

421

Зингер И.-И.

Семья Карновских: Роман / Исроэл-Иешуа Зингер; пер. с идиша И.Некрасова, — М.: Текст: Книжники, 2010. — 667, [5] с.

ISBN 978-5-7516-0901-6 («Текст»)

ISBN 978-5-9953-0079-3 («Книжники»)

В романе одного из крупнейших еврейских прозаиков прошлого века Исроэла-Иешуа Зингера (1893—1944) «Семья Карновских» запечатлена жизнь еврейской семьи на переломе эпох. Представители трех поколений пытаются найти себя в изменчивом, чужом и зачастую жестоком мире, и ломка привычных устоев ни для кого не происходит бесследно. «Семья Карновских» — это семейная хроника, но в мастерском воплощении Исроэла-Иешуа Зингера это еще и масштабная картина изменений еврейской жизни в первой половине XX века. Нобелевский лауреат Исаак Башевис Зингер называл старшего брата Исроэла-Иешуа своим учителем и духовным наставником.

УДК 821.111(73)

ББК 84 (4Сое)

ПРОЗА ЕВРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ

Исроэл-Иешуа Зингер

Семья Карновских

Роман

Редактор В.В.Петров

Корректор Н.М. Пуцина

Издательство благодарит Давида Розенсона
за участие в разработке этой серии

Подписано в печать 23.06.10. Формат 70 x 100/₃₂.
Усл. печ. л. 27,3. Уч.-изд. л. 23,9. Тираж 5000 экз. Изд. №937
Заказ № 2452

Издательство «Текст»

127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7

Тел./факс: (499) 150-04-82

E-mail: text@textpubl.ru; <http://www.textpubl.ru>

Представитель в Санкт-Петербурге: (812) 312-52-63

Издательство «Книжники»

127055, Москва, ул. Образцова, д. 19, стр. 9

Тел. (495) 663-21-09; 710-88-03

E-mail: info@knizhniki.ru; lechaim@lechaim.ru

<http://www.knizhniki.ru>; <http://www.lechaim.ru>

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»

143200 г. Можайск, ул. Мира, 93

www.oaompk.ru тел.: (495)745-84-28, (49638)20-685

OCR Давид Титиевский, июль 2020 г., Хайфа

В серии

ПРОЗА ЕВРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ

ВЫШЛИ:

Шмуэль-Йосеф АГНОН. Вчера-позавчера
Аарон АППЕЛЬФЕЛЬД. Катерина
Шолом АШ. Америка
Шолом АШ. За веру отцов
Джорджо БАССАНИ. В стенах города
Джорджо БАССАНИ. Сад Финци-Контини
Юрек БЕКЕР. Дети Бронштейна
Юрек БЕКЕР. Яков-лжец
БЕЛАЯ ШЛЯПА БЛЯЙШИЦА. Сборник рассказов
Сол БЕЛЛОУ. Серебряное блюдо
Робер БОБЕР. Что слышно насчет войны?
Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. Бердичев
Хаим ГРАДЕ. Немой миньян
И. ГРЕКОВА. Свежо предание
Давид ГРОССМАН. См. статью «Любовь»
Жан-Клод ГРЮМБЕР. Дрейфус... и другие пьесы
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ЛОНДОНЕ. Рассказы английских писателей
ДЕР НИСТЕР. Семья Машбер
Вильгельм ДИХТЕР. Олух Царя Небесного
Лиззи ДОРОН. Почему ты не пришла до войны?
Джессика ДЮРЛАХЕР. Дочь
Исаак Башевис ЗИНГЕР. Папин домашний суд
Исаак Башевис ЗИНГЕР. Раб
Исаак Башевис ЗИНГЕР. Раскаявшийся
Исаак Башевис ЗИНГЕР. Семья Мускат
Исаак Башевис ЗИНГЕР. Сатана в Горае
А.-Б. ИЕГОШУА. Смерть и возвращение
Юлии Рогаевой
Дина КАЛИНОВСКАЯ. О суббота!

Григорий КАНОВИЧ. Очарование сатаны
Даниэль КАЦ. Как мой прадедушка на лыжах
прибежал в Финляндию
Этгар КЕРЕТ. Когда умерли автобусы
Имре КЕРТЕС. Без судьбы
КИПАРИСЫ В СЕЗОН ЛИСТОПАДА. Рассказы
израильских писателей
Моисей КУЛЬБАК. Зелменяне
Примо ЛЕВИ. Периодическая система
Израиль МЕТТЕР. Пятый угол
Артур МИЛЛЕР. Фокус
Ирен НЕМИРОВСКИ. Давид Гольдер
Синтия ОЗИК. Путермессер и московская
родственница
Карой ПАП. Азарел
ПО ЭТУ СТОРОНУ ИОРДАНА. Рассказы русских
писателей, живущих в Израиле
Мордехай РИХЛЕР. Кто твой враг
Мордехай РИХЛЕР. Улица
Филип РОТ. Прощай, Коламбус
Габор Т. САНТО. Обратный билет
Даля СОФЕР. Сентябри Ширази
Юлиан СТРЫЙКОВСКИЙ. Аустерия
ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ БАСИ СОЛОМОНОВНЫ
Рассказы
Говард ФАСТ. Торквемада
Сирил ФЛЕЙШМАН. Встречи у метро
«Сен-Поль»
Стефан ЦВЕЙГ. Погребенный светильник
Меир ШАЛЕВ. В доме своем в пустыне...
Меир ШАЛЕВ. Голубь и Мальчик
Меир ШАЛЕВ. Как несколько дней...
Меир ШАЛЕВ. Русский роман
Меир ШАЛЕВ. Фонтанелла

Меир ШАЛЕВ. Эсав
Анджей ЩИПЁРСКИЙ. Начало, или Прекрасная
пани Зайденман
Асар ЭППЕЛЬ. Сладкий воздух
Лесли ЭПСТАЙН. Сан-Ремо-Драйв



Еврейские тексты и темы

BOOKNIK.RU

первый ежедневно обновляемый независимый ресурс,
посвященный еврейским текстам и темам
в литературе и культуре

www.booknik.ru

For English language readers, we introduce **Tabletmag.com**
Tabletmag promotes the discovery and discussion of Jewish
literature, culture and ideas and produces the critically

